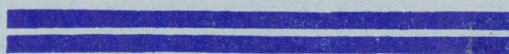


ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й  
М И Р

4



1984



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1984 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ — Большая родня, стихи	3
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Годы без войны, роман. Окончание	8
МАРК ЛИСЯНСКИЙ — Этот наш насыщенный день, стихи	53
АЛЕКСАНДР ИВАНЧЕНКО — Золото для БАМа, документальная повесть	55
ИВАН ТАРБА — Из новой книги «Волна и вершина», стихи. Перевел с абхазского О. Дмитриев	112
ДИНА КАЛИНОВСКАЯ — Колодец без воды, рассказ	114
ИВАН СКАЛА — Новые стихи. Перевел с чешского Владимир Соколов	126
ВИДЬЯДХАР НАЙПОЛ — Рассказы. Перевели с английского О. Янковская, С. Таск, М. Шевелев, И. Шварц	129
<b>ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ</b>	
ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР — «...я-то не изменился...». Вступительная заметка, перевод с немецкого, примечания и публикация Л. Миримова	155
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
ГЕОРГИЙ БЕРЕГОВОЙ — Космическая вахта	165
<b>В МИРЕ НАУКИ</b>	
В. ПОЛИЩУК — На общих основаниях	183
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
ЛЕОНИД ПОЧИВАЛОВ — Галеты капитана Скотта	208

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Б. ЯКОВЛЕВ — Слово, приравненное к делу	232
ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ — Горизонт без конца. К 175-летию со дня рождения Н. В. Гоголя	238
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Т. Иванова. От первого лица.	249
Маргарита Алягер. Душа поэта.	
Вл. Новиков. Труд слова.	
Наталья Старосельская. Сорок лет спустя.	
<i>Политика и наука</i>	
Ал. Горловский. Постигание времени.	260
Карен Свасьян. «Побуждаю философствовать».	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
Вл. Котовсков. — Мих. Соколов. Грозное лето. Роман. Михаил Соколов. Грозное лето. ✦	
Николай Старшинов. — Владимир Карпеко. Избранное. Стихотворения. Поэмы. ✦	
Таир Асланлы. — Джабир Новруз. У земли-планеты. Стихи. Джабир Новруз. Стихи. ✦	
Г. Петрова. — Любомир Фельдек. Синяя книга сказок. ✦	
Бруно Томап. — Евгений Ратнер. А главное — верность... Повесть о Мартыне Лапце. ✦	
Б. Багаряцкый. — Альберт Рис Вильямс. Жизнь доказала нашу правоту. Избранная публицистика	265
ПАМЯТИ МИХАИЛА ШОЛОХОВА	270
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	271

---

---

## АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ

★

### БОЛЬШАЯ РОДИНА

#### Луч звезды

От Абакана до Тайшета  
поют и плачут поезда.  
Из незапамятного лета  
сквозь кедров черные просветы  
глядит на них моя звезда.

Та самая, та путевая,  
что в ночи страдные и дни,  
на подвиг юных созывая,  
сама, как время, трудовая,  
казалось, корчевала пни.

Казалось, на кострах горела,  
казалось, у машин во лбу  
сверкала — света не жалела

ни на общественное дело  
и ни на личную судьбу.

И вот теперь, гремя на стыках  
таежной юности и дней  
полузабытых, но великих,  
летят составы в долгих криках  
гудков. И боль моя ясней.

И память горделивей: это  
мой путь стальной, мои труды —  
от Абакана до Тайшета  
из года в год, из лета в лето  
проходит жизнь, как луч звезды.

1978.

#### Отсветы

Как трудно тайга заживляет  
ожоги и раны свои,  
как медленно все же ровняет  
строительные колен.

Расцветенный синей волною,  
и серым асфальтом дорог,

и свежих домов белизною,  
весь край обновился как смог.

Но красные глины отвалы  
сияют с ангарских бугров  
как отсветы тех небывалых  
палаточных дней и костров.

1962.

#### Все мое

Не тужил, что все мое —  
со мною,  
не петлял, не топал стороной...  
Весь народ стоит по-за спиной,  
вся страна лежит передо мной.

Кладом песен,  
таинством сказаний,  
новизной и древностью маня,  
девушкой с раскосыми глазами  
Азия предстала для меня.

Как любимой,  
как большому другу,  
с тягой к обоюдному добру  
ей свою протягиваю руку,  
смутлую ответную беру.

И вдвойне легко  
бродить по свету,  
строить не во снах, а наяву  
мир моей Сибири — как планеты,  
на которой вырос и живу.

1958.

**Комары**

Скалы рвем и руды роём...  
 Комары над нами — роём,  
 в них идешь как бы в дымке.  
 Злятся, реют, ноют, выются,  
 а прихлопнешь — остаются  
 смазью крови на щеке.

Плачешь, материсья, злишься...  
 А с тайгой распростишься,  
 и в постели городской,

в тишине, в тепле и в холе,  
 вдруг приснится — сон в раздолье  
 лиственничном... И с тоской

ты проснешься от нехватки  
 лошади, ружья, палатки.  
 И потянет в зной и стынь:  
 мир покажется неполным,  
 без работы потной — полым,  
 без комарика — пустым.

1964.

**Ранний час**

Ночь густа.  
 Скрип куста.  
 Родничок костра.  
 У огня — человек  
 и двадцатый век.  
 От одной головни  
 прикурили они  
 и над общим огнем  
 замолчали. Об одном.

Волчий вой.  
 Козий хрип.  
 Черный гриб —  
 над головой,  
 под ногою — белый гриб.  
 А над соснами — туман,  
 а земля сыра.  
 Двум мирам,  
 двум умам  
 не молчать бы до утра!  
 Не молчать бы — говорить,  
 трубку общую курить,

чтобы мирный тот табак  
 запекался б на губах  
 как тревога одного  
 о другом,  
 что склонился над его  
 костерком  
 на земле, где волчий вой,  
 козий хрип,  
 черный гриб —  
 над головой,  
 под ногою — белый гриб...

Поднимаю боровик,  
 жарю на костре.  
 Спят товарищи мои  
 лицами к заре,  
 что едва занялась  
 за моей спиной.  
 Ранний век.  
 Ранний час,  
 но уже — дневной.

1963.

**В верховьях Бирюсы**

Светило солнце вполнакала  
 с небес безоблачных почти,  
 а в понизовье — от Байкала —  
 тянулись тучи и дожди.

И все, что с дальних гор стекалось,  
 должно было прийти сюда —  
 седая вспененная ярость,  
 бич лета, полая вода.

И вот нагрянуло!.. — сметая  
 в пути уступы берегов,  
 на лес безвинный налетая,  
 как басурманы на врагов.

Но в диком вое, в долгом гуле  
 стихии, потерявшей ум,



## Шутка

Даже если в землю лягу,  
растворившись в мире,  
то вскочу, почуяв тягу  
в сторону Сибири.

Дождиком, туманом, ветром  
по ангарской пойме

протянусь — и в мире светлом  
кто-никто, а вспомнит.

Кто?.. да кто-нибудь, хоть чуждый  
отческому краю.

Как?.. да хоть рукой — ненужный  
дождь со щек стирая.

1983.

## Старинный дом

В старинном доме, добром и холодном,  
под абажуром бисерным, немодным,  
пало детство быстрое мое  
в движении бездумном, но свободном, —  
все, как на дно, осело в забвенье.

И только иногда из дальней дали,  
где даже предки все позабывали,  
вдруг прозвучит обрывок песни той,  
которую мне бабки напевали, —  
все заслонило бодрой суетой.

Когда вернусь я в те года, не знаю,  
но тот обрывок песни повторяю...  
Когда вернусь, тогда вернется свет  
тех лиц, тех свеч, той отчей хаты с краю  
эпохи, что давно сошла на нет.

Не верю в чудеса, но в чудо верю,  
и если я вступаю в снесенный дом,  
то лишь затем, чтоб обновить потерю  
корней, киотов, снов за детской дверью  
и тополей над дедовским прудом.

1972.

## Под музыку лесов

Под музыку лесов нестройную завод,  
мы к зимней Ангаре пришли, кварталы,  
бульдозером бугрище стронули, скверы дивные...  
кусты с площадки отвели:  
растали улицу и строили,  
как нам отмерил нивелир,  
трехногий всепогодный  
труженик.

Я так прошелся по лесам,  
что нынче в улицах  
завьюженных  
тех мест и не признаю сам:

Но вновь на Лене, невдали,  
бульдозером бугрище сдвинули,  
кусты за насыпь отвели —  
е продлевается история  
и продолжается народ.  
И музыка лесов нестройная  
звучит над кем-то в свой черед  
да глубже за сердце берет.

1974.

### Прасвязи

Годы проходят, метели метутся,  
только прасвязи с Сибирью не рвутся:  
то, чем жил да и не жил, встает  
в памяти, в сердце и жить не дает.

Дедушка! милый! неведомый мой,  
что же ты делаешь нынче со мной?

Сам ты сражен на исходе гражданской  
солью водянки и болью гражданской —  
болью прозрения судеб детей,  
солью трудов и навалом смертей.

Дедушка, что ж это за повторенье?  
Чье же во мне пререзается зренье?  
Чья же во мне шевельнулась тоска?  
Чьей же хворобой немеет рука?

Дедушка, если родных я теряю,  
может быть, этим тебя повторяю?  
Если я пухну, и глохну, и слепну,  
то не тебе ль приношу свою легту?  
Если я слабну от света и тьмы,  
значит ли, что повидаемся мы?  
Скоро ли? надо ли? будет ли? — ладно,  
мне поделом. А другим неповадно  
на отошедших в подпамять грешить...

Дедушка, миленький, дай мне пожить!  
1933.

### Соотношение

Над Ангарою — морось и туман;  
в пережитом — работа и морока,  
взыскательность, и вечная дорога,  
и жажда постиженья душ и стран.

Над всей Сибирью — синева и свет,  
и свежий лес в небесной оторочке;  
а за душой — две с половиной строчки,  
куда вместились жизнь и весь поэт.

1933.

### Древняя нить

Два дара, две жажды, две воли заложены в каждом из нас. Одно увлекает в раздолье, другое хранит про запас вблизи материнского поля, чтоб огонь родовой не угас.	и пашню? — вблизи и вдали раздумчиво распространяли сердечность до края земли.
--	--

Не дар ли движения в дали,  
не жажда ль простора вели  
в Сибирь города, магистрали

Так древняя ниточка вьется,  
не счесть узелков и витков:  
крылатым дорога дается,  
оседлым — огонь очагов...  
Их волею Русь остается  
прекрасной во веки веков.

1973.



---

---

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

## ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ\*

Роман

XXVII

**Н**а другой день после звонка Павла все в доме Бориса готовились к приему дорогого гостя. Сват приезжал к одиннадцати, что для хозяйки означало между завтраком и обедом, и решено было подать к столу немного холодной закуски, торт, печенье, конфеты и кофе, приготовить который бралась Антонина, умевшая и любившая делать это.

Петр Андреевич с утра был на службе, но к одиннадцати, как и обещал, вернулся домой и, переодевшись в гражданское, чтобы не смущать свата генеральскими регалиями, краснощекий, здоровый, сильный, выглядевший намного моложе своих лет, вышел в гостиную.

Антонина еще была на кухне, готовила кофе. Молодая, в белом фартуке, приходящая помощница по дому накрывала в гостиной стол. Возле нее суетилась Мария Дмитриевна, считавшая, что без нее непременно будет что-либо не так. Она была в темно-синем платье свободного покроя, с глухим стоячим воротником, прикрывавшим преждевременные, как ей казалось, морщины на ее в прошлом высокой и красивой шее. Золотая, похожая на скрипичный ключ брошь украшала и оживляла платье на Марии Дмитриевне. Волосы ее, еще густые, но уже подкрашенные, были собраны в классический, на затылке, валик и прикрыты голубым, под цвет платья, газовым шарфиком.

— Что ж это сватья не приехала? — спросила она у Павла после того, как с ним поздоровались и провели в гостиную. — Мы бы так рады были видеть ее.

— Да где ей приехать? — ответил Павел, отойдя с Борисом к окну, чтобы не мешать сватье и помощнице. — У нас же хозяйство: поросенок, корова, да и школьников еще двое.

В клетчатой рубашке, уже не выглядевшей свежей на нем, в по-деревенски большеватом костюме со старомодными сморщившимися бортами, длинными рукавами и заметно просалившимся воротником, в одутловатых у колен брюках и полуботинках с новыми шнурками, с озабоченностью, которая, как ни старался скрыть Павел, была вся на его заметно похудевшем, усталом и старом лице, он был словно из другого мира здесь; он сознавал это, это стесняло его, и он время от времени вдруг начинал беспокойно оглядываться на картины, кресла, стол, стулья и сватью, то исчезавшую где-то за дверьми, то вновь появлявшуюся со своей сверкавшей на платье массивной золотой брошью. Что-то не свое будто, отчуждавшее Павла, было и в Борисе, одетом в летний, шоколадного цвета костюм с жилетом. Галстук на

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 2—3 с. г.

Борисе был однотонный, под цвет костюма, и особенно привлекал внимание Павла своей необычной формой; галстук был словно поясик к женскому вязаному шерстяному платью.

— Это что же, мода теперь такая? — не выдержав, все же спросил Павел, указав глазами на галстук.

— Куда денешься? — улыбувшись, пояснил Борис.

Они заговорили о деревне, о доме и заботах отца, и как ни казалось Борису, что прошлое было отдалено от него, было чужим, ненужным, не имевшим будто бы теперь к нему отношения, — чувство, какое поднималось в нем, было иным, сильнее, и захватывало его. Он живо представил себе деревню, речку за нею с лугом и лесом, дом, мать у плиты и отца, входящего во двор, сестер, братьев, себя, собирающегося убежать в клуб, и воспоминание это было не просто воспоминанием, а было жизнью, было — теми воспоминаниями детства, которые человек не может отнять от себя. Привычный к сдержанности, как и положено дипломату (как обычно думал об этом Борис), он словно бы не помнил сейчас об этом правиле и то и дело перебивал отца, спрашивая то об одном, то о другом, то говорил сам, удивляя и радуя Павла своей памятью.

— Это хорошо, что асфальт, — перебил он отца. — А я помню, прямо от ворот трава. Трава по всей улице, только колея по центру.

— Что колея, и ворота уже другие.

— Сменили?

— Еще когда Александр десятый заканчивал.

— Он теперь в армии?

— На Дальнем Востоке. Вот тоже пищет, остаться, говорит, хочу там после армии, а каково нам, матери, представляешь?

— Да он всегда был — лишь бы из дому, — заметил Борис. — Помнишь, как однажды зимой было нашествие мышей на наш дом. Мать в ужасе, ты в ужасе: откуда? А потом на чердаке нашелся мешок с сухарями. Изгрызенный весь. Никто из нас тогда не признался, а ведь это была его зятя, Александра.

— Ну как же, помню, — поддержал сына Павел. — В тот год Валуша сильно болела.

— Да, да, кто-то болел у нас в доме.

Они поговорили еще о школе, о колхозных делах отца, и только о Романа Борис не хотел ничего слышать.

— Не понимал и не понимаю его, — остановил он отца. — Роман нас позорит. Они не знают, и я не хочу, чтобы знали. — И Борис кивнул на тещу и на появившегося как раз в эту минуту в гостиной тестя.

— А для меня все вы...

— Прощу, — повторил Борис, уже поворачиваясь к тестю и уступая ему отца.

Петр Андреевич впервые теперь, после свадьбы дочери, видел Павла. Тогда о Павле у него сложилось впечатление как о добром и по-своему глубоком человеке, который если и не нашел в себе сил подняться в общественном положении, то вполне имел к этому задатки; эти-то задатки, как надеялся генерал, и должны были теперь проявиться в Борисе. Генерал придерживался того взгляда на людей (несмотря или вопреки общепринятому), что главное в человеке — от природы и что воспитание, образование, достаток и прочее есть дополнение, способное либо развить, либо приглушить главное. «По отцу выбирали жениха, по матери невесту», — полушутя как будто, но как будто и всерьез говорил он, чтобы оправдать свое убеждение. Он любил иногда обратиться к тому, что он называл народной мудростью и что не старело, как ему казалось, от употребления; и он подходил сейчас к свату с тем невольным намерением прощупать его, чтобы сильнее укрепиться в своих предположениях насчет Бориса.

— Ну, с приездом,— сказал Петр Андреевич, протягивая руку свату.— Давно в Москве? Когда приехали?

— Да вот уж и обратно собираюсь.

— Как? Только что... и обратно? Надо хоть денек погостить. Борис, твоя недоработка.

Борис улыбнулся и не ответил тестю. Он боялся за отца, чтобы тот не сказал лишнего, и каждую минуту готов был остановить его.

— Вот и кофе прибыл,— увидев Антонину и помощницу в кружевной наколке, вносявших кофе, весело произнес Борис, решив использовать эту возможность, чтобы изменить разговор.

Вносила помощница. Но Антонина шла рядом, будто опасалась, что приготовленный ею кофе будет разлит или произойдет что-либо еще, что огорчит всех. Она стеснительно и счастливо улыбалась и в своем просторном розовом платье, должном скрыть ее беременность, была такой домашней, что все ласково глядели на нее. Мария Дмитриевна посмотрела на нее с тем чувством гордости, будто не дочь, а сама она (в молодости) вошла в гостиную. Она увидела в дочери повторение себя; повторение даже в этом умении войти, как сделал теперь Антонина (и что не ускользнуло от чуткой к подобным тонкостям матери). «Такая жена украсит любого мужа. Княгиня!»— подумала она, и ей жаль было, что сейчас видят ее дочь только муж, зять и сват. Петр Андреевич, ожидавший внука, которого должна была подарить ему дочь, и заранее радовавшийся этому событию («Генерал без внука, какой же это генерал? Наследника надо, наследника»,— было теперь любимым его выражением), обернувшись на дочь, широко улыбался ей. Он обратил внимание не на наряд дочери, не на ее прическу и бриллианты в ушах (маленькие, считавшиеся Антониной повседневными и редко снимавшиеся ею), не на то, как она вошла, а на ее беременность, сейчас же вызвавшую в нем то отцовское чувство, которое хотя и можно объяснить, но которое лучше не объяснять, а испытывать. Петр Андреевич перевел взгляд с дочери на Бориса, потом опять на дочь и опять на Бориса, распространяя и на него свое отцовское чувство.

«Растут, а мы стареем»,— чтобы не отдаться восторженному, поднимавшемуся в нем, подумал Петр Андреевич.

Борис же не столько смотрел на Антонину, сколько— на отца и старался определить по выражению его сощурившихся глаз, как он воспринял Антонину и что подумал о ней. Все сделанное Антониной было для свекра. Как ни считала она себя подурневшей, подобно большинству молодых женщин, полагающих, что беременность уродует их, и как ни тяжело было ей появиться (в этом подурневшем виде) перед свекром, но едва Антонина вошла в гостиную, сразу же поняла, что маневр ее удался, и сознание успеха, всегда так необходимое любой женщине, придало ей силы. Она прежде мужа поняла, что понравилась свекру, и с решимостью, какой не ожидала в себе, и со счастливой, игривой на лице улыбкой направилась (как только помощница поставила кофейник) к свекру.

— Здравствуйте,— сказала она. Мгновение поколебавшись, приподнялась на носки и, не приподнимая рук, прикоснулась губами к его щеке.

— Здравствуй, дочка, здравствуй,— растроганно проговорил Павел, бережно, как берут хрупкий предмет, беря за плечи Антонину.— Мать передала, кланяется тебе. И Таня и Петр. Младшие мои,— пояснил он свату и свате. Не зная, что еще сказать невестке, он оглянулся за поддержкой на Бориса. «Да что это со мной?»— подумал он, в то время как на смущенном лице его появились красные пятна.

Привыкший к размеренной деревенской жизни, в которой все было простым, ясным и открытым, и не умевший приловчиться к этой московской обстановке тонкостей, нарядов и правил, он не видел, как было ему поступить теперь; если бы он мог позволить себе по-свое-

му, по-деревенски, он обнял бы сейчас невестку, прижал ее голову к груди и погладил по волосам; но взгляд сына, с которым он встретился, сказал ему: «Нет!» — и Павел, в душе не согласный с сыном, еще сильнее смутился и покраснел, но уже от этого своего смущения перед невесткой.

— Кофе остынет, — видя замешательство свекра и пытаясь помочь ему, торопливо проговорила Антонина.

### XXVIII

Все прошли к столу, вокруг которого широко (по количеству людей) были расставлены стулья с высокими спинками. Обиты они были, как и кресла, золотистым («На него только смотреть», — подумал Павел) бархатом, и в тон этой обивке, в тон гардинам и обоям на стенах золотисто поблескивала на столе огромная, во всю его длину, скатерть. Синие с позолоченным ободком чашечки с блюдцами и тарелки же синие с отделкой тарелки и блюда с уложенными в них закусками, тортом и печеньем, приборы из серебра — ножи, вилки, ложки, красиво размещенные по столу, салфетки, синий с золотом кофейник и ваза с цветами, которую Петр Андреевич сейчас же велел сдвинуть на край, чтобы не мешала видеть и говорить, — все это, прежде открытое от Павла (у окна он стоял спиной к столу), теперь, когда открылось, поразило его. Ему надо было отодвинуть стул, чтобы сесть, как сделали это другие, но он боялся взяться за него. Руки у него были чистые, но по привычному ощущению, что они всегда были в чем-то — в земле или в масле, если возился с трактором, — по этому привычному ощущению, что они от чего-то не отмыты еще, он боялся, что может испачкать обивку. Он опять оглянулся на Бориса, который сейчас же подошел к нему. «Да все обычно, все просто, не волнуйся, — успел он шепнуть отцу, усаживая его. — Смотри на меня, и все будет в порядке».

— У него ноги больны, — сказал Борис, чтобы оправдать смущение отца.

— Что у вас с ногами? — тут же спросил Петр Андреевич, уже взявшись было за коньяк, чтобы начать разливать его по рюмкам.

— С фронта еще, — опять за отца ответил Борис.

— С фронта, с фронта... Да-а, достает-таки нас война. Ранение? Контузия?

— Стеной придавило.

— Могу, если хотите, устроить вас в Лефортово, в военный госпиталь. Подумайте, — добавил Петр Андреевич, видя нерешительность свата.

Рюмки были так малы, что Павлу казалось, нечего было держать в пальцах. Но как, однако, ни малы были эти рюмки, после первой, выпитой за приезд свата и за его здоровье, и особенно после второй и третьей, выпитых за здоровье молодых и здоровье хозяйки (генерал не мог позволить себе не выпить за здоровье жены), все повеселели, и Павел, не замечая, что прежде смущало его, охотно разговорился за столом. Мария Дмитриевна в который раз спросила его о Екатерине, оставшейся в Мокше, и сказала, что со дня дочерниной свадьбы была самого лучшего о сватье мнения. Затем разговор переключился на Бориса и Антонину, которой предстояло рожать, на светную столичную жизнь и опять на деревню, на сватью и затем на Бориса. Кофе был выпит, но так как никому не хотелось выходить из-за стола, принесен был апельсиновый сок в высоких хрустальных фужерах (и лед, по желанию, как попросил Петр Андреевич), и беседа постепенно словно бы разорвалась на два рукава: женский, в котором главенство взяла Мария Дмитриевна и в который то и дело ею вовлекался Борис, и мужской, где руководил и направлял разговор Петр Андреевич.

Мария Дмитриевна начала с того, что опять похвалила розовое платье дочери. Платье было удачным, и розовый цвет шел Антонине; но по тому ходу мыслей, какой логичен всегда только для женщин, это оказалось лишь поводом, чтобы заговорить о себе.

— Когда я носила Антонину, — приглашая Бориса непременно послушать, сказала Мария Дмитриевна, — ну что вы, Боренька, тогда все было иначе.

Петр Андреевич, позабывший о своем намерении прощупать свата, заговорил с ним о тех деревенских проблемах, которые все больше и больше поднимались теперь в печати. Как человек военный, он был далек от этих проблем; но как человеку государственному, гражданину отечества, как он любил подчеркнуто сказать о себе, ему не безразлично было, что происходило в деревне. «Что-то, видимо, происходит», — думал он, читая статьи, прислушиваясь к мнению общественности и видя озабоченность в тех правительственных кругах, с которыми соприкасался. И хотя для него, не испытывавшего нужды в продуктах, трудно было понять, что на самом деле происходило в деревне («В конце концов все есть и откуда-то берется, так кем и чем мы недовольны?»), но в то же время, говоря себе, что дыма без огня не бывает, он старался присмотреться и разобраться во всем. Теперь же ему представлялся случай, которого он не мог упустить, и он прямо спросил Павла:

— Все сейчас в один голос говорят, что в деревне плохо. Скажите, действительно ли это так?

— Плохо? — удивился Павел. — Это ведь как посмотреть. На земле оно что ж хорошего? Сила нужна. А до того, как живем — да так и живем, как всегда жили.

— Я не об этом, — перебил Петр Андреевич. — Вот пишут, у земли хозяина нет.

— Почему же, а мы кто? — возразил Павел. — Ну а если побольше, так разболтался народ. Все над нами Илья должен стоять, а нет Ильи, так и спустя рукава.

— Бригадир, хотите сказать.

— А как же.

— Ну а вам, вы извините, конечно, что я задаю такой вопрос, вам тоже Илья нужен? Над вами, вернее?

— Надо мной — дело другое. Таких, как мы, мало осталось.

— Но все-таки остались?

Павел усмехнулся.

— Камень крошится, железо ржавеет, а человек, что же вы думаете? — с этой же усмешкой на лице спросил он. Он чувствовал, что ему задавались те же почти вопросы, какие в разной форме, но с одинаковой этой же сутью задавались корреспондентами, приезжавшими в деревню; и как бы искренне ни отвечал корреспондентам Павел, в статьях и заметках о себе неизменно прочитывал, что он — механизатор широкого профиля, маяк, новая на деревне сила, на которую надо равняться. — Не вечны мы, — отвечая не столько свату-генералу, сколько тем корреспондентам (типа Тимонина), которые не хотели или не могли понять проблему, добавил Павел. — В руках у нас дело, а передать некому, вот в чем беда. И виноваты в этом, я думаю, в первую голову мы сами. Все хотелось, чтобы дети выше пошли, а выше — куда? — в город. Четверо сыновей у меня, и все на сторону. Ну как вот с ним, — строго будто, но в то же время с теплотой, по которой заметно было, что он доволен сыном, проговорил Павел.

— Город тоже надо пополнять, это естественно, без этого нельзя, — сказал Петр Андреевич. — Городу нужны кадры. Я вот тоже из деревни. Все мы из деревни, — уточнил он. — Интеллигенция мужицкой косточкой прирастать должна.

Мысль эта была давней и любимой мыслью Петра Андреевича.

Услышав, что говорят об интеллигенции и мужицкой косточке,

и почувствовав (по ходу разговора), что речь словно бы о нем, Борис повернулся к отцу и тестю. «Обо мне? Что же они обо мне?» — сейчас же подумал Борис.

— Конечно, я не сомневаюсь, что такие люди,— Петр Андреевич кивнул на Бориса,— везде нужны. Он был бы хорош и незаменим в деревне. Но он нужен и незаменим здесь. В сущности,— с удовольствием развивая свою мысль, продолжил генерал,— мы столкнулись с непреодолимым противоречием. Материя не исчезает, а только переходит из одного состояния в другое, переливается из деревни в город.— И, усмехнувшись своей шутке, покачал головой.

— Тенденция века — заменять человеческий труд машинами.— Борис вставил то, что считалось официальным мнением и не открывало ничего нового; но мнение это было удобно Борису тем, что, во-первых, оправдывало его и перед отцом и перед временем и, во-вторых, должно было прозвучать в поддержку тестя, расположением которого Борис дорожил.

— В корень, браво, в корень,— сказал генерал.

— Техники нынче, кто же возражает, много,— согласился Павел.— И хорошей. Но сколько ее ни прибавляй, все людей не хватает. Техника техникой, а человек человеком.

— И все-таки,— опять перебил генерал.— Я, например, многое не понимаю. Насыщенность, а по-нашему, по-военному, плотность тракторов на гектар с каждым годом увеличивается, а продвижения вперед нет. Топчемся, вот вопрос. А почему? Стихия? Но так она для всех стихия.

— Вопрос верный, но главное все же земля, а ее сколько было, пахотной, я имею в виду, столько и есть.

— А химикаты, а удобрения на что?

— Если бы мы все, что нам дают, сыпали в землю, то и этого урожая, что берем, не брали бы,— заметил Павел.— Этого добра в бумажных мешках у нас и на складе и за складом, а вокруг на сто метров ни кустика, ни травинки, словно выжжено.

— Можно и медом отравиться.

— Можно, кто спорит, но ведь и отравы отраве рознь. Нынешний хлеб и запах потерял, ты его в печь, а он расщелиной каменной отдаст. А он солнцем да полем пахнуть должен,— пояснил Павел. На свой труд он смотрел не с точки зрения тех проблем, которые интересовали общественность, его беспокоила не организационная сторона, а суть, лежащая в основе крестьянского труда; и суть эта в понимании Павла была проста и заключалась в том, чтобы ничто живое не разрушать и не выкидывать из общей цепи жизни.— Пахотная земля — земля живая,— продолжал он.— Умертви ее, и, как на глине, ничего не возьмешь.

## XXIX

Согласившись отобедать у сватов, Павел затем пробыл у них до вечера и по настоянию Петра Андреевича остался ночевать. После ужина, в гостиной, между сватами опять зашел разговор о положении дел в деревне. Петр Андреевич вспомнил о сибирской заимке, на которой родился и вырос («Такое же российское село,— говорил он,— тот же крестьянский труд»). «Нет, нет,— повторял он,— упустили мы, упустили, а ведь было же в нас что-то, а, было?» Павел, не желавший согласиться с тем, что он, теперешний крестьянин, утратил что-то в себе (то есть любовь к земле, прилежание и тому подобное), по-иному поворачивал вопрос. Он говорил, что не мужик потерял чувство хозяина («У мужика оно было и будет всегда»), а что надо смотреть выше, каково оно у Ильи, что над мужиком.

— И не у того, что за три двора, а у того, что в райцентре и дальше.

- У райкома?
- Хотя бы и у райкома.
- Что же, райком пахать или убирать к вам придет?
- Пахать не надо, а распорядиться по-хозяйски — уже половина дела.

— Ну а вы-то, вы?— не унимался генерал.

— И мы, конечно, но и не только мы. Настоящий хозяин никогда плохую скотину не будет держать во дворе, а мы держим.

— Так смените председателя, если он плох.

— Так-то оно так, да и не так,— отвечал Павел.

Они разговаривали охотно и долго, и хотя Петр Андреевич по неясности своих представлений о деревне не мог затронуть главного, чем вызывается интерес к обработке земли, а Павел, отвечавший ему, не мог уже по запутанности вопросов приблизиться к этому главному; хотя они, в сущности, как и тысячи других людей, обеспокоенных положением дел в сельском хозяйстве, говорили лишь о том, что было общеизвестным и о чем с разной степенью глубины и заинтересованности говорили не одно уже десятилетие (словно перекалывали дрова в поленнице), но оба были довольны, возбуждены и веселы. Павла радовало, что сват-генерал проявлял интерес к деревне (будто к самому Павлу), и он видел в нем близкого себе человека. Петр Андреевич находил, что Павел был умным и душевным собеседником, находил в нем ту самую мужицкую косточку, которую еще в первые минуты встречи хотел прощупать в нем, и был вполне удовлетворен этим. Общее и для него оставалось общим, а ближе было свое.

Вечером с Казанского вокзала Павел уезжал из Москвы.

Он стоял на платформе в окружении Сергея Ивановича, Аси, Бориса, Антонины и внуков, которых забирал с собой в деревню. Петр Андреевич был занят и не приехал. Занятой оказалась и Мария Дмитриевна. Она простилась с Павлом у подъезда и предложила ему столько подарков для Екатерины, что их неудобно было принять.

— Берите, что вы,— на возражение Павла проговорила Мария Дмитриевна.— Не Москва же у вас там. А за Бореньку не беспокойтесь, он умница, да и Петр Андреевич не оставит его,— добавила она (с тем ясным смыслом, что муж непременно займется карьерой Бориса).

Поняв по-своему, что сват-генерал брался по-отцовски присмотреть за Борисом, Павел поблагодарил Марию Дмитриевну.

— Приезжайте к нам, дом у нас большой,— тряся руку сватье, сказал ей на прощанье Павел.— И Катя и я, мы будем рады.

Несмотря на то, что Павлу не удалось ни подлечить в Москве ноги, ни уладить ссору старшего сына с женой (ради чего, собственно, и приезжал сюда); несмотря на заботы, которых теперь прибавлялось у него (в связи с тем, что забирал к себе внуков), он выглядел намного бодрее, чем в день приезда, когда на этой же платформе Роман, Ася и Сергей Иванович встречали его. Обстановка в семье свата, разговор и гостеприимство их так подействовали на Павла, что он не хотел думать о Романи. «Не было ума, так и от наук не наберется»,— сердито сказал о нем. Всегда старавшийся ровно относиться ко всем своим детям, но более любивший все же Бориса, а потом перенесший эту любовь на младшего, Петра, и недолюбливавший Романа за его болезненную хилость и молчаливую, в детстве, непокорность, Павел острее, чем когда-либо, ощутил в эти дни в Москве неприязнь к старшему сыну и невольно обращал эту неприязнь на Екатерину, всегда выступавшую защитницей своего первенца. «Рос дураком и вырос не лучше. Хватило хоть ума на вокзал не явиться»,— мысленно произносил Павел, в то время как взгляд его то и дело с Бориса и Сергея Ивановича перебегал на Асию и внуков.

Сергей Иванович был весел; Борис, как всегда, строг. Он стоял рядом с беременной женой, держал ее под руку и почти не вступал в разговор, который велся Сергеем Ивановичем. Ася смотрела на сыновей и вытирала платком глаза, красные не столько от слез, как от бессонницы, в последние дни мучившей ее. Мальчики бегали вокруг чемодана и свертков, они были возбуждены оттого, что уезжали с дедом в деревню, шалили, и Ася покрикивала на них.

— Да оставьте вы их в покое, пусть поиграют, они же дети, им надо двигаться,— говорил ей Сергей Иванович тем покровительственным тоном, каким любят сказать иногда люди о деле, не имеющем к ним отношения.— А ну сюда, а ну сюда,— говорил он мальчикам, присаживаясь на корточки и ловя их.— Но вечер, я вам скажу, вечер какой,— произносил он, оглядываясь на заходившее (за стрелками, путями, зелеными вагонами в тупиках и зданиями за ними) солнце.

С утра в этот день шел дождь, но потом прояснилось, и солнце заходило в чистом, посвежевшем будто от дождя небе. Чистота заката, казалось, распространялась на все вокруг, и в прозрачном вечернем воздухе отчетливо видны были контуры и ближних и дальних домов. Когда Сергей Иванович, щурясь и прикрываясь ладонью от солнца, поворачивал голову вправо, он видел высотное здание гостиницы «Ленинградская», огромную, как вал, насыпь железнодорожного полотна и виадук, под который словно ныряли машины, трамваи, люди; из всех районов Москвы район Каланчевки и Комсомольской площади (ее еще называют площадью трех вокзалов) менее всего был знаком ему, и он с удивлением разглядывал эту открывшуюся ему новую красоту столицы.

На платформе между тем все прибывало и прибывало народу, и это говорило о том, что вот-вот подадут состав.

— Как все же любят у нас все впритык, чтобы непременно суета, толкотня, давка. Словно это уже у нас в крови,— вдруг, после доброты и снисходительности к мальчикам, продолжавшим шалить и мешать всем, и восторженных восклицаний о закате, недовольно произносил Сергей Иванович, смотрел на часы и выходил к краю платформы, чтобы первым разглядеть подающийся состав.

Нетерпение Сергея Ивановича было так очевидно, так хотелось ему поскорее проститься с шурином, с которым, кроме прежнего и утраченного теперь родства, ничто не связывало его. На время соединившиеся будто интересы его жизни с интересами жизни шурина были вновь разделены; высказаны были пожелания и переданы приветы (даже Степану Шеину, напарнику Павла, о котором Сергей Иванович вспомнил), и оставалось лишь в последний раз обняться и пожать руки, и ожидание этого завершающего, тяготившее отставного полковника, передавалось Борису, Антонине и Асе. Перед Борисом открывались свои и не связанные с отцом интересы жизни, и она обеими ногами стояла уже в этих своих интересах; Антонина, готовившаяся стать матерью, еще более была озабочена своим; озабоченной и желавшей, чтобы поскорее все кончилось, выглядела и Ася. Ей трудно было отпускать детей, она чувствовала, что если прощание затянется, она не выдержит, изменит решение и не отпустит сыновей с дедом. «Господи, скорее бы»,— думала она, глядя сквозь слезы на детей, свекра и на Сергея Ивановича, возвращавшегося от края платформы.

### XXX

Как волны от упавшего в воду предмета, расходясь кругами, откатываются к берегам и затихают,— после отъезда Павла жизнь Сергея Ивановича с его привязанностью к Наташе, зятю Станиславу и Никитичне, заменившей жену и мать и распорядившейся в доме,



жизнь Бориса, Антонины, ее отца, Романа, решившего обосноваться в Москве, и Аси, страдающей душевным беспокойством, постепенно вновь вошла в привычное русло. Обещавший («Как-нибудь летом», — сказал он) приехать к Павлу и сходить на могилу Юлии, Сергей Иванович за все лето так и не выбрал на это время. Он то встречался со Старцевым, приловчившимся давать приятельские обеды нужным для устройства своих дел людям (он продолжал усиленно прокладывать путь к публикации рукописи, которую еще не начинал писать), то просиживал вечера у дочери, где его за его статьи о массовости и патриотизме по-прежнему величали писателем. Хотя Сергей Иванович не был участником Сталинградской битвы, но ему как ветерану сразу в нескольких редакциях заказали материалы к празднованию этой битвы, и с середины лета он весь был поглощен этой важной и почетной для него работой. «Отец-то, отец, — говорил Станислав Наташе, глядя на усидчивость тестя. — Так ведь и в самом деле можно создать что-то». Наташа улыбалась; она была счастлива, и главным, как и всегда, оставалось для нее — не заработать, а потратить; но она тратила теперь, как она утверждала, с умом и приобретала лишь дорогие, имевшие непреходящую ценность вещи, которые были и для дела и для капитала. «Буду я покупать обычные золотые поделки, — возмущенно, словно кто-то заставлял ее делать это, говорила она мужу. — Ширпотреб в украшениях — это бездарно. Пусть одни сережки, но с бриллиантами». Она так забавилась со своим гардеробом, что забывала иногда, что и мужу, представительствовавшему и в литературных и в научных кругах, с которыми он не порывал, тоже нужен был гардероб. Заграничное изнашивалось, а новое (и чтобы на том же уровне) достать было трудно, и это о с к у д е н и е, как выражалась Наташа, озадачивало ее. «На свои деньги и купить нечего», — говорила она, и ей странным казалось, как это государство, взявшееся (по логическому ходу ее мыслей) во всем обеспечить ее, не могло дать ей этого элементарного, что так нужно было ей. Она была недовольна тем, что создавало ей неудобство, и жаловалась на жизнь; и, жалуясь, осуждала все, о чем бы ни заходил разговор, и приобретала (в своих, разумеется, кругах) репутацию умной, решительной и сердитой дамы.

Но если Наташу при всем ее недовольстве все же устраивала эта ее московская жизнь, в которой ей не хватало только птичьего молока, как однажды заметила Никитична, то Станислав чем больше втягивался в нее и приглаждался к ней, тем больше находил бессмысленного и бесцельного.

Как ни заманчиво было лидерство в литературе, и как ни казалась, особенно после статей, восторженно встреченных Карнауховым и Князевым, достижимой целью, поставленная перед собой Станиславом, и как ни был он затем упоен своими первыми литературными успехами, принесшими ему определенную известность, но здравый смысл, когда, оставаясь наедине с собой и сбрасывая налетное, мешавшее в настоящем свете увидеть себя, он начинал размышлять над своей жизнью, — здравый смысл говорил ему, что для того, чтобы действительно занять положение лидера, надо иметь нечто большее (за душой!), чем он имел. Он видел, что не в состоянии продвинуться дальше тех сенсационных заявлений об отрицании корней у стародворянской и наличии их у новомужицкой литературы, сделанных им в начале своей литературной карьеры; повторяться же позволительно было лишь до известных пределов, за которыми следовали забвение и смерть, и чтобы не попасть в эту полосу забвения, он чувствовал, надо было что-то предпринимать. «Но ведь я же геолог», — сказал он себе однажды утром, поднявшись и разминая плечи. Он достал с антресолей свои старые работы по геологии и, просмотрев их, с удовлетворением обнаружил, что они не только были интересно написаны, но и содержали ряд положений, не вполне, может быть, разработанных, но несомненно имевших и научное и практическое значение.

«Как же я мог отбросить это?» — подумал он. Он вспомнил, с каким увлечением работал над теорией о естественном восстановлении энергетических ресурсов Земли. Соавтором, когда публиковался этот научный труд, многое было сокращено как не представлявшее будто бы ценности, но, как это было очевидно Станиславу теперь, сделано было ошибочно, с чем нельзя было соглашаться. Соавтора того уже не было в живых, и у Стоцветова появилась возможность вернуться к этой, в сущности, не завершённой работе.

Не оставляя литературной деятельности и стараясь поддержать в кругу друзей мнение о себе как о непримиримом критике, он вместе с тем все реже теперь садился за сочинение статей, которые требовали постоянной оглядки то на Карнаухова или Князева, что скажут они, то на Мещерякова или Куркина, что подумают эти, или на кого-либо еще, кто имел влияние и вес в литературе; он вновь был увлечен открытием, которому в свое время отдал годы жизни и в научную ценность которого верил. Переделанный и предложенный им в ученый совет новый вариант работы вызвал оживленные толки среди сотрудников института, о Станиславе опять заговорили как о перспективном ученом и спустя полгода предложили поехать (для геологических поисков и пополнения материалов к открытию) в одну из развивающихся африканских стран. Известие это было так неожиданно для Наташи, что она не поверила и долго и внимательно смотрела на мужа.

— Почему же в Африку? — наконец спросила она, когда Станислав не только подтвердил, что ему официально предложили это, но и сказал, что дал свое согласие. — Разве в Европе не нашлось для тебя места?

— Ты полагаешь, что в искоженной миллионами ног и прощупанной миллионами глаз Европе можно еще отыскать руду или нефть? — ответил он на ее вопрос. — Мы едем открывать для себя настоящую жизнь, — затем произнес он, что было не просто громкой фразой, а плодом раздумий, но Наташа лишь пожала плечами, сказав, что никакой другой настоящей, чем была у нее, ей не надо.

Они покидали Москву зимой, сразу после новогодних праздников, и Наташа была так удручена, что на два года (срок, на который посылали Станислава за границу) отрывалась от привычных условий жизни, что не только в аэропорту, когда прощалась с дружниковыми, приехавшими проводить ее и Станислава, с родней по мужу и отцом, упоенным литературной деятельностью, но и в самолете, когда была набрана высота и, кроме черноты ночи, нельзя было уже ничего разглядеть в иллюминаторе, не могла сдержать наворачивавшихся на глаза слез. Станислав ничего не говорил ей, лишь время от времени поглаживал лежавшую на коленях ее руку. Настроение Наташи передавалось ему, и он тоже был мрачен. Достигнутое им в Москве хотя и было сомнительным, но все же приносило удовлетворение и достаток, а новое, ради чего улетал теперь, хотя и представлялось настоящим, но было неясно и вызывало тревогу. Одно только Станислав знал на верное, что он вместе с женой выходил на новый рубеж жизни; выходил из того круга суеты, зависти и обмана, из которого редко кому удается вовремя и безболезненно выбраться и в котором десятки умных, казалось бы, людей мечутся, опустошаясь, старея и умирая в безвестности. «Ну хорошо, ну, допустим, я мог бы сочинить еще что-либо «острое» и привлечь бы внимание к себе, но что же из этого? Что дальше? — задавал он себе вопрос. — Так же, как в природе все держится на известных законах притяжения и отталкивания, в литературе и искусстве — на известных понятиях правды, красоты и народности, и ничего нового (для оценки искусства) изобрести и добавить к этому нельзя. Сколько бы мы ни изощрались в придумывании нового и как бы ни старались вложить «оригинальную» суть в эти понятия правды, красоты и народности, все

будет неизменно возвращено на свой круг. Явится поколение и восстановит все», — думал Станислав, мысленно продолжая оглядываться на свою шумную и пустую, с которой порывал и о которой сожалел, московскую жизнь.

### XXXI

Спустя год Петр Андреевич гостил у Павла в Мокше со всем своим прибавившимся теперь семейством — Марией Дмитриевной, зятем, молодым и счастливым отцом, дочерью, из которой, как все заметили, получилась хорошая мать, и внучкой Машенькой (девочку назвали в честь бабушки), которой едва исполнился год.

Хотя Петру Андреевичу как генералу с маршальской звездой было где провести отпуск со своей благоверной и Борису, Антонине и Машеньке тоже можно было подобрать что-нибудь подходящее на берегу реки или у моря (семейные дома отдыха и пансионаты были теперь не редкостью), но по настоянию генерала, которому порядком надоела, как он сказал, официальность, когда на всем готовом, и захотелось, как тут же добавил, тряхнуть стариной, то есть вспомнить молодость, когда он бегал по лугам и на речку и умел запрячь лошадь и поработать на конных граблях, — по настоянию генерала и с восторженным согласия Антонины, всегда бравшей сторону отца, решено было отправиться к сватам в деревню. Павлу послали письмо, перестаравшийся адъютант дал соответствующие телеграммы в обком и райком (на что генерал поморщился, но чем был доволен потом), и по-военному спланированная машина, как только были упакованы чемоданы, пришла в движение.

В Пензе на вокзале генерала с семьей встретили работники обкома. Женщин повезли отдохнуть с дороги, напоить чаем, а Петра Андреевича и Бориса (генерал не захотел отпускать его от себя и представил пензенцам как своего зятя, их земляка и дипломата) принял первый. Потом все пошли на встречу Петра Андреевича с активом обкома, которая была заранее запланирована, и Борис (его посадили рядом с тестем-генералом), привыкший к дипломатическим встречам и приемам, на которых он бывал в качестве переводчика, и видевший теперь другое, новое, что было не противоборством сторон, не выяснением обстоятельств и поиском ходов к взаимопониманию и договоренности, а разговором одинаково мысливших и с уважением относившихся друг к другу людей, — Борис был возбужден оказываемыми ему и тестю почестями. Он опять столкнулся с тем миром труда, который был хорошо знаком ему с детства; но мир этот в противоположность прежним, юношеским представлениям казался неохватным, исполненным достоинства, простоты и радушия. Он видел, что среди этих людей не нужно было употреблять слово «народ», чтобы в чем-либо убедить их; народом они были сами, были силой, которую чувствовал в них Борис; и вместо гордости собой у него начала появляться гордость — принадлежать к этому народу. «Мощь?! Вот она, мощь, о которой мы так любим говорить», — думал он. Рядом с тестем-генералом он сидел затем и на встрече с активом района, устроенной Петру Андреевичу, и на встрече с активистами колхоза в Сосняках, где тоже не пожелали отстать от обкомовского и районного руководства, и дома, когда за оставленным длинным, празднично-накрытым столом собралась почти вся Мокша.

Ни до, ни после мокшинцы не видели у себя в деревне подобного торжества и многие годы затем с уважением говорили о Лукьяновых. Павлу были выделены от колхоза на прием гостя продукты, чтобы «не ударить в грязь лицом», как сказал председатель; готовить и накрывать на стол помогали Екатерине соседки; из Сосняков на автобусе были привезены ветераны войны с орденами и медалями на пиджаках и рубашках; приехали и председатель колхоза, и секретарь

парткома, и агроном с женой, и директор школы, и привезены были даже пионеры из самодеятельности с баянистом, чтобы если уж показать известному генералу деревенскую жизнь, так широко, во всех ее проявлениях. Были и представители из области и района, и черные «Волги» их стояли у ворот Лукьяновского дома, со стороны улицы, рядом с колхозным автобусом и «газиком» председателя.

— Ну Катя, ну Катерина, всем взяла, а Борис-то, Борис, а невестка! — раздавалось и повторялось вокруг Екатерины, которая не то чтобы сразу будто помолодела на десяток лет, но была так счастливо взволнована, что каждую минуту готова была заплакать; вся ее долгая колхозная жизнь и жизнь большой семьей с Павлом, все, что помнилось и что было уже забыто из этой жизни, — все словно бы слось теперь для нее в одном этом торжестве, которое надо было пережить ей.

Неузнаваемым казался и Павел. Он тоже был при орденах и медалях (и при нашивках за равения, которых у него, как у танкиста, было больше, чем наград) и выглядел настолько прибодрившимся и оживленным, что нельзя было сказать, чтобы у него болели ноги. Он рад был свату и говорил всем о нем: «Наш, из простых, деревенский», помня московское гостеприимство Петра Андреевича и его беседу о деревенской жизни и жизни вообще. Павел хотел тем же гостеприимством ответить свату и сватье, не отходил от них и старался занять их своим разговором.

— Вот так вот и живем, — говорил он свату, когда гости только еще собирались и во дворе и доме шла та беспорядочная суета приготовления, за которой трудно бывает разглядеть что-либо.

— Хорошо живете, — весело отвечал Петр Андреевич, находившийся под впечатлением почестей, оказывавшихся ему. Он еще не успел присмотреться и радовался всему, что было для него новым (хорошо забытым старым, как он скажет потом Павлу) и вспоминало его.

Все были нарядны; особенно женщины — в пестрых с кистями платках на плечах, в кофтах с бусами и в по-деревенски просторных и тоже пестрых юбках. Молодых почти не было видно, но по жалбы, заполнившие смехом и говором Лукьяновский двор, были так оживлены и выглядели такими похорошевшими, что вполне, казалось, могли заменить молодых. Дочь Лукьяновых Татьяна, напоминая статью мать в молодости, как только увидела в розовых ползунках и со светлыми волосенками Машеньку, улыбнувшуюся ей, как только, взяв за руку, прошла с ней по комнате, уже ни на минуту не оставляла ее. Она освободила Антонину и возилась с ребенком, представляя, очевидно, себя молодой матерью; и ей так нравилась эта роль, что она вся как будто светилась счастьем и не хотела для себя в этот вечер другого. Тут же возле нее крутились и два ее племянника (Асины дети, все еще жившие у Павла) и соседские девочки, принесшие кукол. Девочкам хотелось поиграть с Машенькой, и Екатерина, не сумевшая сразу отказать им, весь вечер затем то и дело с беспокойством вбегала к ним. «Таня, Танечка, дети, осторожнее», — говорила она дочери. Петр, младший из Лукьяновских сыновей, только что получивший аттестат зрелости и не выбравший еще, куда пойти учиться, с завистью и тайной надеждой, что и у него, когда окончит вуз и женится, будет не хуже, смотрел на Бориса. Он краснел от этих своих мыслей, переносивших его с его юношеским максимализмом в будущее, и старался держаться как можно ближе к брату и к генералу, от которого не отводил глаз. Петр Андреевич был в парадном генеральском мундире с регалиями, сверкавшими на нем и привлекавшими внимание, и особенно удивляла всех орденовая планка, занимавшая половину груди.

— Орденов-то, орденов, страсть! — слышалось вокруг. — Теперь пойдет Борис.

— Что же не пойти, он и сам — и учен и виден.

— Как держится, как держится, — говорили другие.

Но Борис, как это казалось ему, держался свободно и ровно со всеми. Антонина была взволнована так же, как были взволнованы все. Ей передавалась сердечность людей, принимавших ее отца и ее с мужем, и прежде привычное (военные заслуги отца) виделось и звучало теперь для нее с новой значимостью.

Вечер был тихий, теплый, с реки и луга тянуло свежестью. Овсы, подходившие почти под самую деревню, зацветали, и удивлявший Сергея Ивановича запах зацветших овсов, когда он гостил у шурина, удивлял и бодрил теперь Петра Андреевича.

— Так вот он каков, Илья,— сказал генерал своим веселым и мягким баритоном, когда перед тем, как всех пригласить к столу, к нему подвели мокшинского бригадира Илью.— Так вот он каков, бог и отец ваш,— повторил он и обернулся на Павла, напоминая ему московский разговор об Илье.— Орден Славы? Не каждому,— переводя взгляд на этот орден, висевший на пиджаке мокшинского бригадира, добавил генерал.— В каких частях, на каких фронтах? — спросил он.— Старшина? По выправке вижу, старшина,— когда Илья назвал соединения и фронты, на которых воевал, произнес Петр Андреевич.— Старшина— это ось, на которой держится армия. И не только, как я понимаю, армия.— И он опять и многозначительно посмотрел на Павла и на всех, кто согласно кивал ему.

### XXXI

В этот год раньше обычного подошли травы, и пора было начинать косить их.

Хотя Павлу с его теперешним здоровьем трудно было управлять тракторной косилкой, но после просьб Илья (и, главное, потому, что он видел, что некем было заменить его) он вместе с привычным напарником Степаном Шейным, тоже не столь расторопным, как прежде, вывел свою с навесными ножами косилку на луг. Он опять чуть свет уходил из дому и возвращался потемну, когда во дворах зажигались огни и начинали дымить по деревне летние печи. Екатерина, освобожденная от колхозных работ, была вся в домашних хлопотах. Кроме коровы, поросенка, кур, то есть кроме хозяйства, за которым надо было следить, и кроме Асиных сыновей, требовавших внимания, и своих сына и дочери, хотя и взрослых, но остававшихся для нее детьми, на руках у нее оказались теперь и внучка Машенька и сваха Мария Дмитриевна, не умевшая ничем занять себя. Молодые убежали на речку, в лес и, возвращаясь веселыми, проголодавшимися, сейчас же с шумом садились за стол; они были упоены своей свободой, наслаждались ею, и им было не до родительских забот. Екатерина как могла развлекала Марию Дмитриевну, чтобы та не скучала, то прося ее покормить кур, что для сватки было уже работой, то собрать в курятнике из гнезд еще теплые яйца, что в первое время особенно было в удовольствие генеральше, восхищавшейся простотой деревенской жизни; ей неприятен был только запах в курятнике и в хлеву, но она терпела. Петр Андреевич, как в свое время отставной полковник Коростелев, сходяв раз с Павлом на сенокос, уже не мог затем не ходить с ним. Как и Сергей Иванович когда-то, генерал вдруг словно бы заново открыл для себя удивительный и неповторимый мир крестьянского труда. В душе его словно бы пробудились инстинкты, притягивавшие человека к земле и называемые теперь нравственной связью, и он не то чтобы не хотел, но не мог видеть (в этом крестьянском труде) ничего иного кроме красоты и одухотворенности. Он смотрел на все как горожанин, вдруг обнаруживший, что кроме тесного мира домов и улиц есть еще мир лугов, полей, простора и солнца, в котором живут люди. Как и Сергей Иванович, он пил на лугу молоко, остуженное Павлом или Степаном в роднике, лежал на спине под сосной, разбросав на траве руки и ноги и вглядываясь в голубизну неба; ладони его, как и у свата, покрылись сухими мозолями, рубашка пропиталась сеном

и потом; пройдя через овсы и распрощавшись на краю деревни со Степаном, он затем вместе со сватом обливался водой до пояса и садился за стол.

Спал Петр Андреевич на сеновале, и рассуждения его о деревне были если не одинаковыми, то во многом похожими на рассуждения Сергея Ивановича.

— Нет, простая жизнь удивительно хороша,— говорил генерал.— Человек очищается в ней. Я не поверил бы, если бы мне сказали другие, но я вижу, я чувствую по себе. Мы подсчитали все, что принесла нам цивилизация, но даже сотой доли не знаем того, что эта цивилизация отобрала у нас. Да, да, отобрала: у человека, у человечества,— говорил он на многозначительные улыбки Павла.

Прикоснувшись к деревенской жизни лишь с той стороны, с которой она действительно была привлекательной, Петр Андреевич не то чтобы не хотел, но не мог (в силу именно тих своих обстоятельств) вникнуть в существо проблем, стоявших перед деревней. Он видел, что поля вспаханы, хлеба растут, луга выкашиваются и скот, который должен пастись, тоже пасется где-то, откуда вечером пригоняется в деревню, что люди сыты, обуты, одеты и что все, что нужно для жизни, у деревенского человека есть. «Что же еще мы хотим для него?»— спрашивал он. Того, что мало было молодежи, что работали одни пожилые люди, что избы были старые, довоенных еще времен, что инвентарь и машины на бригадном дворе стояли под открытым небом, Петр Андреевич не замечал из-за своего восторженного восприятия крестьянского труда. Он смотрел на деревню тем традиционным и ошибочным взглядом, когда считалось, что если у колхозника есть машина, телевизор и холодильник, то о каких проблемах может идти речь? «Он обеспечен, чего же мы хотим еще?» Но проблема, как она возникла теперь, заключалась не в том, чтобы только обеспечить деревенского человека; надо было в достатке обеспечить страну хлебом, молоком и мясом, то есть кормить народ, и к деревне и деревенскому человеку предъявлялись иные требования.

Петр Андреевич вернулся в Москву с тем твердым убеждением, что если деревня и нуждается в чем-то, так только в том, чтобы перестали говорить о ней.

— Вздор, надуманно все,— войдя в ритм своей московской жизни, отвечал он теперь на разговоры о деревне. Он отрицал то, чего не увидел в деревне, но что продолжало занимать общественность.

### Часть третья

#### 1

К середине семидесятых годов отток людей из русской деревни продолжался (несмотря на то, что ей помогали теперь как будто все), и в марте 1974 года правительством было принято постановление о развитии Нечерноземной зоны России. Некоторые склонны были тогда считать, что на принятие его во многом повлияло общественное мнение, сформировавшееся к тому времени, или, говоря иначе, созданное вокруг деревенских проблем. Но такое утверждение представляется спорным потому, что общественное мнение тогда было неоднородным и не всегда можно было услышать голоса тех, кто действительно заботился о переустройстве сельского хозяйства. Голоса же других, кто по некомпетентности или из иных каких соображений, не всегда поддающихся объяснению, не помогал, а только мешал делу, звучами громко, рассерженно. Они были объединены как будто в один хор. Но вместе с тем их можно было разделить на три направления, суть которых заключалась: первое — в опозтизации прошлого, что выглядело столь же благородно, сколь и неверно, потому что опозтизировать (из нашего крепостнического прошлого) можно только извечный труд

крестьянина, но не социальные или отдельно взятые нравственные (что, впрочем, неотделимо одно от другого) условия жизни; второе — в обращении к идеям народничества, к нравственным исканиям народных демократов, что было вроде бы перспективным — почему бы и не обратиться к тем исканиям, хотя тома книг написаны уже о них? — но с точки зрения некоей параллели между тем и нынешним временем, о которой предпочиталось не говорить, но которая как раз и лежала в основе этого вдруг будто бы вспыхнувшего нового интереса к идеям народничества, было делом более чем сомнительным; третье — в обращении к тем забытым будто бы личностям русской истории, высказывания которых, казалось, были созвучны (по понятиям, разумеется, тех, кто к ним обращался) с тенденциями наступающего десятилетия.

Но общественное мнение, к которому должны были прислушаться люди, принимавшие постановление о развитии Нечерноземной зоны России, было иным и опиралось на действительное положение дел в деревне, для уяснения которых вовсе не нужно было ни опозитизировать прошлое, ни обращаться к идеям народничества, что вызывало только недоумение; все это лишь отвлекало и не приносило пользы, а пользой могло быть и было только прямое обращение к трудовой жизни народа, которая оставалась, в сущности, неизученной, и никто не мог с определенностью сказать, почему у деревенского человека вдруг начал исчезать интерес к обработке земли. На бумаге все как будто выходило правильно, деревня насыщалась техникой, ей выделялись средства для капиталовложений, но отдачи от этого, той, что планировалась, не было, и создавалось впечатление, будто трактор, выведенный на дорогу и не должный буксовать на ней, то и дело проворачивал колеса. Трактор ли был причиной, или причиной была дорога, по которой хотели пустить его, было неясно. Когда рассматривали отдельно трактор, он удовлетворял вроде бы всем современным требованиям; когда рассматривали отдельно дорогу, она представлялась твердой и гладкой; вопрос кадров тоже был как будто решен, и тракторист, сидевший за рулем, был хорошо технически подготовлен, но всякая попытка движения опять и опять наталкивалась на какие-то невидимые упоры, которые тормозили дело.

Сразу после принятия постановления в Москве создавалось несколько новых ведомств для обслуживания Нечерноземья, и в одно из них на ответственную руководящую должность был приглашен работник одного из обкомов Герасим Николаевич Комлев. Пришедший в свое время в обком из района и знавший, как говорили о нем, колхозное дело от самых его корней, он был тем пятидесятилетним специалистом, сторонником перемен, готовым взяться за новое, каких выдвигалось тогда немало в разных сферах общественной и государственной жизни. Комлев собирался решать продовольственный вопрос, о котором (как подступиться к нему) думал не только он, но о котором он, как ему казалось, думал иначе, чем остальные. Он исходил из опыта работы в колхозе, райкоме и обкоме, который прямо говорил ему, что все испробованные методы в рамках общепринятого принципа хозяйствования давали лишь временные результаты, тогда как и ему и всем хотелось, чтобы и здесь, как и в других отраслях, стабилизировалось дело. «Суть крестьянского труда состоит не в том, чтобы говорить о нем», — всякий раз упрекал он себя после очередного актива или совещания. Но то, что он мог противопоставить разговорам, было только смутное сознание ограничений, в которые будто бы был поставлен не столько он, сколько все сельское хозяйство; и по этому осознанию ограничений и неэффективности усилий он постепенно начал приходить к выводу, что нежелание многих оставаться в деревне (русской деревне) есть результат каких-то скрытых пока от взгляда процессов, которые, сколько теперь ни вкладывай в деревню, развивались по своим и не всегда поддававшимся управлению за-

конам. Когда он, приезжая в колхозы, принимался беседовать с людьми, он чувствовал, что они отвечали каким-то будто ~~равнодушным~~, словно наперед знали, что ничего путного из ~~предложения~~ не может выйти.

Как и многие подобные ему, Комлев долго и ~~ошибочно~~ полагал, что все беды в сельском хозяйстве происходят от сжывания инициативы и что: «Неужели там, наверху, не понимают этого?» Но перебравшись в Москву, приняв дела и осмотревшись, он с удивлением увидел, что главным сдерживающим началом всякой инициативы были не столица, не центр, а те многочисленные ступенчатые инстанции, в которых, как в очистительных сооружениях, поставленных будто бы для очистки истинного от ложного, инициативы государственной от личной, застревало все то живое, что могло дать ростки. Он увидел, что большинство из тех людей ~~районного~~ и ~~областного~~ звена, кто руководит делом, не внедряют новшества не потому, что не понимают пользы их, а потому, что привычнее, легче и спокойнее не менять ничего. Это не могло не изумить его и не позвать к деятельности, и записка Лукина о зеленолужском эксперименте, попавшаяся ему среди других документов, не получивших в свое время хода, оказалась зерном, упавшим на подготовленную почву. Зерно сейчас же дало всходы. Идея посемейного (звеньевого) закрепления земель, то есть передачи ее в те одни руки, которые обрабатывали бы и обихаживали ее, вдруг как бы открыла перед ним те двери, которые он давно искал, чтобы открыть. Мечта получала материальное воплощение, и хотя Орловская область не входила в состав ~~Нечерноземья~~, но эксперимент был настолько интересен, настолько ~~значительно~~ и важно было само дело, за которое ему ли, другому ли, но кому-то все же придется когда-то взяться, чтобы с хлебом, молоком и мясом был варод, что он в согласии со своим крестьянским еще пониманием разумности разумного и бессмысленности бессмысленного, не утраченным за годы аппаратной службы, сходил к начальству, которое следовало убедить в целесообразности поездки, позвонил в Орел и Мценск и предупредил о своем намерении приехать к ним и спустя неделю уже сидел в поезде полный надежд и предчувствия открытий, должных во многом, как ему казалось, изменить ход деревенской жизни.

## II

Всякое встретившееся на пути препятствие непременно вызывает желание преодолеть его, и у человека вдруг и будто из ничего возникает энергия деятельности. Но как только препятствие преодолено, как только исчезает, говоря иначе, возбудитель энергии, исчезает и сама энергия, которую не к чему приложить, и остается лишь воспоминание о ней. Пока был жив Сухогрудов, он был для Лукина тем препятствием, которое постоянно надо было преодолевать. Он как бы соединял в себе то осужденное прошлое, которое неприемлемо было Лукину в его партийной работе. Но когда старик умер и о деятельности его уже не вспоминали, жизнь не то чтобы сейчас же стабилизировалась для Лукина (райкомовские дела всегда требуют определенных усилий), но постепенно он перестал замечать в ней прежде раздражавшие его несоответствия, которые так горячо брался устранять. Он проводил бюро, собирал пленумы и активы точно так же, как собирали их в свое время Сухогрудов и Воскобойников, и так же, как они, намечал выступающих, заботясь о том, чтобы никто никакого ущерба престижу района не нанес. Из государственных, разумеется, соображений он корректировал планы, составлявшиеся на местах, сам намечал сроки сева или уборки, искренне полагая, что если этого не будет сделано им, то сорвется дело, и одобрял или отменял инициативы, в суть которых не всегда удавалось вникнуть ему.



Он выезжал в хозяйства, беседовал с людьми, высказывая им те общеизвестные истины, над которыми не надо было думать, и привыкал к своей работе так же, как привыкает новый хозяин к обжитому до него дому. Передвинув в день вселения от одной стены к другой несколько стульев, потеснив шкаф и стол к углу и освободив таким образом проход к окну, то есть изменив по своему вкусу обстановку, которая с первого взгляда не понравилась ему, он затем начинает жить с теми же стульями, столом, шкафом и другими приспособленными к этому жилищу предметами, не замечая ни того, что все вокруг постепенно перебирается на свои места, ни того, что и сам он среди этих предметов становится похожим на их прежних владельцев.

Разговоры об утраченном чувстве хозяина все меньше теперь занимали Лукина. Во-первых, он не находил для этого времени, и, во-вторых, никто не возражал ему. Жизнь в районе шла той же чередой, как она шла всегда, но только во главе этой жизни стоял, как это казалось ему, он, Лукин, и уже поэтому она была лучше, чем прежде; во всяком случае, он так думал и был спокоен и уверен в том, что делал. Так как для его семьи не существовало продовольственного вопроса, не существовало ни вопроса транспорта, ни иных, именуемых мелочными, житейскими, вопросов, из которых как раз и складывается жизнь, и в силу обстоятельств, поднявших его как бы на ступень выше в общественном положении, ему казалось, что и общая жизнь людей точно так же поднялась вместе с ним на ступень и нельзя было быть недовольным ею. Он уже не считал возможным пройти пешком до райкома, как делал прежде, лицо его заметно округлилось, и во всей фигуре, прежде молодежавой, щегольской, проступила полнота. Его уважительно называли «наш первый», он умел хорошо выступить на пленумах обкома, и по этим выступлениям, говорившим будто бы о благополучии дел в районе, о нем судили как о работнике перспективном и готовили на повышение. Лукин знал об этом, и это лишь усиливало в нем чувство непогрешимости, с каким он приступал теперь ко всякому (по проторенному кругу) делу.

Семейная жизнь его, казалось, текла еще спокойнее, чем служебная. После встречи с Галиной на похоронах Арсения и связи с ней, когда, словно забыв, что ему надо возвращаться в Мценск к делам и семье, он почти неделю жил у нее в московской квартире (дни те промелькнули как один большой день любви с разговором, объятиями и постелью); после этого своего нового безумия, которого еще более не мог простить себе: и за то, что вновь оказался в грязи перед Зиной и дочерьми, перед которыми у него были обязанности, и за то, что не передал тогда записку об эксперименте в инстанции, а привез с собой и уже из Мценска (и без надежды на успех) послал в Москву,— он постоянно теперь держал застегнутым свой душевный мундир. Он уехал от Галины, не простившись, лишь написав, что «обстоятельства выше нас», что он вынужден покинуть ее и просит никогда больше не искать встречи с ним. Но страх перед тем, что она со своей непредсказуемостью поступков могла появиться в Мценске, прийти в райком и устроить скандал,— страх этот, скрываемый от других и мешавший Лукину работать, долгое время преследовал его. Иногда вдруг среди работы ему начинало казаться, что она сидит в приемной и ждет, и он, удивляя помощника забывчивостью, по несколько раз спрашивал, нет ли еще кого в приемной. Он боялся, что все откроется и его отстранят от должности, и был благодарен Галине, что она не приезжала и не писала. Но вместе с тем он чувствовал, что было скрыто за этим ее молчанием. «Она не может простить»,— думал он, и его начинало мучить раскаяние, которое еще труднее было переносить. Но постепенно приглушилось и это чувство, Лукин успокоился и так же рассудительно и ровно, как держался на работе, стал держаться и дома, присматриваясь к жизни дочерей и жены. Ему вновь захотелось

понять Зину. Но сколько он ни присматривался к ней, замечал только, что она как будто не старела и не менялась ни лицом, ни характером; то, что было в ней в молодости, было и теперь так же подчеркнуто и ясно. «Да, я учительница и должна подавать пример»,— говорило в ней все: и ее классическая, как ей казалось, прическа, когда улиткой скручивались и укладывались на затылке волосы, прежде заплетенные в косу, и платья, сшитые со строгостью, словно ничего яркого нельзя было надеть ей, и ее манера — накинув на плечи шаль, пройти к комнате перед мужем. Он знал, что она не играла в так называемое возрождение традиций, а все, что делала, было ее убеждением, было — той ковровой дорожкой, по которой, раз ступив на нее, шла по жизни; но он не мог полюбить в ней это, как и в дочерях, которых она растила и воспитывала по своему подобию.

Когда старшей, Вере, исполнилось шестнадцать (меньшая, Люба, была на полтора года моложе ее), Зинаида решила, что пора было начинать приобщать дочерей к высоким идеалам классического искусства. Это означало на простом и понятном Лукину языке, что во время зимних каникул их надо было свозить в Москву и устроить так, чтобы они попали в Большой театр на оперу. Сделать это было непросто, надо было ехать самому, и поездка эта затем надолго сохранилась в памяти Лукина.

### III

В первых числах января, сразу же после новогоднего праздника, проведенного по традиции дома, Лукины всем семейством приехали в Москву.

Как это часто случается с людьми занятыми, уже определившись в гостинице, уже сводив дочерей на Красную площадь и к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены, Лукин все еще не мог до конца отключиться от своих райкомовских дел и после обеда (обедали в ресторане при гостинице), оставив своих собираться в театр, поехал к Воскобойникову, работавшему теперь на Старой площади. Он просидел у Воскобойникова почти до шести и, довольный встречей и разговором, в седьмом часу вечера вернулся в гостиницу, где Зина и дочери, готовые к выходу, дожидались его.

— Ну вот и я,— сказал он, открывая дверь и входя в номер и задерживаясь у порога от того впечатления, какое Зина и дочери нарядами произвели на него.

Он впервые увидел их не в домашней обстановке, не в обычных платьях, в каких привык видеть их. Все не только на них и вокруг них, то есть обстановка люксового номера с двумя спальнями, холлом и кабинетом, который он занимал с семьей, но и в них самих было как будто другое, чего он не замечал прежде и что светилось теперь в их глазах, лежало на лицах и на всем, на что только он ни переводил взгляд. Он впервые как будто увидел, что у него красавица жена и красивые дочери, совсем не похожие на тех, которых он знал; и он удивленно от порога продолжал рассматривать их. Ему не приходило в голову подумать, было ли провинциально или по-столичному хорошо то, что на них; то, что было на них, было необыкновенно, и чтобы только увидеть их такими, стоило приехать сюда. Он смотрел то на Зину, стоявшую позади дочерей, то на Любу и Веру, которые в разных, но делавших их одинаково привлекательными платьях готовы были с радостью броситься к отцу. Он почувствовал это и невольно распахнул руки, чтобы подхватить дочерей, но они не бросились, а подошли, и он, слегка обняв их, погладил по головкам. И в то время как он обнимал их, заметил на шее у Веры ниточку жемчуга. Ниточка была к платью; была тем непременно украшением (что особенно понимала Зина), без которого все сейчас же потускнело бы на Вере. Но ниточка эта была знакома Лукину тем, что он видел ее на Зине.

ной сестре, Насте, к которой у него по-прежнему было недоброжелательное отношение. На мгновение почувствовав, словно порочное, что он осуждал в Насте, вместе с ниточкой жемчуга могло перейти на дочь, он молчаливо воскликнул: «Как?! Это еще что?!» — одновременно обращаясь и к себе, и к жене, и к не понимавшей ничего Вере. «Ты можешь объяснить?» — затем так же молчаливо спросил Зину. Но взгляд ее был так сжоген, так доверительно сказал ему, что дурного тут нет, и что: «Посмотри, как они прекрасно выглядят» — и что: «Да, да, они вырастают, и им требуется то, что всем требуется в их возрасте», что Лукин не мог не признать справедливости такого объяснения и, улыбаясь и жестом давая понять, что согласен и одобряет все (и вслух говоря: «Пора, пора!»), пошел переодеть рубашку и галстук, приготовленные ему Зиной и висевшие на спинке стула.

Спустя четверть часа, пройдя пешком от гостиницы «Москва» через переход к Большому театру, они подавали гардеробщице свои с капельками оттаявшего снега меховые шапки и шубы (из недорогого на девочках козлиного меха), бывшие в моде тогда.

Шла в этот вечер опера «Евгений Онегин», как раз та классика, к которой так хотелось Зинаиде приобщить своих дочерей. Но у Лукина эта классика не вызывала интереса, и потому впечатление, какое он вынес из театра, было — не от оперы и голоса Атлантова, от которого все, как он заметил, включая Зину и дочерей, были в восторге. В гардеробной он был недоволен тем, что было много народу. Лукины пришли в то время, когда ранний зритель уже рассаживался в бельэтаже и на балконах, поздний еще только подходил к театру, а вся основная масса публики, сойдясь одновременно в тесных проходах, суетилась, толкалась и создавала неудобства. Ему неприятна была театральная роскошь, которая открывалась перед ним по мере того, как он вслед за женой и дочерьми поднимался по ступенькам в фойе. Для Зины и дочерей это было великолепием, для него — средой, к которой надо было еще привыкнуть. Он не понимал музыки, как он говорил о себе, и потому ожидание, пока поднимется занавес, было для него — не ожиданием наслаждения, когда, очутившись в мире, очищенном от житейских страстей, начинаешь как бы материально ощущать возможности добра и любви, а было — минутами размышлений над жизнью. Ему не понравилось и в буфете, куда они пошли в перерыве выпить кофе и купить сладостей. «Как одеты и как суетятся», — думал он, отвыкший бывать в праздной толпе, которая не знала, кто он, и не расступалась перед ним. Но особенно испортилось у него настроение после того, как ему показалось, что он увидел среди гулявшей по фойе публики Галину. Ее в театре не было. Она давно уже не ходила по театрам, и Лукин увидел не ее, а лишь похожую (со спины) на нее женщину со светлыми волосами. Но чувство, какое испытал при этом, и страх, что Галина вдруг обернется и заговорит с ним и надо будет что-то ответить ей, а потом объясняться с женой, то есть унижаться и врать, что не было у него ничего с Галиной, — страх этот заставил наклониться, словно ему жали туфли. В следующем перерыве он уже не вышел в фойе, сказав, что устал, а в гардеробной, когда подавал шубы жене и дочерям, был так суетлив и неловок, что вызвал недоумение у Зины.

— Ты что? — спросила она, внимательно посмотрев на него.

— Ничего. Просто ты же знаешь, какой из меня театрал, — ответил он, чтобы успокоить ее.

Только на улице, когда все, что было в театре, было позади, Лукин смог вернуться к тому настроению, с каким он, застав нарядными жену и дочерей в номере гостиницы, отправился с ними в оперу. По-прежнему было не очень морозно, валил снег, и все вокруг было так бело и красиво (особенно после искусственной красоты театра), что нельзя было не остановиться хоть на минуту и не посмотреть на

эту притягивающую красоту ночного, в огнях и засыпаемого снегом города. Большинство выходящих из театра направлялось через площадь к метро, и плечи, шапки и спины их сейчас же покрывались снегом. Снег закручивался возле столбов, налипал на провода, ветки, на подоконники и фронтоны зданий и укутывал своей холодной безликой огромной цельногранитной памятником Карлу Марксу, подсвеченный из-под снега прожекторами.

Прищуренно посмотрев на памятник, на деревья, машинально поправив на себе шарф из боязни простудить грудь (он привык к теплу, к машине и был чувствителен теперь к холоду) и сказав затем дочерям, чтобы направлялись вперед, он взял под руку Зину и вместе с нею, придерживаясь обочины потока, двинулся к гостинице. Девочки сейчас же заговорили между собой. Они были радостно возбуждены и не могли скрыть этого. Но Лукину не хотелось говорить, как не хотелось, он видел, этого и Зине, и они пошли молча, как будто решив продлить удовольствие, полученное в театре. Но в то время как Лукину не хотелось говорить потому, что мысли его, он чувствовал, были разбросаны и он не прилагал усилий, чтобы собрать их; в то время как он, сделавший привычкой говорить на работе и молчать дома, не испытывал неловкости в том, что не находил о чем поговорить с женой,— Зине представлялось, что он не начинал потому, что любое слово могло теперь только разрушить то возвышенное, что ею и им, как она думала, было вынесено из театра. Ей казалось, что как будто с души ее были соскоблены налипшие (как на днище парохода во время длительного плавания) ракушки повседневного быта, за которыми сохранилась первозданная красота. «Как хорошо, что я поняла это. И это можно понять только в театре»,— думала она, перенося открытие свое (свое обновленное чувство к мужу) на жизнь вообще, на всех семейных людей, которые оставались еще в неведении, и жалея их. Она, в сущности, решала для себя тот считавшийся ею решенным вопрос ее отношений с мужем, который, уладившись во внешних проявлениях, должен был улادиться в душе. Она то и дело прижимала локтем руку мужа к себе, словно хотела сказать, указывая на дочерей: «Посмотри, посмотри, как выросли»— и он, никогда не понимавший ее, как он не понимал ее теперь, тем же молчаливым знаком отвечал ей.

Ни в Мценске, ни здесь, в Москве, перед Лукиным, как ему казалось, не стояли вопросы, которые бы так, как Зине, надо было решать ему. Свыкшийся со своим положением в районе и не помышляя уже об обновлениях и переменах, он не мог не признать и того, что жизнь его с Зинаидой есть объективная необходимость и что потому — надо смириться и жить. «Что у других — это их дело, а что у меня — это мое»,— говорил он, не позволяя себе даже в рассуждениях приблизиться к той полосе, за которой лежали воспоминания о его связи с Галиной. Сегодняшний вечер был для него уже закончен, как закончен был весь первый день пребывания в Москве, и все, что он вынес из этого пребывания, было пока лишь беспокойство, охватившее его в театре. Жизнь в Мценске была проста, близка и понятна ему, а здесь, в Москве (хотя не прошло еще суток), что-то как будто начинало неприятно обступать его. «Что? Галина?»— думал он, оборачиваясь на жену, в которой он почувствовал сегодня нечто такое, что он любил в Галине; и он уже в знак этого своего чувства к ней пожимал ее локоть.

## IV

— Господи, неисправим, везде в своем репертуаре,— сказала Зина, когда, сняв шубу и шарф, вошла вслед за мужем и дочерьми в номер гостиницы, ярко освещенный электрическим светом.— Дома утавал, ладно, я понимала, но здесь? Мы же на отдыхе,— добавила она,

подходя к зеркалу, ладонями поправляя волосы и косясь на платье, в котором, она знала, была хороша (и в то же время замечая отраженную в зеркале фигуру мужа, стоявшего к ней спиной).

Лукин, приготовившийся было сесть в кресло, удивленно повернулся к ней. Прежде Зина никогда не упрекала его в этом, и он хотел возразить ей — теми общими фразами, каких всегда и на любой случай имелось достаточно у него, но увидев теперь вновь при ярком свете Зину в ее необычном наряде, вернее, даже не столько увидев, сколько почувствовав, что было в ней что-то от Галины, что нравилось ему, он вместо ответа лишь с большим удивлением принялся смотреть на нее. Волосы ее привычно были забраны вверх и уложены на затылке, уши и шея открыты; но это привычное в сочетании с платьем, сережками с бриллиантовыми глазками, впервые надетыми ею на свадьбе и затем так редко носившимися, что Лукин забыл про них, в сочетании, главное, с тем душевным пробуждением, с каким она вышла из театра (и которое одно только могло так преобразить ее), — привычное на ней представлялось непривычным и по-новому открывало ее Лукину. На ней было прямое, широкое, со сборками у кокетки платье из тяжелого золотистого шелка (того упрощенного как будто покроя, какой входил теперь в моду); платье было подпоясано узким поясом с позолоченной пряжкой и клепками, а вокруг шеи светилось золотое кольцо. И кольцо, и пояс, и платье — все могло смотреться по отдельности; но Лукин, на которого производили впечатления не детали, а сочетание их, — Лукин как будто не мог поверить, чтобы эта женщина была Зиной и была его женой.

— Ты сегодня такая красивая, — сказал он, не отрывая от нее глаз. — Я никогда не думал, что у меня такая красивая жена. — И в то время как она со счастливым и покрасневшим, словно ей совестно было быть счастливой, лицом повернулась к нему, он взял ее за плечи и, притянув, стал целовать в те места, куда попадал губами.

— Ты что, ты что! — еще более краснея и кивая на дочерей, воскликнула она, как только он отпустил ее.

— А что дочери? А ну, Верунчик, Любушка. — И Лукин, подхватив их, весело и едва удерживаясь от непривычной тяжести, закрутил их перед матерью.

— Платья, платья... сумасшедшие... Ваня, Люба, Верочка, жемчуг! — боясь за платья, в которых еще не один вечер надо было им быть здесь, за ниточку жемчуга на Вере, которая была Настинной и могла в любую минуту, порвавшись, рассыпаться, за мужа, побагровевшего от прилива крови, торопливо заговорила Зина, любясь тем, что она хотела остановить.

Лукин, отпустив дочерей, покрасневшихся, счастливых, сейчас же принявшихся одергивать платья на себе, сел в кресло и начал вытирать платком вспотевшие лоб и шею. «Тяжелы. Невесты!» — подумал он, все еще чувствуя тяжесть их, радуясь, что покружил их, что так удачно вышел из затруднительного положения, в каком оказался перед ними и Зиной, и радуясь всему, что происходило. И хотя происходило только то, что бывает естественно для любой счастливой семьи (и что есть — выражение любви), Лукину казалось, что он как будто вступал в новую, прежде недоступную ему полосу жизни. «Но что же мешало, почему?» — вдруг прямо и просто спросил он себя; и пока искал ответ на этот вопрос, невольно опять посмотрел на Зину. Он видел, что Зина была другой; была как будто стройней и моложе в золотившемся на ней платье, и он не мог понять, заключалось ли все в платье, то есть во внешнем, что производило впечатление, или в душевных переменах, происшедших с женой, к которым она шла долго, трудно, преодолевая сковывавшие ее условности жизни, восприимчивые еще от старой школьной учительницы (директрисы, в доме которой он как раз и встретил ее). Условности, призывавшие будто к порядочности и привлекательные с виду, вместе с тем заключали в

себе страшный обман, который делает людей несчастливими (и который, открывшись теперь Зине, так изменил ее). Она была неузнаваема не только для мужа и дочерей, еще более почувствовавших перемену в настроении матери и полагавших, что все от приезда в Москву и театра, но она была неузнаваема для себя и с удивлением замечала, что все прежде осуждавшиеся ею приемы кокетства не только не казались осудительными, но — ей доставляло удовольствие быть такой, какой она была сейчас, словно, просидев несколько часов со связанными назад руками, она свободно размахивала теперь ими перед собой.

Но вместе с тем как она продолжала испытывать это чувство освобождения, говорившее ей, что такой она нравилась мужу больше, чем прежней, и что прежней она уже никогда не сможет быть; вместе с тем как Лукин и дочери продолжали находиться в том же состоянии возбужденной приподнятости от удивления перед самой возможностью подобной расслабленности и доброты, — каждый принялся делать то, что никак не совмещалось будто бы с его настроением. Зина, сняв сапоги, которые были новыми и сдавливали ноги, и не желая еще расставаться с платьем, в котором она так легко чувствовала себя, сев на стул и не снимая чулок, принялась потирать ладонями пальцы ног, и выражение счастья на ее лице, казалось, происходило от этого физического удовлетворения. Дочери, переодевшись в батники и в обтягивавшие их худенькие фигурки брюки, толклись возле холодильника; достав из него заранее поставленный туда вишневым сок, они разлили его по рюмкам, и вся веселость их была как будто от этого вишневого сока, который они принялись пить. Лукин смотрел то на жену, то на дочерей, на которых еще приятнее было смотреть ему, и чувство обновленности, словно и в самом деле с этого часа начиналась для него новая полоса жизни (полоса в семейных отношениях), — чувство это продолжало волновать его. Ему было хорошо, и он не хотел разбирать, отчего было хорошо: оттого ли, что он привез всех сюда, или лишь оттого, что Зина надела необыкновенное платье? Все представлялось ему случайностью, представлялось тем счастливым совпадением, когда надо было не думать, а лишь радоваться тому, что произошло. Дверь, которая долгие годы была заперта и в которую он, потеряв ключ, не мог войти, дверь эта теперь как бы сама собой распахнулась, и то, что он полагал найти за ней (то есть теплоту семейных отношений), было в полной мере доступно ему.

Было около двенадцати ночи, но, не поделившись впечатлениями, всем казалось, нельзя было ложиться спать. Все расселись вокруг журнального столика. Вишневый сок, налитый по второму разу Верой и Любой, был выпит, и пустые рюмки стояли перед ними. Зина сидела в халате, и золотистое платье ее, расправленное, висело на спинке стула, но она держалась так, будто была в нем, и продолжала удивлять и радовать Лукина. Он больше слушал мнение дочерей об игре артистов и не высказывал своего, которого, впрочем, у него не было. Когда говорили Вера и Люба (большей частью они говорили одновременно), он поворачивался к ним и смотрел на них; когда говорила Зина, которая восторгалась не всем, а только тем, что действительно, казалось ей, заслуживало восторга, поворачивался и смотрел на нее; он был согласен и с тем, что Атлантов игрой и голосом — выше похвал (хотя и не понимал, как может быть «выше похвал» то, что было всего лишь игрой, а не жизнью), и с тем, что Большой театр вообще — прекрасен и что Москва, которой они, по существу, еще не видели как следует, великолепна.

— Разумеется, столица, — подтвердил Лукин. — Но хотя и столица, а поспать надо, — добавил он, говоря как будто всем, но глядя на дочерей. — Целая неделя впереди, еще успеем наговориться и насмотреться. — И, поднявшись и потянувшись, несколько раз прошелся по комнате.

## V

Несмотря на то, что Лукины в первый день были после поезда, после суетливых сборов в театр, театра и разговоров о нем; несмотря на поздний час, когда легли, и на то, что долго еще потом разговаривали в постелях: девочки об Атлантове, а Зина с мужем о дочерях, которым, как они полагали, нужна и полезна была поездка в Москву, — на следующее утро все встали рано и были, казалось, в том же веселом настроении, будто прожитые накануне день и вечер еще продолжались для них. Но в то время как Зине и дочерям Москва представлялась лишь местом получения удовольствий и главным волнением их было ожидание этих удовольствий, то есть прогулок по Красной площади и хождений в ГУМ и в Большой театр, для Лукина, как ни старался он поделаться под общее настроение семьи и не думать о Галине и Юрии, похороненном здесь, все осложнялось воспоминаниями о них. Воспоминания эти были — как лишний вагон, не позволяющий поезду сдвинуться с места. Вагон надо было отцепить, и отцепить его можно было только — поговорив с Галиной или сходяв в колумбарий, где в нише была захоронена урна с пеплом сына. Первое, Лукин понимал, было невозможно. Невозможно было особенно после того, как он по-новому узнал теперь Зину и относился к ней. Ему не только не хотелось терять этого нового чувства к семье, но не хотелось даже думать, чтобы подобное могло случиться с ним. «Галина? Исключено», — решительно заявил он себе, когда одетый и причесанный стоял у окна, ожидая, пока все соберутся к завтраку, и когда беспричинно будто, из ничего, мысль эта — поговорить с Галиной — пришла ему. Ему неприятно было теперь за то смущение, какое испытал он, увидев (как это показалось ему) вчера в театре Галину, и беспокойство, охватившее, когда уже возвращались в гостиницу, он знал теперь, было не чем-то непонятным, начавшим обступать его здесь, в Москве, а прошлым, с которым многое еще связывало его. «Отцепить, порвать, покончить наконец, — думал он, прислушиваясь вместе с тем к голосам жены и дочерей, все еще собиравшихся к завтраку. — Они не знают и не должны знать. Пусть хоть они будут счастливы». И все усилие Лукина с этой минуты было направлено на то, чтобы ни Зина, ни дочери не заметили того напряжения, какое он чувствовал.

Завтракали в буфете, на этаже, потом оделись и вышли на улицу. Всякое новое место, на которое смотрит человек, невольно вызывает желание сравнить его с тем, что окружает его дома. Сравнить Москву с Мценском было нельзя. Нельзя было, казалось, найти даже хоть что-либо (здесь, в центральной части), что напомнило бы о Мценске. Но внимание Лукиных, как только они, обогнув гостиницу, оказались перед Манежной площадью, переименованной теперь в площадь имени Пятидесятилетия Октября, как только увидели вороха сгребавшегося снега, нападавшего за ночь, заиндевелые провода, колонны, прутья оград Александровского сада и здания ломоносовского университета; увидели опущенные снегом деревья, крыши домов, зубчатую стену Кремля, башни, все то, уже знакомое им, что вчера, когда они вышли гулять, выглядело при пасмурном небе неприветливо и мрачно, а теперь было словно подновлено морозцем и солнцем и оживлено движением (как обычно после воскресенья), — внимание Лукиных привлекло прежде всего не то, что отличало Москву и было неповторимым в ней, а другое, что было одинаковым с их родным Мценском. Одинаковым же было — обилие снега, мороз, вид самого утра, сейчас же напомнившего о таких же ясных морозных утрах в Мценске, что лишь сильнее вызывало в них чувство родственной близости, какое охватывает всякого русского человека при виде Москвы. Зина стояла позади дочерей, Лукин — чуть позади Зины, и когда Люба или Вера, обе в меховых шапках и шубах, сытые, здоровые, оглядывались на мать (для того только будто, чтобы сверить свои чувства

с чувствами матери), Лукин видел, что на щеках их был тот же румянец, какой на морозе бывал у них в Мценске, и что меховые края шапок у щек серебрились инеем, на который и привычно и приятно было смотреть ему. Это же видели и Зина и дочери, когда оборачивались на мать или смотрели на прохожих, спины и шапки которых тоже были заиндеветыми, и ничего, кроме чувства добра, справедливости, чувства спокойствия и умиротворенности, казалось им, не было в это утро в сердцах людей.

Между тем утро для Москвы было — обычным деловым московским утром. Те, кому надо было спешить, спешили, кому положено было очищать от снега тротуары, очищали его и очищали площадь, на которую уже прибывали автобусы «Интуриста» с иностранцами, многоязычные и пестрые толпы которых направлялись к Красной площади, Кремлю и собору Василия Блаженного. Отстававшие делали снимки и бежали догонять своих, и привычные ко всему москвичи только улыбались, глядя на бестолковую суету туристов. Входные и выходные двери метро ни на минуту не закрывались, и люди, цепочкой входившие и цепочкой выходявшие из них, составляли непрерывный поток, который, то уплотняясь, то разреживаясь, утопал в проеме подземного (через улицу и площадь) перехода и возникал с одной стороны — у магазина подарков, с другой — возле Музея Ленина и тянулся затем, огибая это красное кирпичное здание с табличкой, напоминавшей, что когда-то останавливался здесь следовавший на каторгу Радищев, к ГУМу. Вокруг гостиницы сновали машины, подвозя и увозя кого-то. Один поток их уносился к Государственной библиотеке и дому Пашкова, другой, встречный, — к универмагу «Детский мир» и Старой площади; и все это как будто бессмысленное, но несомненно имеющее и смысл и порядок, несло, гудело вокруг Лукиных. Вокруг них гудела Москва, шла та жизнь, которой они не знали.

— Ну, — сказал Лукин после того, как почувствовал, что все уже будто пригляделись и обвыкли на морозе. — В ГУМ? К Блаженному? Или куда? Я думаю, мы сделаем так, — неторопливо, давая Зине воспринять то, что говорил, продолжил он. — Вы в ГУМ, а я по делам. Мне надо еще кое с кем пообщаться. — Но заметив удивление на лице Зины и почувствовав по этому удивлению, что ей непонятно, почему он бросает их и идет куда-то, он поспешно добавил: — Очень надо. Схожу — и все, и до конца уже никуда от вас. Ну? — сказал он, более взглядом, чем этим произнесенным словом, прося ее.

— Твоего «надо» не переждешь, — недовольно проговорила Зина. — Ты пойми. — И она кивнула на дочерей, как будто то, о чем она просила, было не для нее, а для них. Она часто теперь использовала дочерей как аргумент, когда хотела на чем-то настоять или в чем-то убедить мужа.

— Но ведь и я не для себя, — возразил Лукин. Он и в самом деле не думал, что пойдет в колумбарий. Ему хотелось еще раз повидаться с Воскобойниковым (из тех только соображений, что никогда не лишне побыть на глазах у начальства), и он придумывал для себя дело к нему. — Готовится какое-то крупное постановление по сельскому хозяйству, — сказал он, припоминая подробности вчерашнего разговора с Воскобойниковым, из которого можно было предположить это (готовилось же постановление по развитию российского Нечерноземья). — Ну, сама знаешь. — Он поправил шарфы на дочерях и, подтвердив, что вернется к обеду или даже раньше, повернулся и пошел в направлении Старой площади.

## VI

Но, как это и бывает обычно, когда без предварительного звонка идут к руководству, Воскобойников был вызван к какому-то более высокому начальству и не мог принять Лукина, и Лукину оставалось



только вернуться в гостиницу и ждать своих. Возвращаться в гостиницу не хотелось, и он решил съездить в колумбарий к сыну. «Успею обернуться», — подумал он и, поймав такси, велел ехать на Шаболовку к Донскому монастырю.

Сначала он был спокоен, пока машина везла его через центр и Ленинский проспект к Донской улице. Ему казалось, что он выполнял только отцовский долг. Но по мере того как он приближался к тому месту в Москве, где был кремирован и похоронен его сын и где Лукин был только однажды, когда приезжал на торжества в Кремлевский Дворец съездов (он был тогда весь поглощен своим выступлением на этих торжествах и взволнован близостью правительства, которое видел в президиуме); по мере того как за стеклами машины открывались ему стены монастыря, церковь и ворота в крематорий, которые он сейчас же узнал, хотя все было в снегу и не так, как тогда, — уже не чувство родительского долга, а вся огромная глыба сомнений, прежде одолевавших его, и поступков, которым он не находил оправдания, поднялась в нем. Он почувствовал, что в нем опять как будто начало рушиться то целостное, что он испытывал к Зине и дочерям, и он хотел было сказать шоферу, чтобы разворачивался и ехал обратно, но не смог сделать этого. Ему явилась та простая мысль, что дочери (по теперешнему его отцовскому чувству к ним) были счастливы, но что Юрий, никогда не знавший при жизни этого отцовского внимания (то есть теперешнего запоздалого чувства к нему), был несчастен и что в несчастье этом (как ни винил Лукин Галину, не сумевшую распорядиться ни своей судьбой, ни судьбой сына) был виноват и он, отец Юрия. «Ну да что теперь», — стараясь успокоиться, говорил себе Лукин, в то время как он уже входил в монастырский двор на аллею, ведущую к крематорию. По обе стороны аллеи видны были могилы, кресты и надгробные плиты по еловому вперемежку с березой подлеску, засыпанному теперь сплошь белым, не успевшим еще побуреть от городской копоти снегом.

Спросив у милиционера, дежурившего в будке, как пройти к колумбарии, чтобы не блуждать по территории монастыря, Лукин направился, куда было указано ему, невольно приняв скорбное выражение, какое одинаково возникает на лицах людей при виде могил и крематория. Как ни в каком другом месте, здесь чувствуется черта, за которую рано или поздно должен переступить каждый, и вечное желание узнать, что там, за чертой, заставляет людей всматриваться в кресты, могилы, будто по ним, по ухоженности их и выразительности и тяжести надгробных плит можно понять, что там. Лукин бессознательно испытывал это же чувство, какое испытывает большинство людей, попадая сюда, и был удивлен и даже приостановился, когда увидел бойко и шумно работавших широкими металлическими лопатами женщин, расчищавших от снега площадку перед входом в крематорий. «Они привыкли к человеческому горю. У них свое, а у этих свое. — Он обратил внимание на толпу, выходящую из крематория. — И вот оно: единое и несовместимое», — проговорил он, тогда как единым и несовместимым были для Лукина не женщины с лопатами и люди, выходявшие из крематория, а мучившее его прошлое, которое мешало ощутить полноту его теперешней семейной жизни. Он посторонился, чтобы пропустить встречный поток, обошел работавших женщин и, свернув налево, увидел здание колумбария. К нему вела узкая, только что как будто протоптанная в снегу тропинка (расчистить дорожку, видимо, еще не успели), и по ней гуськом двигались две женщины. Они были одеты бедно, и по сгорбленности их, по той худобе и сухости, которая сейчас же узнается при взгляде на старых женщин, почувствовал, что это были матери, пережившие детей и мучившиеся теперь своей жизнью. Он догнал их и медленно вслед за ними вошел в остекленные решетчатые двери колумбария.

Как он ни был готов к тому, что увидит в колумбарии, но, очутив-

шись среди стен, **заполненных** от пола до потолка мраморными плитами с надписями, фотографиями и цветами, очутившись среди этой обстановки, главное, после впечатлений утра с морозом, солнцем и тем новым чувством к семье, целостность которого он хотел сохранить, впечатлений театра, то есть роскоши и праздности в нем,— Лукин, в то время как старушки привычно направились к нужному им отсеку, с минуту бессмысленно как будто смотрел на то, что открылось, и мир тишины, мир успокоенных желаний, страстей, надежд, этот забываемый за суетою дел мир уравненных в своей значимости судеб, столкнувшись в душе Лукина с сознанием жизни, вызвал лишь чувство придавленности (как перед неизбежностью), когда захотелось поскорее покончить с тем, для чего он пришел сюда. Но он понимал, что нельзя было торопиться. Он снял шапку, машинально вытер о резиновый коврик ноги и, шагнув к центру, остановился, припоминая по прошлому своему посещению, в какую сторону надо было идти. Справа, слева, впереди — всюду были одни и те же стены с квадратами плит, напоминавших встроенный книжный шкаф с томами человеческих жизней. Кое-где и в самом деле стояли деревянные шкафы с клетками-полками, на которых располагались урны, а возле урн портсигары, трубки, какие-то еще предметы, служившие умершим (в некоторых нишах были даже семейные фотографии), и Лукин, которому всегда казалось, что он помнил, как все выглядело в колумбарии, когда он приходил сюда, чувствовал, что многое с тех пор переменялось здесь, что заполнено было теперь все пространство и что трудно разыскать отсек среди этого лабиринта шкафов, в котором похоронен сын. Прямо перед Лукиным были видны две лестницы, одна вела вниз, в подвальное помещение, в котором, очевидно, были все те же отсеки с нишами и урнами в них, другая — на второй этаж и тоже, видимо, с теми же отсеками, а на лестничной площадке возвышалась белая гипсовая фигура матери. Для чего она с расprostертыми к входящим руками была поставлена здесь, трудно было сказать. Была ли это смерть в белой мантии, говорившая всем со скорбным выражением, что никого не минет чаша сия, или это была мать — хранительница усопших душ, как можно было с натяжкой предположить, — никто, видимо, не задавал себе такого вопроса. Лукин только, не понимая значения ее, несколько раз оглянулся на эту мать-хранительницу, когда уже удалялся к отсеку, где он надеялся найти нишу с урной сына. Он все же вспомнил, в какую сторону надо было идти, даты смерти были ориентиром, и как только он прочитал: «Тысяча девятьсот шестьдесят шестой», он сейчас же повернул в тот отсек, где сплошь были на плитах эти цифры; и сейчас же, уже по ясной памяти, подошел к нише, в которой была урна с пеплом сына. Он увидел знакомую ему белую с прожилками мраморную плиту с выбитой по ней надписью: «Юрий Иванцов, 1949—1966» — и рядом с надписью, чего не было раньше, была видна в блестящей металлической оправе фотография Юрия. Он не знал, что вставлена она была не Галиной, а Дементием в один из его частых приездов в Москву. Но для Лукина неважно было, кто вставил ее; он, видевший сына только младенцем, только в пеленках, видел теперь впервые взрослым, аккуратно причесанным и аккуратно одетым мальчиком (фотография была сделана, когда Юрий еще не столкнулся с миром зашибания трешек и выпивок, развратившим его); и вид этого мальчика с умными глазами, с выражением готовности к жизни и удивлением перед ней, — вид мальчика, который был его сыном, потряс Лукина. Он живо вспомнил все, что связывалось у него с Галиной и Юрием, и среди этого сгустка воспоминаний, перехвативших вдруг дыхание, яснее выделась ему не московская, а мценская встреча с бывшей женой, когда он, обманывая семью, жил с ней. Он вспомнил, что она тогда говорила о сыне, вспомнил о своем намерении съездить к нему в Курчавино и о поездке, когда уже Юрия не было там (он сбежал в Москву); вспомнил о телеграм-

мах и письмах Галины из Москвы, в которых она рассказывала о подробностях убийства Юрия (из них и тогда же он узнал о месте похорон), и эта страшная картина насильственной смерти сдавливала и душила теперь его. Продолжая смотреть на фотографию сына и все более находя схожесть его лица со своим в молодости, Лукин машинально раздергивал на себе теплый мохеровый шарф, как будто удущье происходило от шарфа, а не от сознания вины, которую он никогда еще так ясно не ощущал в себе. То, что Юрий рос шалопаем, как говорила о нем Галина, было забыто; трогало то, что он выглядел на фотографии умным, готовым к восприятию жизни мальчиком, и, не зная, как выразить это чувство, Лукин, достав носовой платок, принялся вытирать им пыль с фотографии, с металлической оправы вокруг нее и со всей мраморной плиты, перед которой стоял. И по мере того как вытирал, все более как будто успокаивался и, успокаиваясь, замечал теперь уже иные подробности на фотографии сына. Как ни старалась, видимо, Галина, усаживая в свое время перед объективом сына, чтобы все было опрятно на нем, но одна из пуговиц (третьей от воротничка, как посчитал теперь Лукин) была расстегнута. «Вся в этом, ничего не доведет до конца», — уже с осуждением, как он всегда думал о Галине, подумал о ней.

## VII

Результатом этой поездки в колумбарий (этой встречи с сыном, как для себя охарактеризовал ее Лукин) явился для него только то, что он еще нежнее стал относиться к дочерям и жене. Всю прежнюю любовь к Галине и Юрию, к которому, впрочем, всегда больше было у него жалости, чем любви, он перенес на семью, и то недоданное сыну, отцовское, чем обделил его, вдвойне старался отдать дочерям. Он неузнаваемо переменился к ним, и оттого, что переменился (что для самого Лукина означало — вагон с прошлым отцеплен), он испытывал удовлетворение, какого в прошлые годы не хватало ему. Он был теперь еще более спокоен, чем прежде, и спокойствие происходило от равновесия между тем, как все у него ладилось будто на работе, и тем, как ладилось дома. Признаки же этого душевного равновесия он ощутил еще в Москве и почти тотчас, как только вернулся из колумбария и вновь, как и накануне вечером, застал семью одетой и готовой к выходу. Он опять от порога восхищенно смотрел на Зину и затем не раз в Мценске просил ее надеть это из тяжелого золотистого шелка платье. Он попросил ее об этом, когда ездил с нею и дочерьми в Орел на юбилей секретаря обкома. И он был замечен на этих юбилейных торжествах; замечен не тем, что значил сам, но женой, оставившей у всех доброе впечатление, и, возвращаясь с торжеств, был убежден (по оказанному как будто ему вниманию), что вопрос о его переводе в область — это уже не разговоры, а вполне осуществимый и решенный вопрос.

Но время шло, а Лукина не переводили, потому что не освободалось место, на которое прочили его, и в ожидании повышения он продолжал привычно заниматься делами района. Он провел двухдневное совещание районного актива, хорошо оцененное наверху, затем, после майских праздников, собрал очередной расширенный пленум, на котором рассмотрены были итоги весенних полевых работ; он втягивался во все заботы района так же, как щепка втягивается в речной омут, но не позволял уже себе забывать (за этими заботами) о семье и не кидался опророметью, как бывало прежде, туда, где возникали хозяйственные или иные какие неурядицы. И точно так же, как не спешили с его повышением в области, он не спешил с решением кадровых вопросов у себя в районе. Надо было заменить редактора районной газеты, не справлявшегося с обязанностями (что было очевидно и на чем настаивало большинство членов бюро), но Лукин оттягивал время. «Зачем голову сечь, когда мы призваны вос-

питывать?» — говорил он это общеизвестное, выставляя (за счет интересов дела) свою доброту. Просился на пенсию прокурор Горчевский, которого сыновья звали к себе на целину, но Лукин не отпускал его. В который уже раз подавал в отставку председатель зеленолужского колхоза Парфен Калинин, отпраздновавший свое семидесятилетие, но Лукин не отпускал и его. Он не то чтобы не хотел перемен или опасался, что они могут в чем-то повредить ему; он не хотел, как он говорил всем, заменять одну в механизме шестеренку на другую, когда старая тянется, а новая еще неизвестно как пойдет, и под этим предлогом, будто стремился лишь сохранить стабильность, он, в сущности, ограждал себя от беспокойства в его налаженной во всех отношениях жизни.

И вся эта налаженная им жизнь была нарушена самым неожиданным образом.

Сначала ему позвонили из Орла и спросили, помнит ли он об эксперименте с закреплением земли, проводившемся в зеленолужском колхозе, и сохранилась ли какая-нибудь документация по нему. Нужно это было, как пояснили, для Москвы, и попросили, если документация не сохранилась, срочно съездить в Зеленолужское, поговорить с людьми и составить пространную записку в обком. Пока Лукин обдумывал, с чего начать, раздался новый звонок, уже из Москвы. Звонил Комлев. Отрекомендовавшись, из какого он управления и какую должность занимает в нем (и управление и должность были внушительными и производили впечатление), Комлев точно так же, как и обкомовское руководство, только что разговаривавшее с Лукиным, высказав интерес к эксперименту, попросил затем собрать все имеющиеся сведения о нем, с которыми он хотел бы ознакомиться на месте, то есть приехав в Мценск (и он назвал число, когда приедет, падавшее на середину июня). Первое, о чем Лукин подумал, положив трубку, что в Москве появились новые веяния относительно ведения сельского хозяйства, что они непременно должны быть связаны с постановлением о развитии Нечерноземной зоны России, о котором говорили все и по которому областям, входившим в зону, выделялись крупные средства для капиталовложений. «Видимо, параллельно с капиталовложениями решили заняться и проблемой нравственных связей человека с землей», — мысленно произнес Лукин. Он попросил разыскать и принести ему из архива копию той записки с изложением сути эксперимента, как это казалось ему теперь, которую он посылал в Москву. «Там все есть, и вряд ли будет необходимость ехать в Зеленолужское». Но когда записка была принесена и он прочитал ее, он с изумлением увидел, что в ней не столько рассказывалось об эксперименте, сколько — теоретически обосновывалась необходимость посемейного, вернее семейно-звеньевое, закрепления земель. В ней излагалась та теория (основанная на рассуждениях Л. Н. Толстого о земле в романе «Воскресение»), по которой предлагалось стимул «собственность», вызывавший инициативу к обработке земли, заменить стимулом «закрепление» (в пределах, разумеется, хозяйства, в котором председатель по-прежнему должен оставаться главой общего дела), и Лукин, свикшийся уже с тем, как все велось в районе, и не видевший нужды в переменах, в первую минуту даже не поверил, чтобы он мог написать это. «Что ж удивительного, что отклонили? Могло быть и хуже», — подумал он и принялся ходить по кабинету.

В то время как он сознавал свою ошибку, которая могла для него закончиться хуже, чем закончилась, ему странным казалось, что именно теперь, когда об эксперименте, по существу, было уже забыто, Москва вновь заинтересовалась им. «Почему и что нашли в нем?» — спрашивал себя Лукин, стараясь уяснить причину этого неожиданного интереса. Причиной, как смутно догадывался он, могло быть общее положение дел в сельском хозяйстве, которое многие продолжали считать неудовлетворительным, что, разумеется, не мог-

ло относиться к хозяйствам его района. Они план продажи зерна государству выполняли, и райком не имел нареканий со стороны руководства. «Ищут новые формы...» — подумал он. Второй вопрос, который тоже волновал Лукина, был вопрос престижа: насколько правомерной и полезной была роль райкома и самого Лукина в проведенном эксперименте? «Не перегнули ли мы в чем-то, а может, недостаточно внимательно отнеслись?» — рассудительно продолжал он, не переставая ходить вдоль стола к стене и обратно. Этот вопрос, вопрос престижа, казался наиболее важным Лукину. Он вспомнил о Сошниковых, приходивших с ультиматумом в райком, и поморщился. «Чем, однако, завершилось их дело? Выплатили им или не выплатили?» — спросил он себя, приостановившись. То, что в деле их было что-то несправедливое и что он обещал разобраться и помочь им, Лукин хорошо помнил; но он не мог припомнить, выполнил или не выполнил свое обещание, и только еще сильнее поморщился, мысленно проговорив: «Как все-таки они вели себя, как вели!» Тогда, после возвращения из Москвы (после новой встречи с Галиной), он занимался улаживанием своих душевных дел, и ему было не до Сошниковых. Но теперь он невольно старался свести все к поведению Сошниковых, то есть к тому, «как вели, как вели», что только и могло оправдать его. «Да, вели отвратительно, вызываясь, но, однако, чем же закончилось их дело? Они не приходили, Парфен тоже не приходил, значит, закончилось по-мирному», — решил наконец Лукин. Он вновь переключился было на общие рассуждения об эксперименте («Что-то же заинтересовало Москву?» — продолжал думать он), но мысль о Сошниковых и о том, что по отношению к ним была допущена несправедливость, и что несправедливость эта исходила не от кого-то, а от самого Лукина, и что приезжающему московскому руководству придется как-то объяснить все, — мысль эта тревожно беспокоила Лукина. Он попросил соединить его с Зеленолужским. Но Парфена Калинин в правлении колхоза не оказалось, он выехал по бригадам, и надо было либо подождать до вечера, когда председатель вернется, либо ехать в Зеленолужское и разыскать его.

Было время обеда, и пора было отправляться домой. Но несмотря на то, что помощник, уже дважды заходивший к Лукину, говорил, что машина ждет у подъезда, Лукин продолжал ходить по кабинету, раздумывая, что ему делать.

— Да, иду, — лишь когда помощник в третий раз открыл дверь, сказал Лукин и, взяв шляпу, вышел на улицу.

## VIII

После памятной зимней поездки в Москву Лукин сделал для себя привычкой обедать дома, и к этому часу обычно Зина и дочери возвращались из школы. Клавдия Егоровна, или Клаша, как по-домашнему звали ее, взятая в прислуги по рекомендации и умевшая и приготовить и подать со вкусом, в белом переднике и с улыбкой, всегда одинаковой на лице, встречала уютное, по ее выражению, семейство Лукиных. «В доме должно пахнуть пирогами», — любила сказать она, распространяя как будто этот запах пирогов и ватрушек. Под столовую была отведена комната, соседствовавшая с кухней, и стояли в ней только буфет и румынский сервант и такой же работы стол со стульями под старину, с высокими спинками. Лукин обычно садился по одну сторону стола, в голову, как он шутил, Зина по другую, дочери — сбоку от нее, и Клавдия Егоровна мельхиоровым черпаком разливала из фарфоровой супницы либо бульон, либо легкий крупяной или картофельный суп и затем из блюда, обносимого ею по кругу, предлагала каждому — тушеное ли с грибами мясо, голубцы или рулеты с овощной начинкой, удававшиеся ей, — класть себе в тарелку кто сколько может. Свежие помидоры, огурцы, салат, белые салфетки перед каждым — все это неизменное придавало церемонии обеда какую-то буд-

то особую торжественность, Лукин накрывал салфеткой колени, чтобы не поставить случайно жирное пятно на брюки, девочки промокали своими салфетками губы, как учила их Зина, которая была аккуратнее всех и до конца обеда иногда не притрагивалась к своей салфетке.

Все было точно так же и в этот июньский день: и накрыт стол, и Клавдия Егоровна в белом переднике с неизменно улыбкой стояла уже в дверях столовой,— когда Лукин, старавшийся не выказать подавленности, вошел в дом. Он опаздывал, и было как будто естественным, что он, увидев вышедшую встретить его Зину, начал оправдываться перед ней. Но по невнятности этих оправданий, по неуверенности, с какою он сказал о прокуроре Горчевском, задержавшем будто бы его, и по блуждающему взгляду, не ускользнувшему от Зины (после московского пробуждения любви к мужу она ревностно теперь присматривалась ко всему в нем), она сейчас же почувствовала, что с ним произошло на работе что-то совсем не то, о чем он говорил.

— Зачем же ты его удержишь? Отпусти, если он так рвется уехать,— сказала она, продолжая вместе с тем всматриваться в лицо мужа. Хотя она в школу по-прежнему ходила во всем строгом, как и подобало учительнице, как думала она, но дома по оживленности своего наряда бывала теперь похожа на сестру Настю. Она не то чтобы точно знала, что муж ее, осуждая Настю, не все осуждал в ней, но новое отношение его к ней было главным подтверждением этого.

— Отпустить? Ну что ты говоришь? — возразил Лукин.— Это дело райкома, а не мое личное, и я тут один ничего не могу решать. Клаша ждет, идем,— добавил он, чтобы перевести разговор.

Опередив Зину, он вошел в столовую. Верочка и Люба были уже там, и их веселые лица, их не школьные уже как будто прически и платья, в какие Зина по своему подобию продолжала одевать их; их оживленные голоса, сейчас же смолкнувшие, как только он вошел (и к чему Лукин относился уже с тем пониманием, что у них могли быть свои, в которые не следует вмешиваться, разговоры); улыбка Клавдии Егоровны и ее готовность услужить, прежде коробившая Лукина, пока он не привык, потом не замечавшаяся им, а теперь нравившаяся ему, и все-все последующее, когда все расселись, разлит был по тарелкам картофельный суп и принесено блюдо с телятиной и грибами, аппетитно наполненным запахом столовую, и разговор ни о чем, возникнув, как всегда, из присказок Клавдии Егоровны, забавлял всех,— эти не имевшие как будто значимости подробности повседневной семейной жизни (из которых как раз и складывается всякая жизнь) так подействовали на Лукина, что он на время забыл о своих неприятностях. Он был за обедом добр, беззаботен и весел, и только когда поднялись из-за стола, когда дочери ушли в детскую (которую пора бы называть девичьей), а он с Зиной, перейдя в кабинет с книжными шкафами, креслами, диваном и письменным столом, дожидаясь, откинувшись на диване, пока подадут кофе (что сделалось его привычкой не по его желанию, а по настоянию Зинаиды с ее пробудившимся вкусом к радостям жизни),— угнетавшие его до обеда мысли опять вернулись к нему. Он сидел молча и старался не смотреть на Зину; и чтобы оправдать молчание, устало смыкал глаза, словно и в самом деле был утомлен работой и давал себе отдохнуть. Зная за ним эту привычку, Зина была спокойна. Она любила иногда сама принести послеобеденный кофе и, посидев теперь несколько минут возле мужа, пошла на кухню опередить Клавдию Егоровну.

## IX

Так же как в устройстве общества, в устройстве семейной жизни существуют две как бы параллельно бегущие линии связей. Одна из них представляет совокупность внешних явлений, по которым всегда

и со стороны можно сказать о состоянии общества или семьи; другая — совокупность скрытых (до времени) неуправляемых глубинных течений, о которых узнается обычно лишь после того, как они начинают проявлять себя. Внешняя сторона жизни Лукиных была идеальной. Но по возникавшим то у Лукина, то у Зинаиды сомнениям — действительно ли они были счастливы вместе, или согласие и счастье их все-таки жили лишь в их воображении? — жизнь их иногда казалась им стулом на трех ножках, на котором можно усидеть только в определенной позе и с определенной ограниченностью движений. Это чувствовал Лукин. Его наладившиеся в последнее время отношения с Зиной были как раз тем найденным положением, в каком удобно было находиться ему. Это же испытывала и Зина, старавшаяся теперь во всем угодить мужу.

— Ты извини,— сказала она, ставя перед ним блюдце с чашечкой и наливая принесенный ею кофе.

Лукин приоткрыл глаза и лениво, нехотя, устало, будто на самом деле разбудили его, потянулся к чашечке с блюдцем.

— Да, да, надо взбодриться,— ответил он, стараясь не смотреть на жену.

Выпив кофе и поговорив с женой о дочерях, которых она летом собиралась свозить в Ленинград, чтобы показать Эрмитаж и продолжить, таким образом, знакомство с классическим искусством, Лукин, сказав, что ему нужно в Зеленолужское, и, видимо, с ночевой, впервые за последнее время оставил ее в сомнениях и предчувствии чего-то нехорошего, надвигавшегося будто бы на нее. Она снова заметила, что муж был сегодня встревожен и скрытен с ней, и, зная по общему ходу жизни с ним, что все и всегда по службе ладилось у него, могла предположить только, что он начал охладевать к ней. Получив от семейной жизни (от жизни с Лукиным) все, что только можно было в отношении обеспеченности получить: квартира, достаток, возможность отдаться любимому делу — школе, где ее как жену первого все уважали, она хотела теперь теплоты мужа, которой, казалось ей, недостаточно было для нее. Привязанность дочерей не могла заполнить этой ее душевной потребности. Поняв после Москвы, что мужу нравилось в ней и чем она могла еще сильнее привязать его к себе, она, проведив теперь его, долго стояла в спальне перед зеркалом и рассматривала себя.

Как всякой женщине, ей страшно было увидеть признаки старения. И так как признаки эти были и в изменившемся овале лица, и в морщинках у губ и глаз, особенно различимых при ярком свете, и в несвежести кожи вокруг шеи и плеч, отчего она с осторожностью теперь надевала открытые платья, а если и надевала, то непременно с колье, бусами или ниточкой жемчуга, которую не успела еще вернуть сестре, были и в начавшей уже как будто полнеть фигуре,— смысл ее жизни сводился теперь к тому, чтобы как можно искуснее затушевать эти пугавшие признаки. Жизнь государственная, та жизнь, к которой в той ли, иной ли степени был причастен ее муж,— жизнь эта почти не воспринималась ею. Все, что было вокруг, ей казалось, всегда было и будет; заботы других представлялись ей лишь как течение реки, суета улицы или жизнь в школе; но свои, состоявшие в том, чтобы преждевременно не постареть, были важнее и волновали ее, и потому сегодняшнюю холодность мужа она пыталась объяснить тем, как выглядела она перед ним.

«Старость ужасна! Зачем люди стареют?» — в то время как видела, что была еще хороша, думала она. Лишь на минуту возникла тревожная мысль, что, может быть, у мужа и в самом деле неприятность. «Опять кто-нибудь умер,— подумала она, вспомнив, как муж ездил недавно на похороны какого-то председателя колхоза.— Уходят»,— добавила она его словами. То, что для Лукина было проблемой кадров, которую надо было решать, для Зины — лишь процедурой похорон,

в какой муж вынужден был принимать участие; и потому она с сочувствием подумала теперь о нем. «Да, надо сказать Клаше, чтобы не стелила больше этой скатерти,— вдруг вспомнила она.— На ней жирные пятна». И поправив привычным движением рук прическу и бегло еще раз взглянув на себя в зеркале, она уже с совершенно иным выражением лица, отражавшим деловую настроенность, пошла искать Клавдию Егоровну.

Найдя Клавдию Егоровну на кухне и оторвав ее от работы и выговорив за скатерть и еще за ковры, не проветривавшиеся будто и не пылесосившиеся вовремя, и выговорив еще за сдобы, которыми Клавдия Егоровна раскармливала будто бы Веру и Любу, Зина пошла затем в детскую, чтобы посмотреть, чем были заняты ее дочери.

Несмотря на то, что разговор с Клавдией Егоровной, молча выслушавшей ее, должен был оставить у Зины неприятный осадок (тем уже, что не все упреки имели достаточно оснований), она не сомневалась в справедливости того, что сделала. Справедливость же ее заключалась в том, что она была недовольна мужем, холодно простившимся с ней, и бессознательно перенесла это недовольство на Клавдию Егоровну и шла теперь перенести это же недовольство на дочерей.

## х

В Зеленолужском, когда Лукин под вечер приехал туда, он с изумлением почувствовал, что как будто попал совсем в другое хозяйство. Прежде, по установившемся еще со времен Сухогрудова мнению о зеленолужском колхозе-миллионере и о его председателе, Лукин обращал внимание только на то, что могло сказать о силе этого колхоза и подтвердить традиционную славу о нем (не создавать же новый маяк, когда есть надежный старый!); прежде, осматривая хозяйство, Лукин знал, что он — последняя инстанция, оценку которой вряд ли кто в районе посмеет опровергнуть: она была единственной и окончательной; теперь же, в этот приезд, хозяйство надо было посмотреть не для подтверждения устоявшегося мнения о нем, но для того, чтобы показать его затем Комлеву; надо было посмотреть так, как мог увидеть все представитель Москвы, и этот предполагаемый комлевский взгляд, то есть возможность иной оценки, заставил Лукина по-новому увидеть то, что давно и хорошо будто было знакомо ему.

Первым, что поразило Лукина, был вид Парфена Калинкина, вышедшего на крыльцо правления встретить его. «Как он стар», — подумал Лукин, увидев его в лучах закатного солнца и обратив внимание на то, что пиджак на нем, многолетней, очевидно, давности, смотрелся как на вешалке, и еще обратил внимание на сухонькую, со взбухренными венами руку, которую тот протянул, чтобы поздороваться. Не соответствовавшее действительности, но жившее в сознании Лукина, как в сознании многих (согласно определенной инерции), представление о зеленолужском председателе было нарушено, и Лукин невольно отвел глаза, ощутив в ладони слабые, костлявые пальцы Парфена. «Да, пора ему уходить», — о чем вчера еще не хотел слышать, мысленно проговорил Лукин, поспешнее, чем обычно, отпуская руку председателя. И хотя Лукина поразила как будто лишь внешняя перемена, происшедшая с Калинкиным, но он почувствовал, что пошатнулась будто основа, на которой держалось все; и этой пошатнувшейся основой было — изменившийся у Парфена взгляд на жизнь и на дело, которое, возглавляя по-прежнему, он не понимал, как говорил теперь. Ему казалось, что все вокруг него заполнилось какою-то усредненностью, которую невозможно было преодолеть. Не было нужды теперь рядиться под простачка и хитрить, как бывало прежде, потому что — не от председательской изворотливости зависело состояние хозяйства. В районе не распекали теперь за недостатки так,



чтобы — партбилет на стол! — равно как и не хвалили особенно за то, что заслуживало похвалы; обо всем только высказывались и забывали, и потому сама собою отпала необходимость иметь в райцентре того своего человека, который предупреждал бы о намерении начальства, и не было нужды встречать это начальство на колхозной меже, как любил это делать Парфен. Он чувствовал, что как будто был вынут из привычных условий жизни, в которых сознавал полезным себя, и помещен в другие, где не было для него места. Хозяйство как будто росло, техники становилось больше, и, соответственно, больше прилагалось усилий остававшимися еще в колхозе людьми, которые работали на тракторах и комбайнах, но зерна намолачивали не больше, чем в годы, когда не было столько техники и не затрачивалось столько усилий. Луга, с которых кормилось деревенское стадо, были теперь почти все перепаханы, а корм для скотины заготавливался новым, экономичным, как говорили о нем, способом, то есть на тех же перепаханных лугах, с которых прежде убиралось сено, высевались кормовые культуры, затем убирались и закладывались в силосные ямы, в которых (по нерадению ли, по неумению ли применить инструкции) корм заикался, портился, и его едва-едва хватало до середины зимы. В чем заключалась экономичность подобного способа и почему испытанное веками сено было хуже силоса, было непонятно Парфену. Надо было предпринимать что-то, но председательской изворотливости его, он видел, было недостаточно здесь. Он видел, что с каждым годом людей в колхозе становилось меньше, но, несмотря на это, жилья все равно не хватало, как не хватало машин, количество которых почти утроилось в хозяйстве, но главное, что угнетало его, была земля, которая, казалось ему, теряла силу и усыхала точно так же, как терял силы и усыхал он сам; и оттого, что он видел, что не может помочь земле, он незаметно отторгался от нее и воспринимал ее уже как конвейерную ленту, по которой тянулись к общему сборочному цеху блоки: то лучше, то хуже проведенные посевные кампании и уборочные, посевные и уборочные со все усложняющимися условиями труда. Чувство это было болезненно и неодолимо, как чувство одиночества и старости; и с этим-то чувством, усиленным в этот день в Парфене тем, что он проводил с весны гостившую у него невестку Ульяну с внуками в город, он и встретил Лукина и, пропустив теперь вперед себя, вошел вслед за ним в председательский кабинет.

В кабинете были колхозный зоотехник и бригадир комплексной животноводческой бригады, с которыми Парфен только что обсуждал график закладки силосных ям. Зоотехник и бригадир почтительно поднялись и поздоровались с Лукиным. Парфен кивнул им, чтобы они уходили, и, когда они вышли, объяснил Лукину:

— Животноводы. График уточняли.

— Я помешал?

— Нет, мы уже почти закончили,— возразил Парфен, чтобы снять неловкость, которую он заметил в Лукине.

— Ну хорошо, если так,— сказал Лукин, весь занятый своими мыслями.— Скажи...— Он на минуту задумался: начать ли ему прямо с разговора об эксперименте и Сошниковых или прежде спросить о здоровье, о чем, казалось Лукину (по виду зеленолужского председателя), важно было спросить его.— Скажи,— повторил он,— ты помнишь Сошниковых? Землю за ними закрепляли, отец и сын, механизаторы, ну, помнишь?

— Как не помнить, помню. Они у меня вот где.— Парфен ребром ладони провел по своей худой шее.— А что, жалоба?

— Нет. Понимаешь, Москва тем нашим экспериментом заинтересовалась.

— Хватились, нечего сказать. А Сошниковых давно нет в колхозе. На КМА руду из карьера возят. И зарабатывают и в почете. Да что они? Мало того что сами ушли, почти половину деревни за собой пере-

тянули, я писал в райком, разве тебе не передавали? — мрачно поинтересовался Парфен.

— Когда писал?

— Тогда же. Выходит, не доложили.— Он неодобрительно покачал головой.

Побагровев полным лицом и шеей, наплывавшей на воротничок рубашки (от желания немедленно узнать виновника, который не доложил и которого разыщет, как только вернется в Мценск), Лукин наклонился к Парфену, чтобы не упустить возможности хоть часть вины переложить на него.

— Почему же ты сам не зашел? — спросил у него, вглядываясь в лицо.

— Я бы зашел, ты меня знаешь, да толку? Чем бы ты помог? Только лишнее беспокойство.— И он рассказал Лукину, как за спиной районного и областного руководства послал вместе с Сошниковыми своего заместителя в Москву в соответствующие инстанции за разъяснением и как ходоки те, вернувшись, привезли бумагу, в которой, кроме слов «обогащение» и «личная нажива», то есть кроме той мысли, что нельзя превращать землю, находящуюся в общественном пользовании, в источник для неограниченной личной наживы (хотя, по мнению Парфена, работая на земле, неограниченно можно только проливать пот, иначе говоря, пуп надрывать, но что касается доходов, то выше определенных возможностей ничего выжать из этого труда нельзя), — кроме этих коробивших его и теперь слов о наживе и обогащении, было прямо сказано, что самовольничать ни в колхозном, ни в каком ином производстве недопустимо и что нужно во всем (главное же, в оплате труда) придерживаться установленного порядка вещей и общепринятых законов.— Что государству выгодней, это не в счет, а что человек заработал, глаза колет. Дело ли это?

— Не дело. Документ тот сохранился?

— А как же! — И Парфен велел принести его.

— Это важно,— сказал Лукин, когда документ был принесен и показан ему.— Это очень важно,— подтвердил он, возвращая его Парфену и прося не потерять его.

«А я себя терзал,— подумал он, встав и принимаясь прохаживаться за спиной Парфена.— Обстоятельства, вот они! Обстоятельства всегда выше нас». Он видел, что ему было чем оправдаться перед Комлевым. Но вместе с тем как он видел, что ему было чем оправдаться перед московским представителем, оправдаться перед собой, он чувствовал, было нельзя; нельзя было отбросить то — семейные неурядицы, — что помешало тогда вникнуть в суть дела; и неурядицы, о которых невозможно было рассказать никому, как раз и заставляли его теперь возбужденно прохаживаться взад-вперед за спиной Парфена.

## Ж

Лукин считал себя человеком прямым, честным, и поступки, совершавшиеся им, вытекали, казалось ему, из этих правил. Заботы о престиже района, когда он старался повезти областное руководство, приехавшее к нему, не в тот колхоз, в котором похуже, а в котором получше, подавая прежде сигнал председателю, чтобы успел приготовиться к встрече,— заботы эти не только не представлялись отклонением от правил, которым он неукоснительно, как он думал, следовал (и требовал, чтобы следовали другие), но, напротив, только утверждали в нем этот принятый им принцип жизни. Теперь, в Зеленолужском, когда о судьбе эксперимента и судьбе Сошниковых стало яснее Лукину, когда был обнаружен документ, которым можно было прикрыть свои и не свои упущения (и Лукин уже ясно видел, как сделать это), когда только оставалось, следуя привычному правилу, сказать Парфену, чтобы подготовился к встрече Комлева, что на доступ-

ном всякому человеку языке означало — скрыть, что не с лучшей стороны могло оттенить колхоз да и самого Парфена в деле с экспериментом, и выпятить, что было выигрышным и раскрыло бы основательность и продуманность действий всех звеньев цепи от колхоза до райкома, Лукин вдруг почувствовал, что не может сделать этого. Он увидел (по искренности к нему Парфена, за спиной которого ходил), что нельзя было сказать зеленолужскому председателю этого, что в другой обстановке не вызвало бы никаких затруднений; нельзя было, во-первых, потому, что Парфен по теперешней искренности своей мог не так понять все, и, во-вторых, что особенно останавливало Лукина, было вновь пробудившееся в нем прежнее отношение к эксперименту как к делу государственной важности. Он вспомнил, сколько надежд связывалось у него с завершением этой затеи зеленолужского председателя с посеймым закреплением земли — не личных, а общественных, когда он думал о развитии деревни, строил планы, выдвигал положения и спорил с Сухогрудовым; то, что всегда жило для него в рассуждениях о благе народа, соединилось затем в этом практическом деле, которое он так уверенно и смело поддержал тогда. Он вспомнил, как разговаривал на поле с Сошниковым-старшим и особенно с Сошниковым-младшим, стоявшим с женой у комбайна. «Сколько было радости труда на их лицах, сколько молодой проснувшейся любви в них», — подумал теперь о них Лукин, и это ожившее в нем чувство к Сошниковым, возвышавшее его, не позволяло успокоиться и определиться ему.

— Можем ли мы повторить эксперимент? — вдруг, остановившись почти у двери, до которой дошел, и повернувшись от нее к Парфену, спросил Лукин. — Дело-то стоящее. Разумеется, прежде обговорим все с планово-финансовыми органами, — с усвоенной им привычкой опередить собеседника, чтобы вести разговор, добавил он. — Соберем народ, поговорим. — Он вернулся к креслу и опять сел напротив Парфена. — Ну, что молчишь? — сказал он.

— Собрать можно, но как говорить, как в глаза смотреть людям?

— Как партия учит: прямо и правду.

Парфен покачал головой.

— Почему? — спросил Лукин.

— Да потому: мы же не удочку с червяком в пруд закидываем. Кто понял бы, того нет, а кто остался, тому — день до вечера. Ты думаешь, с Сошниковыми было просто? Э-э, — протянул Парфен, — ничего просто не бывает. Просто и лошадь не подставит шею под хомут. — Он усмехнулся, словно приятно ему было употребить слово «хомут» в том значении, в каком он употребил его сейчас. — Нельзя, как в той, помнишь, притче о колобке: пустили с горы и думаем, что он будет катиться вечно. А он вечно катиться не может. Нельзя только о планах, о планах, надо и о смысле жизни поговорить. Ты вот предлагаешь повторить эксперимент, а ведь это не эксперимент, а смысл нашей сельской жизни, — сказал Парфен, опять и по-новому открываясь Лукину.

— Ну, смысл нашей сельской жизни — хлеб, — неторопливо произнес Лукин, не привыкший уступать в разговоре и почувствовавший опасность в том, о чем начал зеленолужский председатель. — Хлеб, которого ждут от нас, — уточнил он, вполне удовлетворенный этой фразой, против которой, он знал, трудно будет возразить что-либо. — Хороши мы будем со своими поисками смысла жизни, когда с нас требуется одно — хлеб! — И теперь уже он усмехнулся, глядя на Парфена и приглашая усмехнуться и его над тем, что так просто и ясно объяснялось.

— Может быть, вчера я бы еще согласился, — ответил Парфен, отвергая своим мрачным видом приглашение Лукина. — Но сегодня, извини, сегодня не могу и не буду. Хлеб, известно, всему голова, так всегда говорили. Но это же труд, это же кровь и пот наши. А труд —

это жизнь, а жизнь — ее разве только в казармах разумно подчинять одной воле. Человек, имеющий дело с землей, не может быть скован, и мы должны думать, думать и думать об этом. Земля обесплодит — можно восстановить, а человеческая душа? Ее удобрениями не подкормишь. Да что, да первый ли раз говорим об этом? — заметил Парфен. — Вот, читал? — И он, потянувшись, взял со стола небольшую, в мягкой обложке книгу и подал Лукину.

Это были записки известного в области председателя колхоза, выпущенные отдельной книгой.

— Да, видел, — сказал Лукин, не читавший этой книги, а только листавший ее (по тому укоренившемуся автоматизму: «А что может быть в ней, кроме прописных истин?»).

— Он тоже говорит про хлеб, — уточнил Парфен.

— Хлеб, хлеб, хлеб, — несколько раз повторил Лукин и, поднявшись, опять принялся ходить за спиной Парфена.

— И мясо, и молоко, и картофель, — перечислил Парфен.

— Да, и мясо, и молоко, и картофель, а как ты хотел? — приостановившись за спиной зеленолужского председателя, произнес он с раздражением. Ему не нравилось, что его не понимали.

С минуту подождав, не скажет ли зеленолужский председатель еще что-либо, и успокоившись за это выкроенное для себя время, Лукин затем вновь и уже тоном, исключающим возражения, заговорил о том, что партийному человеку, тем более руководителю хозяйства, не к лицу прикрываться общими рассуждениями, если даже рассуждения эти о смысле жизни.

— Смысл жизни у нас один, мы строим социалистическое общество, вот и весь смысл, — уточнил он, искренне полагая, что нет ничего конкретнее этого. — Давай прикинем наши возможности и согласуем общую точку зрения. Московское начальство, оно же спросит, что мы думаем и готовы ли повторить эксперимент.

— Ты ужинал? — спросил Парфен, молча выслушавший Лукина. — Пойдем ко мне, там, за столом, и обсудим.

— Что ж, пойдем, — согласился Лукин.

Дом Парфена был недалеко от правления, и они, выйдя на середину улицы, где был асфальт, размеренным шагом отправились пешком. Лукин, возбужденный своим наступательным, какой только что вел, разговором, опять начал было развивать мысль о хлебе, то есть о том конкретном, как уточнил он, что было потребностью дня, а не поисками и мечтой о будущем, но оттого ли, что Парфен не отвечал и даже не поворачивал голову в его сторону и вместо привычной кабинетной обстановки со столами, шкафом и стульями и электрическим освещением была только ночная деревенская улица с вросшими будто бы в землю по обе стороны ее (как это обычно кажется в темноте) избами и фонарями на столбах, отстоявшими друг от друга настолько, что от одного освещенного желтого пятна к следующему надо проходить через глухое темное пространство, — от этой ли перемены обстановки, повлиявшей на перемену настроения, или просто оттого, что в окружении естественной красоты всякая назидательность всегда кажется фальшью, мысли его оборвались, голос смолк, и он, как и Парфен, остаток пути шел молча, прислушиваясь к деревенской тишине и возникавшим в душе чувствам.

## XII

За ужином они опять говорили об эксперименте, и Парфен уже не возражал Лукину. Он готов был подобрать людей, чтобы повторить дело, потому что — стоящее, как подтвердил он, сомневаясь лишь в том, что это или интересует Москву.

— Вот над чем надо подумать, — сказал он, когда они после ужина вышли из крыльцо, чтобы подышать свежим ночным воздухом.

— Думал,— ответил Лукин.— Главное, ни телеграммы, ни письма. Звонок из обкома, потом из Москвы.

— Но вопрос-то как ставился?

— Вопрос ставился так: все! Все, что связано с экспериментом.

— Там, где все, там либо ничего, либо ищи подоплеку.

— Может, и так, а может, и не так. Нельзя жить с недоверием. Одно делаем, так что — будем засучивать рукава.

— Куда деться, засучим. Только мне уж, наверно, в последний раз.

— В последний не в последний, а никто к нам не придет устраивать нашу жизнь. Люди всегда достойны того, что они имеют, мудро кто-то сказал. А хочешь большего, засучивай рукава, просто и ясно.

— Когда еще говорили: каковы сами, таковы и сани,— подтвердил Парфен.— А выходит, мудрость эта будто бы и не про нас.

Сопровождаемый партийным секретарем колхоза и председателем, Лукин утром еще раз осмотрел хозяйство, поговорил с бригадами и активистами и, позвонив в Мценск Зине и сказав, чтобы ждала к обеду, в самом хорошем расположении духа выехал из Зеленолужского. Он как будто снял с себя то, что связывало его, и получил свободу действий. «Можем, все можем, когда захотим,— думал он о Парфене (противоположное своему вчерашнему впечатлению и мыслям о нем).— Хитер, умеет словчить, но — коренник, коренник». Он вспомнил, что Парфен Калинин был выдвиженцем и любимцем Сухогрудова; и тут же, по той цепочке связи, по которой всегда возникает нужное прошлое, вспомнил и о самом Сухогрудове и спорах с ним. «Лежит теперь на краю своей родной Поляновки... А я так и не выбрался посмотреть, что там родные соорудили. Какой-то грандиозный памятник, как мне говорили»,— сейчас же, вслед за воспоминаниями о самом Сухогрудове, пришло в голову Лукину. Он тогда же хотел съездить и посмотреть, но что-то помешало; потом не было времени, потом просто забывал, даже когда проезжал через Поляновку.

«Не заехать ли? — подумал он.— Время есть».

Он посмотрел на часы и сказал шоферу, чтобы сворачивал на Поляновку.

— Крюк большой, Иван Афанасьич,— попытался было возразить шофер.

— А позвлим-ка мы себе этот крюк, а? — И, проговорив это, Лукин снова погрузился в размышления.

Кладбище, на котором был похоронен старый Сухогрудов, располагалось, как и все кладбища, на взгорье за деревней, если ехать из Мценска. Но Лукин подъезжал с противоположной стороны и попадал на кладбище прежде, чем попадал в теперешнюю, в несколько дворов, бесперспективную и умиравшую Поляновку. Попросив шофера подъехать поближе к полуистлевшим кладбищенским воротам, Лукин вылез из машины и, весело сощураясь на солнце, лившееся с ясного июньского неба, на зелень хлебов, сейчас же открывшуюся с возвышения (хлеба подступали под самое кладбище и будто сдавливали его), и на сочное буйство трав вокруг могильных холмиков и на них, направился легкой веселой походкой к центру, где покоился прах бывшего тестя и оппонента по взглядам на развитие деревни. Когда Лукин спустя год после похорон приезжал сюда, на могиле старого Сухогрудова стоял только кустарно сваренный из углового железа обелиск со звездой. Помня это (хотя он приехал теперь увидеть другое), Лукин невольно искал глазами обелиск; но его не было, а то, что возвышалось на месте обелиска, заставило на минуту остановиться Лукина. В центре ажурной металлической ограды, только что будто выкрашенной и отдававшей новизной, он увидел массивное гранитное надгробие, в ногах которого возвышалась мраморная плита с

надписью и барельефом покойного. Мрамор светился розовыми прожилками и казался живым, и Лукин сразу же почувствовал это. Он вошел в открытые дверцы ограды и опять остановился, пораженный уже не мраморной плитой с барельефом, а букетом красных и желтых роз, кем-то положенных на могилу. «Кем же?» — поспешно спросил себя Лукин. Только что разговаривавший с Парфеном об эксперименте, то есть о возможности обновления деревенской жизни; только что чувствовавший себя победителем в давнем и заочном уже теперь споре с Сухогрудовым, Лукин ощутил, что прошлое то было живо и напоминало о себе. Он почувствовал (как, видимо, чувствует лошадь, осаживаемая на скаку), будто его схватили за руку и хотят придержать, и он настороженно оглянулся вокруг себя. На лбу и шее его проступил пот, он вытер его и наклонился к цветам. Лепестки роз, казалось, были еще в росе, и на граните под ними виднелось расплывшееся пятно сырости.

Лукин обошел надгробие и снова остановился возле цветов. «Видимо, родные,— подумал он, успокаивая себя.— Ксения или Степанида, они ведь живы». Бессознательно поправив цветы в букете и с минуту постояв еще, он затем надел шляпу и хотел было идти, когда на тропинке перед собой увидел двух подошедших к нему людей — мужчину и женщину. Это были Дементий и Галина, накануне днем приехавшие из Москвы, чтобы навестить могилу отца. Они уже были здесь, оставили цветы и ходили в деревню к заколоченному дому; и, возвращаясь в Курчавино, решили вновь пройти через кладбище, то есть той же дорогой, какой шли сюда.

Дементий, несколько не изменившийся с тех пор, как Лукин в последний раз на похоронах Арсения видел его, воскликнув: «Кого вижу!» — двинулся к Лукину. Он был весел и, было видно, рад встрече. Но Лукин, лишь мельком взглянув на него и машинально протянув руку, из-за плеча его смотрел на Галину, которая не подходила и тоже смотрела на него. Лицо ее было слегка затенено светившим за спиной солнцем и выглядело молодежавым, волосы, прямые и гладкие, спадали на плечи и как-то по-особому, как это показалось Лукину, золотились в теплых и ярких лучах. Он обратил внимание на ее строгое платье, на ее по-прежнему стройную, почти девичью фигуру, на всю ее, когда-то близкую, доступную, и воспоминание той прежней доступности, воспоминание любви, еще не угасшей в нем, и вины перед ней, которую нечем было искупить Лукину, заставили его покраснеть. Он ждал, что она подойдет; он хотел этого и даже уловил, как ему потом представлялось, движение, когда она решила подойти к нему; но что-то будто вдруг удержало ее от этого порыва, она отвернулась и быстро пошла прочь.

### XIII

В гостинице «Россия», в застланном безворсовым синтетическим ковром номере, Дементий Сухогрудов, проснувшись на следующий день после возвращения из Курчавина, стоял у окна и смотрел на открывавшийся ему вид Кремля с мостом, площадью, выложенной брусчаткой, и выступавшим на эту площадь собором Василия Блаженного, витые луковицы которого, еще не просохшие от сырости ночи, весело поблескивали в лучах встававшего над Москвой утра. Внизу, под кремлевской стеной, еще лежала тень, но весь зубчатый гребень ее и башня со шпилем, уходившим в небо, были освещены солнцем и серебрились, вызывая в памяти Дементия привычные понятия древности и величия, с которыми всегда связаны в душе русского человека слова «Москва» и «Кремль». По ту сторону кремлевской стены видны были зелень деревьев, белокаменная стена колокольни, купола церквей, соборов и возвышавшееся над ними полукружие Большого Кремлевского дворца. Все это тоже было освещено солнцем, перелива-

лось и серебрилось, и в то время как Дементий смотрел на открывавшуюся ему панораму столичного утра, самая простая мысль приходила ему в голову: «Вот тут вся наша история, характер народа, его душа». Он не знал еще, что в это утро будет принят в Кремле Председателем Совета Министров Косыгиным; но словно предчувствуя эту встречу, еще и еще раз, пока одевался, подходил к окну, чтобы взглянуть на кремлевскую стену и брусчатую площадь перед ней. Когда вышел из гостиницы, он уже был озабочен делами, которые предстояло в этот день решить.

Начиналось новое и еще более ответственное строительство, руководителем которого он был уже утвержден, и он поехал в министерство ознакомиться с проектом будущей новой газовой магистрали и обговорить с министром важные вопросы, касавшиеся этого строительства. Но едва Дементий появился в приемной министра, как ему сказали, что министр в Кремле, у Косыгина и что там ждут его.

— Машина уже подошла за вами, в рубашке родилась, — весело сказал ему помощник министра, передавший сообщение. — Вчера только утвердили, а сегодня уже т у д а. Используйте случай, соберитесь, второго такого может не быть. Да идите же, идите.

— Надо взять хоть что-то.

— Все там, и проект и планы. Идите, идите, там ждут. Желая успеха. — Он поднялся и до дверей проводил Дементия.

После растерянности в приемной министра в машине Дементий вновь почувствовал себя собранным, способным думать, и мысли его начали формироваться вокруг двух главных направлений — государственного (о важности строительства и вопросах, какие могут быть заданы в Кремле) и личного (как может измениться его судьба после этой встречи).

То, что он ехал в министерской «Чайке», вызывало в нем впечатление собственной значимости; и сколько он ни старался отделаться от этого впечатления, оно вновь возникало и сопровождало его. Жизнь его вне служебных дел, та реальная жизнь со всеми домашними и семейными заботами, о которой он всегда думал как о чем-то второстепенном, теперь казалась еще более отдаленной и мелкой. «Там — игра, здесь — настоящее», — не столько говорил, сколько чувствовал он. Разговор с Дружниковым, вспомнивший ему, вызвал в душе лишь усмешку. «Биографию делаю, вот в чем он упрекал меня. Так и ты делай, делай, а не прозябай в теплом кабинете». С той же внутренней усмешкой подумал он и о Виталине, с которой продолжал то мириться, то ссориться все из-за одного и того же — люблю, не люблю, люблю, не люблю. «Да в этом ли смысл?» — восклицал он теперь.

Между тем машина, мчавшаяся по набережной, круто повернув у Каменного моста, потянулась вверх, и взгляду Дементия открылась небольшая площадь с расходящимися от нее веером улицами. Но не успел он как следует присмотреться к площади, как машина, резко взяв вправо, уже втягивалась под арку Боровицких ворот. За аркой сейчас же показались окна Большого Кремлевского дворца, и Дементий увидел ели и ясный просвет неба, поразивший его особенной прозрачностью и глубиной.

«Мог ли я предположить, что когда-нибудь буду принят в Кремле и на таком уровне?» — подумал он в ту же минуту, как только увидел этот поразивший его просвет неба, ели и окна Большого Кремлевского дворца, мимо которых проезжал теперь; и чувство собственной значимости, подавлявшееся им, опять, нахлынув, заставило покраснеть. «Поспокойнее, поспокойнее», — как будто кто-то говорил ему, в то время как машина вырубивала на продувавшуюся ветром кремлевскую площадь. С обостренной ясностью он вспомнил, как отец упрекал его за то, что он пошел не по партийной работе; тогда Дементий отмалчивался, слушая отца; но теперь, будто в продолжение тех прежних разговоров с отцом, подумал, что если бы отец был жив и

мог видеть его в правительственной машине въезжающим в Кремль и увидеть затем, как будет входить в кабинет к Председателю Совета Министров, то, наверное, по-другому бы сказал теперь; и Дементий невольно оглянулся, когда, выйдя из машины, остановился перед подъездом.

Прежде чем Дементий очутился в кабинете Косыгина, его долго, как это показалось ему, вели по коридорам и лестницам, и несмотря на обостренную ясность, с какою, он думал, видел и воспринимал все, он запомнил только, что шел мимо каких-то высоких закрытых дверей, и запомнил шорох своих шагов по красному ворсу ковровых дорожек. За дверями, в кабинетах, было тихо; тихо было и в коридорах, и тишина эта лишь усиливала впечатление чего-то значительного, что делалось здесь. Здесь все было будто наполнено атмосферой той высшей государственной власти, которой подчинены жизни миллионов людей вне этих стен, и Дементий, словно втягиваясь во что-то плотное, входил в эту атмосферу оглушавшей его значимости и тишины. Лицо его было напряжено; он, казалось, смотрел на все, мимо чего проходил, но видел только спину, воротничок рубашки и седые волосы того человека, который вел его к кабинету Косыгина.

— Пожалуйста, вот сюда,— сказал тот самый седой человек, открыв дверь и предлагая Дементию войти в нее.

Дементий вошел и остановился в нерешительности. Это была приемная Косыгина. В глубине ее, у окна со светлыми, шелковисто обрамлявшими кабинет шторами, сидел за письменным столом помощник Косыгина Анатолий Георгиевич Карпов. Невысокий, плотный еще мужчина с тем округлым русским типом лица, в котором при первом же взгляде на него всегда чувствуется доброе расположение, поднялся и, пройдя несколько шагов навстречу Дементию, спросил:

— Товарищ Сухогрудов?

— Да,— ответил Дементий.

— Вам придется немного подождать,— сказал Карпов, глядя умышленно, успокаивающе-добрыми глазами на Дементия.— Пройдите пока сюда.— Он провел Дементия в комнату для ожидания и, оставив одного, вернулся к своему столу.

«Да здесь все просто»,— подумал Дементий, взглянув от окна, к которому подошел, на столик с пепельницей, кресла и стулья, расставленные вдоль стен. Простота обстановки должна была как будто успокоить его, но Дементий чувствовал, что он не только не может успокоиться, но что, напротив, чем ближе подходила минута встречи, тем сильнее он волновался и тем напряженнее и бледнее становилось его лицо. Он посмотрел в окно на площадь, на белые стены звонницы и колокольни и на солнце, которое, поднимаясь к зениту, словно нависало над золотыми луковицами церковью. День был ясный, был тот редкий (в начале лета) день в Москве, когда было солнечно, но не было душно, и от кремлевского сада, от газонов, цветов и от реки, металлически проглядывавшей за зубчатой стеной Кремля, сильно, как от луга и леса, тянуло прохладой. Но для Дементия все это было только красиво и не задевало его; он чувствовал лишь, что стоит долго и что ощущение остроты встречи уже начинает притупляться в нем.

Но в то время как он начал будто успокаиваться, он услышал позади себя, за спиной, голос Карпова, приглашавшего его войти к Алексею Николаевичу Косыгину.

— Да, да, иду,— сейчас же откликнулся Дементий и будто не своими, будто вдруг онемевшими ногами зашагал, куда указывалось ему.

#### XIV

Косыгин с министром сидели в глубине кабинета за длинным, для заседаний, столом. Косыгин поднялся, как только приоткрылась дверь, и стоя ожидал, пока подойдет Дементий.



Так как дело, по которому был приглашен Дементий, являлось для Косыгина частью его больших государственных забот и было связано со скорейшей подачей тюменского газа в европейскую зону страны и с возможностью подачи его на экспорт в Западную Европу (возможность такая тогда только еще начинала обсуждаться), он смотрел на Дементия с тем оценивающим любопытством, словно еще до разговора хотел определить, насколько этот входивший специалист мог оказаться полезным в решении сложных экономических проблем страны. Косыгин как будто подбирал себе партнера для преодоления трудностей, и оттого взгляд его казался пронизывающим и отличался от известного всем портретного взгляда, в котором было больше теплоты и сердечности, располагавших к нему людей. Но по общему выражению задумчивости, по выражению как будто усталости от тех усилий, какие Косыгин постоянно прилагал на своем высоком посту в государстве,— по этому общему выражению портретное сходство Алексея Николаевича было так велико, что оно поразило Дементия. Он увидел лицо, какое прежде видел только в телевизионных репортажах; но оно было теперь так близко, что можно было разглядеть все характерные черточки, за которыми скрывались и жесткость, и доброта, и весь характер этого недосыгаемо отстоявшего от Дементия и от многих тысяч людей человека.

В кабинете было так же все просто и так же светло, как было в приемной и в комнате для ожидания. Того же светлого тона шторы шелковисто обрамляли большие окна, за которыми видна была та же кремлевская площадь и белокаменная стена колокольни с золотым куполом и разогретым полуденным солнцем над ним. Яркие солнечные блики лежали на подоконниках, и свет от них, отбрасывавшийся к потолку, рассеивался затем по кабинету и придавал всему — столу, стульям, телефонам — то веселое настроение жизни, которое было, очевидно, в характере самого хозяина этого кабинета и в характере дел, совершавшихся здесь. Дементий заметил, что на столе перед Косыгиным не было никаких бумаг, и это обстоятельство (и то, что перед министром их тоже не было, как не было их и у Дементия) смутило его. Он почувствовал себя словно бы незащищенным и оглянулся на министра, весело, с подбадривающей улыбкой смотревшего на него.

— Садитесь,— предложил Алексей Николаевич, поздоровавшись и пожав Дементию руку и дав поздороваться ему с министром.— Вы, как мне сказали,— он обернулся на министра при этих словах,— давно работаете в Тюмени и знаете этот край. В связи с этим я хотел бы услышать от вас мнение по основным, важнейшим для нас сейчас вопросам.— Он еще пристальнее, чем только что, всматривался в бородатое, обветренное, по-сибирски загорелое и напряженно-бледное теперь лицо Дементия.

Но прежде чем Дементий ответил на эти вопросы, Алексей Николаевич неторопливо и немногословно, как умел делать это, рассказал о потребностях страны в промышленном газе, то есть о том, сколько и каких предприятий, должных войти в строй уже в текущей пятилетке, задействовано на тюменский газ.

— А города, а села,— сказал он.— Мы приняли ряд серьезных постановлений, в том числе, вы, конечно, знаете, постановление о развитии Нечерноземной зоны России. Не подкрепить материально такое постановление все равно что провалить его. Как видите, и деревне нужен газ,— сказал он.

Дементий слушал и смотрел на Косыгина. Он не заметил той минуты, когда в нем прошло волнение и когда после гнетущего ощущения значительности и тишины (как было в коридорах, когда он шел) он почувствовал, что Алексей Николаевич был таким же обыкновенным человеком, как и Жаворонков и другие, стоявшие выше Дементия по работе, к которым он без какого-либо страха перед их служеб-

ным положением входил и разговаривал с ними. И оттого, что волнение отпустило Дементия, стараясь запомнить каждое сказанное Алексеем Николаевичем слово, он смотрел на его лицо, как смотрел бы на любое другое человеческое лицо со всеми его оттенками озабоченности и желанием убедить собеседника. Дементий видел перед собой лицо со следами нелегкой судьбы и жизни, в котором было что-то крестьянское, что всегда связывается в сознании людей с землей и хлебом; лицо это, казавшееся Дементию в то же время суровым, наталкивало его на мысль, что мера требовательности у этого человека должна быть иной, чем у других, и что меру эту, очевидно, он прежде всего прикладывает к себе, к той своей государственной деятельности, какую приходится вести ему. «Вот чего нам не хватает в нашей работе: этой меры к себе, этой требовательности».

Сухогрудов не знал всей биографии Косыгина, но вспомнил сейчас, что Косыгин пятнадцати лет добровольцем вступил в Красную Армию, и живо вообразил весь жизненный путь Алексея Николаевича от тех дальних лет его армейской юности до нынешнего положения, какое он занимал в государстве, и жизненный путь этот показался Дементию поразительным по своему восходящему движению. То, о чем люди обычно забывают в повседневной суете (что руководители страны либо сами были когда-то рабочими, либо вышли из рабочих семей) и о чем Дементий тоже не думал, трудясь в Тюмени,— теперь, когда сидел перед Косыгиным и смотрел на него, близко видя его лицо, глаза, руки, все то, что делало Алексея Николаевича обычным в понимании Дементия человеком, жизненный путь Косыгина не мог не возбуждать определенных волнующих мыслей. И в этом жизненном пути два вопроса привлекали Дементия: личные качества Косыгина, позволившие так высоко подняться ему, и конституционная (для всех) возможность такого пути. Дементию казалось, что в главном — в деловой целеустремленности — он был похож на Косыгина.

Позднее он всегда стеснялся того, о чем думал в кабинете Косыгина; но теперь, сидя перед ним, он точно так же, как только что не мог отделаться от впечатления собственной значимости, когда ехал в правительственной машине, не мог заставить себя не думать, как просто и исполнимо может быть все в жизни, если не жалея себя и с умом отдаваться общей цели. «Вот в чем сила»,— про себя говорил Дементий, в то время как лицо его отражало весь этот ход мыслей. Косыгин, следивший за ним, по-своему воспринимал взволнованное состояние Дементия.

— Возможно ли, исходя из этих соображений,— сказал Алексей Николаевич, останавливая спокойный взгляд на заметно вспотевшем лице Дементия,— более ускоренными методами вести ваше строительство и что для этого нужно — людей прибавить, техники?

Дементий, только что будто знавший, что ответить Косыгину, почувствовал (из-за отвлекавшего его волнения), что в голове не было прежней ясности. Стараясь оттолкнуться от чего-то конкретного, что позволило бы ответить, он несколько раз мысленно повторил сказанные Косыгиным слова о людях и технике.

— Ускорить можно, Алексей Николаевич,— затем произнес он, оглянувшись на министра, только слушавшего и не вступавшего пока в разговор.— Но боюсь, что не от количества техники и людей будет зависеть дело.

— А от чего?

— От погоды, как в сельском хозяйстве. Сравнение, может быть, не совсем удачное,— поправился он,— но нам нужна не просто техника, а такая, чтобы она могла работать при любых самых сильных морозах. Нынешняя техника не выдерживает этих морозов. Люди выдерживают, техника нет.— И почувствовав, что говорит именно то, что надо сказать Косыгину (и еще оттого, что к месту пришлось выражение Жаворонкова: «Люди выдерживают, техника нет»), Дементий

улыбнулся своей располагающей улыбкой, которую сейчас же заметил на его лице Косыгин.

— Люди, говорите, выдерживают?

— Да, Алексей Николаевич.

— А техника?

— Нет.

— Что ж, придется дать вам такую технику, чтобы она была под стать людям,— ответил Косыгин, с охотой принимая этот веселый тон разговора. И он тут же сказал Дементию, что с проблемой этой знаком (он не раз бывал в Западной Сибири), что Совет Министров рассматривал ее и что промышленности уже дано соответствующее задание.

— Как скоро такая техника начнет поступать?— спросил министр, понимавший, что еще большая, чем на Сухогрудова, ложилась на него ответственность за скорейшее завершение строительства.

— Образцы уже проходят испытания, как мне сказали, но, товарищи, подумайте о своих резервах. Нужно мобилизовать все усилия. Все,— повторил Косыгин.

Затем, получив заверения от министра и от Дементия, что график строительства газопровода будет пересмотрен с учетом все возрастающих потребностей, Алексей Николаевич задал свой второй вопрос, на который, он понимал, не просто было ответить Дементию.

— Подумайте,— сказал Алексей Николаевич.— Речь идет об экспортной транспортировке газа, то есть о сверхмощном и сверхдлинном газопроводе. Прежде чем предложить Европе наш газ, мы должны точно просчитать все и выверить. Надо прикинуть приблизительный маршрут и трудности его.— И он назвал цифру, сколько примерно должно подаваться в сутки газа по такому газопроводу.

— Об этом надо подумать,— сказал Дементий.

— Разумеется, подумайте, изучите и составьте представление.— И, сказав это, Косыгин встал, давая понять, что время встречи подошло к концу.

Дементий тоже поднялся, неловко отодвигая от себя стул, и все то напряжение первых минут, как он входил и здоровался с Косыгиным, снова охватило его. Он уже не замечал ни поразившей его простоты обстановки, ни солнечного света, весело рассеивавшегося по кабинету, а видел перед собою только лицо Косыгина, его спокойные, строгие глаза, по выражению которых старался понять, как прошла встреча.

— И учтите,— между тем продолжал Косыгин,— на раздумье у нас очень немного времени. Надеюсь, вы понимаете это? Желаю успеха.— И он дважды, будто для убедительности, пожал руку Дементию.— А вы,— попросил он министра, назвав его по имени и отчеству,— на минуту останьтесь. У меня к вам еще один вопрос.

## XV

Несмотря на внимание, с каким Дементий слушал Косыгина, и на ясность, с какою воспринимал все,— когда выходил из кабинета, все душевные усилия его были сосредоточены на единственно важном в эту минуту для него вопросе, который, как всякий побывавший у высшего начальства человек, Дементий не мог не задать себе; вопрос этот состоял в естественном желании узнать, что Косыгин подумал о нем. «Все ли я сказал, так ли сказал?» — спрашивал себя Дементий, в то время как прощался с помощником Алексея Николаевича, который издали, из-за стола, кивком отвечал ему. «Он дважды пожал мне руку, это знак», — мысленно продолжал Дементий, шагая по коридорам и лестницам к выходу, куда провожал его уже знакомый молчаливый седой мужчина.

Из общего впечатления, оставшегося от встречи, Дементий выводил, что все прошло хорошо. Но так как общее впечатление должно было подкрепляться чем-то определенным, что выглядело бы бесспорно и убедительно, и так как более убедительного, чем двойное рукопожатие, Дементий не мог ничего выделить из всех только что пережитых минут, он опять и опять возвращался мысленно к этому рукопожатию, в значении которого он уже не сомневался, и когда вышел из подъезда на площадь, на солнце и увидел купола и машину, поданную ему (машина была — все та же министерская «Чайка»), в душе вдруг будто зазвучала музыка, сейчас же слившаяся с воспоминаниями об отце, Виталине, детях и с мыслями о работе, предстоявшей ему.

— В гостиницу,— сдержанно сказал он шоферу, словно боясь расплескать эту музыку торжества жизни, которая наполняла его.

Состояние душевной приподнятости долго затем не отпускало Дементия.

Поднявшись в номер, и не найдя чем занять себя, и почувствовав полную неспособность теперь к любому делу, он снова вышел на улицу.

У стеклянного входа гостиницы было многолюдно, говорили на разных языках. Дементий прислушивался к непривычно звучащей для него речи и присматривался к еще более непривычной белой одежде индусов, с чемоданами ожидавших кого-то; потом, стараясь удалиться от гостиничной суеты, поднялся к белым церковкам Зарядья (частью уже отреставрированным, частью стоявшим в лесах), которые, как подлесок возле распушившегося дуба, освежали своей вдруг будто разбуженной стариной громадное здание гостиницы. Он еще оглянулся на Кремль и на строения, видневшиеся за кремлевской стеной, но так как он не переставал думать о своей встрече с Косыгиным, все окружавшее его теперь, когда он шел, чтобы только идти куда-то, где, как ему казалось, не должно было быть ни суеты, ни шума,— все окружавшее воспринималось им как часть тех волнений и мыслей, которые занимали его.

Люди, отягченные повседневными заботами, никогда не задают себе вопроса, за что они любят жизнь. Жизнь для них — все то, что они делают и что приносит им радость или огорчение. Никогда не задавал себе этого вопроса и Дементий. Но он знал, за что он любил жизнь, и если бы все же решил спросить себя, то ответил бы, что любит за то, что есть в ней неограниченные возможности труда и успеха. Его назначение и разговор с Косыгиным и министром в Кремле — все это вызывало сейчас в нем чувство того успеха, за которым, казалось, он один только мог понимать, какой стоял труд. Это годы его жизни в Тюмени, когда он однажды в пасмурный летний день с дипломом инженера в чемодане и с желанием поскорее включиться в работу, какая будет поручена ему, ступил на сибирскую землю. Как у многих тысяч никогда прежде не бывавших в Сибири людей, о тайге у него было лишь романтическое представление, что все здесь величественно и нехожено. Но в первую же осень он с разочарованием увидел, что тайга не всюду была одинаково величественна и что непроходима она вовсе не потому, что на сотни верст преграждали дорогу могучие кедры, ели и лиственницы; на те же сотни верст от берегов Иртыша и Оби простирались трясины, поросшие мелкоколесом, и вид этих болот и будто прореженной на зыбкой земле тайги (и комариная мгла над ельником) удручающе подействовали тогда на Дементия; он долго не мог принять эту тайгу и с чувством обманувшегося человека долго не мог поверить, чтобы что-то значительное, как в бакинской кладовой, хранилось под этой гнилой, топкой и промерзлой насквозь землей.

Но время сомнений и колебаний давно было позади для Дементия, и тайга существовала для него уже не в сравнении с прежними романтическими представлениями о ней (и не в сравнении с мценскими и орловскими смешанными лесами, память о которых, как память о детстве, жила в нем); меколесье, трясины — он находил в них свое величие; под ними лежали запасы нефти и газа, которые надо было добыть и через все безмолвное пространство тайги и тундры подать для промышленности. Дементий давно уже чувствовал, что он находится в центре главных событий; но он только сейчас, после разговора с Косыгиным, вполне осознал это; и старался теперь мысленно охватить весь огромный объем предстоящих дел.

Он перешел в Замоскворечье, но и тут показалось ему шумно, он свернул на какую-то незнакомую улицу. На ней тоже было шумно, и он свернул на следующую. Потом сделал еще несколько поворотов, уже не представляя, куда он зашел, и в то время как он полагал, что уходит от суеты и шума, на каждой новой улице его встречало точно то же: поток машин, людей, обгонявших и шедших навстречу друг другу. И чем дальше он отходил от центра и чем ближе, не зная того, подвигался к Садовому кольцу, тем плотнее становился поток и тем сильнее обдавало Дементия теплом и гарью. От тишины кремлевских кабинетов, где он только что был, он втягивался теперь в гулгу городской жизни, чувствуя себя как бы связующим звеном между той сферой и этой жизнью, и улыбался себе тихой и глупой улыбкой торжества. В нем вновь поднималось чувство собственной значимости, но он уже не пытался подавить его; после всего происшедшего с ним чувство это было естественно и необходимо ему для ощущения полноты жизни.

## XVI

Любая отдельно взятая человеческая судьба, какой бы ни была насыщенной и интересной, не может отразить общей картины жизни. Жизнь — это движение, в ней происходит постоянное обновление: одно рождается, набирает силу, другое стареет и умирает, — и современникам не всегда удается вполне осмыслить то, что совершается ими и возле них. Я показал только тот отрезок жизни, в котором жил, и так, как все виделось мне; что будет происходить дальше, увидят уже, наверное, другие глаза, осмыслит другой ум, напишут другие руки.

Конец

1973—1983 гг.



---

## МАРК ЛИСЯНСКИЙ



### ЭТОТ НАШ НАСУЩНЫЙ ДЕНЬ



Дождь прошел — и солнце светит,  
Пахнет пылью и смолой.  
Разговаривает ветер  
С корабельною сосной.

Море каждый камень моет  
Светозарною волной.  
Разговаривает море  
Исключительно со мной.

Пахнут свежим теплым хлебом  
Изумрудные поля.

Разговаривает с небом  
Хлебосольная земля.

Вечный спор ведет со светом  
Неотвязчивая тень.  
Разговаривает с веком  
Этот наш насущный день.

Хоть дружу я с соловьями,  
Люди всех морей и гор,  
Разговариваю с вами  
С дня рожденья до сих пор.

#### Подвезь

И солнце дышит учащено,  
На мир взирая с высоты —  
От этой веточки зеленой  
До той невидимой черты.

И сердце вслед за солнцем дышит,  
С ним поднимается в зенит,  
И чем над нами солнце выше,  
Тем громче ибога звенит.

И жадно дышат вместе с нами,  
Деля на всех один глоток,  
Любой обыкновенный камень,  
Любой несорванный цветок.

Всё заодно в пространстве этом,  
Все скреплено — к звену звено,  
Одним дыханием согрето,  
Одним лучом озарено.

#### Любуюсь

Хочу, друзья мои, признаться,  
Что я люблю на склоне дня  
Своим трудом полюбоваться,  
Когда он радует меня.

Любуюсь, скинув с плеч рубаху,  
Чуть охладив рабочий пыл,  
Простым гвоздем, который с маху  
Одним ударом вколотила.

Любуюсь струганой доскою,  
Рубанок мой держав в руке,

Любуюсь точною строкою,  
Впритирку пригнанной к строке.

Я говорю себе при этом  
И говорю другим всегда:  
В любой работе будь поэтом  
Во славу общего труда.

Но чтоб собой не упиваться,  
Умей, признанья не тая,  
Чужой работой любоваться,  
Как будто бы она твоя.

\* \* \*

Мы не знаем, что нам свойственно,  
 Что природою дано.  
 Наше чувство часто двойственно,  
 Твердой почвы лишено.

Так бывает и в суждении  
 О превратностях судьбы,  
 И в порывах, где мы с рвением  
 Расшибаем наши лбы.

Мы сгибаемся под бременем  
 Сверхвысоких скоростей,

Под горячим током времени,  
 Обстоятельств и страстей.

Выбираем неуверенно,  
 Наугад свои пути.  
 То, что в юности потеряно,  
 Может стать, не найти.

Нет, не ради назидания  
 Обращаюсь к людям я:  
 Не ищите оправдания,  
 Посмотрите на себя.

\* \* \*

Примеряет праздничный наряд  
 Рощица берез в прозрачном свете.  
 Листья по-осеннему шумят,  
 Это загрузили мы о лете.

Улетают в теплые края  
 Журавли. Я догоняю стаю,  
 Улетаю вместе с ними я,  
 В молодость я с ними улетаю.

Вся земля — обетованный дом.  
 Мы летим сквозь осени и зимы.  
 С миром, где мы жили и живем,  
 Мы едины и неразделимы.

Но едва ли нам сдержать слезу  
 Возле материнского порога...  
 Океан волнуется внизу,  
 Это о тебе моя тревога.

### Корни

Ждут нас бухты и причалы  
 Незабытой стороны.  
 Наши тихие печали  
 В утешенье нам даны.

Ждет акация у дома,  
 Ждут старинные друзья.  
 Это чувство всем знакомо,  
 Без него немислим я.

Я писал об этом много,  
 Вдруг нежданно вновь пишу.  
 Видно, ждет меня дорога  
 К родовому палашу.

Чем-то сладостным повеет,  
 И растает ком в груди,  
 Сердце сразу не поверит  
 В то, что юность позади.

Той дороженьки не минешь,  
 Тянет нас к родным местам.  
 Крону где-нибудь раскинешь,  
 Ну а корни — корни там.

Ты взглядишь, пройдя полсвета,  
 В то, что помнишь наизусть.  
 Станет грустно... Только это  
 Утешительная грусть.



---

АЛЕКСАНДР ИВАНЧЕНКО

★

## ЗОЛОТО ДЛЯ БАМА

*Документальная повесть*

С утра монотонно хлюпавший в лужах дождь неожиданно утих. Рыхлые тучи медленно, словно нехотя, расползлись, и вот из посветлевшего между ними пространства вдруг вынырнуло огромное, накаленное добела солнце. Будто его кинуло сверху вниз и оно, едва пробив засиневшую макушку небесного купола, сразу застыло. Потом вокруг него, образовав четкий квадрат, сначала блекло, затем все ярче начали разгораться еще четыре таких же светила. Струившиеся на землю лучи всех пяти солнц вырисовывались в воздухе так четко, словно это были не лучи, а розовые нити, миллиарды тончайших строп гигантского парашюта.

Просинь неба ширилась, воздух голубел и в необычайном солнечном ливне становился как бы шипучим. Был он при этом кристально прозрачным и двигался не дымками, как обычно, а всей массой, будто волны в растревоженном, но еще не штормящем море. В прозрачной голубизне все предметы увеличились, точно на весь окружающий мир ты смотрел сейчас сквозь лупу.

Вдруг по небосводу размашисто прокатились и, охватив полнеба, величаво расцвели пять радуг. Сопки запыльхали всеми существующими на свете красками. Истинно фантазмагория, феерическое, буйно ликующее пиршество цвета!

Я знал, что это игра так называемой рефракции, нечто родственное по своей природе миражам, и все же перед видением нереальных, но физически явственных пяти солнц, породивших пять феерических радуг, невольный суеверный трепет догло не покидал меня. И в то же время обжигала радость: «Вот ты еще какая, моя Колыма!»

Давно породнившись с этим краем, я думал, что знаю теперь о нем если не все, то по крайней мере столько, что поразить меня чем-нибудь здесь уже невозможно. Я работал в колымской тайге геологом еще в 50-е годы, исходил по ней если не тысячи, то многие сотни километров. Потом, став писателем, часто бывал в Магадане и поселках, построенных в советское время вдоль великой Колымской автотрассы, проложенной сквозь таежные дебри также в годы пятилеток.

Горная промышленность, промышленное и гражданское строительство, сельское хозяйство, наука и культура — все это на Колыме, можно сказать, развивалось, а многое и рождалось, едва ли не на моих глазах. Я видел начало золотых рудников. Был свидетелем коренной



перестройки всей золотодобычи, когда на смену примитивным промысловым приборам приходила землеройная техника и промысловые установки, способные перерабатывать сотни кубометров золотоносных песков в день, когда широко начинала внедряться на приисках современная гидравлика, создавались мощнейшие по производительности дражные комплексы, пришли первые шагающие экскаваторы. При мне велось изыскание створа, быть может, самой уникальной в мире Колымской ГЭС, чья энергия уже питает многие местные предприятия, расчищалась площадка для теперь уже действующего магаданского аэропорта, рассчитанного на прием современных авиалайнеров, строился первый на северо-востоке страны телецентр, создавались Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока, Магаданский НИИ биологических проблем Севера и филиал Хабаровского политехнического института.

Кажется, все знакомо до мелочей, а уж природа во всяком случае, и вот это ликующее диво — пять солнц, породивших пять феерических радуг! Никогда не предполагал, что на Колыме можно увидеть еще и такое. Игра северных сияний — да, они всегда неповторимы, но пять солнц!..

Однако куда более удивительно, когда, хорошо зная историю края, в давно, казалось бы, известных тебе фактах неожиданно открываешь для себя что-то уж совсем интересное: «Ба, да ведь я это знал!»

Так случилось и на этот раз.

Более двадцати лет назад, собирая материал для своей первой книги о Колыме, нашел в одном из архивов письмо секретаря Далькрайкома ВКП(б) А. И. Лаврентьева директору недавно созданного Государственного треста по промышленному и дорожному строительству в районах Верхней Колымы (Дальстроя) Э. П. Берзину, датированное 1935 годом. Я на всякий случай снял с него копию — вдруг пригодится, но так нигде о нем и не упомянул. Не увидел, должно быть, в нем ничего особенного.

И вот теперь это письмо снова передо мною. Читаю и не перестаю удивляться: надо же, не придал значения такому факту!

«Хочу напомнить, — пишет А. И. Лаврентьев, — что в тяжелейших условиях безденежья посылка экспедиции тов. Билибина на Колыму и все дальнейшие поисковые работы в Охотско-Колымском крае кредитовались в тесной связи с предстоящим строительством Байкало-Амурской магистрали, на быстрейшем сооружении которой мы настаивали чуть ли не с первых дней освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейщины. Наконец деньги нам были выделены и предоставлены в первую очередь для того, чтобы валютные средства, необходимые для заграничных закупок, связанных со строительством БАМ, мы смогли изыскать сами и у себя же, т. е. смогли развернуть золотодобычу на Колыме, если на золото она окажется действительно перспективной, как то обещали тов. Билибин и те, кто его поддерживал в Ленинграде и Москве.

Теперь, когда наличие золотых россыпей установлено, организованы прииски и Государственный трест по промышленному и дорожному строительству в районах Верхней Колымы, бюро Далькрайкома ВКП(б) вправе ждать от вас полноценной отдачи. Она, однако, не должна ограничиваться одной золотодобычей. Не менее, а может быть, и более важно, чтобы Колыма стала своего рода предвестницей БАМ в отношении накопления опыта как по строительству, так и по всеобщему освоению районов, сходных с прилегающей к БАМ зоной.

В настоящее время, начиная геодезическую трассировку магистрали, мы пока не располагаем никакой технологией строительства в условиях вечной мерзлоты. Как поведет себя мерзлота под дорожным покрытием и при больших нагрузках (заводские цеха, каменные здания в три и больше этажей), пригодны ли существующие марки стали

для ферм наших будущих мостов, какие нужны технические масла и что нужно менять в машинах, предназначенных для работы в морозы от 40 градусов и ниже, — все это вопросы, не имеющие пока ответа. Их необходимо разрешить научно-опытным путем применительно к Колыме, включая сюда и организацию труда и производства. Что хорошо окажется для Колымы, то, несомненно, хорошо будет и для всей мерзлотной зоны БАМа.

Чрезвычайно важно также уже сейчас, пользуясь новейшими достижениями мичуринской науки, найти возможность выращивать на покрывающих мерзлоту почвах картофель, капусту и другие эффективные в противощинготном отношении овощи, завозка которых в больших количествах из более благоприятных районов сопряжена с огромными потерями и обходится слишком дорого.

То же касается молочно-товарного животноводства и массового разведения кур и другой птицы.

Необходимо помнить, что в стратегическом экономическом планировании мы не можем ориентироваться на временные города и поселки, которые исчезали бы по мере истощения тех или иных минеральных ресурсов, как это видно на печальных примерах Аляски и канадского Севера. Коммунистическое обустройство жизни в новых районах должно быть прочным и постоянным, не зависящим ни от каких конъюнктур.

Исходя из этого, бюро Далькрайкома ВКП(б) настоятельно рекомендует вам наряду со всемерным расширением золотодобычи и строительством безотлагательно налаживать также научно-опытные изыскания по решению возникающих проблем в их стратегическом плане. Вы же, сообразуясь с вышеизложенным, укажите наиболее узкие места по кадровому вопросу...»

Очевидно, это письмо Л. И. Лаврентьева, так заинтересовавшее и обрадовавшее меня теперь, не вызвало у меня особых эмоций в 1960 году по той простой причине, что само слово «БАМ» тогда мне еще ничего не говорило. Для людей моего поколения, в начале 30-х годов только родившихся, история БАМа началась с марта 1974 года, когда об этой грандиозной стройке впервые было объявлено на весь мир. Газеты тут же окрестили ее стройкой века. Но и в те мартовские дни я думал, что «стройка века» — это лишь метафора, поэтическое определение небывалых размахов строительства. И только потом, когда о БАМе одна за другой начали выходить книги с историческими экскурсами, я понял, что в поэтической метафоре есть немало и буквального смысла. Оказалось, что к 1974 году история БАМа насчитывала уже целых 85 лет! А идея магистрали родилась и того раньше. Еще в 1857 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский, подымая перед царским правительством вопрос о необходимости постройки Транссибирской железной дороги, писал в своей докладной записке, что «дабы не создавать на путях чрезмерной скученности и в то же время способствовать оживлению всего края как по географической широте, так и по меридиану, строить оную надлежит по двум направлениям, исходящим из одного пункта на западе и смыкающимся в другом пункте на востоке». То есть разговор шел о своеобразном гигантском эллипсе, контуры которого намечались довольно близкими к современному Транссибу и БАМу.

Что касается будущего БАМа, то регулярные изыскания на его трассе, вернее, поиски самой трассы начались в 1889 году и продолжались с небольшими перерывами двадцать пять лет, то есть до 1914 года, когда разразилась первая мировая война, вынудившая русское правительство прекратить всякое строительство.

Затем революция, гражданская война, интервенция, разруха. Но БАМ забыт не был. Уже в 1922 году, как только на Дальнем Востоке окончательно упрочилась советская власть, Далькрайком ВКП(б) вошел с ходатайством в Высший Совет Народного Хозяйства о

возобновлении изысканий и начале строительства железной дороги от Байкала до Амура.

Конечно, удовлетворить ходатайство дальневосточных большевиков ВСНХ в то время еще не мог. Однако не было и отказа.

Ответ в Москве дали резонный: поскольку в сооружении БАМа дальневосточники были заинтересованы в первую очередь, им предлагалось прежде всего изыскать у себя валютные средства, нужные для заграничных закупок, связанных со строительством магистральной ВСНХ таких средств просто не имел. О том же, что золото на Дальнем Востоке, и в частности на Колыме, есть или должно быть, говорили тогда много. Но его предстояло еще найти.

Как оно было открыто, я и расскажу в этой повести.

Их было двадцать два: организатор и начальник экспедиции Юрий Александрович Билибин, его заместитель Валентин Александрович Цареградский, два начальника полевых поисково-разведочных партий Сергей Дмитриевич Раковский и Эрнст Петрович Бертин, геодезист-астроном Дмитрий Николаевич Казанли, завхоз и бухгалтер Николай Родионович Корнеев и шестнадцать рабочих.

И по внешнему виду и по своему профессиональному составу экспедиция, надо сказать, довольно пестрая, а если учесть, что на поиски колымского золота, картографирование и дорожные изыскания она была послана Геологом — Геологическим комитетом ВСНХ, представлявшим собою больше научное, чем административное учреждение, то и несколько странная. Странная в том смысле, что многие в этой экспедиции, включая и некоторых ее руководителей, никакого отношения к науке до сих пор не имели. Так, начальника одной из двух полевых партий — Эрнста Петровича Бертина — с золотоискательством связывало лишь то, что он приходился младшим братом известному в те годы открывателю алданских золотых россыпей Вольдемару Бертину. Но сам Эрнст Петрович золотом никогда не интересовался, а с картографированием и дорожными изысканиями вообще никак не сталкивался.

Неисправимый таежный бродяга, пешком исходивший в свои тридцать пять лет всю Сибирь, Эрнст Петрович был кряжист, бородат, нордически светел. В его почти белых, слегка пожелтевших от табачного дыма усах (он курил короткую вишневую трубку) всегда пряталась чуть ироническая ухмылка, но влажные зеленые глаза смотрели на мир с кратким смирением. При этом он обладал таким громовым голосом, который способен был заглушить рев матерого лося, однако пользовался им Эрнст Петрович крайне редко, так как с людьми встречался не часто, а если и встречался, то говорил мало, может быть, потому, что изрядно заикался и, как многие заики, стеснялся своего недостатка.

Когда-то он с отличием окончил гимназию, читал древних философов, революционеров всех времен и народов, хорошо знал Пушкина, Лермонтова, Байрона, но жизнь предпочитал первобытную, занимаясь исключительно охотой, рыбалкой и всевозможным собирательством: кедровые орехи, грибы, ягоды, лекарственные травы. При чем брал он всего у тайги не больше чем мог потребить сам или израсходовать на покрытие своих весьма непритязательных нужд. Рыбалку, однако, любил до страсти и нередко увлекался ею настолько, что всякую меру забывал. Потом страдал и каялся, жалеючи напрасно загубленных рыбин, как будто те могли его укорять. Но стоило ему слышать плеск хариуса или тайменя, как все повторялось.

Сразу после Октябрьской революции, когда в Сибири и на Дальнем Востоке наступило временное затишье перед долгой и кровопролитной гражданской войной, в Иркутске при политехническом институте была создана инициативная группа горных инженеров и техни-

ков, поставивших своей целью содействовать социалистическому развитию Сибири. В эту группу вошел и опытный практик-геолог большевик Вольдемар Бертин, которого вскоре командировали в Охотск. По слухам, там начиналась золотая лихорадка, и Бертину поручалось выяснить, действительно ли прилегающие к Охотску районы перспективны на золото. Лучшего спутника, чем младший брат, Вольдемар найти себе не мог. Но идти с ним Эрнст отказался. Копаться в земле, тем паче в поисках презренного металла? Ни за какие блага! Да и на что они ему, блага? Однако когда уже из Охотска Вольдемар прислал письмо, в котором словно бы между прочим упомянул, как много там непуганого зверья и какая замечательная рыбалка, тут Эрнст не устоял. Ради стофунтовых тайменей, каких, по словам Вольдемара, он будто бы запросто добывал острогой в ручьях охотской тайги, Бертин-младший готов был отправиться на край света.

К сожалению, до Охотска он так и не добрался. В занятой к тому времени мятежными белочехами Чите, где он остановился по пути, чтобы закупить новое рыбацкое снаряжение, его неожиданно арестовали и как подозрительную личность посадили в тюрьму.

Могли ни за что ни про что и расстрелять, поэтому Эрнст Петрович, сильно обозлившись, нашел способ бежать. Бежал и, чтобы отомстить белякам, ушел в партизаны и партизанил всю гражданскую войну. Потом бродил где-то по Ангаре и Енисею и встретился с Вольдемаром только осенью 1927 года уже на Алдане. Пришел просто повидаться с братом, стыдно стало, что так долго глаз не казал. Вольдемар в гражданскую едва жизни не лишился, в вагоне смерти самого атамана Калмыкова побывал. Там его так били прикладами по голове, что лопнули барабанные перепонки и кожа от черепа отслоилась, все волосы выпали... Брату, конечно, ничем теперь не поможешь, а повидаться все ж надо. Да и на Татьяну Лукьяновну, жену брата, давно поглядеть хотелось, какая она стала. Специально для нее отрез китайского шелка на платье припас...

Злые языки поговаривали, что Эрнст потому и не женился, что в жену брата без памяти был влюблен. И по той же причине годами в тайге пропадал, не мог счастье Вольдемара перед собой видеть. Так оно было или нет, однако на Алдан он явился не затем, чтобы золотишко искать. Но здесь Вольдемар познакомил его с Билибиным, который как раз набирал людей для своей экспедиции на Колыму. Как они нашли общий язык, никто не ведает, но тот, Билибин то есть, не определял пока должности, предложил ему идти с ним, и Эрнст, к великому изумлению Вольдемара, охотно согласился.

— А-а ч-что, и п-пойду! — сказал брату с явным вызовом.

Так он и оказался в экспедиции Билибина. Должно быть, соблазнила все-таки Колыма непуганым зверьем. Уж где-где, а там его наверняка водится предостаточно. Или чтоб снова подальше от Вольдемара с его Татьяной сбежать...

Начальник другой поисковой партии — похожий на Буратино Сергей Дмитриевич Раковский — законченного геологического образования тоже не имел. Он, правда, учился на горном факультете Иркутского политехнического института, но проучился всего два года, и, надо полагать, не блестяще, так как четвертую экзаменационную сессию на стипендию не вытянул. Поэтому и подался в тайгу к старателям. Хотел за лето подзаработать денег для дальнейшей учебы, однако так в тайге и застрял. Больно по душе пришлась ему развеселая жизнь старательской артели, которую сколотил на Болайбинских золотых приисках Степан Степанович Дураков — личность весьма колоритная. Могучий черноусый красавец, он в 1915 году после призыва на действительную службу в армию попал за свою картинную статью в лейб-гвардии гренадерский полк и, будучи грамотным, получил даже направление в школу прапорщиков, в которые, однако, не вошел. Какой-то ротмистр, обращаясь к нему, не то по ошибке, не то издевки

ради вместо Дуракова назвал его дураком. Обычно невозмутимый и по натуре миролюбивый, тут, однако, Степан не стерпел — так саданул ротмистра, что тот свалился с ног и вместе с кровью выплюнул пригоршню зубов, за что несостоявшийся прапорщик был судим военным судом. К расстрелу, слава богу, не приговорили, как то по военному времени ожидалось, но в штрафные роты упекли. Это обстоятельство, видимо, способствовало политическому прозрению Степана. Бывший лейб-гвардеец с первых дней революции примкнул к большевикам и затем был артиллеристом в Красной Армии. Но в командиры не вышел и здесь, хотя был достоин и возможность для этого имел. Не любил Степан воинской службы, вернее, дисциплины. Как только окончательно расколшматили Колчака и добились белых под Спаском и Волочаевкой, сразу запросился на гражданку. Истомился по вольной таежной жизни.

В старательскую артель этого Степана Степановича Дуракова в 1922 году и пристроился студент Раковский. Фартовой была артель. Один Майорыч (Петр Александрович Майоров) чего стоил! Неграмотный забайкальский шатун, не помнящий ни роду, ни племени, изведавший и тюрьмы и каторги, он мыл золото еще до революции, и мыл не старательским лотком, как все, а, казалось бы, никуда не годным арестантским колпаком и, однако же, наскребал с того колпака немало. Нюх на золото у Майорыча был особенный, чуял он его, клятое, как застоявшийся жеребец кобылу чуёт.

Не уступал по этой части Майорычу и Жешка Горбонос — Евгений Савельевич Игнатъев, прозванный Горбоносом за перебитый в драке нос. Лихой был человек по всем статьям. В германскую три Георгия выслужил, в Красной Армии — именную саблю, ну а среди старателей — почет и уважение.

Был и пятый в артели сотоварищ, который в таежных премудростях самому Дуракову фору давал, — тощий якут Мишка Седалищев, исполнявший при Дуракове обязанности толмача, а также артельного конюха и проводника. Не было на небе таких звезд, по которым бы Мишка не вывел артель из самой глухой тайги.

Умел Степан Степаныч народ подбирать. Потому удаче и не кланялся — фарт за бороду держал! Бывало, за сезон золотишка по пуду намывали, но, известно, как и полагается настоящим золотишникам, все до последней золотишки пропивали.

— Гуляй, рванина, жисть одна, едри ее в качель!

И гуляли, широко, по-сибирски золотым песком кабаки заседали. Пять лет для Сереги как в чаду пролетели. Все забыл, а институт, само собой, и вспомнить не тужился. На кой ляд он ему, фартовому!

— Гуляй, студент, золото — дерьмо, дерьма не жалеи!

Только на Алдане, куда ранней весной 1927 года каким-то манером заманил их всей артелью Вольдемар Бертин, хмельной чад малопомалу стал испаряться. Мягко стелил Вольдемар, агитируя на свои прииски, а постельку-то, на старательский взгляд, жестковатую уготовил. Золотишко все до крупички — государству и только по госцене, жилуху сам себе построй, да не какой-нибудь балак, а целый барак, и бесприменно по-культурному, с отдельной кухней и сортиром теплым. И ту жилуху не ситчиком пестрым, как у старателей принято, а обязательно тесом на комнатенки разгороди. И комнатенка чтоб не больше как на двоих.

К тем хорам тесовым еще вроде как красная зала полагалась, с лавками и столами на всю бригаду в двадцать душ. Чтоб на столах там газетки лежали, книжонки разные — для культурного отдыха. Про гулянье прежде и думать забудь. А то Вольдемар, даром что глухой, все слышит башкой своей голой и в конторе приисковой потом тебя так на доске позорной разрисует, что все косточки твои оборжут. А старатель, ясное дело, не лапоть какой-нибудь, чтобы ржали над ним, гордость у старателя имеется.

По совести сказать, в такой жилухе и самим сподручнее было. И опять же по утрам голову с похмелья не ломало. Живи — не хочу. Однако с Алданом, вернее, с Вольдемаром расставались все же без сожаления. Билибину и агитировать не пришлось. И то — не первый день его знали. В главных геологах Юрий Александрович тогда ходил. Мужик не мякотный, с характером, однако не зануда, песенки поет, стишками балуется, да и не такой он, чтобы сухой закон в обычай брать. Потому всей былой артелью и перекинулись к нему, когда объявил он, что на Колыму охотников ищет. Только Степанычу пришлось с Серегой местами поменяться. Хотя и бывший, но все-таки студент горного факультета, по мнению Билибина, в начальники полевой партии государственной экспедиции больше годился. К тому же Серега в геологических бумагах кое-что соображал, мог схему месторождения нарисовать, маршрут на карте проложить.

Собственно, кроме этих пятерых, в экспедиции больше и старателей не было. Мишка Луненко и Андрей Костун еще и шинели красноармейские не сняли, Тимоха Аксенов — от сохи, Петька Белугин, Яшка Гарец, Кузьма Мосунов и остальные — салаги, за исключением разве Дмитрия Чистякова, Ивана Алехина и Петра Лунева. Эти трое были постарше и держались солидно, потому как успели стать партийцами, но в золоте понимали они не больше Тимохи Аксенова, а в картографировании и того меньше.

Странная экспедиция. Заместитель начальника Валентин Александрович Цареградский — палеонтолог, то есть специалист по ископаемым жучкам и папоротникам, Корнеев, ведавший всем имуществом и снаряжением экспедиции, только что окончил Академию художеств...

Дипломированных специалистов нужного профиля всего двое: геодезист-астроном Казанли и сам Билибин, в двадцать шесть лет сумевший себя прославить тем, что, едва явившись на Алдан, где многоопытные золотышники толкались уже четыре года, сразу же открыл целые жилы рудного золота, которые были первым открытием в его жизни, но которые он тем не менее назвал Лебедиными то ли из суеверия (мол, все, другой такой удачи не будет), то ли в знак того, что свою миссию на Алдане считал законченной.

Интересной фигурой был Юрий Александрович Билибин.

Теперь он ушел в легенду, и каждый пишет о нем по-своему. Все сходятся только на портрете: высокий, жилистый, с ястребиными ярко-голубыми глазами и огненно-рыжей окладистой бородой. Наверное, в молодости таким он и был, но зримо представить его в таком облике мне трудно. Я запомнил его другим. Действительно высокий, спортивно подтянут, но гладко выбрит, с глубокими залысинами и совершенно седой. Цвет и выражение глаз за толстыми стеклами очков я бы определить не взялся. Помню только, что очки были в золотой оправе. Еще запомнился крупный тяжелый подбородок, который назвать волевым, однако, вряд ли возможно. Его мягко делила пополам продолговатая симпатичная долька, свидетельствующая больше о натуре поэтической, чем жесткой, хотя и с характером целеустремленным.

Нет, лично с ним я знаком не был.

В 1950 году, будучи уже членом-корреспондентом Академии наук СССР, он приезжал к нам в Днепропетровск из Ленинграда и прочел несколько лекций в Горном институте, которые кроме студентов вуза приходили слушать также учащиеся старших курсов Днепропетровского горного техникума, где я тогда учился. В институт на лекции Билибина нас водил наш преподаватель общей геологии Алексей Сергеевич Фадеев, восторженно говоривший нам, что Билибин — исключительно талантливый геолог и послушать его надо считать за счастье. Может быть, потому он мне и запомнился, хотя слышать я ничего не слышал. Лекции проходили в громадном актовом зале без микрофона и при таком стечении народа, что нас, техникумовцев, загоняли на са-

мую дальнюю галерку. Поэтому нам не оставалось ничего иного как, вооружившись театральными биноклями, только смотреть на ленинградскую знаменитость, словно на артиста пантомимы.

Однако будем считать, что тот, легендарный, образ Билибина и есть самый достоверный. По ходу дальнейшего рассказа я прибавлю к нему лишь то, что слышал о нем от Сергея Дмитриевича Раковского. В 1954 году я познакомился с ним на Колыме, и с тех пор в течение почти десяти лет мы часто встречались и о Билибине говорили, конечно, не раз и не два.

Он любил повторять слова одного из диалогов Сенеки, которые заучил, как стихи:

«Не согласен я и с мыслями твоими о честолюбии. В даровитом юноше ты его порицаешь; оно же, по моему разумению, для него — факел в ночи непознанного. Ты же не хочешь, чтобы в дороге он заблудился?»

Думается мне, досточтимый господин и учитель, ты равняешь тут дорожение честью и тщету в исканиях славы. Но уравнимо ли одно с другим? Не встречал я тщеславных, жаждущих наперед всего труда похвального, всем полезного; честолюбивых же, изнуряющих себя в трудах благородных, ты и сам видел немало.

Воздадим же честолюбивой юной даровитости и скажем так: дорожение честью — не искание славы в гонениях за славою, а добывание славности в трудах нужных. Честолюбие пусть будет огнищем души, а трудолюбие — истинно честью...»

Честолюбие было огнищем души всех Билибиных. Их род в российских гербовых книгах, энциклопедиях и грамотах упоминается со времен Иоанна Грозного. Был на Москве при Грозном приказный дьяк Билибин Шершень, которого за какую-то провинность сослали во Псков. От того Шершня и пошли, видимо, все Билибины, ставшие впоследствии богатейшими купцами и заводчиками. Трое из них — Харитон и два его сына, оба Ивана, — сидели в Калуге. Облик их время для нас сохранило, так как писаны они были знаменитым портретистом Левицким. Его же кисти принадлежит и портрет вельможи Якова Билибина, внука Харитонова, вольнодумца-масона, державшего в Петербурге аристократический салон, завсегдатаями которого были композитор Глинка, Фонвизин, Карамзин, Державин, видные артисты, художники, музыканты. Бывал там и цесаревич Александр, будущий император Александр I.

Но в анналы истории российской Яков, подобно Кузьме Минину, вошел как «достойный почитания патриот Отечества». В 1812 году, когда началось нашествие Наполеона, он пожертвовал на оборону двести тысяч рублей — этих денег хватило, чтобы снарядить и полностью экипировать целую дивизию.

Билибиным, однако, эта жертва обошлась тем, что впоследствии из разряда купеческого они были вынуждены перейти в разночинцы и жить в дальнейшем только на трудовые доходы. Впрочем, рано или поздно это все равно должно было случиться, ибо почти все Билибины отличались необыкновенной плодовитостью, отчего наследие отцов с течением времени уменьшалось в геометрической прогрессии. У деда Юрия Александровича, Николая Алексеевича, было, например, семеро сыновей и пять дочек. По десять — двенадцать детей имели и его многочисленные братья.

И все же, множась, честолюбивый род не мельчал ни нравственно, ни духовно. Он дал России много выдающихся дипломатов, ученых, инженеров и военачальников. Был среди них и широко известный художник, один из лучших иллюстраторов пушкинских сказок Иван Билибин, опубликовавший в 1905 году в сатирическом журнале «Стрелкоза» рисунок, на котором всероссийский самодержец Николай II во всех своих регалиях был изображен ослом, за что художника-смутьяна арестовали, а журнал закрыли.

Сам Юрий (по крещению Георгий) Александрович родился 6 мая 1901 года в Ростове Великом в семье гренадерской артиллерийской бригады штабс-капитана Александра Николаевича и преподавательницы словесности женской гимназии Софии Стефановны — дочери болгарского офицера Стефана Вечеслова, героя Шипки, который после освобождения своей родины от турецкого ига переехал в Россию и продолжал службу в русской армии в чине полковника.

Не в пример прочим Билибиным семья у Александра Николаевича была небольшая. Кроме младшего Юшки (Юрия-Георгия) еще две дочери: Людмила и Галина. По рассказам Юрия Александровича, жили они весело и очень дружно. В доме царил дух искусства, любили поэзию, музыку, живопись, издавали свой юмористический семейный журнал «Уютный уголок».

«Труд, честь и хвост морковкой!» — говаривал Александр Николаевич, и это для его сына стало девизом на всю жизнь.

1918 год. Юрий Билибин окончил дополнительный класс реального училища, показав при отличном поведении отличные успехи по всем без исключения предметам. Перед ним открыты двери любого института. Но в это время с румынского фронта возвращается отец.

— В институт? Похвально, но не считаешь ли ты нужным поступить сначала отечеству, а, Георгий Победоносец? Время суровое... Не призывной возраст? Добровольцем. А кстати, институт-то какой? Еще не знаешь? Тем более, послужишь — подумаешь.

И на другой же день отец с сыном записываются в Красную Армию. Александр Николаевич, как и на румынском фронте, стал командовать артдивизионом, а семнадцатилетний Юрий — при штабе той же Западной армии РККА. Сначала посыльным, потом делопроизводителем, а еще через несколько месяцев — начальником учетно-статистического отделения. Понятно, ему хотелось в строй, в отцовский артиллерийский дивизион, но не хватало грамотных людей, при штабе он был нужнее.

И только через три года — Петроградский горный институт. Подумавши? Да. И почему же горный?

— Я глянул на карту РСФСР и увидел, сколько на ней белых пятен. Значит, став геологом, есть шанс утвердить себя как личность номер один.

— На меньшее не согласен?

— Нет.

— Программа жизни требует главенства?

— Я взвесил меру своих способностей и посоветовался с собственным честолюбием.

— Нескромным ты это не находишь?

— Нескромно мнить о себе много, а давать мало. Я себя к категории таких людей не отношу.

И, занимаясь в институте, причем занимаясь на отлично, он тем не удовлетворяется. Что такое красный диплом? Только возможность получить лучшее направление или остаться в аспирантуре. Нет, этого ему мало. Он должен выйти из института не просто отличным специалистом, но уже личностью. А личностями становятся только те, у кого есть свои идеи, теории, взгляды.

В стране разруха, нищета, голод. Значит, сегодня в первую очередь нужно золото, много золота. Вот золотом он и займется. Но почему его нужно искать с лотком и кайлом, как сотни лет назад, искать на авось? Во всем мироздании все подчинено определенным и общим для всего законам. Следовательно, полезные ископаемые тоже не могут залегать в земной коре хаотично, то там, то здесь, где придется. Тут есть, должна быть какая-то закономерность. Какая — еще нужно ус-



тановить, но ясно, что интересующие тебя минералы нужно искать сначала не в поле, а в своем рабочем кабинете, за столом, над геологическими картами.

Сейчас геологическим прогнозом никого не удивишь. Он давно стал обыденной практикой, и без него ни один уважающий себя геолог в поле уже не пойдет. Но тогда, в 20-е годы, это казалось фантастикой, а в устах какого-то студента звучало просто нелепицей. Не представляли себе геологи, что можно, сидя во Львове, открыть алмазы в Якутии. Но ведь произошло-то именно так.

И первым идею геологического прогноза выдвинул Билибин, еще в институте заинтересовавшись геологическими картами тихоокеанских побережий.

Восточный берег Австралии — золото, восточная Новая Гвинея — золото, Япония — золото, наш Дальний Восток — золото, Чили, Перу, Калифорния — золото, северная Канада — золото, Аляска — золото. Следовательно, совершенно обязательно оно должно быть и на Чукотке.

Тогда еще не было теории о разломах земной коры на отдельные материки, но, глядя на очертания западных побережий Америки и восточных — Азии, которые можно состыковать, как две половинки сломанной расчески, Билибин угадал их физическое родство. Когда-то, миллиарды лет назад, западную Америку и восточную Азию соединяла подобная Андам гигантская горная цепь, насыщенная рудным золотом, которое с водными потоками постепенно стекало к подножью гор.

На четвертом курсе института, готовясь к предстоящей работе на Чукотке, Юрий Александрович создает из числа студентов-единомышленников сибсек — сибирскую секцию, костяк будущей Чукотской геологической экспедиции. Что его туда после института пошлют, он не сомневается ни на секунду.

Однако когда пришло время распределения, седовласые ученые мужи, выслушав планы и пожелания Билибина, горестно завздыхали.

— Какое золото в тундре? Опомнитесь, молодой человек, ведь у вас диплом с отличием, стыдно этак-то.

— Но разве Аляска — не тундра?

— При чем здесь Аляска? Да и горы там, большие горы.

— На Чукотке тоже есть горы.

— Какие, помилуйте, горы? Тундра на Чукотке, тундра, молодой человек.

— Выходит, золото — картошка и потому в тундре расти не может?

— Ну знаете!

Его положительно принимали за ненормального. Но учился все-таки хорошо, да и с виду вроде не так чтобы... Решили послать на Алдан. Золотые россыпи там уже открыты, пусть подсчитывает их запасы.

Он вспыхнул:

— Нечего на Алдане мне делать. Там осталось открыть одну гору с рудными жилами, так я и сейчас вам скажу, где она.

Это было уже слишком. Похоже, действительно того... Может, на переаттестацию?

Патриарх российской геологии Владимир Афанасьевич Обручев пожалел:

— Не надо переаттестации. диплом свой он честно заработал. Молодой еще, горячий, с кем не бывало.

— Что ж, если так, конечно... Но только на Алдан, теперь уж непременно на Алдан, чтоб о свою золотую гору лоб расшиб. Тогда обрзумится.

Пришлось ехать.

Через два месяца прислал в Ленинград телеграмму: «Гора найдена, камень первосортный».

Почему он, едва явившись на Алдан, сразу же открыл там золотые жилы, которых, с общепринятой тогда точки зрения, практически не искал? Потому что он нашел их еще в Ленинграде, изучая геологическую карту Алданского рудного района. Раз есть золотые россыпи, следовательно, где-то, на какой-то возвышенности, рядом должно быть и коренное золото, которое тысячелетиями смывалось вниз, в долины рек и речушек. Поэтому-то, оглядевшись на местности, он пошел к одному из горных массивов и, ткнув пальцем, сказал:

— Здесь бейте шурфы, там — рудное золото!

Эффект потом был, разумеется, потрясающий. Но никакого колдовства тут не было. Золото открыла логически выверенная мысль.

Ученые мужи пожимали плечами, хмыкали: везет же ненормальным! Но за открытую золотую гору все же поощрили, порекомендовали Главзолоту назначить неумного прожектора главным геологом вновь образованного треста Алданзолото. Чтоб утихомирится: начальственное кресло, оно дисциплинирует.

В первый же год между делом написал научный труд о методике поисковых работ на россыпные и коренные месторождения золота. Суммировал свои студенческие идеи, подкрепив их фактами из алданской практики. Труд отличный, с новой, теперь уже подтвержденной теорией и новыми взглядами на геологию вообще. Все проверено, все точно, он это прекрасно сознавал, потому и отсылал в Ленинград с некоторым злорадством. Пусть почитают седовласые динозавры, пусть почешутся.

Но из Ленинграда вот уже полгода ни слуху ни духу. Ясно, сунули под сукно. Кто он для них, динозавров? Желторотый птенец, даже не кандидат. Какой еще тут научный труд?

На Алдане приисковая машина запущена, все отлажено, подсчитано. Теперь ежедневные заботы только о плане добычи. План, план и еще раз план! Никаких поисков, никакого творчества — тягостная производственная рутина. Ради нее ли он соколом парил над великим Тихим?.. Истомился вконец. Наконец не выдержал, пришел к Бертину.

— Не могу я больше здесь, Вольдемар Петрович, душа мхом обрастать стала.

Вольдемар — не бегемот толстокожий, понимает. Сам бы все бросил к чертовой матери да, как прежде бывало, — в тайгу, в дебри, на поиск! Но об этом ему, политкомиссару приисков, и не заикайся, иначе — партбилет на стол. А он его, партбилет, кровью добыл. Нет, ему нельзя. Ему — план! А Билибин что, Билибин — поисковик мизостью божьей, не ему сапогами эту квашню месить да за план глотку драть. Тысячу таких планов он обеспечить способен.

Поскреб мизинцем голый череп, сощурился.

— Ты про Бориску колымского что-нибудь слышал?

Билибин отрицательно мотнул головой.

— Тогда послушай, расскажу тебе кое-что любопытное...

Все его звали Бориской, хотя настоящее имя у него было Бары Шафигуллин. Татарин. Родился где-то под Казанью. В Охотск в 1914 году его занесла судьба бродяги. Дезертировал из армии и, скрываясь от властей, искал счастья на золотых приисках.

Счастье не баловало. Жил больше случайными заработками, чем золотом. Промытарствовал год в Охотске, подался на новые прииски. В Ямск. Не пофартило и здесь. Золота под Ямском не нашли.

Дружки — Сафейка Гайфуллин (земляк Бориски) и Михаил Канов, по прозвищу Свищ, — подбивали идти в Америку, на Аляску. Знающие приискатели рассказывали, что золото на Юконе имеется.

Бориска загорелся. Он был отчаянный человек и за золотом мог махнуть куда угодно. Но тут по Ямску пропали слухи, будто золотые жилы есть и где-то на Колыме. Золота там якобы так мно-

го, что тунгусы<sup>1</sup> отливали из него пули. Благовещенский купец Шустов посылал туда своего уполномоченного Юрия Яновича Норштерна-Розенфельда. Он должен был найти удобные пути сообщения между побережьем Охотского моря и Колымой и, если золото на Колыме действительно есть, разведать места для будущих шустовских приисков. Прослышав о невиданных жилах, к нему набивались в попутчики многие, но свой выбор он остановил на Бориске и его дружках. Они были опытными приискателями и все трое прятались от полиции — Розенфельд мог крепко держать их в руках. Бориске, в свою очередь, тоже было выгодно связаться с купеческим уполномоченным — Розенфельд имел деньги и всю экспедицию снаряжал за свой счет, вернее, за счет Шустова.

Из Ямска выехали верхом на лошадях. Ехали, расспрашивая дорогу у тунгусов. Добрались до речки Хупкачан. Бориска остался здесь стеречь лошадей, а Розенфельд с Кановым и Сафейкой спустились на самодельных ботиках по Хупкачану до устья притока Колымы Декдекана. По слухам, золотые жилы были там. Однако ничего похожего на Декдекане найти не удалось. А между тем благоприятное для дальнейших поисков время было потеряно. Наступила зима. Хлебнуть колымских морозов Розенфельду не хотелось, и он заторопился назад в Ямск. С ним пошел один Сафейка. Бориска и Канов уходить из колымской тайги отказались. Ожидая на Хупкачане Розенфельда и своих дружков, Бориска нашел в речных наносах несколько золотинок и заявил, что не уйдет оттуда, пока не найдет саму россыпь. Канова тоже поманило Борискино золото.

Прошла зима, пролетело лето, а россыпи не было. Не было и продуктов. Питались кониной — на Хупкачане пала одна лошадь Розенфельда. Когда конина подходила к концу, Бориска послал Канова в Ямск за провизией, а сам пошел на речку Среднекан. На следующее лето местные якуты нашли его мертвым. Зажав в застывших руках до черенка сработанное кайло, он лежал на краю шурфа, на дне которого было гнездо золота. Немного в стороне стояла палатка, почему-то опутанная нитками. В палатке — угли давно потухшего костра и две пустые жестяные банки, наполовину съеденные ржавчиной.

Смерть Бориски его дружки считают загадочной. Говорят, он был очень сильным и вроде бы имел достаточно продуктов, так что умереть с голоду не мог. Предполагают, что его убили с целью ограбления. Но скорее всего он умер все же от голода. Продуктов у него быть не могло. Канова в Ямске поймала полиция, и к нему он не вернулся. Оружия же для охоты у него не было. Потому и пришла голодная смерть, пришла, когда цель уже была достигнута...

— Так вот, — закончив рассказ о Бориске, продолжал Вольдемар Петрович, — когда в начале восемнадцатого года я был в Охотске, Розенфельд тоже был там, вернулся как раз с Колымы. Ходил по следам Бориски и всех уверял, что нашел какие-то Гореловские жилы, но где именно, конечно, не говорил. Потом он подался во Владивосток, хотел заинтересовать своими жилами Дальневосточную республику, но у него ни хрена не вышло. Тогда он двинул в Петроград, года три обивал пороги Геолкома, чтобы организовать экспедицию через него. Но в Геолкоме всерьез его никто не принимал, считали авантюристом. Внешность у него была такая, сильно на шулера смахивал. Но его карта и пояснительная записка к ней в Геолкоме остались. Мне достали копию того и другого, сейчас я тебя познакомя. — Покопавшись в толстой коленкоровой папке, Бертин извлек из нее несколько пожелтевших листков. — Ну, по карте тут ничего не поймешь, крестиков много, а привязки никакой, даже север и юг не проставлены, с секретом карта. А в записке он пишет вот что, слушай: «Хотя золота с удовлетворительным промышленным содержанием пока не найдено, но все дан-

<sup>1</sup> Так называли в те годы эвенков.

ные говорят, что в недрах этой системы схоронено огромное количество этого драгоценного металла...» И дальше, в самом конце: «Нет красноречиво убедительных цифр и конкретных указаний на выгоды помещения капитала в предлагаемое предприятие, но ведь фактическим цифровым материалом я и сам не располагаю: пустословие же и фанфаронада — не мое ремесло. Могу сказать лишь одно — средства, отпускаемые на экспедицию, окупили бы себя впоследствии на севере сторицею». Понял?

Побарабанив пальцами по столу, Билибин ответил без энтузиазма:

— Чукотская золотоносная провинция, в существовании которой я не сомневаюсь, одной Чукоткой не ограничивается, вполне логично, что золото должно быть и на Колыме. Розенфельд здесь совершенно прав, но что из того? Для организации экспедиции нужны веские аргументы, а я их пока не вижу.

Бертин усмехнулся:

— Аргументы есть. Ты про БАМ что-нибудь знаешь?

— Если мне не изменяет память, это, кажется, та мифическая железная дорога, на предполагаемой трассе которой изыскатели до революции толклись целых двадцать пять лет?

— Она самая, только не мифическая. Далькрайком добивается в ВСНХ начала ее строительства уже пять лет. Но им говорят, что строить нечем и не на что. Машины и оборудование нужно покупать за границей, а золота для этого нет. Найдите сначала для себя золото, тогда пожалуйста. Соображаешь, золото для БАМа, с целевым назначением?

— И что же?

— А то, что на Колыме уже сейчас пахнет золотой лихорадкой и какой-то Лежава-Мюрат брошен на борьбу с ней. Хищники туда ринулись, а ты будешь представлять государство. Разница как-никак.

— Геолком денег на экспедицию все равно не даст.

— Это точно, твоих динозавров я знаю. Но если заручиться поддержкой Далькрайкома и ВСНХ, деньги можно занять у Главзолота. Тебе-то нужна только марка Геолкома, так ведь? Вот Главзолото и даст ему кредит с условием: деньги на поиски золота для БАМа, а БАМ — это ты. Ясно? — И так, словно все уже было решено, добавил: — Еще мой тебе совет: если на Колыме хочешь действовать по своей методе и не трепать нервы себе и людям, геологов, кроме самого себя, в экспедицию больше не бери. Тебе нужен грамотный заместитель, такой, чтоб не совал свой нос в твою теорию, толковый геодезист-астроном для определения координат и пяток фартовых старателей. Остальных я бы на твоём месте взял из дошлых таежников и вчерашних солдат, чтоб в случае чего воду не мутили. И можешь быть уверен, успех предприятию обеспечен.

Билибин улыбнулся:

— Дайте мне глину, а фигуру я слеплю сам.

— Вот-вот, ты понял меня правильно. Многоголосица в таком деле ни к чему, голова должна быть одна.

Как мы уже знаем, подбирая людей на Колыму, Билибин так и поступил. Поэтому-то его экспедиция по своему профессиональному составу была далеко не странной.

4 июля 1928 года японский пароходшко «Дайбоши-мару», развозивший по бухтам Охотского моря рыбаков, высадил членов экспедиции в устье никому из них не ведомой реки. Было время белых ночей, когда солнце ненадолго скрывается за горизонтом лишь в полночь. Сейчас оно казалось застывшим на самой черте горизонта, и лучи его, скользившие по колышущейся водной поверхности, окрашивали море в пурпур. Но берега они почти не достигали, и разбросанные по нему там и сям убогие лачужки серо горбатились, как в тумане.

Это и был поселок Ола — административный центр Охотско-Колымского края, о котором в 1895 году некий штабс-капитан Микельсон писал:

«Селение Ола (Ольское) лежит на левом берегу реки Ола, в полуверсте от нее и в одной версте от берега моря. Местность, на которой расположено селение, низменная, со многими лагунами, осыхающими в малую воду; почва глинистая, с чахлою травой; с севера и запада — лес. Пресную воду жители берут из единственного колодца близ селения: во-первых, за дальностью селения от реки, а во-вторых, за невозможностью пить воду из устья, солоноватую по причине больших приливов.

В селении достраивается новая деревянная церковь близ старой, тоже деревянной, часовни. Оно состоит из шестнадцати разбросанных в беспорядке домов (зимников по-местному) и 17 летников, т. е. временных построек обедневших кочующих тунгусов, разбросанных по правому берегу реки и на внутреннюю сторону кошки Уера. Определенного места для кладбища здесь нет, так как могилы разбросаны близ церкви и часовни группами. Много также отдельных могил. К чести тунгусов, могилы обнесены высокими частыми изгородями, на каждой могиле стоит крест — видимо, за ними ухаживают.

Разбросанность тунгусских построек здесь объясняют отсутствием езды на колесах (лошади ходят только под верх и вьюк) и еще тем, что постройки тунгусами возводятся лишь на местах, где за неимением снега становятся собаки, везущие бревна.

Избы строят из лиственницы, без каменного фундамента; диаметр круглых бревен от 4 до 6 вершков и около двух сажен длины. Стоимость такого бревна не превышает 50 копеек. Углы изб взяты не в замок (за исключением ольской церкви и еще одного здания), отчего все избы поведены. Конопатят избы мохом. Полы толстые, грубо тесанные топором, плахи прямо наложены на балки, так как не только гвозди, но и железо здесь редкость. Двери на деревянных петлях, с деревянными засовами и ручками. Сторона, обращенная к сеням, обита коровьими или оленьими шкурами мехом наружу. Окна, исключительно из нерпичьих пузырей или кусочков стекол, не открываются и форточек не имеют. Крыши — из лиственничной коры — при дожде дают течь, но огнеупорны, так что о пожарах здесь почти не знают, несмотря на примитивное устройство каминов из глины и на то, что искры фонтанами сыплются из деревянных, несколько наклонных труб, только изнутри обмазанных глиною. В селении только одна-единственная русская печь для выпечки хлеба — и то у представителя «Триамурского товарищества».

Все постройки по внутреннему размещению одинаковы. Одни имеют две половины, разделенные сенями, другие — одну. В общем, это одна комната 7 × 6 аршин, разделенная несплошную переборкою по одной трети всей ширины».

Никто не знает, когда здесь впервые поселились люди. В народной памяти эвенов об этом сохранилась лишь поэтическая легенда.

Однажды в давние-давние времена долгой зимней ночью над далекой верхней страной (имеется в виду, наверное, Колымское нагорье к северу от побережья Гижигинской губы), где пасли свой стада оленьи люди (орочи), вдруг погасли звезды. Потом на почерневшем беззвездном небосводе зловеще запылали багровые сполохи. И почти тотчас же взметнулись вверх гигантские оранжевые столбы, словно обросшие по всей своей высоте длинными космами, то голубыми, как струи летнего воздуха над рекой, то зелеными, как весенняя трава. Жутко было смотреть людям и на сполохи, и на огненные столбы, и на те космы вокруг столбов.

Шаманы долго думали, долго, укрывшись в чумах, беседовали с духами предков, потом сказали: «Это на вас, недостойные орочи, гне-

вається ваш великий праотець і бог Эвсен. Ви забули його священні заповіді, і скоро він вас за це жестоко накаже».

Шамани сказали правду. Коли небо погасло, з півночної сторони налетів страшний холодний вітер. Його пориви були так сокрушительні, що розметали і унесли невідомо куди всі чуми. Срывался з місця і крошився в мелкий білий пісок навіть твердий, як камінь, заледенівший сніжний настил.

Тугі хвилі вітра, з гулом і воем накатывая одна за другою, погналі оленів в південну сторону.

Багато людей погибло, а ті, хто держався ще на ногах, побрели слідом за оленями. За людьми пошли і собаки.

Довго і труден був шлях орочей. Вони втратили всіх своїх оленів, вичерпали їх, падаючи, умирали. Тільки ті з них, хто змушував себе в шлях їсти собачье м'ясо, вийшли нарешті к південному краю гір і побачили знизу широку зелену долину. По ній к великому, як небо, морю бежала швидка річка.

Зібрав останні сили, люди спустилися вниз і тут побачили ще, що вся річка бурлить рибою. Вона йшла від моря вгору по річці так щільно, що їй не хватало русла. Величезні сріблясті риби, вдавнені своїми сородичами з води, викидалися на обидва берега.

— Ойра! Ойра! — безумів від радості, кричали люди.

Ойра (риба) рятувала від голодної смерті і людей і тих собак, яких люди не встигли з'їсти. Тому спустившись з гір орочи назвали річку, а також своє нове становище Ойрой. Але тепер вони були вже не орочи, вони стали морськими людьми — ламутами, або сидячими тунгусами, яких правильніше всього називати звенами, тому що всі вони відбулися від одного великого праотця — грозного Эвсена.

Так, за давнім переказом, виникло на охотському узбережжя звенське стоянще Ойра. Коли це сталося, невідомо, але служили русські люди, перехрестивши Ойру в Олу, а місцевих ламутів, риболовів і морських охотників, знали давно, навіть не в XVII столітті, як це офіційно вважається, а, за свідченням археологічних даних, ще на двісті років раніше.

Саму вигідну для себе торгівлю русські купці в минулому столітті вели на Східно-Сході в двох містах на річці Колыме — Середньоколымське і Нижньоколымське, куди таємна стежка, проторенна ще в XVII столітті, вела через Якутськ, Верхоянськ, Зашиверськ і Алазейськ. Це був шлях довгою в дві з половиною тисячі верст. Щоб повернутися з обох кінців, купцю потрібно було не менше півтора років. Але в 1893 році охотський казак Петро Калижкін вперше пройшов в Середньоколымськ з Оли, і виявилось, що його шлях коротше в кілька разів. К тому ж морем доставляти товари в Олу значно зручніше, ніж в Якутськ — сухопутним шляхом і річкою Леною.

І стала Ола купецьким центром. Крім Петра Калижкіна, пожившого в Охотсько-Колымському краї почало розвозному торгівлі і підприємця для цього місцевих якутів з їх вивантажуваними вьючними конями, тут осіли купці Соловей, Солов'єв, Бушуєв, Якушкові, відкрилася американська торговельна фірма «Олаф Свенсон і К<sup>о</sup>». Неодноразово користувалися стежкою Калижкіна і торговельні агенти благодійного купця Шустова, зокрема і той самий Розенфельд.

Приток в Олу нових капіталів повів за собою і нове будівництво. Николай Якушков — найуспішніший з ольських купців — збудував собі за місцевими масштабами цілий палац — ізбу-пятистенку. Одночасно були виведені двуглава дерев'яна церква Богоявленська і так зване казенний будинок громадського присутствія, куди з Гижиги нарешті перебралося уездное начальство. Але в цілому, незважаючи на бойку торговельну діяльність, зовнішній вигляд поселення

вплоть до 1928 года, когда здесь высадились билибинцы, оставался почти таким же, каким описал его в 1895 году штабс-капитан Михельсон, с той только разницей, что домов (зимников) в Оле теперь было не 16, а уже 27, включая сюда и недавно открытую начальную школу, в которой камчадал Игнатий Афанасьевич Варрен — один из двух учителей во всем Охотско-Колымском крае — учил грамоте около двадцати ребятишек — в основном детей туземцев и русских камчадалов.

По сравнению с четырьмя другими более или менее крупными поселками охотского побережья Колымы — Гижигой, Наяханом, Ямском и Тауйском — Ола, хотя и стала уездным центром, ничем особенно не выделялась. Это было такое же унылое захолустье: 211 человек населения, 126 голов крупного рогатого скота, 42 лошади и около 700 ездовых собак.

И все же когда 4 июля 1928 года на этот берег Охотского моря прибыла экспедиция Ю. А. Билибина, от прочих охотско-колымских поселков Ола в одном отношении отличалась.

С тех пор как у реки Среднекан на богатом гнезде самородного золота был найден закоченевший труп Бары Шафигуллина, над Олой витал дух желтого дьявола.

Золото, золото, золото! О нем шептались по всем углам, о нем вождельно мечтали, за него готовы были положить головы. Снова, освободившись от прекратившей свое существование царской полиции, появился в Оле бывший дружок Бориски Михаил Канов, он же Свищ, откуда-то опять вынырнул пропавший было без вести Сафейка Гайфуллин, через всю Россию на блеск Борискиного золота, обросшего к тому времени невероятными легендами, примчался здоровенный рязанский мужик Филипп Поликарпов и с ним какой-то Иван Бовыкин. Из Владивостока и Хабаровска, Благовещенска и Николаевска-на-Амуре в Олу рвался самый отпетый люд. Все выдавали себя за мирных старателей, но среди них — как кипень всякой золотой лихоманки — жулье, аферисты, авантюристы, убийцы...

Уже одиннадцать лет великому Октябрю и шесть лет Союзу Советских Социалистических Республик. Через год Страна Советов приступит к выполнению первого пятилетнего плана, главной задачей которого станет построение фундамента социалистической экономики. Будут строиться ДнепрогЭС и Магнитка, Беломорско-Балтийский канал и Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат, Московский метрополитен, развернутся десятки не менее важных для молодого государства строек, наступит время всеобщего трудового энтузиазма, невиданной в истории человечества массовой битвы за хлеб, металл, энергию, машины...

А здесь, на самой дальней окраине страны, не все еще толком знают даже, что такое советская власть. В 1917 году, когда свалили Николашку и разогнали Временное правительство, Советами объявили себя урядник Иннокентий Тюшев и купцы Соловей с Соловьевым. Через три года, однако, им дали по шапке. Образовался ревком под председательством стороннего мужика Ильи Бабцева и Агапита Кочерова, ольского звена, которому и двадцати лет не исполнилось. Еще с ними для разъяснения новых законов учитель Варрен, принесший из Тауйска важную бумагу. Декретом она называлась. Там говорилось, что купцы — паразиты на теле трудового народа и все их имущество надо реквизировать, то есть забрать и обобществить. У Соловья с Соловьевым и Якушкова товары реквизировали. Лавку купчихи Анны Бушуевой, которая с пудом золота сбежала в Японию, тоже забрали. А американец Олаф Свенсон сказал, что он иностранец и русские декреты его не касаются. Поэтому Олафа не тронули.

Стало в Оле всего две лавки, одна американская и другая кооперативная, принадлежащая трудовому народу, бывшими купеческими товарами в которой поручили торговать Антипке Бушуеву. Он хоть

и приходился родичем Анне Бушуевой, но своей доли в ее товарах не имел, та за одежду и харчи в приказчиках его держала.

Все хорошо пошло, Антипка честно торговал, никого не обманывал, но еще через три года Олу захватили белобандиты есаула Бочкарева. Ревком разогнали, кооперативную лавку ликвидировали, все товары Бочкарев себе забрал. А Филиппу Поликарпову и Сафейке Гайфуллину денег дал, чтоб золото шли в тайгу искать, а не околачивались в Оле без дела. Весна как раз наступала, и они пошли по еще твердому снежному насту в верховья Буюнды, где ходили когда-то Розенфельд с Бориской. Осенью вернулись, как псы побитые, боялись, что Бочкарев шомполами пороть их будет, потому как золота на Буюнде не оказалось. Но бочкаревцев уже след простыл. Самого есаула в Гижиге убили, а его приставов ольских Авдюшева и Балыкина — тут, в Оле.

Опять Советы начались. Ванька Бovyкин назначил себя Советом в Оле, а Мишка Канов, который Свищ, — в Ямске. Оба ходили при власти тоже три года, пока из Николаевска-на-Амуре не прислали председателя тузРИКа Михаила Петрова и его заместителя Дмитрия Белоключова.

Петров приказал выбросить из церкви иконы и оба ее креста срубить, а также ликвидировать всех собак как прожорливый класс. Насчет икон и крестов ольчане согласились без разговору, а собачек ликвидировать не захотели. Куда же зимой без них? А зима-то долгая, не то что лето — пыхнуло малость, и нет его, красного.

Петров распалился, кричал, что все они дураки слепоглазые, на ахтомобилях — самобегающих нартах — скоро ездить будут, но его все равно не слушали, и он взялся сам стрелять собачек из своего револьвера. Много пострелял, целыми кучами, за что все на него рассердились сильно и сказали, что если из Олы он не уедет, то пусть пеняет на самого себя. Тогда он плюнул себе под ноги, растер плевком сапога и опять всех обозвал темнотой и дураками, но из Олы все-таки уехал, оставив власть единолично Белоключову, который собачек не трогал, но заострил вопрос насчет золота и шнырявших через Олу подозрительных личностей.

Золото, золото, золото!

Три фунта шлихового, то есть не очищенного пока, желтого песка нашли в избе-пятистенке вдруг представившегося Кольки Якушкова (один он жил, волк старый), да два с половиной фунта обнаружилось в лавке Свенсона, когда ее наконец-то реквизируют. Откуда оно у них, золото шлиховое? Вестимо, из тайги, откуда же еще! Даром, что ли, народ валом туда повалил? Даже артель американцев с Аляски приперлась. С машиной какой-то промывочной, подлецы. Охота мужикам была глянуть, что оно за штуковина такая, да разве глянешь? Винчестер у каждого, стрельнет, гад, без раздумки. И корейцев душ двадцать из Хабаровска на фарт принесло. С ними еще артель какого-то Туркина или Тюркина, черт его знает. Не человек — зверюга. Говорят, в Приморье вместо провианта баб с собой жирных в тайгу брал вроде поварихами...

Как писал В. И. Ленин, патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость. Ни на что иное на этой окраине бывшей царской России билибинцы и не рассчитывали. После многодневного плавания по штормующему морю, высадившись на долгожданный берег и раскинув у поселка палатку, но никого к себе не пригласив, шумно праздновали прибытие. Бородатый начальник, подавая пример оптимизма, торжественно провозгласил стихотворный спич:

Тише, товарищи! Кубки наполнить.  
Встанем и выпьем враз.  
Эту совместную чару застольную  
Выпьет пусть каждый из нас!



Выпьем, друзья, за просторы таяжные,  
Выпьем за наши дела.  
Выпьем за счастье, за стезжку дорожную,  
Что вдоль тайги пролегла...

Разгоряченная вином и весельем, вся экспедиция ему с жаром аплодировала. И он был доволен. Ястребиные глаза его искрились, борода играла золотом. Он смотрел на товарищей с победным великодушием и щедро сыпал новыми рифмами:

Туда, где хребты могучих гор  
оскалдлись на луну,  
Туда, где тюленья стада стерегут  
забытую богом страну,  
Где реки ломают зеленый лед,  
встречая свою весну,  
Где в нерушимой вовек тишине  
сиянье в ночи горит,  
Фиолетовым, розовым, желтым огнем  
взлетая в ночной зенит,  
Где в промерзшей тундре лиловый мох  
под снежным покровом спит,  
Туда, где, сползая к морским волнам,  
грохочут громады льда,  
Где в окрашенных кровью заката ручьях  
кишит и бурлит вода,—  
В тот край отправляюсь я снова бродить  
и не вернусь никогда.  
Необъятные дали меня влекут  
и над волей моей властны;  
Это золота зов, это холода зов,  
это зов ледяной страны...

Оборвав чтение на полуслове, он смешно оттопырил нижнюю губу:

— М-м-да, кажется, что-то не то... Впрочем, минуточку, граждане аргонавты:

В далеких сказочных краях,  
В горах Якутии обширной,  
Где гнус живому лютей враг,  
Брусника где растет обильно,  
Где человек и не ступал,  
Где хладом все мертвит зима,  
Среди утрюмых черных скал  
Течет спокойно Колыма,  
Чертя изгибами узоры...

— Ваш прогноз относительно географического положения Колымы, Юрий Александрович, несколько неточен. По имеющимся у меня сведениям, она проходит восточнее границы Якутии, и, говорят, течение у нее довольно бурное.

Это из-за широкой спины кудрявого красавца Цареградского подал голос педантичный Казанли. На него сразу зашикали. А вспыхивый Раковский сердито буркнул:

— Это тебе не твои Юпитеры — поэзия!

Он с удовольствием прибавил бы к этому смачное старательское словцо, но ругаться при Билибине себе не позволяя, трепетно попросил бородача:

— Сочиняйте, Юрий Александрович...

— Правда, сочиняйте! — осуждающе глядя на покрасневшего до ушей Казанли, подхватили остальные.

И в огорчившихся было глазах Билибина снова засветилось торжествующее мальчишеское счастье. Видимо, придумывая что-то новое, он с хитрой ухмылкой пощипал бороду и вдруг неожиданно заключил:

— Дмитрий Николаевич прав, стихи — вздор! Давайте лучше по-мечтаем!

Он любил мечтать вслух. Мечтал, как поэт в душе и ученый в жизни, крылато и веско. Эту северную страну с ее суровой и дикой природой, с ее нехоженными звериными тропами и запуганными, погрязшими в нищете тунгусами он видел краем, где в сиянии электричества под музыку моторов будет шествовать цивилизация, где труд, воля и мужество человека засверкают звездным храмом изобилия. Борискино золото лишь зацепка, тот клубочек, который нужно взять и распутать по всей Колыме. Пусть распутать его будет нелегко, потом все окупится, как верно сказал Розенфельд.

У него не было точных расчетов и фактов, подтверждающих его прогноз. В нем говорила лишь юношеская фантазия и интуитивная логика ученого, но товарищи верили ему, верили потому, что в своем большинстве тоже были молоды и тоже мечтали.

Наступал первый день сегодняшней Колымы.

Листки из тетради Валентина Александровича Цареградского:

**«10 июля 1928 года. Шестой день знакомимся с Олой и местным населением.**

Поселок довольно своеобразный. Ночью создается впечатление, что он полностью принадлежит собакам. Гвалт, грызня и визг не умолкают всю ночь, невозможно уснуть. Можно понять сбежавшего из Олы председателя тузРИКа, который всю эту многосотенную свору стал безжалостно истреблять. Правда, встречавший нас Белоключов говорит, что из-за этого тому и пришлось бежать. Кроткий тунгус может смириться с убийством человека, но за собаку будет мстить. Для него она неприкосновенна, хотя летом, когда она не работает, он ее совершенно не кормит. Должна добывать себе в тайге корм сама. Интересно, что при этом с наступлением зимы все собаки возвращаются к своим хозяевам и покорно позволяют запрягать себя в нарты. Понимают, что за труд получают корм? Смешно о таком и подумать, но, если верить жителям поселка, факт остается фактом.

Белоключова мы приняли сначала за предтузРИКа, но официально он, оказывается, только зам и по совместительству культпросветчик. Страшает нас каким-то Туркиным, который недавно через Олу ушел в тайгу и будто бы грозил убить всякого, кто посмеет помогать государственной экспедиции, то есть нам. Откуда о нас он узнал, неизвестно. Вероятно, Белоключов все врет. Милиционер Глуценко его слов не подтверждает, хотя то, что Туркин с артелью здесь был, подтвердил. Вместе с ним в тайгу ушла группа хабаровских корейцев и три китайца, а несколько раньше — пятеро американцев с Аляски. Глуценко пытался американцев задержать, но безуспешно. Те хорошо вооружены.

Наглость непостижимая! Впрочем, почему бы и нет, если им известно, что на всем нашем Северо-Востоке нет пока никакой пограничной службы? Японцы и те нагличают. Сейчас время путины, идет кета, и практически все устья рек, которые мы проходили на «Дайбоши-мару», заняты японскими рыбаками. По словам капитана Нукагавы, за путину его соотечественники вылавливают в наших водах по семь-восемь миллионов пудов лосося. Их ставные неводы стоят и в устье Олы, отчего сравнительно с тем количеством рыбы, которая идет на нерест, в реку попадает ничтожная доля. Тунгусы, для которых река Ола — основной источник жизни, возмущаются. Но что может поделать бедняга Глуценко? Он здесь в единственном лице, а нужна мобильная береговая охрана или хотя бы подвижные морские патрули.

Ничего, со временем все наладится, Москва не сразу строилась.

...Кроме тунгусов, Белоключова и Глуценко, в Оле живут несколько семей обрусевших камчадалов, среди которых выделяется удивитель-

тельной интеллигентностью учитель Варрен. В отличие от Белоклювова человек очень приятной наружности и держится с непринужденным достоинством. Собеседник он также приятный, с ним не скучая можно говорить о разных вещах часами. Живо интересуется нашей экспедицией и будущими перспективами Колымы, обещает нам всяческую поддержку. О Туркине говорить не пожелал, пренебрежительно отмахнулся, назвав того обыкновенной дрянью.

Якутов в поселке нет. Их наслеги разбросаны по разные стороны Олы на расстоянии от трех до десяти и более верст. В некоторых из них всего по две-три юрты, к которым с тыльной стороны пристроены глинобитные мазанки — хотоны. Самое крупное якутское поселение — Гадля, что по-русски — Нерестилище. В нем размещается сельсовет, и в прошлом году местным населением самостоятельно построена школа. Преподавателем в ней якут Петр Каллистратович Федотов, второй, после Варрена, представитель народного образования на всей Колыме. Рассказывает, что до революции окончил в Петропавловске-Камчатском духовное училище и гражданскую учительскую семинарию. Пишет стихи, выпускает сельскую стенгазету «Голос тайги» и, кроме школы, по собственной инициативе организовал ликбез, за работу в котором не получает никакой платы. Кое-что знает из Ленина и «Диалектики природы» Энгельса. Своего единственного сына в честь французского революционера назвал Маратом и отказался его крестить.

Любопытный якут, показательный пример того, на что способны его соплеменники, если относиться к ним по-человечески и дать хотя бы минимальное образование. Поражают его рассуждения о будущем Колымы, которое он видит, подобно Билибину, в огнях электричества, с городами, фабриками и заводами, о чем остальные якуты и тунгусы и слушать не хотят. Наплыв старателей и наша экспедиция, по их мнению, нанесут непоправимый вред их охотничьим и рыболовным угодьям, что, в общем-то, справедливо. Крупномасштабное освоение края существовавшее до сих пор равновесие в природе, несомненно, нарушит. Федотов, однако, твердо стоит за индустриализацию, о которой он немало читал и зачатки которой видел в Петропавловске.

Вторая примечательная среди якутов личность — столетний старец Николай Давидович Кыланах, живущий в трех верстах от Гадли, в урочище Нух. В молодости он служил в Якутске извозчиком при местной жандармерии и будто бы отвозил в Вилюйский острог Чернышевского, с которым два сопровождавших его жандарма обращались очень плохо. Кыланах пытался его защитить, за что один из жандармов выбил ему зуб, поэтому его и стали называть с тех пор Кыланах — Выбитый Зуб.

Шестьдесят лет он жил бобылем, потом, уже на седьмом десятке, женился на сироте Марфе Вензель, немке по национальности, которую взял себе на воспитание в пятилетнем возрасте. Когда ей исполнилось двадцать, они обвенчались, и она нарожала ему пять дочек и три сына, причем младшему, Ванятке, всего четыре годика, а старшему, Давиду, — двадцать шесть. Федотов того научил грамоте, и в Гадле он теперь считается председателем сельсовета. Только считается потому, что фактически таковым не является. Пасет сейчас в тайге оленье стадо гадлинского богача Александрова, нанялся к нему батраком на все лето.

Такое вот положение. Председатель сельсовета ходит в батраках, а тойон как заправлял всей жизнью села, так и заправляет. Я спросил Федотова, как он к этому относится, тем более что он тоже член сельсовета и его секретарь. Разводит руками:

— Что тут скажешь? Они все у Александрова в должниках, Давид вынужден был наняться в батраки, чтобы отработать долги отца. Я на этого Александрова в каждом номере «Голоса тайги» карикатуры рисую, а ему нравится, смеется. Как-то выпустил газету без ка-

рикатуры — рассердился: «Посто меня забыл, разбогател?» Вот вам и весь сказ.

Самое грустное, что нам к этому Александрову тоже, наверное, придется идти с поклоном. У нас нет решительно никакого транспорта, а у него — десять вьючных лошадей.

Транспорт и проводник — две наши большие проблемы. Сегодня гуртом ходили в Нух к Кылланаху за советом, как нам быть. Федотов уверял, что старик никого не боится и, если умело к нему подойти, поможет обязательно. Пустой номер. Сказал:

— Сибко стар, однако, нога цизольй, глаз кусаган (глаза плохие). Петка тайги придет, поведет, однако.

Петька — это его средний сын, который тоже батрачит у какого-то местного князька Луки Громова. У того в стадах восемь тысяч оленей и больше тридцати батраков.

Петька вернется только зимой, а нам из Олы нужно выходить немедленно, чтобы до зимы попасть на Среднекан, где мыл свое золото Бориска.

— Хиринникан улахан барда сибко, мин кусаган саха сибко, стар, однако...

Мишка Седалищев, наш толмач, перевел: до Среднекана слишком далеко, а он, Кылланах, плох очень, стар, не дойдет.

Чертов дед, как детей в сто лет строгать, он «мин батыр саха», а идти на Среднекан — «мин кусаган саха».

Сказали, чтобы ехал на коне, а мы за ним пешком пойдем.

— Суох конь.

Действительно, коня у него нет. Но ведь достанем же мы где-то лошадей в конце концов. Не может такого быть, чтоб не достали.

— Что же делать, скажи, улахан саха? Мы не можем зимы ждать, сейчас идти должны.

Кылланах наматал на палец редкую бородку.

— Макарку возьми, однако, сопсем молодой Макарка, хоросо ходи.

Это он о Макаре Захаровиче Медове, которому семьдесят лет. Мы слышали о нем от Федотова. На Сопкучане, то есть на Сопке, живет. Рубил для себя дом, но когда узнал, что в Гадле собираются строить школу и для нее нужен лес, почти готовый сруб детям отдал. Даром. Еще и бревен со старшими сыновьями натаскал.

Поступок красноречивый, но что он нам скажет? Тоже «мин кусаган саха»? Семьдесят зим все-таки...

Кылланах свое:

— Макарка кусаган нет, сопсем молодой Макарка, хоросо ходи. Счас подем Сопкучан, мин проводи Макарка.

Пять верст топал тальниками впереди нас без отдыха. Забыл, видно, что «нога цизольй». Шел и всю дорогу смолил самокрутки из билибинского «Золотого руна». Сибко хорос табак...

Макар большой, по-медвежьи нескладный, с такой же жиденькой, как у Кылланаха, бородкой. Лицо очень широкое, нос плоский, но глаза не по-якутски круглые, чуть навывкате. Добрые, как у оленя.

У него семеро сыновей, едва хватило на всех подарков. Здесь без подарков гостить, то есть кого-то навещать, нельзя. Обязательно что-то с собой неси, такой обычай. Самому хозяину Билибин подарил свой опустевший рюкзак. Обрадовался: «Ай, пасибо, сибко хоросий торба. кармаски хороси, ай, пасибо!»

Его жизнь сходна с судьбой Кылланаха, только женился на десять лет раньше и жену, тоже Марфу, взял сорокалетнюю, с тремя почти взрослыми сыновьями: «Хоросо оценъ, помосники сразу». Потом Марфа еще четверых родила. И ни одной дочки: «Посто девка? Не надо девка».

Младшие учатся у Федотова, и он с ними. Похвастал, что научился писать свое имя-отчество и «памятку»: «Цо, не верис? Давай бумага, мотри». Билибин дал ему блокнот и карандаш. Старательно нацарапал: «Макаро Захорович Медоп».

После знакомства и обмена любезностями битых два часа пили чай в полном молчании. Только потом Кылланах заговорил о деле, долго что-то объяснял Макару. Тот выпячивал грудь и время от времени с великим презрением сплевывал. Понятно без слов: он ничего и никого не боится. Указывая на Билибина, потрясал рюкзаком. Вот какую торбу подарил ему «улахан нацальник»! Да он за эту торбу... Наконец, обращаясь ко всем нам сразу, сказал:

— Посто Хиринникан счас? Далеко счас. Зима будет, лед река будет, собацки сибко бегом — Хиринникан близко станет.

Мы опять:

— Нельзя нам зимы ждаты, сейчас надо.

Что там под снегом увидишь? Если идти, то, конечно, сейчас, чтобы до зимы хоть первые пробы взять, зимовье построить.

— На цом пойдес? Нога пойдес? Два месяца туда. Лосады пойдес? Тозе два месяца туда. Лед здать надо, одинаково придес.

— А по рекам плыть можно? На плотях?

— Суда — мозно, туда — нет.

Ясно, все реки текут сюда, к морю. Против течения плоты не погонишь. Но есть ведь и притоки Колымы, текущие на запад, а Среднекан впадает в Колыму...

Казанли достал карту Охотско-Колымского края, изготовленную в Академии наук. Она очень приближительна, но Яблоновый перевал на ней обозначен. Судя по масштабу, от Олы до него километров двести пятьдесят. Это водораздел, откуда начинаются восточные притоки Колымы, текущие к ней в западном направлении. Значит, пешком нужно идти только туда, а дальше, если реки позволяют, до самой Колымы — на плотях...

Ни Макар, ни Кылланах на карте ничего не поняли...

11 июля... Вчерашнюю запись пришлось оборвать. В двенадцатом часу ночи явился с претензиями Белоклювов. Почему не ставим его в известность о своих действиях. Ходим куда-то, ведем какие-то переговоры с якутами, а он все же пока за председателя РИКа здесь, должен знать.

Рвался к Билибину, но все уже спали, и в палатку я не пустил его, сказал, чтобы приходил завтра, то есть сегодня, в урочное время.

— Так светло же, какое еще урочное время?

— Белая ночь — тоже ночь, отдыхают люди.

— Да ну вас, отдыхают!

Дыхнул — аж стошнило. Пьян, подлец, в стельку. Не иначе как нашармака похмелеться рассчитывал. Дудки, не на тех напал!

Обидно все-таки, когда вот таким типам доверено власть олицетворять, тем более здесь, где авторитет каждого советского работника должен быть особенно безупречным. Один дурак собак стреляет, кресты на церкви рубит, другой бельма брагой заливает... Только милиционер и ведет себя порядочно. Но что он может, единственный? Понятно, кулачью и всякой швали вроде туркиных в такой обстановке раздолье...

Испортил настроение, мерзавец!

Ладно, вернемся на Сопкучан.

Когда мы увидели, что Макар и Кылланах в географической карте ничего не смыслят, Казанли в голову пришла блестящая идея. Схему всех рек восточнее Колымы он предложил нашим якутам выложить на полу юрты спичками, приняв каждую спичку за кёс — семь верст. У якутов кёс считается одним переходом.

Сообразив, что от них требуется, оба старика обрадовались, как дети. Спорили, кричали друг на друга, но общими усилиями схему

наконец выложили и, примирившись, заулыбались: «Хорос схема, правильна, однако».

Оказывается, сразу за Яблоновым перевалом начинается большая река Малтан, впадающая в еще большую, Бахапчу, а та — в Колыму. Затем поворот вправо и дальше вниз по течению Колымы. Первый приток слева — река Дебин, сразу за ним справа — Орстукан, потом опять слева — Таскан и Мылга, за которыми по правую руку — наш Среднекан. Превосходно!

Но когда речь зашла о сплаве на плотах по Бахапче, Макар замахал обеими руками.

— Бахапца — нет-нет, бесеный река, там — тас, тут — тас, все мертвый будес.

На Бахапче много камней, бурных перекатов, плоты разобьются, и все мы утонет, а у него, Макара, — малые дети, их растить еще надо.

Кылланах вскочил как ужаленный.

— Сопсем молодой Макарка — кусаган Макарка, не саха, однако. — И бухнул кулаком себя в грудь. — Сопсем старый Кылланах иди надо, мин батыр саха, однако, не похоз на сопсем молодой Макарка, однако.

От обиды у Макара даже слезы брызнули.

— Цо говорис, старик дурной, цо говорис?!

Чтобы успокоить обоих, мы сказали, что проводить нас нужно только до Малтана, потом проводник вернется с лошадьми в Олу, а мы на плотах поплывем дальше сами. Схему рек они выложили очень хорошую, мы все срисовали, так что не заблудимся.

Таким решением вопроса оба остались довольны. Кылланах Макара больше не шпынял, сказал ласково:

— Ницо Макарка, хорос Макарка...

Дети детьми. Смеются, обнимаются, цокают языками. Макар так расчувствовался, что пообещал нам три своих лошади. Сегодня побежал за ними в тайгу, они где-то там пасутся.

К сожалению, три лошади для нас — капля в море. Сказали об этом Белоклювову. Раз ты государственная власть, должен помогать государственной экспедиции.

С похмелюги ни черта не соображает. Лупает бельмами:

— Как помогать?

Билибин:

— Силой вверенной вам власти. По списку в Оле значится сорок две вьючных лошади.

— Кто вам сказал?

— Неважно, нашлись добрые люди.

— Ну знаете! Не мои же они, эти лошади!

— Не ваши, но вы должны помочь нам зафрахтовать их.

— Легко сказать...

— Туркина боитесь?

— При чем здесь Туркин? И вообще... Не обязан я помогать вам.

— А докладывать вам о своих действиях мы обязаны?

Вспомнил вчерашний визит и сразу скис.

— Трудно очень... А платить чем будете? Учтите, бумажных купюр здесь никто не берет.

— Мы знаем. У нас достаточно серебряных полтинников.

— Трудно очень...

Ни до чего не договорились. Вернется Макар, будем действовать через него. Так советуют Кылланах и оба учителя.

...Никак не привыкну к этим белым ночам, колдовство какое-то. Солнце на горизонте кажется нарисованным алой тушью и такое огромное, что раньше я не мог его себе таким вообразить. Жаль, я взял с собой только акварельные краски. Здесь они не годятся. На Севере нет полутонов, поэтому нужна яркая пастель или хотя бы темпера, на

худой конец — гуашь. У Корнеева красок вообще нет, карандашами рисует, но это еще хуже акварели.

Казанли тоже не спит. Ушел к морю и там пиликает на своей скрипке. Здесь, возле палатки, все заглушает собачий гвалт. Не знаю, что будет с его скрипкой, когда начнутся колымские морозы. Она-то, может, и ничего, а играть как?

13 июля... Неожиданная удача. Милиционер Глущенко утром привел три отличных лошади. Как выяснилось, их «добровольно» дал ему для нас тойон Александров. Ай да Глущенко! Ничего не обещал, а помощь вот она, сено жует. «Вы, граждане-товарищи, без паники, я деликатненько с ним, исключительно на добровольных, так сказать, началах. Говорю, государственной экспедиции, мол, лошадки требуются, значит, можно сказать, государству требуются, а вы, господин тойон, как известно, человек умный, сами понимаете, как поступают с людьми, которые против государства. Культурненько разъяснил — все как полагается. Ну он, можно сказать, и приказал мне выбрать для вас троечку на мое, так сказать, особо личное усмотрение».

Трепло, а молодец, ничего не скажешь. Билибин смех все же подавил, сделал страшные глаза:

— Вы что, реквизировали их у него?!

— Боже упаси, товарищ Билибин! Как можно, не имея указаний! Пока только во временное пользование. И учтите: на совершенно добровольных началах. Чтоб какое-то насилие или что-то вроде этого — даже и ни-ни!

Словом, нанял для нас три лошадки добровольно-принудительным порядком. Что ж, серебра Александрову мы не пожалеем. Сам-то он из гордости о принудилровке вряд ли станет болтать, а серебром, глядишь, похвалится. Монетки новые, блестящие. Для других пример заразительный. Опять-таки кулак первым лошадей дал, тоже кое-что значит. Макара только жалко, раздосадуется старик, когда узнает, что не ему теперь пальма первенства принадлежит. Ничего, для пользы дела переживет.

Белоключов пучил глаза на лошадей Александрова, как баран на новые ворота. Фрукт! Тот его, оказывается, втихомолку подпаивал — люди все видят. Теперь Александрову бражничать с ним не резон, а Глущенко не купит, милиционер — парень надежный.

...В архивах бывшей уездной управы искал материалы о прошлом Колымы. Нашел вырванную из какого-то журнала статью о Среднеколымске с резолюцией урядника Тюшева: «В народ, особливо ссыльным, не дозволять. Тюшев. 6.XII.1903 г.».

Привожу полностью:

«В начале октября, как только замерзнут бадараны (болота), из Якутска отправляются вьючным порядком транспорты купеческой клади. Главный груз состоит из кирпичного чая, листового табака, бракованных ситцев и водки. Якутские кони очень выносливы, во все время пути они довольствуются подножным кормом, который выбивают из-под снега. В марте кладь прибывает в Среднеколымск. Часть ее продается тут же, но большая часть на собаках отправляется на Анюй, на чукотскую ярмарку...

Купцы выменивают пушнину и мамонтовые клыки на чай, табак и, самое главное, — на акаминь (водку), которая хотя официально и запрещена для провоза, но доставляется целыми флягами. За полторы бутылки разведенной водой водки, настоящей для крепости на махорке и медном купоросе, купец берет у чукчи песцовую шкуру. Обыкновенно способ торговли такой: как только открывается ярмарка, чукчи бросаются разыскивать своих «друзей» — купцов и требуют водку. Купец говорит, что водка у него есть, но не для продажи: друга, пожалуй, он угостит, но — даром. Тут он подносит чукче чашку «сладкой», то есть не настоящей на купоросе. Чукча начинает умолять дать ему столько «акаминь», чтобы свалиться на землю, купец

отказывается, прогоняя дикаря, который чмокает губами, щелкает языком и качается, как мертвецки пьяный, чтобы нагляднее объяснить, сколько «веселой воды» ему нужно. А тут купец как бы нечаянно толкает флягу, так что в ней начинает хлюпать жидкость. В эту минуту чукча готов отдать все, что у него имеется, лишь бы напиться. И купец пользуется моментом.

Таким же способом ведется торговля с тунгусами и якутами, населяющими приколымскую тайгу. Если путь в Среднеколымск труден, зато барыши, полученные купцами, громадны. Одна поездка на Крайний Северо-Восток приносит тысяч 10—15 чистыми. Все население берегов Колымы — вековечные рабы купцов: обыватели и дикари в вечных долгах, которые, как мертвая петля, все больше и больше схватывают шею...

Жизнь летом вполне зависит от улова рыбы. Впрочем, как бы хорош последний ни был, к концу весны запаса обыкновенно не хватает. Река очищается от льда очень поздно — лишь в начале июня. Неводить начинают около Петрова дня. До тех пор тони залиты водой или попорчены корягами, принесенными в изобилии во время половодья. В марте кончаются уже запасы рыбы. Жители — тунгусы, якуты и осевшие здесь русские — начинают есть «собачий корм»: рыбы кости, потроха и прочее. К колымчанину нельзя войти: тяжелый одуряющий запах гнилой рыбы захватывает дыхание и вызывает тошноту. Чем ближе к весне, тем положение дел становится все хуже да хуже.

В мае обыватели съедают кожаные сапожки, ремни, налимьи кожи, которыми летом вместо стекол затянуты окна. Жить тогда в Среднеколымске — пытка. Желтые опухшие лица, горящие голодные глаза буквально могут обезуметь. Тощие, едва живые собаки, шатаясь, бродят, разыскивая трупы своих околевших товарищей, и жадно пожирают их.

Иногда взрослые колымчане безошибочно считают до 39; дальше они говорят: тридцать десять, тридцать одиннадцать и т. д. Сидят у меня два приятеля. Я предлагаю одному перечислить все города, которые он знает.

— Верхно, Средно, Нижно, Верхоянтко, — бойко стал считать он. Потом остановился немного и прибавил: — Якучко (Якутск). — И уже окончательно замолчал.

Вижу, другой засмеялся.

— Чего это вы? — спрашиваю я.

— Амперия (империя), — важно прибавил спрошенный. — Эх ты, дуралей, самый-то важный город забыл!»

Конечно, все это хотя и недавнее, но все же прошлое, которое не вернется уже никогда. Но будущие колымчане, те, кто придет сюда следом за нами, об этом должны знать. «...как опыт освещает настоящее, — говорит Болингброк в своих замечательных «Письмах об изучении и пользе истории», — а настоящее позволяет нам предугадывать будущее, так история имеет дело с прошлым, а зная о том, что было, мы можем лучше судить о том, что есть». Кто мы без истории, без учительных и горьких примеров прошлого? Только былины на ветру. «Мы рождаемся слишком поздно для того, чтобы видеть начало, и умираем слишком рано для того, чтобы видеть конец многих явлений. История восполняет оба этих недостатка».

Я не обладаю таким поэтическим воображением, как Билибин, и не живу так страстно воображаемым, как Петр Каллистратович Федотов, но будущее Колымы мне тоже представляется прекрасным. Будут здесь города и дороги, фабрики и заводы, будут улыбки и песни счастливых людей, и, хочется надеяться, пусть не в своем первоначальном виде, но все же чудесной останется колымская природа. Она тут так ранима! Чтобы на мерзлоте и камнях колымской лиственнице вырасти на 10—12 метров, ей нужны многие столетия. Как легко ее



срубить, и сколько должно смениться поколений, чтобы на месте павшего дерева выросло другое!

Примечательно, что о необходимости охранять природу туземцы никогда не рассуждают, но бережение каждого кустика и каждой речушки — их вторая религия. «Посто сломал? Зацем?» — спросил меня Макар, увидев, что я мимоходом, так, чисто машинально сломал ветку листовенницы. И мне стало совестно. Действительно, зачем? Рука сама потянулась, повинувшись не мысли, а какому-то дикому инстинкту...

Интересно, что бывший урядник Тюшев, наложивший запрет на приведенную выше статью, до сих пор жив. Ему уже около ста лет, но и сейчас во всякую погоду он каждое утро приходит к зданию РИКа, в котором раньше помещалась уездная управа, как на службу. Сядет на крыльчке и сидит так по несколько часов.

Чтобы завести с ним разговор о той его резолюции, я показал ему статью. Отставив от себя печатные листки на расстояние вытянутой руки, долго, шевеля губами, читал. Наконец сказал:

— Как же, инородцы в дурном свете и купцы в грабительстве обрисованы, а власти будто никакой и нет. Этак и ваша власть долго не продержится, когда в попустительстве ее изобличать станут.

— Верховная власть, Иннокентий Петрович, теперь в руках народа, он попустительства не позволит, потому что сам издает законы и сам контролирует их исполнение.

— Это пьянчужку Белоклюлова контролируют?

— Белоклюлов — явление временное. Ошиблись в нем, когда его выбирали, но ошибку всегда можно исправить, и ее, конечно, исправят.

— Ну да, когда дров изрядно наломает.

— Какие-то издержки во всем бывают.

— То-то что издержки, а надобно без оных. Раз одна голова хороша, а две лучше, почему тогда сотней голов касательно Белоклюлова не подумали, ежели верховным народ тут?

— Не так он, очевидно, вел себя раньше, если власть ему решилась доверить. К сожалению, некоторых людей власть портит, и не всегда предугадаешь, кого именно. Он и сам зачастую не подозревает о своих слабостях.

— Вот и поставьте заместо Белоклюлова Глущенку, того калачом не спортишь. Хлыщ он с виду, а хлопец — не Белоклюову пара.

— Это вы сами будете решать, кого за чье место ставить.

Надо было видеть его в этот момент. От изумления даже привскочил, словно не поверил ни ушам своим, ни глазам.

— Мне, что ли, решать прикажете?

Я с трудом сдержал улыбку.

— Вы такой же житель Олы, как все остальные. Права голоса вас пока никто не лишал.

— А-а, ну-ну, — протянул, остывая. Потом ворчливо: — А то в Сиглане, верст двести, пожалуй, отсюда будет, так шаман застрацал тунгусов, они его Советом и прокричали... бурундукам на смех. Выходит, бога скинули, а язычника, будто он лучше, признали. Нельзя же так-то, уж когда Советы, делайте Советы, чтоб савторитетом были, с головой.

— Будут, Иннокентий Петрович, обязательно будут, дайте только срок.

— Я не враг вам, слава богу, коли будут...

Вот вам и бывший держимордец! По-своему, естественно, с полицейским уклоном, но в корень смотрит. И прав. Тем более это говорит о том, какая ответственность ложится на нас, представляющих здесь государственную организацию.

Одна беда: языка тунгусов никто из нас не понимает, а знатоков якутского только двое — Седалищев, сам якут, и Раковский, да и те заняты организационными вопросами через край. Пока сидим в Оле.

цикл лекций с помощью учителей Варрена и Федотова я все же попытаюсь прочитать. Прежде всего нужно разъяснить людям самую сущность советской власти. Затем задачи нашей экспедиции и вытекающие отсюда перспективы для всего края.

...Сделал карандашный набросок на месте нашей высадки с «Дайбоши-мару». Берег очень живописный, в контрастной пастели будет смотреться особенно эффектно. Когда солнце зависает над самой чертой горизонта, скалы в его лучах настолько алые, словно это не серый базальт, а кровавая киноварь. А выше свисает с кромки вертикального обрыва, будто застреха, изумрудной яркости кедровый стланик. И три искореженные ветрами полуголые лиственницы. Ветви у них только у самой вершины плоским полукружием, обращенным в сторону суши. Солнечные лучи выше обрыва не поднимаются, и светлая в действительности зелень лиственниц кажется темной, как в полусумраке.

17 июля... Пример Александра верно оказался заразительным, лошадей ведут каждый день.

— Лосадки холосие, возмес? — спрашивают Билибина и смотрят на него с просительным выжиданием, ждут серебряных полтинников.

У Александра их видел уже весь поселок. Тот пробил в них дырки, нанизал на сапожную дратву и теперь гордо носит на груди, как три ожерелья.

Везде женщины цепляют на себя побрякушки, а тут — мужики. Собственно, как деньги наши полтинники они не воспринимают. Для них, приученных к меновой торговле, это украшение, причем очень дорогое, которое он не отдаст и за фунтовый слиток золота. Фунт золота на грудь ведь не повесишь. Да оно и не так красиво, всего лишь желтое и гладкое, а здесь герб выбит и цифры — рисунки.

Когда Раковский с Седалищевым принесли Александру шестьдесят монет, тот принял их так восторженно, что тут же предложил им всех остальных своих коней бесплатно. Но Седалищев, знаток своего дела, всех забраковал. Якуты своих лошадей не подковывают, и те за лето так сбивают себе копыта, что хромают на все четыре ноги, и до зимы, пока заживут копыта, для работы они не пригодны. Глуценко потому и отобрал у Александра только три мерина, что тот держал их в поселке и копыта у них не сбиты.

Еще из добрых трех десятков Седалищев отобрал для нас всего двух коней — у якутов Степана Васильева и Гаврилы Винокурова.

Будут ли пригодны лошади Макара? Что-то долго не возвращается он. В ожидании его мы с Казанли сделались лекторами, а Билибин по обыкновению поглощен сбором минералогических коллекций, изучает ольское побережье. Вечерами приходит с поля нагруженный тяжеленным рюкзаком и изнуренный до предела, но все равно острит и плетет рифмы:

Коль страуса находим мы яйцо  
Там, где песцы должны бы размножаться,  
Лишь компетентное Раковского лицо  
В вопросе этом может разобраться.

Казанли ему в ответ:

Всегда колымская планета  
Была прибежищем поэта,  
Но Билибин — геологической науки ас —  
Явил поэзий высший класс.

Вчера рабочие попросили его прочитать доклад. Стал в позу, спрашивает:

— Тема? Сколько изволите слушать?

— Ну, минут сорок, что-нибудь про золото.

Слушали разинув рты — ровно сорок минут. Я и сам заслушался, хотя его теории образования золотых россыпей знаю уже, кажется,

назубок. Великолепно говорит Юрий Александрович и никогда не повторяется. О золоте у него в голове столько всяческой информации, что можно составить, наверное, целые тома. И не будет скучно.

19 июля... Наконец-то вернулся наш Макар. Проходил за своими лошадьми целых девять дней. Забрели, говорит, аж на какой-то Алтун, от Олы верст за полтора. Оказывается, они у него в башмаках из очень прочной кожи лахтака, поэтому копыта не сбиты. Странно, что такому несложному и в то же время полезному изобретению Макара не следуют другие якуты. От скольких мучений они избавили бы своих несчастных лошадок!

Поразительные вещи открываются. Поскольку для якутских лошадей летом никакой работы нет, хозяева все лето ими совершенно не занимаются. Просто выгоняют их в тайгу, где они три — три с половиной месяца пасутся сами по себе, без пастуха, потом сами же с наступлением зимы возвращаются в рабство к своим хозяевам, хотя те подкармливают их лишь короткое время, пока заживут копыта. Затем лошадь обязана заботиться о себе сама. Добывая корм, они копытят снег, как олени.

Но удивительно, как при всем этом тот же Макар, когда ему понадобилось, разыскал своих коней за полтора верст от поселка. Я думал, они пасутся у него всегда в каком-то определенном месте. Но получается, вовсе нет. В прошлом году он точно так же нашел их в августе на реке Армань, западнее Олы, а теперь почему-то пошел на восток, к реке Алтун, хотя весной выгонял их на ту же околицу поселка.

На мой вопрос, что его потянуло к Алтуну, сам он объяснить ничего не смог, и для меня это остается загадкой. И ведь в тайге полно волков и медведей, но чтобы волк или медведь задрал чью-то лошадь, такого здесь не слыхали. А на коров и телят медведи нападают.

Однако загадки загадками, а проблема транспорта по-прежнему не решена. Восемь лошадей для нашей поклажи слишком мало. Придется обращаться к тому самому князьку Луке Громову, у которого восемь тысяч оленей. Завтра Раковский с Макаром собираются к нему в стойбище Маякан. Полтинников берут полрюкзака — 1000 штук. Из расчета по 10 рублей за одного вьючного оленя — цена по местным меркам немалая, Громов вряд ли устоит. Жаден, говорят, до смешного. При восьми тысячах оленей, за каждого из которых можно получить 30—35 фунтов кирпичного чая, он одну и ту же щепотку заварки использует не менее десяти раз, затем остаток поедает, как кашу. Чтоб, не дай бог, ничего не пропало. Воистину «ничто так не свойственно уму скудному и бедному, как любовь к богатствам ради богатств».

23 июля... Сегодня в Оле праздник. Из ольского устья мы прогнали наконец японцев, конфисковав их неводы и весь улов. Совсем обнаглели. То хоть немного пропускали рыбы в реку, а тут перегородили устье наглухо. Тунгусы в панике кинулись к нам:

— Япоска олу всю забрал. Ты, Билиба, улахан нацальник, посто япоске такое позволяес? Сто зимой есть будем? Цем собацки кормить?

Нужно было, вероятно, при таких обстоятельствах Москву запросить или хотя бы Владивосток. Но как их запросишь, когда телеграф только в Тауйске и тот работает от случая к случаю? Решили разделаться с японскими браконьерами на свой страх и риск. Явились к ним почти всей экспедицией, с винчестерами и карабинами. Билибин для большей убедительности нарядился в шинель и буденовку Чистякова, кобуру с наганом нацепил. Ни дать ни взять — пограничник.

Несмотря на всю свою наглость, япошки перетрусили не на шутку. Когда Билибин объявил, что в наказание за недозволенный лов в территориальных водах Советского Союза и браконьерство мы конфискуем их сети и весь улов, капитан судна в ответ только что-то залезил, но что — мы не поняли. Однако приказ Билибина очистить все трюмы от бочек с засоленной рыбой и икрой и свезти все на берег они

поняли прекрасно и выполнили его без сопротивления. Знала кошка, чье сало съела.

Теперь вся Ола бьет в бубны и пляшет свою ритуальную хеду — что-то вроде танца урожая. Бочки-то с рыбой и икрой достались им, ольчанам.

Лучшего повода (общие неводы) объединить всех рыбаков поселка в кооператив не придумаешь. Когда веселье уляжется, мы это сделаем. Наш авторитет отныне непререкаем.

26 июля... Ольский кооператив «Красный рыбак» создан на ура. Председателем единогласно избрали камчадала Антипа Бушуева — бывшего приказчика и дальнего родственника сбежавшей в Японию купчихи Анны Бушуевой. Но ольчане считают его человеком порядочным и общественное дело доверяют ему без оговорок. Он уже торговал у них в кооперированной перед бочкаревщиной лавке и показал себя с самой лучшей стороны. Главное, он грамотный, а здесь это пока редкость.

В добрый путь, «Красный рыбак»!

«...ни одна сторона нашей жизни, — говорит Цицерон, — ни дела государственные, ни частные, ни судебные, ни домашние, ни случай, когда ты ставишь вопрос перед самим собой, ни случай, когда ты заключаешь соглашение с ближним, — не может быть свободна от обязанности».

Наша обязанность во время этого вынужденного сидения в Оле — всемерно утверждать здесь советскую власть. Мы не можем, не имеем права бездействовать.

В связи с этим не могу не вспомнить Болингброка, писавшего: «Едва ли найдется более распространенный среди сынов человеческих порок или безрассудство, чем тот смешной и вредный вид тщеславия, который заставляет представителей той или иной страны предпочитать соотечественников жителям других стран и делать собственные обычаи, нравы и мнения мериллом того, что справедливо или несправедливо, истинно или ложно».

Веками инородцы северных окраин царской России находились на положении людей даже не второго, а какого-то энного сорта. Дикари, самоеды. Но как эти «дикари» и «самоеды» чувствуют уважительное к себе отношение и как отзывчивы на то, что утверждает в них Человека! Конечно, в силу своей вековой отсталости им многое еще предстоит понять. Пока они слишком наивны и ограничены, но врожденная тактичность тунгуса, его безупречная честность и стремление к знаниям достойны самой высокой похвалы. И прав Цицерон, говоря, что для всякой человеческой природы «более всего подходит все истинное, простое и искреннее».

...Перечитывая сейчас Болингброка и Цицерона, не перестаю дивиться их современному звучанию, хотя первый жил и творил в начале XVIII века, а второй — еще в эпоху Древнего Рима.

«...человек, — пишет Цицерон, — определяющий высшее благо как нечто, не имеющее ничего общего с доблестью, и измеряющий его своими выгодами, а не его нравственной красотой, такой человек, если останется верен себе... не сможет служить ни дружбе, ни справедливости, ни щедрости».

Как это верно и как хорошо объясняет, почему наш Билибин так любим всей экспедицией, хотя большинство ее членов знают его сравнительно недавно. Живой, очень эмоциональный, иногда даже ребячливый, он в то же время способен быть непримирим и резок, но никогда не переложит свою ношу на плечи другого и не оскорбит тебя и самым строгим выговором. С другой стороны, обладая широчайшими познаниями в самых разных областях, он так умеет передавать свои знания другим, что ты ловишь их с жадностью, не испытывая при этом того унижительного чувства, когда человек, слушая кого-то, вольно или невольно сознает себя в душе невеждой.

В Ленинграде его обвиняли в том, что, не беря в экспедицию других дипломированных геологов, он жаждет потом сам пожинать все лавры, и я, грешный, чуть было с этим не согласился. Теперь вижу, что это не так. Да, он честолюбив, но не настолько, чтобы поддаваться тщеславию. Тут все дело в том, что он уже сумел создать свою геологическую школу и, чтобы его учение развивалось, ему нужны ученики, не подверженные влиянию иных геологических воззрений. И это тоже доблесть, ибо она ставит своей целью интересы не частные, а общие, так как те теоретические положения, которые ненавязчиво, но терпеливо и настойчиво преподает нам Юрий Александрович, действительно более прогрессивны и наверняка более плодотворны, чем те, которые в геологии пока господствуют. Поэтому, взяв на себя работу по меньшей мере пятерых, он делает из нас не послушных исполнителей его воли, а грамотных специалистов новой геологической школы. И в конечном счете мы ими станем.

Билибин стремится не к славе ради славы, а к чести, несущей в себе общее благо. И он имеет достаточно мужества и силы духа, чтобы за это бороться, не подвергая своих сподвижников ни риску себя обесславить, ни тяготам бесплодного труда, ибо, неся в этот край идеи советской власти и утверждая здесь ее сущность, мы уже трудимся с великой пользой.

Если прогноз Билибина относительно золотоносности Колымы оправдается и золота для БАМа, а может, и для всей страны мы найдем достаточно, всем нам без исключения будет честь и слава; за неудачу же в ответе останется он один. В этом его нравственное мужество...»

Я отвлекусь здесь от дневника Цареградского, чтобы обратить внимание читателя на эту последнюю запись, которую, слушая Валентина Александровича много лет спустя, я сделал почти со стенографической точностью. Не часто так говорят о людях. И я верю, что тогда, в 1928 году, находясь еще в Оле и не зная пока, чем закончится их экспедиция, он думал о Билибине именно так, иначе его слова не совпали бы с тем, что в другом месте и в другое время говорил мне Сергей Дмитриевич Раковский.

— В Оле,— сказал Сергей Дмитриевич,— Цареградский первым понял педагогическую тактику Билибина, который без геологического факультета решил сотворить из нас геологов своей, билибинской школы. Валентин Александрович втолковывал нам это при всяком удобном случае, и наше уважение к Билибину росло с каждым днем. Педагогом в этом отношении он был удивительным, мы сами не замечали, как, ежедневно общаясь с ним, начинали с легкостью разбираться в самых сложных геологических проблемах. Я не помню дня, чтобы, вернувшись с поля с рюкзаком минералогических образцов, он не увлек бы нас каждым принесенным камнем. О каком-нибудь обломке сионита или базальта мы, затаив дыхание, выслушивали целые истории, а то, что как-то связывалось с золотом, в его рассказах-лекциях походило на главы из приключенческого романа, хотя, в общем-то, говорил он о вещах сугобо геологических. Причем как-то так получалось, что послушать его мы почти всегда напрашивались сами. Уж очень большой интерес он разжег у нас к своей науке, но делал вид, будто сам он тут ни при чем. Поэтому серьезные занятия по геологии превращались в жгуче увлекательную игру, в которую мы, взрослые дяди, бросались, как дети. И другое еще не менее важное. Практически ни одно занятие не проходило без каких-нибудь, если можно так выразиться, моральных отступлений. Он с такой ловкостью выбивал из наших взбалмошных голов всякую дурь, что я только теперь понимаю, насколько под его влиянием мы становились нравственно чище. Простой и на первый взгляд вроде бы грубоватый, в действительности он был весь соткан из благородства, которое действовало на всех

заразительно. Не только матерщина, даже обычные в мужских компаниях сальности у нас были совершенно изжиты, а схамить кому-то, хотя бы и какому-нибудь тойону, вообще считалось позором...

Представьте себе, допустим, сто человек, которые все кого-то хорошо знали. И вот вы каждого из них по отдельности о нем спрашиваете. Многие их мнения совпадут? Сомневаюсь. О Билибине же все мнения так или иначе совпадают. А говорил я о нем с очень и очень многими, и все, все до единого сходятся в одном: необычайной прозорливости геолог, замечательный педагог и рыцарь без страха и упрека. И я теперь, подобно Раковскому, понимаю, почему тогда в Днепрпетровске громадный актовый зал Горного института на его лекциях был набит до отказа.

Его усилия по воспитанию первых геологов своей школы даром не пропали. И бывший палеонтолог Цареградский и недоучившийся в то время студент Раковский стали потом крупнейшими геологами нашей страны, лауреатами Государственной премии СССР. А Цареградский, заменивший в 30-х годах на Колыме ушедшего на научно-педагогическую работу Билибина, был удостоен и звания Героя Социалистического Труда.

Но тогда, в Оле, такого своего взлета в будущем они, конечно, не предвидели. Они лишь беззаветно поверили в плодотворность идей Билибина и горели нетерпением поскорее уйти в тайгу. Раковский при этом проявлял прямо-таки чудеса дипломатии.

Тут предварительно нужно объяснить один тунгусский обычай.

Хотя в колымской тайге никаких современных средств связи тогда не существовало, так называемое торбасное радио работало отлично. О предстоящем прибытии гостей вроде бы обособленно живущие в тайге тунгусы как-то узнавали заранее. И в большинстве случаев уже знали, с какой целью гости пожалуют.

Если принять гостя хозяин желал, он перед своей юртой вбивал в землю или снег, если дело было зимой, толстую палку — так называемое сэргэ (коновязь). Значит, своему гостю он рад и охотно с ним побеседует. Если же принять его он не хочет, сэргэ перед юртой не выставлялось.

Когда Раковский с Макаром пришли в Маякан к тунгусскому князьку Луке Громову, сэргэ перед его юртой не было. Но Раковского это нисколько не обескуражило. Он уже слышался о том, как Громов бережет чай, и на этом решил сыграть.

Не желаешь принимать — не надо.

Разбили неподалеку от юрты палатку, разожгли костер и на рогаatinaх повесили над ним чайник, в который насыпали столько душистого китайского чая с жасмином, чтобы его аромат распространялся далеко вокруг. Кроме того, оба, и Сергей и Макар, непрерывно дымили самокрутками из табака «Золотое руно», аромат которого тоже очень соблазнительный.

Не спеша почаевничали, до одури накурились, потом заварили еще один чайник и, оставив его над затухающим костром, залезли в палатку будто спать. Еще возле костра оставили большую открытую коробку с монпансье — единственными известными тунгусам конфетами.

Через некоторое время слышат приглушенные детские голоса. В щелку из палатки видно — возле костра четверо тунгусских ребятшек. Вожделенно смотрят на монпансье, глотают слюнки. Хотя думают, что хозяева в палатке спят, взять конфеты не могут — тунгус без разрешения до чужого никогда не дотронется.

Макар, позевывая и протирая якобы заспанные глаза, выпел из палатки будто за надобностью. Громовские дети его знали, не испугались. Но когда тот сказал, что они могут забрать конфеты себе, мальцы пальцами указали на палатку. Дескать, там няча (русский) спит, это его конфеты, нельзя брать.

— Мой догор (друг) добрый, конпеты он вам оставил, берите,— сказал Макар.

Тут вышел и Сергей, заулыбался:

— А, гости у нас, что же ты, Макар, чай пить их не приглашаешь?

Напоили ребятишек чаем, одарили конфетами, опять залезли в палатку.

Немного погодя снова у костра разговор. Макар презрительно сплюнул, тихо сказал:

— Целовека нет, кыыс кэлэ.

Мол, женщины пришли, они — не люди, что с ними говорить?

Сергей укоризненно покачал головой:

— Нельзя так, Макар, женщина — тоже человек.

Тот не согласился, проворчал недовольно:

— Зена — ладно, можно человек, другой кыыс суох человек, кой человек? (Жена — ладно, пусть будет человеком, а другие женщины — какие они люди?)

Но Сергею подчинился.

Вся процедура чаепития повторилась. Женщины с обычной для тунгусок непосредственностью цокали языками, охали — такого вкусного чая, да еще с конфетами, они никогда не пили. Первые пять заварок Громов всегда сам выпивал, потом уже, начиная с шестой заварки, могли почаевничать с ним и жены.

Конфеты женщинам перед их уходом тоже подарили, но те, горстями запихивая их в рот, тут же все съели.

— Лука конпеты забрал бы, однако, кыыс суос конпеты,— пояснил Макар.

У Луки конфеты не для женщин, он сам их любит.

Тогда Сергей каждой подарил по серебряному полтиннику. Их они в рот не запихнут, придется Луке отдать. Вот и хорошо, пусть знает, с какими деньгами пришли гости, которых он не хочет принять.

Только после этого на вторые сутки ночью перед юртой Громова появилось сэргэ.

Вопреки своему обычаю принял обоих с неслыханной роскошью: угощал вареными мозгами из оленьих ног — самым изысканным тунгусским деликатесом. Сергей в ответ выложил коробку монпансье, две пачки чая, галеты. Затем достал из рюкзака фляжку со спиртом и свою походную серебряную рюмку, которой очень дорожил.

Лука спирт проглотил одним махом, но рюмку возвращать хозяину не спешил. Посудинка с червленной инкрустацией — красива больно, залюбовался князь. Сергей понял: хочет получить в подарок.

Черт бы тебя побрал, борова брюхатого! Но ради святого дела на какие жертвы не пойдешь! Пришлось изобразить щедрое великодушие. Подарил.

— Олесек, однако, надо? — спросил после еды и чаепития Громов.

— Да, Лука Васильевич, вьючных.

— Колько платис?

— За одного двадцать монет серебром.

— Мало, однако.

— Побойся бога, Лука Васильевич, никто тебе столько не заплатит.— Сергей зачерпнул в рюкзаке горсть полтинников.— Смотри, все новенькие, лучше твоей медали.

У того на пухлой груди висела на стальной цепи большая круглая бляха из позеленевшей бронзы — при царе так называемая медаль для туземцев, которой Луку Громова за что-то наградили когда-то якутский губернатор.

Подаренные его женам полтинники были уже у него в кармане, но услышал звон серебра в рюкзаке Сергея — и глаза загорелись.

— Колько олсек надо?

— Пятьдесят, пожалуй, возьму, Лука Васильевич.

Тот долго что-то соображал, считал на пальцах. Наконец вздохнул огорченно:

— Вьючных Маякане пять, однако, больше нет. Бери необъезженных, надо будет, Макарка объездит.

— Нет, Лука Васильевич, на объездку время надо, а времени у меня нет, сейчас олешки нужны.

Хозяин подумал, повздыхал:

— Лосадки хочес?

Сергей едва не воскликнул: «Еще бы!» — но все же сдержался, ответил будто бы равнодушно:

— Лошади хуже...

— Цо хузе? Луцсе, однако. Тайгу гонял нет, Маякане лосадки, копыта целый.

Вот дьявол, и про копыта уже знает!

— Ну-у, если копыта целые и лошади крепкие... А сколько их у тебя?

— Сесть, однако, холосие лосадки.

— Посмотреть надо.

Громов хлопнул в ладоши, и сразу же в уресе (жилом помещении юрты) появился один из его многочисленных батраков. Хозяин что-то ему сказал, потом Сергею:

— Пойдем, однако, счас вести лосадки будет.— И жестом поторопил батрака.

Сергей не был профессиональным лошадиником, но и он, осмотрев громовских коней, понял: лошади действительно хорошие. Восторга, однако, не выразил:

— Вообще-то лошадей мне не надо, но раз тебе, Лука Васильевич, так нужно серебро, по пятнадцать монет за одного могу, пожалуй, взять их.

— Цо пятнадцать?! Посто пятнадцать?! — возмутился хозяин.— Миске Александрову двадцать давал, посто моя князь пятнадцать?

— Я же не тебя, князя, нанимаю, а твоих лошадей.

— Симбир (все равно)! Пятнадцать не дам, двадцать давай!

— Лошади Александрова лучше намного.

— Ницо луцсе, двадцать давай!

Сергей для порядка поломался, потом, само собой, согласился. Лошади-то сильнее оленей, а значит, и груза больше повезут.

Лука опустил в свои необъятные карманы 220 полтинников. Он слышал, что в рюкзаке у Сергея еще серебро звенит, и не мог отпустить его с таким богатством. Предложил 25 необъезженных оленей по 15 монет за голову. Не предлагал — просил:

— Десево, цесно, десево даю, бери, догор Сергей, вкусный олеска, холосый мясо будет. Посто молцис, Макарка? Говори нюча Сергей, пускай бери олеска.

Макар сердито насупился, не его дело в чужой торг вмешиваться, но незаметно Сергея в бок все же толкнул: бери, мол, не прогадаешь. Сергей и сам решил взять и этих оленей, но торг увлек его, опять отнекивался, говорил, что у них много вкусных мясных консервов, и в доказательство небрежно вынул из рюкзака и подарил даже две банки Громову, получив которые тот от неожиданности аж задохнулся. Свиная тушенка для тунгусов была лакомством, за которое они отдали бы что угодно.

— Десять монета! — насилу справившись с волнением, выдохнул Громов.

Наверное, пощипать жадного князька стоило, однако Сергей понимал, что по пять рублей олень — уж чересчур дешево. Вопользоваться моментом с его стороны было бы неблагородно. Сказал:

— Хороший ты догор, Лука Васильевич, не буду обижать тебя.



Тот перепугался, думал, что и за такую цену Сергей оленей не возьмет. Но Раковский уже отсчитывал полтинники, нарочно отдельными кучками — по пятнадцать монет в каждой.

Князь, казалось, был сражен окончательно, но...

Однако вернемся к дневнику Цареградского.

«3 августа... Наконец-то пришли Раковский и Макар. К нашему удивлению, кроме оленей, привели еще и шесть замечательных лошадок. К сожалению, двадцать пять из тридцати оленей дикие — необъезженные. Чтобы приучить их к вьюкам, по мнению знатоков, нужно дней двадцать, а до зимы всего осталось месяца полтора.

Совещались. Четырнадцать лошадей и пять оленей всей нашей поклажи не возьмут. Решили поэтому разбить экспедицию на две группы. Сейчас в сопровождении Макара и его двадцатилетнего сына Петра к малтанскому сплаву пойдут шестеро: Билибин, Раковский, Дураков, Алехин, Чистяков и Луненко. Седьмым «участником» сплава будет наш общий любимец Демка — пес Дуракова. Мне же, Бертину, Казанли и остальным рабочим Билибин приказывает оставаться в Оле. Будем объезжать оленей и потом пойдём с Макаром на Среднекан санным путем.

О предстоящем сплаве от кого-то уже успели узнать Белоключов и Глуценко. Первый в совершеннейшей панике.

— Христом-богом молю, вы погибнете все, расстреляют за вас, не предупредил, скажут!

Глуценко на сей раз тоже приветлив не очень.

— Вы с ума сошли, товарищи! Там, на Бахапче, не то что на плотах — на лодке-однодеревке не пройдешь. Нам за вас отвечать придется.

— Я дам вам расписку, что вы нас предупредили и всю ответственность за людей я взял на себя, — сказал Билибин.

— Что ваша расписка? Не пустим мы вас, вот и все. Ждите зимы.

— Я здесь представитель ВСНХ — Высшего Совета Народного Хозяйства Советского Союза, и за свои действия я отвечаю, чинить мне какие-то препятствия вы не имеете права. В противном случае я прикажу своим рабочим арестовать вас и держать под арестом до тех пор, пока мы не сплавимся.

Белоключов почти истерично:

— Я сам бывал на Бахапче, я видел, что там творится!

Хамелеон! Раньше говорил, что нигде не бывал и ничего не видел, а теперь дрожит.

Макар во время всей сцены сидел молча, пригорюнившись. Билибин встревожился:

— Что с вами, Макар Захарович?

Посолев, ответил не сразу:

— Убьют!

— Кого убьют?

— Макарка убьют. Миска Александров сказал, Лука сказал...

Вот паразиты! За наши полтинники удавиться готовы и за нашей же спиной человеку смертью грозят. За то ли, что помогает нам почти бескорыстно и цену им сбивает, или за то, что делом способствует успеху экспедиции? Скорее всего за то и другое. Не нравится тойонам наша экспедиция, и организованный нами кооператив тоже поперек горла стал. Ну это мы еще посмотрим, чья возьмет! Впрочем, тут и смотреть нечего, не им, ожиревшим, нашему государству грозить.

Макара еле успокоили. Билибин не удержался и подзадорил:

— А то, Макар Захарович, вы же сами знаете, батыр саха здесь есть, вместо вас пойдет, однако.

Макар заводится с пол-оборота. Затряс бороденкой, изображая Кыланаха:

— Вай-ой, батыр саха, вай-ой, симбир сопсем зеробцык саха...

Теперь можно не сомневаться, пойдет, не застрашают.

4 августа... Крупно поговорили с Глущенко, чтобы пресек запугивания в адрес Макара и предупредил Александрова с Грозовым: если с Макаром что случится, они ответят за него своими головами. Пусть знают — в их интересах охранять жизнь Макара, иначе и за случайность как бы не поплатиться им.

Глущенко после вчерашней нашей стычки чувствует себя явно неловко, сказал, как бы извиняясь:

— Не волнуйтесь, товарищ Цареградский, я этим последышам царизма мозги вправлю.

...Кооператив разделили на четыре бригады (по числу неводо). Правильно, сразу возникает дух соревнования.

Считают, что рыбы для людей и собак заготовили уже достаточно. Половину конфискованной у японцев икры (десять бочек) и столько же рыбы решили отдать нам.

В принципе улов мог быть в несколько раз больше, но излишки пока некуда девать. В этой связи отправили с одним из сыновей Макара депешу в Тауйск для передачи по радио в Далькрайком. Рассказали об организации кооператива, просим помочь тарой, солью и наладить сбыт продукции. Без этого кооператив не сможет нормально существовать.

А исходным товаром для ольчан является рыба и продукты морского зверобойного промысла. Последний, к сожалению, ведется крайне нерационально. При изобилии рыбы охотники берут только шкуры лахтака и нерпы и незначительную часть мяса, остальное все выбрасывается за ненадобностью. Поэтому было бы разумно завести в кооперативе ферму пушных зверей, которые поедали бы остатки зверобойного промысла. Есть также возможность устроить молочную ферму. В поселке 126 голов крупного рогатого скота, но ни якуты, ни тунгусы коров не доят, скот держат только на мясо.

Вероятно, в Оле можно заниматься и огородничеством. Некоторые из русских поселенцев и камчадалов сажают здесь понемногу картошку. Она дает неплохие всходы и родится в отдельные годы обильно. Но с середины и до конца июня картофельные посадки нужно укрывать сеном, так как в это время тут, говорят, случаются сильные заморозки, и, если картошку не укрыть, она вымерзнет. По этой причине хозяин вскапывает под огород лишь 100—150 квадратных метров. Больше сберечь от заморозков он не в состоянии.

Здесь нужны особые сорта картофеля, которые не боялись бы заморозков. Следовательно, поселку необходим грамотный агроном-селекционер.

Не такое это, оказывается, простое дело — кооператив. Путина так кратковременна, а людей нужно занять круглый год, и они должны видеть, что трудятся с пользой.

12 августа... Простились с товарищами. Расставались с грустью. На душе тревожно. Что-то их ждет там?

Взяли самое необходимое: по две пары белья, зимнюю одежду, жесткую норму питания, оружие, инструменты.

Проливной дождь. Холодно.

26 августа... Давно не брался за дневник, нечего писать. В Оле все идет своим чередом.

Вторую неделю пытаемся с Казанли попасть на вельботе в бухту Нагаева. В лоции Охотского моря она описана как наиболее удобная на всем побережье. «Единственный недостаток этой бухты,— пишет автор лоции,— отсутствие человеческих поселений на берегу». Он дает и карту. Если верить ей, бухта Нагаева лучше ольского побережья. Здесь нет подходов для разгрузки судов. Если мы откроем на Кольме золото и нужно будет строить порт и город, то Нагаево нам, видимо, подойдет больше всего. Хотим все посмотреть сами, но пока безуспешно. На море не прекращается шторм. Держится никак не меньше девяти баллов, хотя погода сухая и теплая.

**1 сентября...** Разбили вельбот. Чудом не утонули сами. Несчастный Казанли даже стал заикаться. Сидим в палатке мокрые до последней нитки и, съезжившись, лязгаем зубами. Переодеваться нет смысла. Вся сменная одежда тоже мокрая.

Чтобы отвлечься, я пытаюсь писать, но рука дрожит — ничего не получается...

**5 сентября...** Вернулся Макар. Размазывает кулаком слезы, всхлипывает:

— Сергей симбир саха, Билиба веселый — улахан целовек кыгыл-быттыхтах (краснобородый), Степашка холосий, все мертвый будут, крепко уснут Бахапта.

Рассказывает, что наши построили два плота и спустили их на Малтан недалеко от Элекчана. Билибин передал записку, пишет, что в Элекчане до зимы нужно построить перевалочную базу и пербраться всем нам из Олы туда, ближе к Среднекану.

Спрашиваю Макара:

— А ты, Макар, не боишься переезда в Элекчан?

Перестал плакать, смотрит сердито.

— Зацем, Царь-город, говорис такое? Плохой люди пугал Макарку, не боится Макарка.

Кулаки притихли. Глущенко, видно, поработал с ними всерьез.

...У Казанли после нашей морской «купели» все еще не проходит температура. Глокает таблетки, но озноб они не снимают. Сильно кашляет. Боюсь, как бы это не воспаление легких. Тогда худо, тем более наш Дима отнюдь не Геркулес. Трудно пришлось ему в жизни. Его отец был прославленным музыкантом, но умер еще до революции, не оставив семье в наследство ничего, кроме долгов. Потом от скоротечной чахотки умерла и мать.

С четырнадцати лет был добровольцем в Красной Армии, затем трудармия, после которой университет и тоже работа где придется. Не могли они вдвоем с сестрой жить на его стипендию.

Досталось Диме. Оттого, наверное, и щуплый такой, аж светится. В Ленинграде Билибин долго сомневался, брать ли его в экспедицию вообще. Я еле отстоял, иначе для Димы это был бы удар — Севером он с детства бредил.

В утешение читаю ему его любимого Блока, поэзия которого мне, правду говоря, не очень по сердцу. Гремящий и ясный стих Маяковского для меня куда ближе, хотя, конечно, не признать Блока великим поэтом я не могу. А с Димой они даже внешне схожи разительно, особенно на тех снимках, где Блок сфотографирован в возрасте 25—30 лет. Одинаковые профили, выражение глаз. У Димы глаза цвета светлой бирюзы. Сейчас от высокой температуры они лихорадочно блестят, и временами кажется, что смотрят они с какой-то безнадежной грустью, почти трагически...

Будь я художником слова, я сказал бы о Диме очень многое, но лучше Цицерона не скажешь: «Тех, кто поступает, кто живет так, что их верность, неподкупность, беспристрастие и щедрость встречают всеобщее одобрение, тех, в ком нет никакой жадности, возвращенности, наглости, кто отличается великой стойкостью... — вот их мы и должны называть честными людьми... так как они, насколько это в человеческих силах, следуют природе, наилучшей наставнице в честной жизни».

**11 сентября...** Дима быстро идет на поправку. Прежнего лихорадочного блеска в глазах уже почти нет. Шутит:

— Это я с виду вроде подпорченный, а так, если заглянуть внутрь, — симбир батыр саха.

До батыра ему, понятно, далеко, но выносливый он на зависть, это я знаю.

...Сегодня Бертин и восемь рабочих ушли в Элекчан строить базу. Макара я просил снова вернуться, чтобы пойти со мной и Казанли к бухте Нагаева.

Что касается Эрнста Петровича, он для меня — загадка. Его любимые философы — Марк Аврелий и Платон. Таскает их повсюду с собой, как я — Цицерона и Болингброка. Но что общего между стоицизмом Аврелия и платоновским идеализмом?

— В-вы н-не д-допускаете, ч-что м-можно, н-например, л-любить п-платонически, а ж-жить п-по А-аврелию?

С ним много не поговоришь. Но если верно то, что он тайно влюблен в жену брата, тогда, принимая еще во внимание его жизненные принципы (лишнего не возьми, к вершинам не стремись), все объяснимо. В действительности, однако, все не так просто. Уж во всяком случае о нем не скажешь, что в своих стремлениях и мечтах он ограничен.

— В-вот бы, б-братцы, д-дожить до м-мировой р-револ-люции!

— И что тогда бы было?

— К-как ч-что?! М-мировое с-счастье! Эт-то в-вам н-не ф-фунт д-дыму!

После мировой революции он, по его словам, сначала бы совершил кругосветное путешествие, чтобы побывать во всех странах и лично увидеть, насколько все люди стали счастливыми, потом усыновил бы десятка два ребятишек из разных стран и жил бы с ними где-нибудь на Енисее припеваючи.

— А ч-что, интер-рнац-ционал в д-действии!

— Это хорошо, конечно, но как же без жены, Эрнст Петрович? Ребят-то кормить, обстирывать надо.

— И-интер-рнац-ционал с-сам с-себя обл-лужит.

Смех смехом, а женатый в нашей экспедиции только я один, и кроме Раковского, жениться пока как будто никто не собирается. Серега по дороге на Колыму во Владивостоке влюбился в Галку Миндалевич — дочь работника Дальзолота — и теперь мечтает, как они поженятся и будут вместе работать в колымской тайге. Причем обязательно купят себе граммофон, так как Галка играет на пианино и без музыки в тайге может заскучать. Услышав это, Миша Луненко расхохотался:

— А ванну ты ей в тайгу не притащишь?

Серега обиделся, но ответил правильно:

— Откроем золото — будут у нас и ванны.

Вполне естественно. Не станем же мы жить здесь на биваках. Будут города, поселки городского типа, а значит, будут и все необходимые человеку удобства. Это сейчас, когда кругом глушь, мысли о ванне кажутся нелепыми, по существу же ничего несуразного я тут не вижу. Серега прав, все будет!

Пока, к сожалению, в Оле нет даже нормальной бани. Русские и камчадалы моются в долбленных деревянных корытах, а тунгусы и якуты вообще всю жизнь не моются. К ежедневному мытью их придется еще приучать. Смешно подумать, но факт: среди туземцев нужно проводить что-то вроде «банной реформы».

20 сентября... Время тянется томительно. Работы все меньше. Ольское побережье уже облазили вдоль и поперек. Каждый день в гости приходят тунгусы, реже — якуты. Сидим и молча пьем чай. Иногда, правда, с якутами о чем-нибудь говорим, но без переводчика весь разговор сводится к какой-нибудь бытовщине. Невелик помощник в этом и наш Миша Седалищев. Его познания в русском языке тоже ограничиваются в основном темами быта. А учителям Варрену и Федотову сейчас не до нас. Днем у них — школа, вечерами — ликбезы.

Между собой часто вспоминаем Ленинград, какой он замечательный. Когда жили там постоянно, его красоту словно бы не замечали. а теперь тоскуем (я, Дима и Коля Корнеев).

...Корнеев нарисовал уже всех жителей Олы — 211 портретов. Художник он замечательный, а человек скучный. Тихий, застенчивый, весь в себе. Даже Бертин по сравнению с ним говорун. Уже столько времени вместе, а узнали о нем не больше того, что знали в Ленинграде. Родился в благополучной интеллигентной семье, рос, учился, со школьной скамьи мечтал о Севере. Это и все, что я могу о нем сказать.

...Шумит ливень. Сумрачно за палаткой и в палатке. Освещают ее только раскаленная буржуйка да одна коптящая парафиновая свеча. Наша брезентовая конура как монашеская келья. Жизнь, любовь, человеческие страсти — все где-то там, в невообразимом далеке. Завидую нашим сплавщикам. Хоть путь их и опасен, зато не такой нудный, как это вынужденное сидение без дела.

**7 октября...** Третий час ночи. Отчаянно хочется спать, но уснуть нельзя. Медведи до того обнаглели, что подходят к самой палатке. Вчера задрали одного нашего оленя и покушаются на остальных. Бедные олешки сбились в кучу, жмутся к нам. Приходится жечь костер и стоять на страже.

Мы — на левом берегу бухты Нагаева. Лоция охарактеризовала ее верно. Место для постройки города годится. Берега гранитные, но в большинстве пологие. Сама бухта имеет форму вытянутого мешка, со стороны суши защищена от ветров подковообразной грядой сопок.

Много рыбы, тюленей и косаток. Мы были свидетелями поразительной картины: морской лев — сивуч — дрался с медведем. Начала боя мы не видели, пришли в самый разгар сражения, которое проходило в нескольких метрах от берега на камне, похожем на подмости ринга. Хищники не обратили на нас внимания. Они с диким ревом набрасывались друг на друга. Вода вокруг камня побагровела. Разъяренные звери то отрывались один от другого и, отскочив в стороны, свирепо скалили пасти, то молниеносно сплетались вновь. Гигантский клубок из грязно-бурой шерсти и черной, лоснящейся кожи носился по возвышающемуся над водой камню с непостижимой быстротой.

Так продолжалось около получаса. Потом рев стал ослабевать. Хищники начали выдыхаться. Схватившись в последний раз, они уже не ревели, а только тяжко стонали. Медленно расплзлись и, ощерившись, застыли друг против друга.

Увлеченные необычным боем, мы ждали новой схватки и были убеждены, что грозный хозяин тайги в конце концов победит. Но косолапый опозорился. Не сводя глаз с противника и не переставая щериться, он трусливо подполз задом к самому краю камня, рывкнул и вдруг, как акробат, бросился спиной в воду. Кувыркнулся, фыркнул и, оставляя кровавый след, поплыл к берегу. Так что победа досталась величественному владыке моря. С высоко поднятой головой он еще долго сидел на камне, похлопывая по брюху лапами и издавая ревуций трубный клич. Мы были от него на расстоянии выстрела, но прониклись к нему уважением и стрелять не стали.

В связи с этим вспомнился забавный случай из моей преддипломной якутской практики. Я проходил ее там на реке Вилюй, верстах в тридцати от поселка Нюрба. Жили в бараке геодезистов, который стоял в стороне от Вилюя, на каком-то безымянном ручье.

Было нас всех пятеро: геодезист-астроном Василий Григорьевич Лукьянов, два его помощника (старик Степан Поликарпыч и семнадцатилетний парнишка Ленька Свиридов) и нас два практиканта-палеонтолога — я и Володя Бунченко.

Как-то мы втроем (Лукьянов, Володя и я) ушли на три дня в Нюрбу в бане помыться, за продуктами и всякой мелочью.

Вернулись, сели пить чай. Чувствуем, что-то в наше отсутствие здесь произошло, но что — старик и парень пока молчат.

Лукьянов — мужик нервный. Обжигаясь кипятком, спрашивает нетерпеливо:

— Выкладывайте, что тут у вас стряслось?

Ленька прыснул в кулак, а старик хмуро сдвинул брови.

— Что выкладывать! Этот,— он зло ткнул пальцем в Леньку,— вслед за вами тоже в Нюрбу повеялся, зазноба там у него на заимке. А мне утром вода понадобилась. Ружьишко, как на грех, в бараке оставил. Прихватил топор, ведро и — к запруде. Гляжу — по ту сторону запруды будто сохатый из-за скалы выходит. Я поднялся на обрыв и за камень залег. Сохатый к воде подошел, переправляться через запруду, смеаю, удумал. Только собрался в барак за ружьем дунуть: мяса, поди, пудов на восемнадцать, само в руки идет,— смотрю, что за диковинка. У сохатого на загорбке будто сидит кто-то. Что такое, не разберу — туман густой. Сохатый как пьяный бредет. Сделает шаг-другой и остановится, сбросить с себя хочет что-то. Забрел до половины запруды да и брякнулся, а из той кучи медведь поднимается. Тут солнышко как раз показалось, вижу стервеца ясно. Бежать за ружьем уже поздно, да и патрона, жаканом заряженного, у меня не было, все с дробью. Лежу, не шелохнусь, ветер в мою сторону, не учует. Выволоч он сохатого на отмель, отряхнулся так, что радуга коромыслом пошла, и давай пировать. Первым делом внутренности выел, тушу не тронул. У меня надежда: сейчас уйдет — тут и мне пожива, солониной давимся. Однако не спешит, то одну часть оторвет, то другую. Часа через два ушел. Подождал я еще с час и решаю: пора! Поднял топор, спустился с обрыва, крадусь к развороченной туше. Вроде спокойно. И только рубанул по задней части, а он тут как тут. Я хожу. Выскочил на обрыв, оглянулся — прет прямо на меня. Тут уже я поддал, мигом в бараке очутился. Захлопнул дверь, схватил ружьишко, жду. Слышу, топает неподалеку, к бараку не идет. Подождал я да и отворил дверь. Как будто выжидал этого, окаянный. Я в него дробью, а он как саданул лапой по стволу ружья. Оно и вывернулось у меня из рук, на две части разломилось. Уж и не знаю, как дверь успел снова закрыть. Боялся, что навалится на нее, с топором наготове стоял. А он к самой двери притащил... сохатого дожирать, паскудец. Двое суток я промытарствовал. Оно бы ничего, да воды у меня ни слезы не было, вся утроба высохла. Опять же ружье жалко, сто целковых как в прорву выкинул. Этот,— Поликарпыч опять со злостью ткнул в Леньку,— опосля всего со своим карабином заявился. Нет чтоб вовремя на подмогу поспеть.

— Да откуда же я знал, что в медвежью осаду вас занесло! — возмутился Ленька.

Такая вот приключилась тогда история. Но сохатины нам медведь все же порядочно оставил, не всю сожрал, много ее больно было...

**18 октября...** Выпал обильный снег, очень пушистый. В тайге он лежит уже давно. Мороз еще небольшой, но ветрено. Результаты проведенных в Нагаеве работ радуют. Нет никаких сомнений, что первый город Колымы будет именно там. Я буду настаивать. Думаю, Билибин меня поддержит.

Добрались ли они до Среднекана?

**23 октября...** Ушел с тунгусскими охотниками в Элекчан Казанли, хочет установить на Малтане астропункты. Мы с Макаром остались в Оле вдвоем. Работы теперь много, скучать некогда. Макар с сыновьями в темпе объезжает оленей. Я привожу в порядок летние записки, документирую билибинские минералогические коллекции (благо этому я уже научился). Сделал новую карту бухты Нагаева и побережья Олы. Когда в Ленинграде будем говорить о закладке нового города на Колыме, покажу их для сравнения. Такой разговор состоится в любом случае, даже если результаты поисков золота окажутся не особенно утешительными. Край осваивать все равно нужно.

**17 ноября...** Устин Кондратьев — ольский тунгус — принес тревожное письмо от Бертина. Пишет, что предсказание Макара относительно гибельности сплава по Бахапче, видимо, сбылось. Там, где

спускались на Малтан плоты, элекчанские охотники встретили Демку — пса Дуракова, изнеможенного и тощего. Должно быть, он возвращался от самых бахапчинских порогов. Бросить в тайге собаку они не могли.

Сказал Макару. Плачет:

— Посто Билиба не верил Макарка? Макарка знал: бесеный Бахапца, все крепко уснут Бахапца...

Типун тебе на язык!

**19 ноября...** 4 часа утра. Через час выезжаем. Потеряли на сборы целых два дня. С большим трудом удалось подрядить пять собачьих упряжек с каюрами и две без каюров. Одну из них поведет Макар, другую — я, хоть сам не каюрил никогда.

Интересно, что и на этот раз первым дал собак Михаил Александров и лично вызвался каюрить — серебряные полтинники!

Взяли теплую одежду, спирт, продовольствие. Может быть, наши товарищи разбились на порогах Бахапчи и сидят сейчас там голодные и холодные, не имея возможности нам сообщить. В их гибель мне не верится. Все здоровые, крепкие.

**10 часов вечера.** Ехали без единой остановки, но прошли не более шестидесяти километров. Навстречу дул сильный ветер, собаки шли плохо. Ночуем на открытом месте, в нагорной тундре. В палатке холодно, но все устали и уже спят. Не спит только Макар. Лежит с открытыми глазами и смотрит на меня. Почему-то от его взгляда мне неловко. Разве я в чем-то виноват?

**20 ноября...** 5 часов утра. Натаял снегу и вскипятил чай. Каюры сейчас пьют. Мне не хочется. Нужно выпить, а то замерзну, мороз градусов под шестьдесят. Чувствую себя неважно, всю ночь не мог уснуть.

**11 часов вечера.** Сидим в новом, пахнущем смолой элекчанском зимовье. Жарко натоплено. Бертин и Казанли поят нас крепким чаем, угощают разогретой тушенкой и горячими лепешками. Разговор не клеится.

О прошедшем дне.

С утра ехали густым лесом, растущим по берегам реки Олы. Потом вышли на чистый, чуть запорошенный снегом лед. Моя упряжка шла первой. Двигались быстро. Собаки скользили, падали и, вскочив, рысили дальше, оставив остальные упряжки далеко позади.

Где-то в полдень меня нагнал Макар, и наши нарты пошли почти рядом, моя — только чуть впереди.

Неожиданно над нами пролетела кедровка. Собаки встревожились и понеслись во всю прыть. Упиваясь быстрой ездой, я не тормозил нарту, криком подбадривал упряжку, и она неслась еще быстрее. Вдруг глухой звук взрыва, собачий визг, толчок — и нарта повисла над провалом льда. Под нами взорвалась речная наледь. Я замер над мчавшимся подо мной бурным потоком воды, изумленно следя, как скользят в эту яму передние собаки, стаскивая туда и остальных. Макар, остановив свою упряжку, стремительно перескочил на другую сторону ледяного провала, ухватился за нарту. Его команда: «Прыгай сюда!» — прозвучала уже после моего прыжка. Рванув нарты на себя, мы выволокли собак на лед.

Когда снова шагом тронулись в путь, Макар недовольно ворчал:

— Худое место дерзать надо... Ездить не умеес, зацем нарты взял?

Я долго старался сообразить, как угадать среди чистого поля льда «худое место», но так и не решил эту задачу.

Спустя несколько часов мы пересекли кривун реки напрямик через лес. Дорожка была извилистая, заваленная буреломом. Большую часть времени пришлось бежать, поддерживая нарты и перескакивая то на одну их сторону, то на другую. Макар тоже бежал за своей

упряжкой. Когда через час-полтора мы снова выехали на лёд, ласково похвалил меня:

— Когда ездить учились? Свою нарту купить надо.

Будто это и не он говорил, что я ездить не умею.

Короче говоря, день был с приключениями. Дорога напоминала джек-лондоновскую эпопею: посвист ветра, мельканье собачьих лап на льду, монотонная песня полозьев и — белое безмолвие.

До порогов осталось километров сто пятьдесят. Там, по рассказам, живет какой-то якут, может быть, он знает о нашем отряде.

Казанли просится ехать с нами, доказывает, что в направлении бахапчинских порогов ему нужно установить несколько астропунктов. Это только предлог.

Что там у Маши? Бедные жены: вся жизнь — ожидание. Когда рядом, нежные слова почему-то забываешь, а тут в груди от них тесно. Или это потому, что вокруг слишком много суровости. В двух-трех пядях от меня, за стеной зимовья, сатанеет пурга. Она так близко, что иногда мне кажется, будто я ощущаю ее удары. В доме — на полу, на нарах и скамейках — уснувшие люди. Кто в чем был, в том и спит. Казанли — в полушубке, Бертин — в тулупе, Макар и каюры — в своих пестрых меховых одеяниях. Только обувь сушится у буржуйки. Душно, пахнет махоркой, овчиной, звериными шкурами туземцев и крепким потом. Света копилки едва хватает, чтобы различать строчки. Когда пурга через печную трубу врывается в дом, мой светильник затухает совсем. Зажигать его не хочется. Долго сижу в темноте, слушаю вой пурги. И тогда кажется, словно наше зимовье несется по фантастическому бушующему морю, точно это не дом, а какая-то бочка или темный трюм корабля. Теряется всякая реальность, и вдруг я почти физически чувствую прилив необыкновенной нежности. Она переполняет меня до такой степени, что я задыхаюсь. Я готов излить ее все равно кому. Все прошлое кажется идеальным, вспоминаются люди, которых давно забыл и которые давно забыли меня. Я не могу объяснить это состояние, но нахожусь в нем все чаще и чаще.

**21 ноября...** Прошли километров двадцать. Глубокий снег и беспрерывная пурга.

**22 ноября...** Добрались до Малтана. На тополях видели несколько затесов с одинаковыми надписями химическим карандашом: «28/VIII-28 г. Отсюда состоялся первый пробный сплав К.Г.Р.Э. Билибин, Раковский, Дураков, Алехин, Чистяков, Луненко».

Возле тополей остановились на ночлег. Ночь тихая и звездная. Морозно. По Цельсию 56 градусов. Ртуть в термометре Казанли превратилась в твердый шарик. Дима все же остается верен астрономии. И меня втянул в это дело, помогаю ему производить астрономические определения. Я сижу на ящике, склонившись над хронометром. Держу бутылку с отбитым дном, в которую вставлена свеча, и вместе со стрелкой отсчитываю секунды. Дима с секстантом в руках стоит в стороне. Заглядывая в окуляр, он следит за невидимым невооруженным глазом движением звезды и командует:

— Приготовьсь!.. Есть!.. Есть!..

Потом, положив секстант на снег, быстро ходит взад и вперед, потирая руки и с шумом выдыхая из легких воздух. Наконец ходить ему надоедает, и мы начинаем снова. Вдруг обнаруживается, что ртуть в искусственном горизонте замерзла. Идем в палатку, греемся сами и разогреваем на буржуйке ртуть. Затем все повторяется сначала. И так много раз. Скоро утро, а мы только закончили. Теперь надо бы соснуть хоть пару часов, но меня опять мучает бессонница. Дима не понимает, что это такое. Уже спит. Макар тоже вроде уснул.

Не могу представить, что наших уже нет. Дико. Невозможно даже предположить.

Ветер начинает посвистывать. Кажется, снова запуржит...»



Геолком, чьей экспедицией официально являлась экспедиция Билибина, никаких надежд на нее, как я уже говорил, не возлагал и ее организации в Ленинграде всячески препятствовал, считая Билибина, несмотря на его алданские открытия, молодым авантюристом, а его колымскую затею — предприятием, заведомо обреченным на провал. Она состоялась только благодаря энергии самого Билибина и нажиму поверившего ему Александра Павловича Серебровского — члена ЦК ВКП(б) и начальника Главзолота, действовавшего от имени ВСНХ, и то лишь после того, как Главзолото, используя фонды Дальзолота, перевел на счет Геолкома 650 тысяч рублей с одним целевым назначением — на финансирование экспедиции, которой поручалось найти золото для БАМа, то есть экспедиции Билибина. Здесь сыграла роль требуемая сумма денег: средства, отпущенные на примерно такую же географическую экспедицию Сергея Владимировича Обручева, которая посылалась на Северо-Восток в то же время, составляли два миллиона рублей, а Билибин запросил всего каких-то 650 тысяч. Со стороны Геолкома это была просто уступка, в успех предприятия не верили. Правда, некоторые члены Геолкома Юрия Александровича все же поддерживали, но большого веса они не имели и решительно повлиять на мнение геолкомовских «динозавров» не могли. Безоговорочно верил тогда в собственную удачу, пожалуй, только сам Билибин. Однако и у него уже на Колыме наступил момент, когда он на некоторое время растерялся. Нет, в том, что золото на Колыме есть, он не усомнился, но выпадет ли счастье открыть его именно ему, тут Юрий Александрович — случился момент — заколебался.

Уж очень суеверен был Юрий Александрович.

Из Олы вышли 12 августа, в воскресенье. Вышли в проливной дождь, чтобы не терять время на ожидание вторника. А то кто же начинает серьезное дело в понедельник? Спросите любого моряка, выйдет ли он в море в понедельник? Да хоть режь его, дальше внешнего рейда гавани в понедельник не двинется.

Пройти, однако, удалось всего пять километров. Вдруг занемог тунгус Спиридон Амамич. Он попутно с отрядом Билибина шел к месту своего жительства на реке Чаха и вот занемог, а утром следующего дня умер. Пришлось составлять протокол и двоим, Билибину и Раковскому, возвращаться в Олу, чтобы в тузРИКе засвидетельствовать факт естественной смерти.

Тринадцатое число, понедельник, возвращение и в довершение всего мертвец. Такое стечение дурных примет и в кошмарном сне не привидится.

Загрустил Юрий Александрович и, вернувшись в Олу, не двинулся опять в путь до пятнадцатого. Чтобы хоть среда смягчила эти пакостные приметы. Хорошо было бы дождаться семнадцатого, которое выпало как раз на пятницу: семерка в числе и пятница — счастливое совпадение. Но люди в тайге ждали, надо было спешить. И Юрий Александрович, зажав большой палец левой руки в кулак, не разжал его, пока не прошагал все пять километров до вынужденной остановки.

Листки из тетради Сергея Дмитриевича Раковского:

**«17 августа (пятница!)...** Будем считать, что место смерти Спиридона Амамича — наш таежный рейд, а настоящий поход к Среднекану начался только сегодня, в пятницу, семнадцатого. Так сказал Юрий Александрович, так оно и есть.

За день прошли тридцать семь километров. Дорога, вернее, тропа все время шла кочкастой марью<sup>2</sup> с редкой и мелкой листовницей. Везде много спелой голубики, которая занимает большие пространст-

<sup>2</sup> В отличие от известного цветка марь в Сибири на Дальнем Востоке и Севере марью называют болотистую, но относительно проходимую таежную равнину.

ва, поросшие сизоватым мхом, буро-зеленой травой и полыхающим ало-розовым пламенем ерником. Красота необыкновенная, особенно оттого, что день после недавних ливней выдался наконец ясный. Кажется, взмахни рукой, и воздух зазвенит. А небо такое синее, будто над нами туго натянутый шатер из блестящего синего шелка. И бегущие от безветрия в разные стороны клочки белых и легких, как пух, облачков. Словно под синим шатром дымки расплываются.

Видно далеко-далеко. Если бы еще ноги не вязли в противной жиже, можно было бы подумать, что мы в какую-то сказку попали.

В полдень перевалили удивительный хребет Джал-Урахчан<sup>3</sup>, который издали казался цепью розовато-сизо-серых стогов. Над ними там и тут причудливыми столбами торчат то ало-серые, то совершенно алые в лучах солнца гольцы. В высоту над хребтом они поднимаются на 300—400 метров, но отдельные пики достигают, наверное, полутора и даже двух километров.

Удивительность этого Джал-Урахчана в том, что у него нет никакого предгорья, никаких увалов; сразу — ввысь! Узкая тропинка вела на перевал так круто, что лошади вскарабкивались на очередной уступ с большим трудом.

Сейчас мы расположились на берегу речки Чаха, куда шел бедняга Спиридон. Еще не сумерки, и впереди виден новый хребет — цепь могучих округлых гор. То есть знаменитый Колымский, или Яблоновый, хребет, с которого в нашу сторону течет река Ола, а туда, на запад, — Малтан. До него еще далеко, но прозрачность воздуха такая, что видно вперед на добрую сотню километров, если не больше.

Жизнь прекрасная и для всех нас, кроме Билибина, новая. Все концы старательского бродяжничества обрублены навсегда. Теперь мы — сила, люди, за спиной которых — государство. Следовательно, и жить отныне мы должны соответственно, тем более под началом такого руководителя, как наш Юрий Александрович. Замечательный он человек. И действительно наш, таежный, хотя и ленинградец. Редко такое случается, чтобы горожанин в тайге чувствовал себя как дома. Я и то после Иркутска в артели Дуракова порядочно обвыкался, а он, Юрий Александрович, и на Алдане и здесь будто жил-поживал годами.

**19 августа...** Перешли на другую тропу, которая ведет вверх по реке Ола. Макар называет эту тропу Бахапчинской<sup>4</sup>.

Размеренным шагом идем по разноцветным галечникам в среднем по четыре километра в час. Билибин все время впереди, будто не Макар у нас проводник, а он, Юрий Александрович. Иногда опережает нас на километр-полтора, потом сидит на камне, ждет, покуривая трубку. Когда мы подходим к нему, улыбается:

— Ну, что, догоры, передохнете?

Мы, ясное дело, отказываемся.

Интересно ведет себя Демка. Он то трусит следом за Юрием Александровичем, то, опомнившись вдруг, во всю прыть летит назад, к Степану. Виновато потрется о его ногу, твякнет раз-другой и снова — галопом вперед: зовет догонять Билибина. Луненко дал ему за это другую кличку — Связной.

Умный псина. Понимает, что все мы здесь свои, но все же хозяин у него один — Дураков. А Степан Степанович вроде и внимания на него не обращает, дымит себе в бородищу.

Хорошо на душе сейчас, вольно. В голове мечты всякие бродят. Вот откроем золото... И не знаю, что тогда будет, но будет славно, это уж точно. Я институт заочно закончу, ребята — техникум. А что, молодые еще, один Степаныч тридцатку разменял. Говорит поэтому, яко-

<sup>3</sup> Ныне горная цепь имени Билибина.

<sup>4</sup> Ныне тропа Билибина.

бы учиться ему поздно, таежной наукой обойдется. Оно так, допустим, но что значит поздно? Учиться-то никогда не поздно. Конечно, под началом Билибина мы и так все геологами станем, но дипломы все равно нужны.

Еще мечта у меня переженить ребят. Чтобы жены детишек всем нарожали. А то как же? Взять того же Юрия Александровича. Ему без прямых наследников никак нельзя. Должен же он кому-то башковитость свою передать. И Степан — мужик на загляденье, будто дядька Черномор твой. Да и остальные не лыком шиты. Ваня Алевин — гусар, удалец хоть куда, Дима Чистяков — драгун, основательный человек, а про Луненко и говорить нечего — бравый парняга, хоть и егоза. Не только Демку в Свяznego перекрестил, и до нас всех добрался. Меня, к примеру, и без того все Длинным Носом называют, так он еще Догорсаху приплел. Это за то, что я с якутами дружбу вожу и язык их понимаю.

Макар — Амакадогор, что значит Дружелюбный Медведь. Билибин — Батырбиллирик, то есть Почетный Богатырь, но это совсем неправильно. Биллирик — место почетное, а не человек. Тогда бы уж надо Улаханбатыр или, как сказал Макар, Батыркыгылбыттытах — Краснобородый Богатырь.

Ладно, пусть тешится. Может, язык якутский так понимать научиться, и то польза.

...Не пойму, почему на Колыме хребет Яблоновым назвали. Ведь никаких же яблок здесь и в помине нет. Или потому, что горы его округлые и как раз в это время все в полыхающем ернике. По цвету, можно сказать, на румяные яблоки схожи. Но кто его знает...

**21 августа...** Перевалили через Яблоновый хребет. Собственно, после Джал-Урахчана никакого перевала мы здесь не почувствовали. Просто тропа плавно поднимается вверх и так же плавно опускается вниз. Билибин говорит, что в будущем, когда будут строить дорогу от охотского побережья в район Верхней Колымы, она должна будет пройти именно здесь<sup>5</sup>.

Приключений пока никаких не случилось. И слава богу! Без них спокойнее. Кто посвистывает, кто песенку себе под нос мурлычет. А Юрий Александрович, понятно, сочиняет:

Яблок Колыма нам не давала,  
Но перевальчик Яблоновый даровала.

И верно, не перевал — перевальчик, хотя зимой как сказать... Ветерок и нынче здесь буйный, а растительность чахлая, разгуляться ветродую есть где. Кустики ерника и кедровый стланик, кустиками же раскиданный там и сям, ему не помеха.

**22 августа...** Такие вот пироги: прибыли к месту сплава в среду! Ура и еще раз ура!

Теперь — даешь плоты! Сухостоя по берегам Малтана тут много и лиственницы крупные, для плотов в самый раз.

Все! Карандаш пока в сторону...

**29 августа...** Вчера простились с Макаром, его сыном и Иваном Белугиным, которые помогали ему управляться с лошадьми. Макар долго сидел на берегу и сквозь слезы тянул свою якутскую песню:

Большая да большая, страшная река Бахапча,  
Плохие да плохие пороги в ущелье,  
Бедные да бедные русские, однако,  
Все покойники будут...

На прощанье мы угостили их спиртом из нашего расходного запаса и заверили, что не погибнем.

<sup>5</sup> Позже так и случилось. Хотя вариантов будущей автотрассы через Яблоновый хребет предлагалось много, дорожники в конце концов остановились на том, который предлагал Билибин.

У нас два плота: четыре метра на десять и четыре на двенадцать. В каждом по шестнадцать сухих бревен. Скреплены хорошо.

Большой плот ведем мы с Дураковым. Нам помогает Луненко. На втором плоту кормчими Билибин и Чистяков. Помощником у них АLEXИИ. Демка постоянной «прописки» не имеет: то с нами сидит, то, улучив момент, перескакивает к Билибину. Чтоб никого не обидеть, наверное, своим пристрастием к одной компании.

Малтан течет быстро, но спокойно. Берега красивые, крутые и лесистые. На лиственницы упала первая золотинка — осень идет.

**30 августа...** Смирненький Малтан устроил нам веселую жизнь. Ожидали страшных бахапчинских порогов и к нему отнеслись с полным доверием, а он сам, оказывается, фортели умеет выкидывать.

Возле устья берега вдруг сузились и превратились в хмурое ущелье. Вода то мирно журчала, а тут понеслась с оглушительным ревом. Впереди она кипела и клубилась белыми хлопьями пены. Сначала мы приняли эту пену за обыкновенный бурун и плоты не тормозили. Сидим, покуриваем, когда это глядь — черные лбы в пене. Пороги! Вся река перегорожена здоровенными валунами. Хорошо, что Дураков вовремя заметил справа протоку, мы успели свернуть в нее.

О малтанском пороге нас никто не предупредил, и мы единогласно решили окрестить его Неожиданным.

В протоке намучились. Она сплошь в перекатах. Плоты пришлось тащить по пояс, а то и по грудь в ледяной воде. Так как я считаюсь начхозом отряда, то выдал по этому случаю по двойной порции «чистого». Мной, однако, остались недовольны. Просили еще. Я сказал:

— Все, расходный кончился, энзэ трогать не буду!

Тогда Билибин вспомнил, что у нас спиртом залиты анероиды. Они лежали в эмалированной кастрюле, и спирта там было литра три. Пристали с ножом к горлу:

— Давай, анероиды все равно скоро вынимать, нечего им жидкость портить.

Мне и самому хотелось еще глоток, потому что в протоке мы замерзли здорово, но в отряде могли появиться пьяные, и кастрюлю я «нечаянно» опрокинул. Рабочие заругались, а Билибин расхохотался. Все кончилось чаепитием и рассуждениями насчет поведения рек и начхозовской тирании.

**6 сентября...** Уже неделю плывем по Бахапче. Пустынно, сурово, по бокам у нас гранитные берега. Кое-где стоят полуобсыпавшиеся тоненькие лиственницы и зеленеют кусты стланика. Зеленъ тусклая, уже прихвачена осенью. Трава тоже совсем осенняя: бледно-желтая. Кругом тишина и промозглая сырость.

Мы стараемся идти по центру реки. Она не очень широкая, метров сто — сто двадцать. Течение быстрое и бурное. Часто попадают водовороты и шиверы. Есть и мели.

Пережили очередные страсти. Поздно вечером наш плот сел в одном месте на скрытый под водой камень. Пока мы возились с ним, нас догнал плот Билибина. Когда он проплывал мимо, Билибин вдруг крикнул:

— Медведи!

Мы, конечно, моментально снялись с «якоря» и снова вырвались вперед. Смотрим, на берегу в тумане два медведя. Я вскинул винчестер и только хотел нажать на курок, как в эту минуту порывом ветра сорвало дымку и стало ясно видно, что это люди. Меня даже в холодный пот бросило, кричу что есть силы:

— Не стреляйте, не медведи это, люди!

А те увидели нас и, не подозревая, что им грозило, тоже давай кричать:

— Кёр, кёр, догор! Тас бар! (Смотри, смотри, камень!)

И тут плот Билибина налетел на шиверу.

В общем, все обошлось благополучно, только на билибинском

плоту весь груз замочило. Шиверу, на которую они налетели, назвали порогом Двух Медведей.

Сидим на берегу, сушим груз и разговариваем с нашими «медведями». Это якут Амосов и его сын. Они тут живут в юрте. Оба не понимают по-русски ни слова. Я переводчик. Старик говорит, что до основных порогов осталось три кёса, километров за двадцать. Билибин спросил, плавал ли он там. Мотаёт головой и, заикаясь, кричит мне в ужасе:

— Суол суох! Бары ага еллэххит! (Дороги нет! Все утонете!)

Знакомая песня.

**8 сентября...** Вот оно, наше страшилище! Камень на камне. От рева воды ломит уши. Ключья пены, кажется, висят в воздухе, так сильно здесь кипение бурунов. Река зажата в узком сумрачном коридоре. Скалы падают в воду отвесно. Они совершенно голые, темно-свинцового цвета. Если стоять у подножья скалы, то над головой видишь только полоску неба. По нему ползут тяжелые серые тучи. Временами они ложатся на вершины утесов, и тогда в ущелье становится темно, как поздним вечером. Длину ущелья определить трудно, его конца не видно.

Нас пугали не зря. Будем все же рисковать. Кто не рискует, тот не выигрывает.

**9 сентября...** Утро. Товарищи еще спят. Я поднялся первым. Погода стоит хорошая. Светит солнце. На душе немножко тревожно — скоро начнется сплав. Мы нормально отдохнули, и все должно обойтись благополучно. Я затеял этот сплав и в удаче сомневаться не имею права. Раньше я и не сомневался, а теперь вдруг стало страшно. Целую ночь снились всякие кошмары. И Галка приснилась. Будто стоит она на вершине скалы в голубом платье и машет мне белым платком, а я с плота загляделся на нее и перестал управлять веслом. Плот ударился о камень и, ясно, разбился. Дураков и Луненко сразу утонули, а меня подхватило течением и покатило по валунам. Я захлебывался и кричал:

— Галка! Галка!

Она что-то кричала в ответ, но в реве потока я ничего не слышал.

Вечер. Прошли пять порогов. Окрестили их по нашим именам: Ивановский, Степановский, Михайловский, Юрьевский. Пятый порог был самый длинный, и в честь моего носа его назвали Сергеевский. На нем мы чуть не погибли. Мы с Дураковым шли впереди и застряли на камнях, а позади неся плот Билибина. Наскочит — расшибета сам и нас разобьет вдребезги. Начали лихорадочно пилить бревно. Отпилили часть сбоку — плот сдвинулся, пошел дальше, но много потеряли всякого добра.

На камни садились трижды. Снимались с большим трудом. Нужно было залезать по плечи в воду и толкать плоты впереди себя, а течение бешеное, удержаться на ногах нет никакой возможности. Если говорить честно, то живы мы остались случайно, а еще честнее — единственно благодаря Дуракову. Наши «корабли» мы рубили под его руководством, и он устроил их так, что они сидят в воде всего на несколько сантиметров. Налетают на камень с силой страшной, но удар получается слабый. Из-за маленькой осадки бревна не ударяются о камень в лоб, а выскакивают на него и скользят.

Сегодня у нашего Степаныча несчастье. Сидит, пьет чай, и губы дрожат. Куда-то пропал его Демка. Видно, утром он замешкался где-то в тайге и не успел к отпльтию, а мы думали только о порогах и не углядели. Билибинцы считали, что он на нашем плоту, а мы решили, что он у них. Степана всем жаль. Кроме Демки, у него никого нет. Главное, мы не можем против течения вернуться назад, чтобы поискать его. И он нас не догонит, по обе стороны реки прижимы, нет прохода даже для собаки.

Молчим, как будто товарища потеряли...

**10 сентября...** Плыдем с неплохой скоростью и без приключений. В Колыму впадает много притоков. По схеме, которую нам дали Кылланах и Макар, определить всех не можем. Знаем, что должны быть две большие реки: Таскан и нужный нам Среднекан, не считая мелкой между ними Мылги. Даем неузнанным речкам свои названия. Одну назвали Утиной — там было много уток, другую — Запятой, так как ошибочно приняли ее за Среднекан. Кылланах и Макар говорили, что в устье Среднекана большие камни, а здесь только несколько маленьких порошков.

**12 сентября...** Новое устье. Как будто Среднекан. На берегу опять увидели человека. Оказалось, известный на Колыме охотник, древний старик Дягилев. Убежал от нас, я едва догнал. Спрашиваю:

— Это Среднекан?

Трясется весь:

— Хиринникан... Хиринникан...

Напугали несчастного.

Угостили старика чаем. Он попил, собрал в платок все, что дали ему к чаю, и «ча, прощай, догор», ушел в тайгу.

Падает снег.

**14 сентября...** Идем с котомками по талому снегу. Нужно найти место для зимовки. Идти очень трудно. Юрий Александрович поднимает дух, читает нам Омара Хайяма и сам сочиняет:

Колыма ты, Колыма,  
Чудная планета!  
Двенадцать месяцев — зима,  
Остальное — лето<sup>6</sup>.

**17 сентября...** Решили остановиться в устье какого-то ручья, окрестив его Безымненным. Лес для зимовья тут приличный. И дров много, сушняка больше, чем живых лиственниц...

Попили чаю, закусили и вчетвером (Билибин, Луненко, Алехин, я), оставив на стоянке Дуракова с Чистяковым сторожить имущество, двинулись дальше вверх по ручью. Где-то здесь должны быть старатели, о которых нам говорили в Оле.

Скоро действительно увидели свежие шурфы, вернее, кое-как беспорядочно нарытые ямы. Услышав наши шаги, из одной из них шустро выскочил старик с жиденькой бородкой и раскосыми, черными, как угли, восточными глазами. Мы сначала приняли его за хабаровского корейца, но он оказался знаменитым Сафейкой Гайфуллиным. Все сносу ему нет, лет уже под семьдесят, а бегаёт, как рысак. Сказал, что на этот раз он пришел сюда с американцами, но те, услышав о нашей экспедиции, отсюда сбежали, подарив свою промысловую машину<sup>7</sup> артели Сологуба, с которым тут работают Канов, Бовыкин<sup>8</sup> и еще несколько человек из Олы и Ямска.

Билибин спросил о корейцах и Туркине.

<sup>6</sup> Мимходом бросив своим спутникам это четверостишие, вряд ли Билибин подозревал, что со временем оно станет как бы народной шутилкой о Колыме, которую сейчас знает каждый колымчанин.

<sup>7</sup> Имелся в виду бойлер — закрытый двухкубовый котел, в котором разогревалась для промывки замерзшая золотоносная порода. Он подвешивался над костром, как бадьа на колодезном журавле.

<sup>8</sup> Те самые Иван Бовыкин и Михаил Канов, по прозвищу Свиц, которые в 1923 году «объявили себя» Советами на Колыме и удерживали в своих руках власть вплоть до 1926 года, когда в Оле наконец был создан тузРИК. Потом они снова занялись старательством. Сначала примкнули к американцам, затем вошли в артель Сологуба, пришедшего на Колыму тоже с Аляски. Колымчане называли его Иваном Ивановичем, но в действительности его звали Брониславом Яновичем, он был из поляков.

В конечном итоге и Бовыкин и Канов закончили печально. В 1930 году первого из них убили с целью ограбления, а второй тогда же утонул в реке Яме, на дне которой в стеклянных банках прятал золото.

Отдали жизни за золото, которым так никогда и не воспользовались, хотя намывали его в колымской тайге немало. В найденных несколько лет спустя банках Канова шлихового золота оказалось двенадцать с лишним килограммов.

— Турка с корейца и китайца там, — махнул он рукой в сторону верховьев ручья.

Сологуб принял нас в своем зимовье вроде как радушно, даже в баньке попариться предложил. Нашел дураков: мы — в баню, а они — за наши ружья. Потом уже разговор другой, слюнявиться не станут.

— Благодарствуйте, нынче мы снежком продрались.

— Ну глядите, мое дело — предложить.

На том и расстались.

По нашим наметкам, вместе с корейцами и китайцами всего люду здесь должно быть десятка четыре. Корейцы с китайцами не в счет («Мы — нейтральна»), а сологубовцы и туркинцы — народец аховый. Туркина я еще по Алдану знаю. Этот приморский бабоед на всю тайгу нашумел, от Приморья до Бодайбо и Алдана.

Прогнать их отсюда мы не можем, силы сейчас не хватит, да прогонять и не стоит. Нужно заставить их сдавать все намытое золото нам по госцене.

Посмотрим...

Туркина с его братией встретили километрах в пяти от сологубовцев. Увидел нас и, не ответив на приветствие, ленивенько так пошел к ручью.

— Как золото? — спрашиваю.

Напустил на себя бластное удивление. Мнет в пальцах камушек и смотрит на меня так, словно впервые встретил. А я же его насквозь вижу. Винчестер мой ему глаза мозолит. Он у меня на груди, а его оружие, наверное, в бараке было, только нож на поясе висел. Имел бы он при себе свой маузер, не так бы на нас посмотрел. Но я сделал вид, будто не понял его мимики, снова ему вопрос:

— Не ходил выше по ручью, лес там еще есть?

Опять плечами пожимает. Но тут вступили в разговор его люди. Сказали, что лес есть, и спросили, кто мы такие.

— Экспедиция, — говорю.

— Какая такая экспедиция?

— Государственная.

— Золото искать, что ли?

— Не глазки же золотые.

— И что, тут остановитесь?

— Где остановимся, туда в гости милости просим.

Такой получился у нас разговор. Я говорил и недвусмысленно поправлял на груди винчестер, а товарищи стояли в стороне и наблюдали. Эти головорезы прекрасно знают, кто мы такие. Простачков разыграли.

В общем, жить придется в соседстве с волками, но выть по-волчьи мы не будем. Они — сброд, землю пришли сюда грабить, а мы посланы государством, на нашей стороне право. Им на закон, конечно, наплевать, но постоять и за себя и за землю мы как-нибудь сумеем. Хотя нас и мало пока здесь, зато мы тут хозяева. Пусть зарубят это себе на носу раз и навсегда.

**21 сентября...** Перетаскали к месту базирования все свое имущество и начали рубить барак. Хозяйством и строительством занимаются рабочие под началом Степаныча, а мы с Билибиным уже ведем поиски. Золото пока не ахти какое, мелкое. Юрий Александрович говорит, что это еще не основной участок россыпи, золото покрупнее должно быть выше по ручью. Старатели этого не понимают, потому и увязли на охвостях россыпи. Думают, где больше воды, там больше и золота, а оно, если по науке, выходит наоборот. Россыпь-то начинается от коренных жил, значит, чем ближе к жилам, тем золото увесистей. И хорошо, что туркинцам это не приходит в голову.

Все соседи присмирели. Сопят в две дырки, но здороваются и к Билибину обращаются по имени-отчеству. Я никогда не думал, что Юрий Александрович умеет разговаривать с людьми так сухо и офи-

циально. С этими он на такой ноге, что они боятся его больше, чем моего винчестера.

Мучаемся с посудой. На бахапчинских порогах потеряли все ведра и ложки. Из посуды остались только кружки, один чайник и трехлитровая кастрюля. Обед приходится готовить дважды. И буржуйка наша утонула на Бахапче. В палатке жуткая холодина.

**5 октября...** Чистяков и Алехин ходили на охоту. Принесли полсотни белок. Мясо закинули на крышу барака, пригодится. А из шкурок сошьем рукавицы и чулки. Я еще с Алдана прихватил мешочек талька, так что выделать шкурки не проблема.

Беда у нас та, что при «кораблекрушении» на Бахапче мы потеряли три ящика с консервами, два мешка муки и почти весь сахар. А наши товарищи должны прийти сюда не раньше декабря. Продуктов до того времени не хватит никак. И, как всегда, вступил в действие известный закон подлости: когда дичь не особенно нужна, ее много, а если нужна позарез, ее нет. Завалить бы хоть одного медведя, и проблема была бы решена. Но косолапые уже спят и где их берлоги — неизвестно. Поэтому нужно добывать белок, однако их здесь тоже мало. Два отличных стрелка за шесть дней добыли всего полсотни — это ерунда. Чтобы без хлеба досыта наестся беличьим мясом, одному человеку зараз надо 3—4 тушки, или 9—12 тушек в день.

Эх, жизнь ты наша таежная!

Ну ничего, как-нибудь выкрутимся. Не впервой...

**12 октября...** Сделал себе лоток и за охотничий нож выменял у корейцев пятилитровую жестяную банку для кипячения воды.

Артель Туркина при мне смыла 180 лотков, намыла 166 граммов металла. У корейцев, с которыми работают и китайцы, золото идет хуже.

Все думаю о нем, проклятом желтом идоле. Ну, мы — дело понятное, нас послало сюда государство. А для чего я загубил пять лет в артели Степаныча? Работали каторжно, намывали тысячи и все — сквозь пальцы! И эти туркины, да и он сам, Турка безмозглая. Для чего? Чтоб гульнуть?

Вольдемар Бертин не представляет, как я ему сейчас благодарен! До моей башки дошло главное: моток не может быть только государство, а раз государство нынче — это мы все, вместе взятые, стало быть, работать не покладая рук надежнее всего только для общества. Но как же все-таки трудно было дойти до такой простой, прямо-таки азбучной истины!

Глиста собственности вытягивает из тебя все соки, душу высасывает, а ты, дурень, и рад. Эрнст тысячу раз прав: как только начинаешь что-то копить ради накопления, сначала превращаешься в крота, потом, сам того не замечая, скотинишься и наконец становишься собакой на сене, то есть сторожевым псом при накопленном. Или как старатели — все в чад и дурман.

Дикий зверь, добывающий себе только необходимую пищу, и тот живет разумнее...

**20 октября...** Бьем шурфы. Земля уже окаменела. Морозы с каждым днем сильнее. Вчера было 16 градусов, ночью перевалило за 30, сейчас — 43.

В бараке сделал печь каменную и трубу каменную. Топит хорошо.

У Юрия Александровича, кажется, температура. Шутит и с остервенением долбит кайлом землю, но глаза подозрительно воспалены. Этой ночью во сне разговаривал. Встал раньше всех, сидел на чурке и, о чем-то думая, курил. Переживает. Наше положение действительно плоховато.



**25 октября...** Утром в градуснике замерзла ртуть. Сделал приспособление из разных смесей воды и спирта для измерения температуры. Действует нормально.

У Юрия Александровича лихорадка. Ничего не слушает, работает каждый день. Дураков заставил его выпить горячего спирта. Немного ожил.

**28 октября...** По случаю воскресенья ходили с Дураковым на охоту. Принесли всего пять белок. Если уж не везет, так не везет, черт бы его побрал.

**7 ноября...** Годовщина Октябрьской революции. По этому поводу в бараке хабаровских корейцев (он самый большой) собрали старателей. Побычились, но пришли все. Получилось вроде производственного совещания.

— Сегодня,— сказал Юрий Александрович,— одиннадцатая годовщина нашего рабоче-крестьянского государства. Как видите, те, кто пророчил ему скорую гибель, в своих расчетах ошиблись. Страна Советов живет и крепнет. Ей принадлежит здесь все, земля, ее недра и все мы с вами. Поэтому отныне все намытое золото должно идти в государственную кассу, за которое вы, старатели, будете получать установленную государством же цену.

Туркин чвиркнул слюной:

— Чихать мне на ваше государство!

Юрий Александрович ответил спокойно:

— Прошу вас удалиться.

— Чаво?!

— Помещение, говорю, освободите.

— А может, я не жалаю?

— Мы желаем.

Старатели притихли. Туркина никто не поддержал. Ушел. Сам себя оплевал. Собрание закончилось мирно. Акт на сдачу золота все подписали.

**10 ноября...** Продолжаем шурфовку. Мороз 50 градусов. Ночью вокруг луны было сияние. Наверное, к перемене погоды. Тайга вся в изморози, тихая и красивая.

Едим раз в сутки. На обед расходует банку тушенки и граммов двести муки. Пару недель, может, продержимся. Корейцы говорят, что где-то в этом районе есть две павшие лошади. Хотят идти туда и жить там в палатках. Думают обеспечить себя пищей дней на двадцать.

Предложил проект устройства промывалок для промывки шлихов.

**14 ноября...** Мороз 60 градусов. Золота с каждым днем промываем все меньше. Солнца уже не видно, оно освещает только противоположные горы.

Окончательно обносились. Вид у всех, как у цирковых клоунов. На мне, например, брезентовые брюки, у которых одна штанина сантиметров на тридцать короче другой. Отрезал от нее кусок, чтобы положить заплату на ягодицу, а то штаны там расползлись безбожно. Рвутся без всякой совести. Сегодня зашью, а завтра опять дыра. И непременно на новом месте. В Оле я проникся уважением к их брезенту и запасных не взял, теперь нахожусь в предкатастрофическом состоянии. Кальсоны тоже ведут себя не очень честно.

С обувью не лучше. Сапоги давно развалились. Ходим в торбасах. Голенища скроили из рюкзаков, подошвы — из войлока. Дураков оказался предусмотрительным, захватил в Оле для этой цели два лошадиных потника. Сейчас и торбаса в аварийном положении. Если не продержатся до прихода Цареградского, придется расставаться с моей курткой. Кожа на ней прочная и мех хороший, можно на всех

сшить таежные постолы. Но тогда мне оставаться в одном пиджакишке, что, конечно, при таких морозах невозможно.

**20 ноября...** Замерзла смесь воды и спирта. Значит, мороз за 60 градусов — плевок на лету замерзает. Работы приостановили.

Тушенки в хозяйстве десять банок, артель Туркина тоже голодает...

Сидим в бараке, говорим о будущей промышленности Колымы. По мнению Юрия Александровича, золото здесь есть на всех впадающих в Колыму реках и ручьях, но за лето его много не возьмешь. А если торфа<sup>9</sup> оттаивать зимой пожарами, как сейчас, за несколько лет тут колышка не останется, всю тайгу спалют, и тогда весь громадный край превратится в голую пустыню. С другой стороны, восемь-девять зимних месяцев ничего не делать тоже нельзя. Народ от безделья морально будет разлагаться. Значит, выход один: в холодное время вскрыша торфов взрывами, потом на подготовленные за зиму полигоны — драги. А там, где драги не пройдут — все-таки это здоровенные машины, — крупные промывочные установки промышленного типа. Чтобы золотоносные пески шли на промывку непрерывным потоком. Тогда работы хватит на круглый год и людей потребуются сравнительно немного...

Эх, дожить бы!.. Хотя чего это я кисну? Известно, доживем. Еще как доживем!

**21 ноября...** Сафейка Гайфуллин сказал, что верстах в шестидесяти отсюда есть якутский поселок Сеймчан. «Моя ходил, моя знает». Может, там удастся раздобыть каких-нибудь продуктов. Кинул идею Юрию Александровичу, он горячо поддержал и сам хочет идти. Подождем все же еще немного. Вдруг наши вот-вот появятся.

**1 декабря...** Наших нет. Билибин, Дураков и Сафейка Гайфуллин ушли в Сеймчан. Сделали для них большие промысловые нарты в надежде, что в Сеймчане нагрузят их провизией.

Мороз немного спал — 57 градусов. Пытаемся продолжать шурфовку, но очень тяжело. От голода дрожит все тело и мутно в глазах.

Вечерами пытаемся отвлекать себя разговорами, говорим о разных разностях, но все равно все возвращается к одному. Сегодня Чистяков рассказал, как однажды на Лене настрелял много диких уток. Потрошил их не общипывая, потом обмазывал глиной и бросал в костер. Утки получались замечательные.

— Встряхнешь ее, опаленная глина вместе с перьями слетает, и она вся тебе румяная, как цыпленок табака...

Не надо вспоминать такие дела, да само оно как-то вспоминается. У меня, например, перед глазами все время наши бодайбинские пиры, как мы сорили там золотом по всем кабакам, как пили, ели, сколько всего оставалось на столах...

Никак не вспомню, как звали того обжору, про которого писал Франсуа Рабле: Гаргантей или Гаргантюа?.. Вот, опять та же тема...

**4 декабря...** Наших нет. Ходили с Алехиным на охоту. Ничего не убили. Последнюю горсть муки израсходовали вчера. Сварили из нее жидкую баланду с четырьмя беличьими тушками, которые взяли с крыши барака. Их теперь тоже надо экономить.

**7 декабря...** Вернулись хабаровчане. Лошадей съели, завтра принимаются за собаку Собольку. Билибин, Степаныч и Сафейка что-то задерживаются. Где они — неизвестно.

Цареградский уже должен бы прибыть. Почему и он задерживается, тоже не знаем.

Работать нет сил. Для поднятия настроения поочередно читаем вслух книгу Юрия Александровича — северные рассказы Джека

<sup>9</sup> Торфами золотодобытчики называют верхние осадочные породы, залегающие над золотоносными песками (породами). Этот верхний «пустой» слой земли может достигать в толщину нескольких метров, в зависимости от того, при каких условиях образовалась россыпь и каков ее геологический возраст.

Лондона. Трудно сказать, какой рассказ лучше, но «Любовь к жизни» потрясает больше всех. Как это верно сказано: «Надежда не хочет считаться с опытом». Потерять надежду — значит, потерять все. Мы не можем, не должны ее терять. И, несмотря на все, нужно работать, работать хоть понемногу, пока окончательно не утратишь способность двигаться. Только это и дает ощущение жизни, твоей нужности делу, а дело — всему голова.

**9 декабря...** Утром Чистяков и Алехин ушли на охоту. Мы с Луценко четыре часа работали, вернее, пытались работать, потом похлебали беличьего бульона и сейчас сидим отдыхаем. Миша читает, а я вот пишу.

Мороз свирепый, но тихо. Все будто вымерло.

Ночью опять снилась Галка. Вроде май, где-то цветут каштаны, которых я никогда не видел. Мы сидим на скамейке, и она шепчет:

— Я не жила, я только ждала!

Дыхание у нее горячее, и руки обжигают. А в жизни они у нее всегда прохладные, будто она только что их мыла.

Мне уже не верится, что мы когда-нибудь встретимся. О встрече мечтаю, но мечты кажутся несбыточными. Малодушничаю.

**10 декабря...** От Собольки у хабаровчан осталось на одно варево. Артель Туркина ругает их за жадность. В Собольке было фунтов 30, действительно могли бы поделиться. Мы же отдали туркидцам половину своих белок.

**11 декабря...** Пришли наши охотники. За два дня всего девять белок и четыре кедровки. Другой дичи не попадалось.

Билибин, Дураков и Сафейка все еще не возвращаются.

Скверно! Хоть бы скорее Цареградский прибыл.

Начинают шататься зубы, и кровоточат десны... Цинга.

**12 декабря...** Вернулись наши из Сеймчана. Ничего не привезли, привели только двух лошадей. В Сеймчане прошел какой-то мор, от которого погибли все олени. В стойбище голодно. Живет там одна якутка Жукова Анастасия Трофимовна, родившаяся еще при Александре I, — современница Пушкина. Хорошо помнит того купца Петра Калинкина, который открыл ольско-колымскую тропу, и говорит, что видела Розенфельда. Тот ее все расспрашивал и записывал что-то в книжку. Хлеба в глаза никогда не видела и просит, когда придет наш транспорт, показать, что это такое.

Билибин и Дураков сильно обморозились. Пришли еле живые, говорят, на всем пути очень глубокий сыпучий снег. Юрия Александровича снова треплет лихорадка. Глаза ввалились и покраснели. На ногах держится с трудом.

Одну лошадь застрелили и роздали мясо. Себе взяли голову и ногу. Старатели растрогались, даже Туркин расчувствовался. Таскается за Билибиным и назойливо просит прощения. Юрий Александрович сердится, гонит его от себя.

Сказал Степану, что хабаровские корейцы съели Собольку. Ничего не ответил, насупился и весь день ходит мрачный. Демку вспомнил. Пес определенно где-то погиб от голода или волки задрали.

**16 декабря...** Мороз начал сдавать — 45 градусов. Ходил вверх по Безымянному, смотрел капканы и пасти. Пусто.

Старатели с голодухи набросились на конину и уже всю сожрали. Сегодня пришлось пристрелить вторую лошадь.

**20 декабря...** Распределили остатки потрохов между артелями. Продержимся не больше недели. Если к тому времени транспорт не прибудет, всем нам здесь крышка... Скучно делается.

**26 декабря...** Вчера на рассвете прибежал запыхавшийся Сафейка.

— Моя проиграл, Билибу — тоже! Турка проиграл.

Мы долго не могли понять, что он в таком волнении выкрикивает. Трясется весь и лопочет не пойми что:

— Всю ночь играл, золото играл, потом моя играл, Билибу играл, все проиграл.

Наконец до нас дошло. Артель Туркина всю ночь резалась в карты. Сначала играли на укрытое от сдачи золото, потом поочередно поставили на кон Сафейку и Юрия Александровича. Туркин обоих проиграл. Теперь он должен их убить.

Когда подписывали акт на сдачу золота, Сологуб предупреждал меня, что с Билибиным такое может случиться. Краем уха он где-то что-то слышал. Где и что конкретно, затемнил, но это уже неважно. По словам Сафейки, о проигрыше ему сообщил Федька Клоп — один из артельщиков Туркина, который затаил на того за что-то злобу и поэтому решил предупредить Сафейку. Сказал, что его, то есть Сафейку, проиграли за то, что он будто бы переметнулся к нам, водил Билибина и Дуракова в Сеймчан.

В первый момент мы растерялись. Нужно действовать, и действовать немедленно, но как? Вдруг сообщение Клопа наговор? И мы же не милиция, чтобы вести следствие.

Юрий Александрович махнул рукой: «Чепуха все это!» Но я знаю Туркина и тому, что рассказал Сафейка, поверил.

Когда рассвело, я зарядил винчестер и пошел к бараку Туркина, вызвал его на улицу. Вышел при маузере.

— Тебе чего? — спрашивает.

— На людей играешь?

— Тебя на кон пока не ставил, навару от твоих мослов маловато будет.

Смеется, гад, и к маузеру тянется. Тут я понял, что все действительно всерьез. Раздумывать было некогда. Я выстрелил секундой раньше, чем его рука дотянулась до кобуры. Пуля срезала маузер как бритвой. Потом я хотел так же сбить с него шапку, но больше стрелять не пришлось. Он увидел, как я обращаюсь с винчестером, и сообразил, что к нему пришли не в игрушки играть, стал нервно хихикать: мол, что это взбрело мне в голову, шуток я, что ли, не понимаю.

Знаем мы твои шуточки, бабоед смердящий!

Услышав выстрел, ко мне уже бежали все наши. А туркинцы из барака и носа не показали. Всю артель мы разоружили, заодно изъяв и сокрытое золото. Сопротивления никто не оказал.

Главное, у бандюг перехватить инициативу, потом их голыми руками бери. Но что с ними теперь делать, понятия не имеем. Посадить всех восьмерых под арест — кормить будем обязаны. Прогнать с Безымянного — погибнут. И так все оставить нельзя, даже если предположить, что на людей они не всерьез играли. Тогда за укрывательство золота наказывать нужно.

Носит же земля такую сволоту!

**28 декабря...** Все съедено, вывариваем лошадиные кости и кипятим чай из мха. Морозы снова усиливаются — 58 градусов. Что день, то бить шурфы труднее. Ослабли.

Старатели все работы бросили, вповалку валяются в бараках, ждут наш транспорт. На что же они надеялись, когда шли сюда? А если бы нас не было? Погнались за наживой, нам готовились глотки перерезать, и вот результат.

**1 января 1929 года.** Из веток стланика сделали елку, которую украсили разноцветными бумажками. Но радости мало. Лежим опухшие. Все прошедшие сутки пуржило, барак замело до крыши. Так теплее, но снег надо расчистить. Когда придет транспорт, нас могут не найти. Юрий Александрович улыбается. Улыбка понятна. Трудностей бывает много, но человек должен быть сильнее, на то он и человек...

**2 января...** Степан строгаёт топорища, жалуется на безделье. Были бы патроны, пошел бы, говорит, на охоту. Каждый день вспоми-

нает Демку. Вспомнит, и по щекам катятся слезы. Смешно и жалко. У него полуторааршинные плечи, и по сравнению со всеми нами он даже сейчас смотрится молодцом. Слезы ему не идут.

Юрий Александрович в который раз перечитывает Джека Лондона. Быстро устает и кладет книжку под голову. Вздыхает:

— Мужественный, товарищи, писатель был, надо на Колыме что-нибудь назвать его именем<sup>10</sup>.

Скажет фразу-другую и долго о чем-то думает.

Алехин и Чистяков разговаривать уже не могут, делают вид, будто спят.

Луненко ворочается. Когда лежит тихо, грызет ногти.

Я лежу на верхних нарах и вижу всех. Мы давно не умывались, трудно натаивать снег. Все стали бородатыми. Луненко среди нас самый молодой, и борода у него жиденькая. У Степана — могучая, у Алехина — клином. Чистяков отрастил окладистую и рыжую, как у Юрия Александровича. У меня — русая, растет ключьями. Одежда на всех одинаковая — лохмотья неопределенного цвета. И глаза точно примороженные.

Вошла бы в наш барак Галка! В обморок бы упала. Мы привыкли не замечать своего вида...

Интересно, о чем думает человек перед смертью? Говорят, тогда вспоминается вся минувшая жизнь. Лежит человек и мысленным взором с печалью оглядывается назад... А Роберт Скотт, понимая, что в Антарктиде его уже ничто не спасет, писал «Послание обществу», в котором подробно анализировал обстоятельства собственной гибели и говорил: «Мы пошли на риск и знали об этом. Обстоятельства повернулись против нас, а потому у нас нет причин винить кого-либо. Остается лишь, склонившись перед волей провидения, исполниться решимости до самого конца делать все, что в наших силах. Но раз мы добровольно отдали свои жизни за успех этого предприятия, задуманного ради славы родины, то пусть наши соотечественники по-настоящему позаботятся о наших близких...»

За то время, пока мы здесь, я перечитал его предсмертные дневники дважды и не нашел в них ни особой печали, ни тяги к воспоминаниям. Мысленно уже похоронив себя, он продолжал жить заботами о будущем своих близких. О смерти он не думал... А я, выходит, думаю? Иначе при чем тут одиссея Скотта? Нет, я думаю о другом, о том, что думать о смерти не имею права. Да, обстоятельства сейчас тоже против нас, но мы не Скотты, мы — Колумбы, переживающие временные затруднения. Ясно — временные. Товарищи не дадут нам погибнуть. Теперь это не просто вопрос нашей жизни. Нужно всем показать, что если за дело берется наше государство, оно не терпит поражений. И хорошо, что здесь сошлись эти гонцы за фартом. Пусть потом идут и всем расскажут, как ведут себя в тайге представители советской власти...»

Еще несколько листов из тетради Валентина Александровича Цареградского:

**«23 ноября 1928 года.** Наконец-то спокойнее на душе. Встретили тунгуса. Едет на оленях от устья Бахапчи. Был там на охоте. Говорит, видел в тайге охотника Дягилева, который рассказал ему, что шесть нюча (русских) сплыли на плотках до устья Хиринникана (Среднекана) и, высадившись там, пошли с котомками вверх по реке. Это наши. Демка, вероятно, где-то отстал от них и не сумел догнать. Поэтому вернулся.

Ласковая собачина и не подозревает, сколько задал нам тревоги. Самое важное — мы потеряли много времени. И к нашим попадем

<sup>10</sup> Именем Джека Лондона было названо одно из самых красивых озер Колымы.

еще не скоро. Дальше чем до бахапчинских порогов мы не доедем, собакам не хватит корма. Надо возвращаться на Элекчан и, если Бертин с Давидом Дмитриевым — старшим сыном Кыланаха — еще не двинулись на Среднекан, выходить туда всей экспедицией.

**28 ноября...** Элекчан. Бертин и Давид ушли отсюда к нашим позавчера. Давид ухитрился снарядить целый аргиш (большой олений караван) из 100 вьючных и ездовых оленей. Ему помог прибывший в Олу из Охотска начальник Дальзолота Валериан Исаакович Лежава-Мюрат.

Золота еще нет, а уже организована, оказывается, Верхнеколымская приисковая контора, начальником которой назначен какой-то Филипп Диомидович Оглобин, а горным мастером — тот самый Филипп Романович Поликарпов, которого посылал в тайгу с Кановым искать золото есаул Бочкарев. Последние двое ушли из Охотска на Среднекан, минуя Олу и Элекчан. Сейчас с Лежавой прибыли еще горный инженер Матицев и второй мастер Кондрашов. Что за люди — бог да Лежава знают.

Валериан Исаакович явно торопит события. Сказал ему об этом. Он:

— Не я тороплю, Валентин Александрович, Далькрайком торопит, БАМ надо строить.

— А если золота на Среднекане нет?

Даже поперхнулся:

— Как нет?! Билибин же уверял всех, что есть. Самого Серебровского заставил поверить ему.

— Билибин говорил об Охотско-Колымском крае вообще, а не о Среднекане в частности.

— Ну, это вы, товарищи, бросьте, золото должно быть!

Должно! Найти его сначала надо, а как там у Билибина, ничего пока не известно.

Но то, что Лежава прибыл сюда, хорошо. Он тут как рыба в воде. Пусть помогает снаряжать второй аргиш. С Александровым они уже, кажется, сговорились. У того пятнадцать нарт и сорок ездовых оленей. Да столько же, если захочет, подрядит еще, ему никто не откажет.

...Полчаса назад говорил с Макаром. Сказал, что его старшие приемные сыновья Петр и Михаил с нами на Среднекан пойдут, а он не может, должен вернуться в Олу.

— Как в Олу, насовсем?

Повесил голову:

— Сопсем... Другой зима Хиринникан приду, однако; счас не могай, погибай моя счас.

— Почему погибай?

— Догор тунгус сказал, однако. Лука Громов и Гриска Зыбин моя погибай хотят, красный саха сказали. Моим Миска и Петка говори нет, однако.

С трудом добился от него, в чем дело. Оказывается, за время нашего отсутствия состоялся родовой совет тунгусских князьков Луки Громова и Григория Зыбина, которые на этот раз уже не угрожают Макару, а действительно решили убить его. Большой аргиш из ста оленей в тайгу ушел, за ним уйдет другой, третий... Много русских придет, тунгусам тогда якобы жизни в тайге не станет. А все он виноват, красный якут Макар Медов, он больше всех русским помогает. Поэтому в назидание другим его надо убить.

Да, не такие они простачки, эти Громов и Зыбин!

— Моя, Царь-город, боись нет, моя Глуспенко говори, Глуспенко мозги правит. Но счас розон лазай нет, счас не надо, однако, моя Миска и Петка тозе говори нет, комсомол записались, горячие, однако, молодые сибко...

Старик прав, на рожон сейчас лезть пока не стоит. Пусть воз-

вращается в Олу, Глущенко там разберется, артель «Красный рыба» ему поможет.

Даже лучше в такой обстановке, если главным нашим проводником будет тойон Александров. Он, правда, дорого за это запросит, но черт с ним, в конце концов дело не в серебре.

**12 декабря (среда)**... Выезжаем из Элекчана сегодня. Александров за наши полтинники спроворил в Оле аргиш из 90 оленей (30 нарты). Достаточно, чтобы забрать все наше оставшееся в Элекчане имущество.

Не считая платы за оленей и нарты, Александров за свою помощь и должность главного каюра потребовал еще 300 полтинников. Жадности этого старого шакала нет предела, но ничего не поделаешь, приходится платить. Да, кроме того, выторговал недельную остаточку на какой-то реке Талой. Там, говорят, горячие сернистые источники, на которых туземцы лечат ревматизм. У Александрова, помимо него, еще и аристократическая подагра рук.

...Глущенко клятвенно заверил, что Макара в обиду не даст, но с тем, чтобы старик остался в Оле, согласился. Он нужен будет для следствия.

**18 декабря**... С 12-го по 14-е по крепкому снежному насту пролетели раз в двадцать больше, чем за последние четыре дня. У озера Черного по притоку Малтана Хете начали брать очень трудный перевал, на который поднимались два дня и столько же спускались. При чем при спуске олени были привязаны к нартам сзади, чтобы тормозить их.

Сейчас расположились лагерем в долине реки Талой, которая, несмотря на установившиеся на Колыме пятидесятиградусные морозы, вся парит. Тонкий ледок лишь у береговых закраин.

Эти горячие грифоны (фонтаны) — явление действительно удивительное. Камни и галька вокруг них покрыты только причудливым инеем. Снега нет в радиусе около ста метров. Дальше его много, но на тот, что я видел на Колыме до сих пор, он не похож. Обычный колымский снег с налетом бледной синевы или чуть в фиолетинку, хрусткий и сыпучий, как песок, а этот мягкий, как вата, и совсем белый. Сугробы будто пена на парном молоке.

Местность холмистая, окруженная массивными, цепляющимися краями друг за друга горами. В ложбинах, на склонах холмов и по всей долине Талой растут роскошные для Колымы лиственницы, упругий тальник и стройные тополя. Невдалеке два довольно красивых озера.

Горячих грифонов три: под холмом, немного выше и еще выше. В нижнем температура воды +44, в среднем +56 и в верхнем +68. Это при морозах в каких-нибудь 100—150 метрах отсюда — 43—46.

Уголок для Севера райский. Не ожидал увидеть такое чудо на Колыме. Со временем мы обязательно построим здесь бальнеологический курорт<sup>11</sup>. Было бы неплохо обосновать здесь и центральный город Колымы, но далеко от моря, побережье бухты Нагаева для этой цели подходит больше.

**25 декабря**... Наконец-то Александров отпарил свои кости, и мы снова в пути. Движемся медленно, по 15—20 километров в сутки. Глубина снега достигает двух и более метров, олени едва плетутся. Мы с Казанли идем на лыжах впереди, торим им дорогу. Лыжи на Талой выстрогали из тополя сами. Они сырые и тяжелы. К вечеру ноги словно налиты свинцом. Если бы не встречный ветер и мороз, было бы еще ничего, а то ветер так силен, что отбрасывает назад и валит с ног. Поддашься ему — покатит по снегу, как сноп. И приходится постоянно помнить, что каждым неосторожным вдохом мо-

<sup>11</sup> В настоящее время это один из крупнейших курортов всего Дальнего Востока.

жешь отморозить себе легкие. Я понимаю, это не оправдание, но идти быстрее мы не в состоянии. Думаю, впрочем, аргиш Бертина уже на Среднекане, так что продовольствие нашим товарищам доставлено.

**31 декабря...** Третьи сутки из-за страшной пурги сидим в палатках на Среднеканском перевале. Были бы уже у наших, но идти совершенно нет возможности. В снежной круговерти не видно протянутой вперед руки.

Одиннадцать часов вечера. Встречая Новый год, читаем с Казанли друг другу стихи. Опять Маяковский и Блок. Что бы мы делали, не будь на свете поэтов? Жить без стихов решительно невозможно...»

Ночь была новогодняя,  
Ревела за палаткой пурга.  
Человек сказал:  
— Жить без стихов невозможно.—  
Человек сказал:  
— Хорошая песня нужна!—  
И, реву стихи вторя,  
Гремел Маяковский в тайге,  
И Блока «Двенадцать», споря,  
Гремели с ним наравне...

Спокойные за судьбу товарищей на Среднекане, они не знали, не могли знать, что аргиш Бертина, избрав менее трудный, но более длинный путь, опережает их всего на несколько часов и прибывает к Билибинцам почти одновременно, 3 января. Тем не менее оптимизм Сергея Раковского себя оправдал...

Из докладной записки бюро Далькрайкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) и Совет Труда и Оборона от 23 декабря 1930 года:

«Результаты проведенных в 1928—29 гг. работ экспедицией тов. Билибина позволяют судить о районе Верхней Колымы как о месте, где уже организованы первые прииски и развернута добыча металла, поступление которого идет во все нарастающих количествах, что свидетельствует о возможностях не только полностью обеспечить закупки для проектируемой БАМ, но и другие нужды страны. Поэтому считаем целесообразным создать организацию специального назначения, которая наряду с добычей металла целиком взяла бы на себя обязанности по всестороннему освоению всего Охотско-Колымского района...»

13 ноября 1931 года постановлением Совета Труда и Оборона СССР такая организация (Государственный трест по промышленному и дорожному строительству в районах Верхней Колымы — Дальстрой) была создана. Колыма становилась как бы испытательным полигоном по накоплению опыта для строительства будущего БАМа и освоению северных окраин Советского Союза.





---

ИВАН ТАРБА

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ «ВОЛНА И ВЕРШИНА»

С абхазского

Труд

Я работаю.  
Я знаю:  
Друг мой, трудисься и ты.  
Нет делам конца и краю —  
Все важны и непорсты.

Но прощаем все ж напрасно  
Мы безделье и ленцу.  
Ибо жить на свете праздно  
Человеку не к лицу!

Этот от рабочей доли  
Уберег себя как мог,  
А сидит у нас в застолье,  
Лучший требует кусок...

Почему он рядом с нами  
Не сгорает от стыда?  
Заслужил ли он делами  
Право к нам прийти сюда?

Делом пусть, трудом докажет!  
Или тут же — поделом!—  
На порог ему укажет  
Самый старший за столом.

Мы узнали труд с рожденья.  
В нашем доме никогда  
Не дождутся снисхожденья  
Избегавшие труда.

Виноградная лоза в городе

Я посадил лозу у дома, где живу:  
Нужна лишь горсть земли да добрая рука.  
Я посадил еще и грушу и айву,  
В моем саду листва дрожит от ветерка.  
И все-таки лоза была сильнее всех:  
Бессчетные ростки она тотчас дала,  
По каменной стене легко полезла вверх  
И высочайший дом в полгода оплела.  
На доме словно крест из пулеметных лент,  
А через год — гляди! — висит на стенах сеть.  
Лоза по крыше шла и, улучив момент,  
На первый ближний дом свою метнула плеть!  
Как провода, она свисает — там и тут,  
И можно отдыхать уже в ее тени,  
И вот ее к земле тугие гроздья гнут,  
И в ягодах горят полдневные огни!  
Ах, сказочный мой сад — таким уж вышел он:  
Нужна лишь горсть земли да добрая рука.  
Пусть корни иногда уходят под гудрон,  
Ведь землю там они найдут наверняка.  
Я выхожу в свой сад счастливый, рано встав.  
Гуляю по нему, хотя он невелик.  
Но в городе всегда  
Со мной мой сельский нрав,  
Но в городе никак  
Не скрыть крестьянский лик.

### На одной широте

До тебя, герой Владивосток,  
От Сухуми долгий путь ведет.  
Но подумал — так ли ты далек?  
Так ли важен километров счет?  
Не железом объединены,  
А, как люди,  
Силою корней  
Два прекрасных города страны,  
А дорога —  
Прочих не длинней.  
Вы — соседи,  
Я сказать могу  
Вам, живущим в мире и в ладу:

Просто —  
Дать друг другу огоньку,  
Поделить и радость и беду.  
Ты, Владивосток, в моей судьбе  
Столько значишь —  
Необъятный, весь!  
Как к Сухуми, я пришел к тебе,  
Потому что Родина и здесь.  
Ты, Владивосток, теперь со мной.  
Как Сухуми —  
В сердце навсегда.  
Я узнал: на широте одной  
Вы стоите, чудо-города!

### Когда уеду

Разлучают меня с домом  
Только важные дела.  
Вдалеке — подушка комом,  
Ночь бессонно-тяжела.

А засну — кошмары мучат,  
Давит сердце страх немой.  
Но терплю такую участь:  
Что поделаться —  
Дом не мой...

Я ищу приют напрасно  
Для души в чужом краю —  
Дом родимый вижу ясно,  
Да рукой не достаю.

Все же мысленно, некстати,  
Ухожу туда от вас  
На рассвете, на закате  
Вот уже в который раз!

Каждый день клянусь —  
Отныне  
Позабыть по дому грусть,  
Только снова на чужбине  
Одиноким остаюсь.

Снова сердце не на месте  
На далеком берегу —  
Нет, себя я, хоть повесьте,  
Переделать не могу!

В мире края нет такого,  
Где б достигнуть не смогло  
Очагом родного крова  
Сотворенное тепло.

Потому, что даже птица  
Через дали и года  
Непрерывно возвратится  
К месту старого гнезда.

### Навсегда

Я ничем природу не обижу,  
Жизнь мне не для этого дана:  
Надо быть к душе природы ближе,  
Ей свою любовь отдать сполна.

Ей не нанесу вовек урона,  
Малого вреда не причиню.  
Бесконечно по садам зеленым

Я иду  
И верность ей храню.

Лучшей жизни я не удостоюсь,  
Даже если окажусь в раю.  
Без остатка,  
Как велит мне совесть,  
Жизнь свою  
Природе отдаю!

Перевел О. ДМИТРИЕВ.

---

## ДИНА КАЛИНОВСКАЯ

★

### КОЛОДЕЦ БЕЗ ВОДЫ

*Рассказ*

Этот рассказ я написала давно, но публиковать не решалась — таким он казался мне концентрированно печальным, как бы колодец без воды. Ну, еще и потому, что мое робкое знание деревенской жизни не давало уверенного права на некие хоть неглубокие, но обобщения. А рассказ без обобщений казался мне необязательным для литературной жизни. Ну как колодец без воды для жизни как таковой. Однако прошло несколько горячих лет, и страсть к обобщениям отгорела, а понимание печального стало иным — все печальное мне теперь милее веселого. И еще больше, чем прежде, люблю я бедную деревню над озером, где среди старух становилась девочкой.

— Смерть и муки предсмертные — небольшая, девка, плата за пенсию, как считаешь? — взывала рано утром баба Ньюша, если я заспалась, а ей было скучно, и хихикала, глядя, как я в рубашке хваталась за блокнот.

В деревне жили дорогие мои знакомицы. Баба Паша, кружевница, застенчивая, как подросток, самовластно-хрупкая владелица старинного большого дома-двора, считала меня возможной покупательницей своего дома на том только основании, что дом я хвалила. Она обхаживала меня, как купчиху, сажала в красный угол, тащила не электрический чайник, а целый самовар. Если бы я купила у нее дом, рассуждала она, то сама бы она ушла жить к дочери за восемь километров в Акулово. А я бы при моей очевидной практичности починила бы пол в клетях, расчистила бы подклеть и клетушки, купила бы новых половиков и занавесок и стала бы пускать туристов, разбогатела бы. И цена мне была названа — сто пятьдесят рублей, в крайнем случае сто двадцать, но это уже предел. При этой цене самовар она бы забрала в Акулово, а при той оставила бы.

Баба Маша, прибауточница, кокетка, знала слабость горожан к фольклору, мечтала о славе, очень хотела быть описанной в газете на зло грубой снохе и старухам и в этом смысле рассчитывала на меня. С ней мы рассуждали о том, как трудно работать в газете, труднее, чем в колхозе, — в колхозе зимой отдохнуть можно, а газета выходит каждый день. Неприличные частушки были коньком бабы Маши, ни одну из них я не могу здесь привести, даже самую скромную, про матроса и Розиту, например. Или про овин и одноглазого.

Баба Саша, напротив, купалась в славе. Баба Саша гордилась лицом, великолепными морщинами, каждое лето к ней приезжали художники из Ленинграда, рисовали ее портреты. И мало того, что они прославляли ее старую красоту, привозили гостинцы — новую клеенку на стол, колбасу и конфеты, мало того, что они жили у нее все лето и платили за проживание, но они еще и просверлили ей дырочку в счетчике, и теперь электричество бабе Саше обходилось ни во что.

Ну и наконец баба Ньюша, философка-мужененавистница, имеющая страшную репутацию ведьмы. В ее-то доме я и селилась.

— Мир, девка, держится добром, а движется-то злом! — острила она в другое утро и сама подавала блокнот. — Вот оно, зло, едет, гляди.

— Такой бугай, хочь запрягай! — комментировала она прохожего за окошком. — А ему — инвалидность, ему — семьдесят рублей каждый месяц. Уже машину купил. Не таращь глаза, иди умывайся, картошка сварена, и чай готов! — тут же командовала, как только я кидалась с постели к окну.

Потом она смотрела, как я одеваюсь.

— Колготки-то плести колготно, в две ноги разом надевать ли колготно, а скорее в магазине доставать колготненько?

Потом мы садились завтракать картошкой, бывало, с селедкой, бывало, с сушеными окуньками, с грибами. Баба Ньюша не умолкала:

— Зятюшко мой приехал, попервости скомандовал иконы снять, подругости на дверь набил крючок толстецкий, сам в кузне заказывал. А я всю жизнь без крюков да без замков прожила, теперь запираюсь, характер испортила. А другой зятюшко, когда узнал, что жена в положении, очень обрадовался, да. Созвал родню, купил водки, консервов, конфет. А утром сказал, что пойдет за сигаретами, и вот уже седьмой год ходит. Искать его не стали, люди видели, как в автобус садился. Хорошо, Еленка рожать не стала, не старые времена, можно. А ладная девка, смешливая... В Закозье живет, там работает.

— А девки здешние — сама знаешь!.. Тут одна учительница — хочешь, не верь — свою же свадьбу и разорила!

— Ну да! — вставляю я для поддержания костра беседы.

— Вот тебе и да! — перехватывает и мое маленькое поленце баба Ньюша и продолжает: — Жених — а дело ночное — говорит: пойдём, говорит, на летнюю половину, там, говорит, постелено. Она отвечает ему — неудобно мне, потому что в гостях учеников моих много. Давай, отвечает она ему, позовем их всех на улицу и пойдём на Поклонную гору все вместе рассвет встречать. Жених не против. Однако, говорит, надо у мамы спросить. Хорошо, она ждёт, пока он с мамой посовещается. Посовещались. А мамка та да через весь стол да как засмеется: «Эко дело, неудобно!» Жених возвращается. Мама, говорит, не велит идти на Поклонную гору, а велит идти на летнюю половину, где постелено. Ну, она горячая, учительница-то, сразу вскочила — и на крыльцо, крикнула учеников по фамилиям: «Козлов, Зайцев, Петров да другой Петров!» — жениху объявила: «Не ходи за мной, оставайся с мамой!» И остался! Не пошел! Не посмел, или мамы побоялся, или подумал, что пошутит учительница да вернется, или как... А она — и не вернулась вовсе.

— Ну да?! — восклицала я.

— Вот тебе и да! — отвечала баба Ньюша. — А сама-то цыганистая, нездешней красоты, а хорошая, в малиновом пальто ходит с золотыми пуговицами... А тут, когда монастырь распускали и монашенки подались ко другим монастырям, одна, мать Таисия, никуда не поехала, ряску подрезала покороче, платок повязала поцветастей, пожила в слободе тихо, огляделась — и у самой здоровой бабы — толстой! красивой! — отбила мужа и увезла его в Гагры и стала там работать продавщицей в гастрономе! А сама маленькая, худенькая, неопрятная — люди дизились. Бывало, белье замочит — неделю гниет!

— Ну да?!

— Да! Тут поминки были по одному дедку. Приглашенная семья сидит — мама с дочкой. Дочка та годов семидесяти будет, маме — более девяносто. Гляжу, мама та одну стопку выпила, да другую, да за третьей тянется. Дочка ей тихо, штоб люди не слышали: «Ты што, старуха, с ума-то сходишь!» А мама ей громко, штоб все, значит, слышали: «Эдак ты мне скоро и хлеба не дашь!» Вот. А ты говоришь. Да чего там старухи! Внушки мои, Ольга с Татьяной, в третий класс ходят, маленькие летами, а на ночь развесят колготки по спинкам кроватей — по метру же каждая чулочина, ей-богу!

— Ну да?!

— А ты говоришь... Нет, земля у нас для мужчин бесполезна.

Как-то к вечеру нашу пудовую, с двух сторон обитую мешковиной дверь толкнул сам председатель. Вошел, грузно сел у порога на лавку, поздоровался, спросил меня, как там в Москве, помолчал, упираясь руками в колени.

— Тетя Нюра,— сказал он наконец мягче мягкого,— не подменишь ли в понедельник Клавдию на ферме-то? Ей в район надо на актив... Автобус за тобой придет, молочка возьмишь домой, а?

— Гости у меня! Не-а!.. Так и летом пришел,— со злорадной, кривой, ей свойственной усмешкой сказала баба Нюша, когда председатель пожелал всего хорошего и удалился, как-то печально протопав по крыльцу и унося через двор грузную, скорбную, озабоченную свою спину.— Посидел, покашлял, как перед собранием: «Теть Нюра! Приходи завтра лен дергать!» А я: «Не-а!» — и все дело. Женщину надо председателем, бабы здешние совсем иного качества! Земля у нас для мужчин бесполезна.

В одно солнечное утро баба Нюша вытянула из шкафа большую икону, вытерла тряпочкой, заменила разлохматившуюся веревку капроновым чулком и заставила меня залезть на стол, повесили. Убрали вышитым полотенцем мать божью троеручицу. Баба Нюша постелила чистую скатерть, надела чистую кофту, принесла самодельное пиво.

— Как придет, сразу командует икону снять, он при иконе спать затрудняется!..

Зять, тот самый.

— А, военный!..

Баба Нюша уже много лет кружевами не занималась — надоело. Только ради меня она спустила с чердака валик, разыскала в комодке коклюшки и заплела узенькую полосочку — под разговор. И вот уже завязала последний узелок, отколола последнюю булавку, сняла с валика конец прорезной прошвы, которую, считалось, мы плели в четыре руки, чтобы мне поучиться, намотала на руку и отдала.

— Зря торопился ехать-то... Я поговорить люблю, а слушать некому. И поплела бы тебе и порассказала. А про деревню неинтересно, я и про город могу. Я в городе бывала, два раза только, а была...

— Анна Дмитриевна,— спросила я перед прощаньем,— неужели и в самом деле разорила крышу?

— А — разорила! Хи-хи-хи! Подумаешь, крыша! Учительница свадьбу разорила, а я крышу не разорю для их унижения! Хи-хи-хи! А ты что же — старухе не веришь? — Она, смеясь, замахнулась на меня краем передника.— Приезжай еще, я тебе про то хоть сто раз расскажу, блокнотик купи новый! Хи-хи!

Речь шла об истории с крышей сарая, столбом и монтером, который уснул на столбе. Баба Нюша рассказывала ее как-то в сумерки, и очаровательны были подробности.

Ближайшей же осенью я снова приехала к ней и привезла ради этого рассказа мою подругу Люсю, с трудом оторвав ее на несколько дней от семьи. Однако баба Нюша меня подвела. Увидев в своем доме Люсю, она онемела. Люся моя — величавая красавица с русой косой. Если Люся стояла, баба Нюша привставала тоже, если Люся усаживалась, баба Нюша замирала рядом на табуретке. В доме поселилось торжественное молчание, как в музее. Люся чутко отнеслась к учительнице. Она подолгу расчесывала косу перед зеркальцем на комодке, поворачивалась то в профиль, то в фас к бабе Нюше, томно, как полагается красавице, глядела вдаль на озеро через окошко. Баба Нюша смотрела то на нее, то на мать божью троеручицу, и Люся ей нравилась даже в таком сравнении.

— Дети есть? — взволнованным, осевшим от робости голосом спрашивала она.

— Трое,— отвечала томная Люся.

Мы объедались пирогами, что томности прибавляло.

— А муж хороший?

Люся, зная о мужененавистничестве бабы Нюши, уклончиво пожимала плечом.

— Не терпи! — страстно шептала баба Нюша.

Я пыталась сама начать рассказ о монтере, столбе и крыше, рассчитывая, что бабу Нюшу раздражат мои невыразительные детали и тогда она станет рассказывать для Люси. Но баба Нюша благоговела, Люся и ее, бабы Нюшины, байки не могли сосуществовать, это было бы в плохом вкусе. С тем мы и уехали. Я навестила всех моих старух — бабу Машу, бабу Пашу, только бабы Саши, позировавшей хужожникам, уже не было, и мы уехали.

И тогда я записала рассказ по памяти прошлого приезда и бледную мою запись предлагаю.

Вот и вся преамбула, новелла — впереди.

Листья с берез и осин опали уже давно, ночные морозцы их почернили, наступила пора ложиться снегу, пора было замерзнуть озеру, пора было печки топить ~~каждое~~ утро, повязывать на голову третий платок, обкалывать топором затянувшуюся за ~~ночь~~ прорубь, но что ~~ни~~ день по-летнему бестрепетно выходило солнце, золотило ~~воздух~~, заглядывало глубоко в озеро, слизывало иней с голубой утренней травы, быстро обогревало хрупкий утренний лед на мокрой прибрежной дороге. На выпасе позади монастыря и льняного поля за день вырастали крепенькие шампиньоны, а на теплом боку монастырской горы вызрела сладкая осенняя земляника.

Накануне того дня как на ближайшем к ее дому столбе случилось знаменитое замыкание, баба Нюша договорилась наконец окончательно с завхозом нового школьного интерната о поросеночке от его известной в районе свиноматки Матильдии и в самый день замыкания с утра возилась с сараем — заткнула мхом щели, на крышу наметала соломы, поверх соломы положила большую старую клеенку, прибила кой-где досками и, хоть большой красоты не получилось, настолько устала, что даже на площадь ей не захотелось идти. Однако собралась. В воскресенье на площади всегда бывало интересно. Баба Нюша отряхнулась от соломенной пыли, взяла сумку, обдумала, что купит в магазине, пошла. Но еще от моста увидела, что поздно, что людей на площади никого не было, один Тимка-монтер сидел на оставшемся от лавочки столбике возле аптечного крыльца и озирался в надежде на компанию. Баба Нюша постояла напротив шлюза — не возвратиться ли. Через латанный жестью створ тонко сочилась вода большого озера и бежала по оврагу маленьким ручьем, огибая желтые валуны, омывая когда-то сброшенную с моста могучую автомобильную покрывку, а под мостом бесследно исчезала, уходила в песок. По другую сторону моста в овраге было сухо, ходили куры.

— Вон вода — и та остановилась, — укорила себя Нюша, — а ты, старуха, все носисся да носисся...

Но хлеб ей действительно был нужен, и карамельками к чаю тоже неплохо было бы вознаградить себя за крышу, постояла на дороге, подумала — пошла. Примирилась с тем, что покупка хлеба и конфет так и останется просто покупкой, что ничего сегодня она не услышит из никчемных мужских разговоров, ничего не прибавится к великому ее презрению, и ошиблась. Только завидев Анну Дмитриевну, Тимофей заулыбался навстречу.

«Счас рупь попросит», — Анна Дмитриевна заранее приготовила на левой щеке кривую ухмылочку.

— Тё Нюш!.. — простуженно и радостно кликнул ее Тимка. — Рупь до четверга не дашь ли?

«Сроду не давала им рублей», — с привычной гордостью подумала баба Ньюша.

— Какая я тебе тетя? — сказала она. — Моя мамка да твоя бабка на одном солнышке подошвы сушили? У Клавдии проси, она корову сдала — богатая.

Тимка отчаянно замотал головой:

— Клавка — ругачка, боюсь я ее!..

— А мне что за дело?

— Всю волю в семье себе забрала! — слабо бунтуя, сообщил он.

— Эка трудность! — хмыкнула она.

В магазине покупателей — одна Анна Дмитриевна. Клубный баянист, по моде длинноволосый, серьезный, ожидал, пока его жена Надя сосчитает выручку и закроет магазин. Надя заклеила пачку денег бумажкой, написала на ней послунявленным карандашом и прошла к кондитерскому прилавку. И тут Ньюше стало заметно, что Надя, оказываясь в положении, месяце примерно на седьмом.

«Оженились-то недавно, эдак недели три или того поменьше», — обозначила она.

— Никак, Надя, у вас семья копится?

Когда же баба Ньюша выходила из магазина, Тимка был уже не один. Свой тычок возле аптеки он гостеприимно уступил Ивану с водочкой, сам же неудобно сидел на косом ящике из-под бутылок. Ящик медленно оседал под ним, кренился, скрипел. Тимка терпел — радовался компании, курил, говорил, улыбался.

Баба Ньюша постояла у магазина, оглядывая с высокого места ту сторону озера. Там, за озером, за полем и болотом, за черным ельником, выпростывалась из-за горизонта, дотрагивалась одним краем до леса на Поклонной горе, дотягивалась другим краем до розового заката, распластывалась, захватывая полнеба, синяя тяжелая туча.

— Ко времени с сараем управилась, старуха, — похвалила себя баба Ньюша, зашла себе в награду за угол аптеки незаметно послушать, о чем говорят Тимофей с Иваном.

Две пары снегирей качались на ветках яблони прямо над собеседниками, оперением соперничая с закатом и с розовой рубашкой монтера.

— До того дошло, — услыпала она высокий нервный Тимкин голос, — что денег на велосипед у мамки просят, отца будто и в доме нет, а? — улыбаясь и удивляясь, даже хохотнув, говорил Тимка.

— Уххх, я б ей!.. — темным голосом посочувствовал Иван.

— Корову сдала! — радостно откликнулся Тимофей на сочувствие. — А какой план у ней на те деньги, я и знать не знаю, а?

«Ну да, ну да, Тимофей Николаич, — неслышно включилась в их беседу баба Ньюша. — Планы у Клавдии самые злодейские».

— А деньги-то ведь немалые!.. — ликовал Тимка. — А какие — не говорит! — Он был в восторге перед замечательным коварством жены.

— Ну уж я бы ей!.. — снова выдохнул Иван, а снегири снялись с яблони и улетели на другой конец слободы.

«Ну да, Иванушко, ну да, знаем тебя, — злорадствовала и кивала за углом баба Ньюша. — Ты и в молоке кость същешь, чтобы удальству оправдание иметь. Своя-то баба не успевает гасить фонари под глазами».

— В пять утра за ней автобус приезжает — пожалуйста на ферму. В одиннадцать доставляют ее до самого дома с почетом. На вечернюю дойку опять автобус под самые окна, с вечерней дойки опять то же самое такое. И зарплата у ней против моей вдвое, а? — восхищался своим унижением Тимка.

«Ну да, — поддакивала и ему баба Ньюша. — Худая баба Клавка, чего и рассуждать! Хужее не придумаешь, весь дом, негодна, на себе тащит, хозяйина с должности сгонят, судить ее, бессовесну, при всем народе!»

— Уух... я бы уж!..

«Ну, конечно, Иванушко, конечно, сердешный, покорени их всех геройски, чтоб ни одной бабы на всю слободу, а ты сам, да вот Тимка, да магазин бесплатный!»— упивалась их разговором баба Ньюша за углом аптеки.

— Вы-то мужики хорошие,— вежливо обратилась она к ним, выйдя наконец из укрытия.— А я иной раз гляжу — топчутся тут как на подбор сероватые, норвят присесть где-нибудь на приступочке, да лучше под стеночкой, да чтоб и не дуло. Лица-то плохо бритые, голоса малозвучные, сапоги не чищены, шапки жеваны. Отчего такое? Может, земля у нас для мужчин бесполезная?

— Чего? — спросил Иван.

— Вам, может, и незаметно,— бесстрашно продолжала баба Ньюша.— А я, бывает, смехом умучаюсь вся: сойдутся возле магазина мужиков трое — один немой, другой гогочет противно, у третьего уха нет!

— Ты откуда свалилась, Ньюша, сдуй тебя в колодец? — плохо улавливая смысл в ее скороговорке, но почувствовав что-то оскорбительное для себя, удивился мрачный Иван.

— Эдак какой ты, Иван, грубый,— объявила она.— Никогда гладко не говоришь! — И ласково: — Ты, Тимофей Николаевич, рупь у меня просил?

Тимка от неожиданности и вскочил, и широкую из уважения спрятал за спину.

— Не могу! — сладко сказала ему.— Потратилась!

И пошла от них мимо горки на мост и по дороге над озером, радуясь, что хорошо поговорила. Теперь можно было попить чай с конфетами и до дежурства подумать на печи о новой крыше сарая и о поросеночке. Она работала в школе-интернате ночной няней, ей к дежурству следовало заступить на дежурство.

Дунул ветер — это туча над лесом давала знать о своем приближении. Зарябило озеро, закрипели липы, понесло по улице листья и пыль. На монастырской горе баба Ньюша набрала в ладонь земляники и понесла к себе, но по дороге угостила Марину Капитоновну, молоденькую учительницу. Одна под голыми липами, под грачиними гнездами Марина Капитоновна понуро шуршала красным сапожком в опавших и уже пожухлых листьях, как бы искала что-то.

— Ничего тут не нашаришь, девка,— сказала ей баба Ньюша сердито.— А сходи, пока светло, на выпас за льняное поле да собери грибочков, которы не поморозило. Маленькие бери, их там навалом, я тебе корзину дам. Чампиёны эти в жарке не хуже осиновых. Наши бабы толку не знают, поганьками их зовя. А у меня пиво есть, и заьем мы твое настроение, и заедим грибками, и запоем песенкой, и вместе потом в интернат пойдем, ты — спать, я — печки топить да мальчиков гонять от девочек.

Дунул ветер, и посыпались сухие сучья, и упало на землю черное пустое грачиное гнездо.

— Пойдем за корзиной, Марина Капитоновна, нехорошо девушке одной в выходной.

— Нет,— отказалась учительница. Ей, оказывается, сегодня обязательно надо телевизор посмотреть.

— Гляди.

И уговаривать не стала. И не только потому, что сказано было достаточно, но и потому, что край ее маленького колкого глаза вдруг был зацеплен каким-то промелькнувшим блистаньем, опасного смысла которого понять она не успела, но почувствовала. И заторопилась, так как сверкнуло оно возле самого ее дома, весной покрашенного голубым.



Она добежала до калитки, бросила сумку под забором, сложив руки на животе, уставилась на столб, от которого в дом тянулось электричество. Столб всегда был у нее на подозрении — черный, врытый косо, снизу подгнивший, а главное, слишком близко стоявший к дому. Она простояла долго, ничего не происходило.

За спиной загрелись пустые ведра. Она не оглянулась — кроме Шуры-хуторянки, греметь тут было некому.

— Видала? — окликнула та из-за спины.

— Чего? — не оборачиваясь, ответила баба Ньюша, думая, что Шура говорит о столбе. Оказалось, не о столбе.

— Весь день тут ходит и ходит. — Шура коромыслом показала на берег, где ходила Марина Капитоновна. — Мечтает, простодырая, что Виктор тут и первый подойдет. А он-то не подойдет, он в городе. Чего ж парню холостому в выходной возле мамки сидеть? — оскорбленно весело сказала Шура.

Баба Ньюша промолчала. А что можно ответить свекрови, у которой невестка сбежала прямо со свадьбы — как была во всем белом!

— Я справку взяла в сельсовете, что не прописана, — говорила Шура. — А прописана. У Виктора в городе пропишусь и зиму у него проживу. Ему квартиру должны дать на заводе, так пускай на двоих дадут, тогда я и обратно подамся, на старости со своей-то печи не слезу. — Шура помолчала, долгим взглядом поискала на берегу учительницу. — Завод его ходила смотреть — стук там, бряку, запаху!.. Большой завод, — говорила Шура, вынужденная во все времена их соседствования держать инициативу в разговорах. — А она свою глупость до смерти не переплачет.

— Это у вас на хуторе такие понятия, чтобы гордость женскую глупостью считать. — Баба Ньюша наконец повернулась к ней строгим лицом. Соседка всего только двадцать лет тому перебралась в слободу из хутора.

— Виктор себе таких сколько хочешь найдет, — робея перед соседкой, сказала Шура.

— Таких? — усмехнулась Ньюша. — Это кисель-то твой? — Она строже других осуждала непринципиальное поведение учительницы, но Шура свое мнение сообщать не собиралась.

— А чего ж, подумаешь! — все так же робко обиделась Шура. — И не кисель, характер имеет. Одного разу схватил самовар горячий да замахнулся, думала — кинет, так обозлился.

— В мать-то?

— В меня, — с достоинством главного свидетеля подтвердила Шура и приняла взгляд, от которого сразу, должно быть, затосковала по родному хутору. — У Ошукиных баран объелся удобрений и окошел, — вспомнила новость Шура, морщась под тяжелым коромыслом.

— А тебе и весело, — и тут придралась та, вспомнив о будущем поросеночке.

Председатель проехал обратно и опять поздоровался. Он по пять раз в день мог здороваться с человеком. Немолодой, непыющий, нездоровый, неплохой человек...

А закат тем временем потяжелел, налился, земля тонула в нем, как ложка в клюквенном киселе. Синяя туча широко растянулась по небу, но, как бы обжигаясь закатом, сторонилась его, как бы выжидала, чтобы напылался не торопясь и сам бы пропустил ее в свои горизонты.

Вдруг на столбе тихо треснуло, радостные искры брызнули и посыпались на забор, на поленницу, едва не достигая новой крыши сарая. Шура вскрикнула, не сразу сообразив, что это не опасное явление природы, а обыкновенное повреждение техники.

А баба Ньюша подхватила сумку и что было духу уже бежала на площадь. Тимофей, молодец, сидел как сидел с Иваном, никуда, молодец, не делся. Она остановилась на мосту, передохнув, дожда-

лась спокойного дыхания, чтобы не обнаружить перед монтером чрезмерную от него зависимость, и требовательно махнула к себе, как бы зачерпнула его рукой с площади.

— Тимофей Николаи-ич!

Тимка на всю площадь засиял необидчивой своей улыбкой, сразу встал и побежал к ней, бросив мрачно-мечтательного Ивана без извинений и объяснений.

«Ой, скотина недопоенная»,— презрительно подумала бабка, когда он предстал перед ней — распахнутый, в розовой рубашке, в съехавшей на ухо шапке, сияющий, уже мысленно лелеющий в кулаке мятый мягонкий рублик. Она помолчала, подержала его в надежде и сомнении, наконец, изменив выражение, подобострастно, как полагается с мастерами, сказала:

— Хоть и воскресенье, Тимофей Николаич, хоть и нехорошо тебя всяко беспокоить, да только, видишь ли, на линии авария.

— А чего там? — И улыбка упала с его лица.

— На моем столбе авария,— виновато призналась баба Нюша.

— Провод оборвался? — спросил Тимофей.

— Не-а, провод-то висит,— плаксиво, демонстрируя полное свое несчастье, протянула она.

— Искрит? — спросил Тимофей.

— Так и сыпет! — как бы обрадованная его профессиональной проникательностью, подтвердила и закивала она.

— Давно? — спросил Тимофей.

— А кто знает! Днем-то при солнышке незаметно было. А ночью-то как страшно бу-удет! — И она с надеждой поглядела на него. — А мне на дежурство в ночь, как без меня лихое стряется?

— Изолятор, верно, придется менять,— сказал Тимофей и обернулся на магазин, которому пора было закрываться.

— А ты и смени! — обрадовалась простому решению бабка. — Покуда светло — и смени! Бери вот рубль, чтоб веселее тебе идти за инструментом, а у меня — пиво припасено, окушков отварено, печка натоплена, ты смени изолятор — как хорошо-то бу-удет! — И Анна Дмитриевна порылась и достала свеженький упругий рублик.

Тимофей взял, что-то прикинул в уме, похмурился, показывая, что решает задачу, вполне стоящую и рубля и угощения, кивнул и, шаря что-то в кармане, двинул к магазину.

— Ты скоро ли, Тимофей Николаич? — крикнула вдогонку бабка.

— Я быстро,— махнул рублем Тимофей.

Она снова заняла пост у забора, а ветер мотал и дергал провисший провод, со столба, треска, сыпались искры. По озеру бежали мелкие быстрые волны, с тонким хлопаньем заливали чистый берег, обмывали красные сапожки медленно бредущей к интернату учительницы, докатывались почти до самой бани. Дочки, когда жили дома, напарившись, вот так же выставляли мамку караулить возле столба и по ее знаку, что на улице, мол, никого нет, прыгали в холодное озеро.

— Здоровуци кобылицы,— говорила она им, сердясь и гордясь.

Уже начали слетаться на ночевку в интернат ребята из дальних деревень. Две подружки из шестого класса, обе в синих колготках, попросили поставить велосипеды за сараем, она позволила. И чьих-то троих первоклассников в мотоциклетной коляске провез председатель и снова поздоровался. Она чуть кивнула ему, она не баловала начальство чрезмерной любезностью.

Она подумала на досуге, что земля милая действительно для мужчин здесь бесполезная, вот ведь и отец родной хоть и не рыбачил в морозы и лес не корчевал, а легко прослужил егерем у господ в Аку-

лове, был малюсенький, вредный и умер рано, а мама, напротив, еще и сейчас жива, белая и большая.

Тимка словно вынырнул из розового воздуха. Ньюша едва успела переменить выражение лица на подходящее для встречи мастера. А он решительно бросил на землю чемодан с инструментом, снял с плеча железные когти, вдел сапоги в стремяна, опоясался заодно со столбом ремнем и цепью, полез. Ньюша поглазела, как не быстро, но отважно взобрался Тимофей на самый верх, как зачем-то снял шапку и надел ее на верхушку столба, куда весной прилетает долбить красноголовый дятел, но наблюдать за его работой не стала, а поспешила в дом готовить угощение.

Хотела постелить скатерть, но передумала, для мастера не полагается, мастер не гость. Постелила чистенькое глаженое полотенце, принесла из сарая литровую банку пива, принесла кастрюлю соленых волнушек, наложила полную тарелку, но подумала, половину отложила обратно, мастер не гость, слишком щедриться неприлично. Однако луку сладкого, синего порезала к волнушкам, и стакан протерла, и вилку выбрала не кривую и тарелку с каемкой. А радио выключила, мастер не гость, музыка ни к чему. Только что закончила приготовления, а Тимофей уже на пороге.

— Готово, Тимофей Николаич? — почтительно спросила она.

— Осмотр сделал, буду менять изолятор, — ответственно объяснил положение дел Тимка.

— Позвала бы тебя к столу, — сказала она, поймав его взгляд на литровую банку, — да только ведь потемнеет, как станешь работать?

— А потемнеет, мы на столбе лампу повесим, — осенило Тимку. — Хочешь, тё Ньюш, я тебе тут свет постоянный сделаю, на столбе-то?

— А почему ж, сделай, хорошо будет, — медленно согласилась она и прикинула в уме, что одной банки может не хватить.

— У меня в сарае лампочка как раз и имеется, и кронштейн подберу, — развивал идею Тимка.

Она подумала: «Трех-то банок ему не осилить» — и закивала согласно:

— Повесь, Тимофей Николаич, тебе виднее, как лучше.

— Ты мне налей тогда неполный стаканчик, я побегу за лампочкой, чтобы разом все.

Мастера полагается угощать, когда работа сделана, и она не торопилась наливать, но тут в стекла ударил ветер, на столбе бурно заискрило.

— Пей, конечно, Тимофей Николаич, угощайся, пиво крепкое, хорошее, — пригласила она.

Он выпил, поставил стакан на полотенце, расстегнул полупальто, сел посвободнее и заговорил, улыбаясь в самую душу:

— А Клавку я вправду боюсь. И тебе скажу, тё Ньюш, и всякому скажу, кому не застыжусь, боюсь ее, как, наоборот, баба должна мужика бояться. Ей-богу, бывает, что иду домой — и дрожу, как озябнутый!

Баба Ньюша замкнулась. Сложила на коленях руки, глаза опустила, молчала, давая понять, что рассиживаться и языком чесать не его право, пока дело не сделано, что он мастер — не гость.

— Одного раза так выматюгала — покрошить не оставила! Трезвый был бы, не простил. Дети и те, бывает, коссватенько глянут. Я пока духом не падаю, но до чего дошло, теть Ньюша, на велосипед денег у мамки просят, отца будто бы и в доме нет! — удивлял необыкновенной своей жизнью Тимка.

Она только сильнее поджала губы. Тут мигнула и погасла лампочка в доме. Тимка спохватился, запахнулся накрепко, постоял, затем степенно застегнул куцее полупальто на все пуговицы, из которых — даже в сумерках заметила баба Ньюша — две были коричневые, а одна голубая.

— Счас за лампионом сбегаю — и светло будет, как в клубе! — сказал он.

Баба Ньюша села под окно наблюдать за увенчанным шапкой столбом. Темнело. Закат еще буйствовал, а туча, большая и спокойная, теснила его за Кнышовский лес, куда только один раз в эту осень тракторист согласился на прицепе отвезти слободских баб за волнушками.

«Пооди, зацепился языком за кого...» — беспокоилась баба Ньюша, ей пора было на дежурство, дети съезжались, за поленницей стояли уже четыре велосипеда.

— Чего это велосипеды у тебя за забором? — спросил Тимка, вернувшись с алюминиевым колпаком.

— В интернате шаловство завелось, Тимофей Николаич, — терпеливо объясняла она. — Звонки сымают друг у дружки или еще какие части, ребята и прячут по дворам кто где.

— А... — понял Тимофей и покосился на пиво.

— Как работу станешь делать, Тимофей Николаич, коли разберет тебя? — урезонила его она и накрыла банку блюдцем.

— До того далеко еще, тё Ньюша, не беспокойся, я вполне в стремине. — Тимка сел, лампион положил на колено, полохматил негустые волосы. — Линейному мастеру, тетя Ньюш, — заявил он, — всегда надо быть готовому к авариям. Однако воскресенье, тетя Ньюш... — Он о чем-то подумал, поулыбался самому себе и ей тоже. — Но хоть — оно, все, однако, будет сделано. — И опять о чем-то посомневался, повздыхал, поулыбался. — Потому что я, тетя Ньюш, тебя вполне уважаю. — Вдруг он разоблачительно-добродушно погрозил ей пальцем: — Колдунья!..

Она промолчала, она знала, что о ней болтают в слободе.

— А я тока боюсь! — улыбаясь, сообщил Тимофей. — Больше Клавки боюсь электричества, а?... Откодуй меня, тетя Ньюш! — Он встал, качнулся, пошел к двери и попросил, оглянувшись в дверях: — Пошепчи!.. — Тимка обреченно махнул рукой. — А!.. Я сейчас на муку иду, на страдание души, тё Ньюш!.. Но ты знай, что я тебя не попрекаю... Я — иду. А ты тут ни о чем не думай, живи легко, под музыку. — Он вернулся, выкрутил радио на полную громкость, выпел, и она видела в окно, как он полез.

«Мальчики, пооди, носятся во дворе, — дальнозорко разглядывая погасшие окна интерната, думала баба Ньюша. — А девочки-то в спальнях сидят, да на кроватях, да с ногами... (Девочки с того бессонного дежурства, когда она за одну ночь удлинит восемь подолов, боялись ее.) Марина-то Капитоновна, ясное дело, в темной библиотеке на темный телевизор не наглядится, — прищурилась баба Ньюша и на окошки учительского корпуса и снова неодобрительно подумала о непоследовательном поведении учительницы. — А у директора — гости, керосиновые лампы зажег. Чего ж тогда председатель назад поехал, а не остался? А дружат, а воевали, говорят, вместе!»

На фоне последней закатной полоски, так, что она приходилась Тимке как раз поперек головы, он остановился, достал из кармана бутылку, помотал ею, взбалтывая, и, картинно запрокинув голову, выпил до конца, бросил пустую за забор в мягкую грядку с ноготками, и бутылка не разбилась. Тут его осыпало искрами во всю силу и красоту бедствия, но он спокойно вытер губы и полез дальше. Баба Ньюша видела, как он долез, как вытащил из-за пояса инструмент, видела, как

шлепнулся и заскользил по земле отрезанный провод, как Тимка потянулся за ним рукой, как бы ожидая, что ветер поднимет и вернет ему улизнувший провод, как махнул вдруг безразлично рукой, как упали в траву пассатижи, а Тимка мягко провис на ремне, бросив сзади себя руки, размахав москovicку, а голову уронил на розовую грудь.

— Убило! — всполошилась баба Нюша и, в темноте нащупывая рукой стол, кровать, затем печку и умывальник, выбежала на крыльцо. — Тимофей Николаич!..

Монтер не оглянулся, а больше кричать баба Нюша не стала, подошла к столбу и прислушалась. С высоты опускалось к ней и опять уходило вверх здоровое хмельное сопенье.

— Эко дело... — прошептала баба Нюша, не зная, что предпринять. — Тимофей Николаич!.. Слезал бы!.. — просительно позвала она, чуть возвысив голос. Александра не выходила, стало быть, уже легла, и лучше было бы не будить ее, чтобы не разнесла по слободе о случившемся. — Мне на дежурство идти, не могу я тут с тобой задерживаться!.. Слезал бы, Тимофей Николаич!.. — обнимая себя от холода, просила она. — Люди увидят! То ли снегирь на ветке, то ли дятел на суку, то ли Нюша, скажут, флаг над домом повесила... Слезал бы, бесстыдник, — раздражаясь постепенно, увещевала она, — засмеют!.. Тебя ж, если луна выйдет, на сколько ж верст видать — и в Узком, и в Лещине, и в Васюках люди за животы похватываются со смеху!.. Слезай, дурень! — И она постучала кулаком по столбу. — Ухахается народ, сорок лет потом еще смеяться будут!.. Гляди! Сейчас пойду за Клавкой, возьмем большую лестницу да достанем тебя палкой!

Тимка спал. И было видно, что ему на столбе спать не холодно и удобно. Широкий брезентовый пояс обнимал его крепко, кошки впились в столб глубоко, ветерок деликатно ворошил белые волосы и обдувал лицо.

Она сложила ладони вокруг рта и снова и снова звала:

— Тимофей Николаич!.. Поясницу простудишь, дурак, радикулит для мужика — погибель!.. — Она подобрала под ногой камешек и кинула в Тимку, но камешек пролетел в стороне, она не умела кидать камни. — А у меня на столе-то пиво для тебя стоит недопитое, али забыл? — льстивым шепотом кричала она ему. — Пиво-то стоит на столе, и еще банку дам... Слышь, пива-то у меня мно-ого!

И в слободе, и в деревнях за озером, и в интернате было темно в окнах. И небо совсем затянулось. В беспросветной ночи только едва-едва светила ей розовая Тимкина рубашка. Потеряв надежду добудить его, она зашла в дом, в потемках нашла на гвозде жакет и платок. В доме было тепло, по радио передавали песни. Она, не задерживаясь, вышла, уселась на дровах. И тут ей пришла мысль, что сидением она не поможет Тимке, если тот вдруг во сне засучит ногами и свалится. И тогда она снова вернулась в дом, наскоро попила из чайника, все так же впотьмах нашла под чердачной лестницей грабли и вилы и целый час, ругаясь, разоряла новую крышу сарая и стаскивала солому к столбу. Она наметала под ним хороший стожок, однако показалось — мало, и три большие подушки и две набитые сеном постели тоже улеглись под столбом.

— Тимофей Николаич! — позвала она.

Но Тимке все еще спалось.

Слабо осветилось свечкой окно в учительском корпусе, погорело и снова погасло. Это не могла, но старалась уснуть Марина Капитоновна, а заснет или будет ворочаться?..

— Неизвестно! — рассказывала баба Нюша. — А я села на ступеньку, руки в рукава сунула, да спину прислонила, да стала ждать. А больше делать нечего. И задремала. Как получилось — непонятно, а

заснула. Слышу во сне — шуршит, и проснулась. Хоть и тихо шуршит, а на весь мир, даже страшно. Тимка, гляжу, спит, как спал, а радио в доме уже и не играет. Что шуршит-то? То снег сыпал, вот, снегом шуршало!

— А как же он слез, баба Ньюша? — спросила я.

Баба Ньюша рассердилась.

— А как — обыкновенно! Да про то неинтересно, слез, чего там!

— Папа наш был малюсенький, говорю, и умер рано. А мама и сейчас жива, белая и большая. Приезжает — распоряжается, чтоб каждый день пол мыть. Я, говорит, у себя в Ленинграде каждый день мою! Ну да, говорю я, вам досуг! А она мне: пока я тут, чтоб мыла, огрыза! И мою, хоть некогда. А бабы здешние — совсем иная картина, сама заметишь. В магазине девки стройные, строгие, в крахмальных халатах, в кружевных наколках. В столовой — крупные да ясно-глазые, поворачиваются быстро, поругиваются весело. На ферме — сдобные, бело-розовые!... На почте женщины серьезные, прически у всех парикмахерские, голоса командирские: «Кириллов! Кириллов! Алевтинка, ты, что ли? Дай-ка Вологду! Вологда? А мне, Вологда, Москву надо! А ждать-то некогда, срочно, срочно! Москва? Министерство? Примите телефонограмму!»



---

---

ИВАН СКАЛА

☆

НОВЫЕ СТИХИ

С чешского

Путь в Советский Союз

Как лебедь,  
шею вытянув,  
летящий  
Над подмосковной осенью  
сквозящей,  
В пути,  
как ветер,  
дня и ночуя,  
Слова любви  
тебе пропеть  
хочу я.  
Я изумлялся  
радостно и свято,  
Окидывая  
невские просторы:  
Какой  
заряд Истории  
когда-то  
Вошел  
необратимо  
в ствол «Авроры»!  
За каждодневный подвиг  
беспримерный  
Хочу  
тебе пожать  
сегодня  
руку.  
Хочу вручить  
тебе  
я в песне верной  
Ключи к любви  
моих детей  
и внуков.  
Как спутник,  
что десятки лет  
кружится  
Вокруг тебя  
орбитою своею,  
За Май,  
за все,  
к чему  
мечта стремится,  
Я стих дарю  
тебе —  
все,  
что имею...

### Летняя песенка

Солнце, как раскаленная амфора, днем  
Поливает нас сверху огнем.  
И ты, песня, разумною будь у меня —  
Упивайся красой синевы и огня.

Мы округлым, сверкающим жбаном пребудем  
С тем душевным вином,  
Что так надобно людям  
До поры, как ударит нечаянный час,  
В черепки превращающий нас.

И ты, песнь, как наполненный жбан,  
Не бесформенной будь.  
Как пастушья свирель,  
На ветру колыхайся чуть-чуть...

Строчки песни, вы — птицы,  
Окрашенные нежным цветом!  
Так взлетайте все выше  
Над улицами и над летом.

### Осень

Уже не так светает, мне сдается.  
Все больше туч. Я им совсем не рад.  
Уж только в памяти моей и вьется  
Наш деревенский дикий виноград.

Уж не сверкают жаворонков трели  
Над полем ржи росистой за селом,  
Где мы гречиху детской ложкой ели  
За липовым столом.

Уж время съело все с тарелок детства,  
Расправилось и с сосняком,  
Где первая любовь твой первый стих учила,  
И отвело луну за окоем,  
Чтоб осень тоже что-то получила.

Закинешь голову —  
Там в небе сарыч снова,  
Которым ты налюбовался всласть,  
Кружит, к удару собранно готовый,  
Готовый вниз стремительно упасть.



### Подарок

Тебе принес я горсточку осколков  
Карибских раковин, обшарив дно.  
Тебе принес я горсточку осколков  
И долгое объятие одно.

Блокнот мой стал подобен стенограмме  
Любви. Он — мой молитвенник, мой свет.  
Я, как река, зажат твоими берегами.  
Я, возвращаясь вновь, ступаю в прежний след.

Здесь в каждой раковине море плещет,  
Подводная вселенная звучит.  
Какая же вселенная в нас затрепещет  
И вынесет из нас стихи в ночи?

Как раковину или как загадку,  
Волненьем обновленную почти?..

*Перевел ВЛАДИМИР СОКОЛОВ.*



---

## ВИДЬЯХАР НАЙПОЛ

★

## РАССКАЗЫ

С английского

*Видьяхар Найпол родился в 1932 году на Тринидаде. В молодости переехал в Англию, где окончил университет и стал печататься. Опубликовал сборники рассказов, романы, публицистику. На русском языке вышли повесть «Флаг над островом» и несколько рассказов.*

*Тринидад для нас экзотика. И разве не соблазнительно скользнуть по диковинному пейзажу взглядом туриста? Но автор предостерегает нас от подобного «облегченного» прочтения.*

*Пестрая этнографическая ситуация на Тринидаде дает материал для социальных комедий Найпола, которые при всей их внешней неприязтельности затрагивают болезненные темы существования индийцев-иммигрантов на острове. Эксцентричность для его героев — это некая маска, помогающая им скрыть свою растерянность перед натиском западной цивилизации.*

### Лотерея

**В** начальных школах Тринидада учителям платят мало, зато разрешают бить учеников сколько душе угодно.

Мистер Хайндс, мой учитель, бил нас очень часто. На полке под картиной «Конец Англии» он всегда хранил несколько розог из тамаринда. Это очень хорошие розги. Они гибкие и прочные и впиваются в тело, как жало. Тамариндовое дерево росло на школьном дворе. А у себя в шкафу мистер Хайндс держал еще и кожаный ремень, он вымачивал его в ведре с водой, которое стояло в классе на случай пожара.

Все это полбеда, не будь мистер Хайндс таким молодым и сильным. Однажды на школьных соревнованиях я видел, как он, сняв до блеска начищенные башмаки и аккуратно подвернув брюки, запросто выиграл стометровку для учителей: он бежал, не выпуская сигареты изо рта, а галстук его щегольски развевался за спиной. Галстук был темно-вишневого цвета: мистер Хайндс всегда одевался очень тщательно. Почему-то из-за этого мы боялись его еще больше. Он носил коричневый костюм, кремовую рубашку и темно-вишневый галстук.

Ходили слухи, что по воскресеньям он сильно напивался.

Но и у мистера Хайндса было слабое место. Бедность. Мы знали, что он дает так называемые частные уроки, потому что нуждается в деньгах. Проводились эти частные уроки во время десятиминутной утренней перемены. Все мальчики платили за это по пятьдесят центов. Если кто-то не платил, учитель все равно задерживал его в классе и порол, пока не заплатит.

Еще мы знали, что у мистера Хайндса есть участок в Морванте, где он держит домашнюю птицу и кое-какую скотину.

Другие мальчики сочувствовали нам — и напрасно. Хотя мистер Хайндс и бил нас, мы все-таки немножко гордились им.

Я говорю — он бил нас, но это не совсем так. По какой-то причине, которую я

не понимал и не могу понять до сих пор, мистер Хайндс никогда не бил меня. Он никогда не заставлял меня вытирать доску. Никогда не заставлял чистить его ботинки. Он даже звал меня по имени — Видьядхар.

Одноклассники недолюбливали меня за это. Во время игры в крикет меня не пускали подавать мяч или стоять в воротах, а на поле я всегда выходил под номером 11 — последним. Я утешался лишь тем, что мне надо было отучиться всего только два семестра до поступления в Куинз роял колледж. И не так уж я хотел поступить в КРК, как уйти из «Прилежания» (так называлась школа). От благосклонности мистера Хайндса мне было как-то неуютно.

Однажды во время частного урока мистер Хайндс объявил, что собирается разыграть в лотерею козу, по шиллингу билет.

Он сказал об этом с каменным лицом, и никто не засмеялся. Он велел мне написать список всех ребят нашего класса на двух тетрадных листах. Те, кто хотел рискнуть шиллингом, должны были поставить галочку против своего имени в списке. К концу урока против всех имен стояли галочки.

Мое положение в классе стало еще хуже. Мало кто верил, что коза существует на самом деле. Все говорили, что если коза и есть, заранее ясно, кому она достанется. Я надеялся, что так оно и будет. Мне давно хотелось иметь животное, и мне нравилось, что у нас будет молоко от собственной козы. Я слышал, что Мэнни Рэмджон, чемпион Тринидада по бегу на одну милю, во время тренировок ничего не ел, кроме козьего молока и орехов.

На следующее утро я написал имена всех мальчиков на бумажках. Мистер Хайндс взял мою шапку, положил в нее все бумажки, потом вынул одну и сказал: «Видьядхар, коза — твоя», после чего тут же выбросил все бумажки в мусорную корзину.

За обедом я сказал матери:

— А я сегодня выиграл козу.

— Какую такую козу?

— Не знаю, еще не видел.

Мать рассмеялась. Она тоже не поверила в эту козу. Но отсмеявшись, она сказала:

— В общем, это было бы неплохо.

Мне самому уже как-то не верилось, что я получу эту козу. Я боялся спрашивать мистера Хайндса, но дня через два он сам сказал:

— Видьядхар, так ты заберешь свою козу или нет?

Мистер Хайндс жил в деревянном доме-развалюхе на Вудбрук и, когда я добрался туда, предстал передо мной в шортах цвета хаки, в жилете и голубых парусиновых туфлях. Он протирал велосипед желтой фланелькой. Я был поражен. Я не мог даже представить его себе в таком виде и за такой черной работой. А держался он еще более насмешливо и высокомерно, чем в классе.

Он повел меня на задний двор. Там стоял козел. Белый, с большими рогами, привязанный к сливовому дереву. Земля вокруг дерева была загажена. Козел стоял мрачный и сонный, будто слегка одурел от собственной вони. Мистер Хайндс предложил мне погладить козла. Я погладил. Козел закрыл глаза и продолжал жевать. Когда я перестал гладить, он открыл глаза.

Каждый вечер около пяти часов по нашей Мигель-стрит проезжал старик в тележке, запряженной ослом. На тележке возвышалась гора небольших, аккуратно перевязанных пучков свежей травы. Пучки были такие аккуратные, что казалось, будто трава не растет сама по себе, а делается где-то на фабрике. Мы с матерью зависели теперь от этой тележки. Мы покупали по пять, а то и шесть пучков травы в день, а каждый пучок стоил шесть центов. Козел не менялся. Он оставался таким же мрачным и скучным. Время от времени мистер Хайндс спрашивал меня, какживает козел, и я отвечал, что хорошо. Но когда я спросил мать, когда же у нас будет козье молоко, она велела мне больше не приставать к ней с глупостями. А немного погодя она вывесила объявление: «Козел-производитель. Об условиях спросить хозяев» — и очень рассердилась, когда я потребовал объяснить, что это значит.

Объявление ничего не изменило. Мы покупали аккуратные пучки травы, козел жрал, а молока не было.

Как-то раз, придя домой на обед, я не увидел козла.

— Его взяли на время, — сказала мать со счастливой улыбкой.

— А когда отдадут?

Она пожалала плечами.

Козел вернулся в тот же вечер. Свернув на Мигель-стрит, я увидел его на тротуаре возле нашего дома. Незнакомый человек держал его за веревку и отчаянно скандалил, размахивая вонсю свободной рукой. Я уже знал таких типов. Такой ни за что не отступится, пока не выскажется до конца. Все соседи следили за ним через занавески на окнах.

— И не стыдно вам наживаться на бедняках?! — кричал он, взывая к аудитории за занавесками. — Вы только поглядите на этого козла!

Совершенно безмятежный, козел медленно жевал, полузакрыв глаза.

— Тоже мне, нашли, кого надувать! Мой брат — дурак и не знает этого козла, но меня-то не проведешь. На Тринидаде все, кто держит коз, знают этого козла, везде от Айкакоса до Майаро, от Токо до Чагуарамаса, — перечислил он названия четырех крайних точек Тринидада. — Это самый никчемный козел на свете. И за такого козла еще и деньги брать?! Вы вот что, отдавайте-ка деньги моего брата!

Мать очень расстроилась от его слов. Она вошла в дом и вынесла несколько долларовых бумажек. Человек взял деньги и отдал козла.

Вечером мать сказала:

— Иди и скажи своему мистеру Хайндсу, что мне этот козел не нужен.

Мистер Хайндс не удивился.

— Не нужен, говоришь? — Он задумался и провел ухоженным ногтем большого пальца по усам. — Ну хорошо, я его выкуплю. За пять долларов.

— Да он одной травы съел больше чем на пять долларов, — сказал я.

Это его тоже не удивило.

— Пусть будет шесть.

Я согласился. И думал, на этом история и закончится.

Как-то раз в понедельник вечером, почти за месяц до окончания моего последнего семестра в школе, я объявил матери:

— Этого козла опять разыгрывают в лотерею.

Мать встревожилась.

В пятницу за чаем я сказал как бы ненароком:

— Я выиграл козла.

Для нее это было не неожиданностью. Перед заходом солнца какой-то человек привел козла от мистера Хайндса, дал матери денег и увел козла.

Я надеялся, что мистер Хайндс не будет спрашивать про него, но он спросил. Не на следующей неделе, а еще через неделю, как раз перед окончанием учебного года.

Я не знал, что ответить.

Но за меня ответил мальчик по имени Нолли, лучший подающий в крикете и любимая жертва мистера Хайндса.

— Какой козел? — прошептал он громко. — Того козла уж давно зарезали и съели.

Мистер Хайндс вдруг рассвирепел:

— Это правда, Видьядхар?

Я ничего не ответил, даже не кивнул. Прозвенел звонок, я был спасен.

За обедом я сказал матери:

— Не хочу я идти в эту школу.

— Не будь трусом, — сказала она.

Мне не понравились ее слова, но я пошел.

Первым уроком была география.

— Найпол, — сразу же начал мистер Хайндс, забыв, как меня зовут. — Дай определение полуострова.

— Полуостров, — сказал я, — это часть суши, со всех сторон окруженная водой.

— Отлично. Иди-ка сюда.

Он подошел к шкафу, извлек вымоченный ремень и сразу набросился на меня.

— Ты продал моего козла? — Р-раз! — Ты зарезал моего козла? — Р-раз! — Ах ты неблагодарная тварь! — Р-раз, р-раз, р-раз! — Больше никогда ты не выиграешь в моей лотерее!

Никогда больше не возвращался я в ту школу.

Перевела О. ЯНКОВСКАЯ.

## Святочный рассказ

Сегодня канун рождества, но меньше всего я думаю о празднике. Меня занимает то, что произойдет сразу после Дня подарков, когда в деревню, где построена новая школа, придут инспектора Ревизионного управления из Порт-оф-Спейна. Я спокоен. Еще есть время сделать все что нужно. Но я не стану этого делать, хотя домашние, которых, увы, тоже не до рождества, умоляют меня поступиться моими принципами, моей новообретенной верой и спасти всех нас от позора и разорения. Это в моей власти, однако в жизни всякого человека наступает момент, когда нужно проявить твердость. Должен сознаться, в моем случае он наступил с большим опозданием.

Если вдуматься, то для меня все пришло с опозданием. Почти до восемнадцати лет я был индуистом, хотя мои религиозные познания исчерпывались бессмысленными, унижительными обрядами. Почему я так долго был индуистом — объяснить не берусь. Возможно, все дело в инерции, свойственной данной религии и отупляющей ее приверженцев. Прямо скажем, не требовалось великого ума, чтобы понять, что индуизм с его анимистическими обрядами и идолопоклонством, с его помешанностью на манговых и банановых листьях, а также — что правда, то правда — на коровьем навозе, плохо вписывается в современную цивилизацию. Достаточно было сравнить социальное положение местных индусов и христиан. Достаточно было посмотреть, сколь различен их уровень жизни: люди, жилища, гастрономия. Сейчас различия эти в основном стерлись, так что молодежь едва ли поймет, о чем идет речь. Быть может, меня даже упрекнут за чрезмерную приверженность к мелочам. Что ответить на это? Поверят ли, если скажу, что для меня мелочи всегда были выражением самой сути? Короче, как уже было отмечено, в восемнадцать лет у меня открылись глаза. И пресвитерианцам из канадской миссии даже не пришлось меня обращать. Я мог воочию наблюдать плоды их деятельности среди темных индусов и мусульман нашего квартала. Я мог воочию видеть их школы, а также дома, в которых жили новообращенные.

Словом, мой переход в пресвитерианство, хотя и запоздалый, коренным образом повлиял на мою жизнь. Я хотел преподавать — что еще оставалось человеку практически без средств и без образования? — и моя вера давала мне очевидное преимущество. Она возвышала меня в глазах начальства. Кроме того, она способствовала моему профессиональному росту, так как между тем, чему я учил, и тем, что я чувствовал, не было никакого противоречия. Не то что у некоторых, необращенных, что берутся преподавать в пресвитерианских школах!

Раз уж пришло время говорить всю правду, упомяну заодно о радостях, подаренных мне новой верой. Приятно слышать, как произносят имя, глубоко созвучное, как мне кажется, нашему времени и той социальной среде, в которой я оказался; и вот уже изглаживается в памяти, что когда-то — вспоминаю об этом по сей день с чувством стыда — я отзывался не задумываясь на имя... Чузилал. Впрочем, оно осталось в далеком прошлом. Я похоронил его. И если я о нем сейчас вспомнил, то не столько потому, что пришло время говорить всю правду, а по той простой причине, что две недели назад мой сын Уинстон, вороша семейные бумаги — негоже, конечно, рыться в чужих бумагах, но любопытством мальчик весь в мать, — наткнулся на это имя. Он принялся дразнить и даже корить меня прежним именем, пока я не рассвирепел, в чем сейчас глубоко раскаиваюсь и надеюсь найти время, хотя его уже в обрез, и извиниться перед ним, так вот, рассвирепев, я задал ему хорошую порку вроде тех, какие я частенько задавал в стенах школы ученикам, с чьей непроходимой ограниченностью могли соперничать лишь тупость и косность их родителей. А косность всегда вызывала у меня бешенство.

Имя именем, но не меньшую радость доставляли мне благородные и чистые — точнее слова не подберешь — обряды, узаконенные моей новой религией. Что может быть, например, приятнее, чем подняться в воскресенье ни свет ни заря, принять ванну, позавтракать, а затем, облачившись во все самое чистое, пройти пешком по еще безлюдным и прохладным улицам и войти в святой дом, где можно увидеть наиболее достойных и уважаемых граждан, одетых столь же опрятно и предающихся молитвам, в коих могу принять участие и я, стоявший так долго в стороне,

человек, для которого слова «Христос» и «всевышний» значили не больше чем «зима», «осень» или «нарцисс». И вот, облаченные во все белое, мы движемся к церкви, а неверующий деревенский люд — кто, конечно, не поленился встать в такую рань — тарачится на нас. И хотя их восхищение было мне как бальзам на сердце, в то же время, сознаюсь, я испытывал стыд от одной мысли, что еще недавно сам стоял в этой толпе зевак. Идти под их взглядами мне было особенно тяжело, ибо в этой медленной и торжественной процессии я лучше чем кто-либо знал — да еще и восемнадцать лет поощрял молчанием — обряды, совершаемые этими людьми во имя своей религии. Вот почему я относился к ним с некоторой холодностью и находил слабое утешение в том, что при известном сходстве мы отличаемся от них не только именами, каковые в конце концов на лацкан не приколешь, но и одеждой. В воскресные дни, о которых идет речь, мы, мужчины, надевали костюмы из белой диагонали, а это вам не дхоти, в каких тут все ходят, хотя нелепее одеяния, по моему, не придумаешь. Иногда я щеголял в белом пробковом шлеме. Девушки и дамы надевали короткие платья, один вид которых приводил в ужас местное население, на голове у них красовались шляпы, — словом, приятно отметить, что они во всех отношениях напоминали своих сестер во Христе, приехавших в свое время из Канады и других дальних краев, чтобы просветить моих соплеменников. Я рискую навлечь на себя обвинение в том, что придаю слишком большое значение второстепенным деталям. Скажу, однако, в свое оправдание, что, по моему глубокому убеждению, прогресс определяется не внешними атрибутами, но перестройкой самого мышления, а именно к этому привела меня новая религия.

Исходя из сказанного, кто-то, возможно, заключит, что мое обращение в пресвитерианство принесло одни лишь выгоды и удовольствие. Не хочу излишне расписывать всякие испытания, через которые мне довелось пройти, замечу только, что в то время как в стенах школы и других учреждениях моя страстная преданность новому вероучению встречала благосклонное понимание, в повседневной жизни мне приходилось сносить постоянные насмешки тех родственников, которые, не вняв моему примеру, продолжали пребывать во мраке невежества. В их устах мое имя, Рэндолф, звучало как издевка. Я стойко держался. Иного я и не ждал, вера же придавала мне необходимые силы, как скупому — мысли о его сундуках. Со временем, убедившись, что их насмешки не производят на меня ни малейшего впечатления — напротив, если раньше, подписываясь, я утаивал свое имя за безликим инициалом Ч, то теперь я писал Рэндолф полностью, — так вот, со временем они отступились.

Но на этом мои испытания не кончились. Раньше я ел руками, и манера эта кажется мне сейчас столь отвратительной, противоестественной, негигиеничной, что остается только удивляться, как я мирился с этим до восемнадцати лет. Сознаюсь, однако, что есть руками было куда вкуснее, а мои первые попытки пустить в ход нож, вилку и ложку носили характер постыдного эксперимента, производившегося в строжайшей тайне, причем даже наедине с собой я не мог избавиться от чувства неловкости. Легче было привыкнуть к имени Рэндолф, нежели к ножу и вилке.

Однажды воскресным утром, когда я как раз завтракал по всем правилам, я услышал мужские шаги. Человек вошел без стука, и я сразу понял, что это кто-нибудь из родственников. Им и в голову не придет постучаться или закрыть за собой дверь.

Должен признаться, чувствовал я себя по-дурацки оттого, что меня застали вооруженным столовым прибором.

— Привет, Рэндолф, — сказал мой бывший одноклассник Хори с откровенной издевкой.

— Здравствуй, Хори.

Он пропустил мою иронию мимо ушей. Этот Хори был моим главным учителем. К тому же невежа из невеж. Душевной тонкостью он не страдал. Это был настоящий мужлан, упивающийся собственной невоспитанностью. В довершение всего он воображал себя великим полемистом, и в пылу наших бесконечных дискуссий и споров эта деревенщина — душевной тонкостью он, повторяю, не страдал — доказывал мне, что сидеть на корточках и есть с банановых листьев хорошо и гигиенично, что же до ножей и вилок, то они грязные, потому что ими кто только не пользуется, тогда как руки принадлежат лично тебе и их всегда можно тщательно вымыть. Однако свои руки, насколько мне известно, он никогда не мыл.

— Рубаешь, Рэндолф?

— Завтракаю, Хори.

— Говядина. Ты делаешь успехи, Рэндолф.

— Я рад, Хори, что ты это заметил.

Не понимаю, чего они так носятся с этой коровой<sup>1</sup> — мне она всегда казалась грязным животным, куда более грязным, чем свинья, которую они презирают. Правда, надо сказать, употребление говядины оказалось для меня самым тяжелым испытанием. И если я не отступился, то только потому, что меня укрепляла вера. Но чтобы тебя застигли в такой момент — я был в костюме из белой диагонали, на столе молитвенник, на стене белый пробковый шлем, я разделял говядину ножом и вилок, — так вот, чтобы тебя застигли в такую минуту, и не кто-нибудь, а Хори... было отчего смутиться. Я, наверное, производил впечатление не в меру усердного неопита.

Первым моим побуждением было выставить его. Но я тут же подумал, что это было бы слишком простым, слишком трусливым решением. И тогда я с удвоенной силой заработал ножом и вилок, демонстрируя все искусство, на какое был тогда способен. А этот мужлан уселся, но не на стул, а на стол, перед самым моим носом и глазами на меня, пока я ел. Я же ел так, словно вкушал священную пищу, и делал вид, будто не замечаю его улыбки. Он скрестил свои толстые ноги, откинулся чуть назад и воззрился на меня. Я — никакого внимания. Тут он взял со стола одну из вилок и давай ковырять ею в зубах. Гнев и отвращение охватили меня. На глаза навернулись слезы. Я поднялся, отставил тарелку, отодвинул стул и указал ему на дверь. Моя бурная реакция поразила его, и он не посмел ослушаться. Едва он вышел, как я взял вилку, которую он использовал не по назначению, согнул ее и выбросил в окно.

Как я уже сказал, прогресс — это перестройка мышления. И если я описываю это мелкое происшествие с таким чувством, то только потому, что оно показывает, как трудно бывает перестроиться, когда все вокруг так и норовят смешать с грязью и осмеять тех, кто, по мнению толпы, поднимается над ее уровнем. И что бы там ни говорили, но с презрением людей, пусть невежественных, нелегко примириться. Так что не надо думать, будто мне новая религия не принесла невзгод и лишений. Просто, укрепленный верой, я нашел в себе силы выдержать все испытания.

Огненные моя жизнь стала одинокой. Я отошел от семьи и всяких семейных сборищ, некогда доставлявших мне столько радости и утешения, ибо в глубине души, сознаюсь, я всегда лелеял мысль, что случись подлинное несчастье, и мне будет к кому обратиться. Теперь я был лишен этой спасительной надежды. Я посвятил себя моему призванию с усердием, удивившим меня самого. Чтобы стать учителем, сперва нужно выучиться, так вот, я приложил немало усилий, чтобы меня послали в Педагогический колледж в Порт-оф-Спейне. Конкурс в такие заведения жесточайший, и много лет меня обходили, поскольку всегда подбирались более достойные кандидаты. Ну конечно, некоторые из них, если на то пошло, родились в пресвитерианских семьях. Однако мое рвение, лишь возраставшее по мере неудач, было в конце концов вознаграждено. Меня послали в Педагогический колледж, когда мне минуло двадцать восемь лет, так что я оказался значительно старше остальных учеников.

Не очень-то приятно было наблюдать, как процветал все эти десять лет Хори. Он занялся перевозкой грузов и весьма в этом преуспел. Купил второй грузовик, затем третий, и его процветанию, казалось, не будет предела, тогда как мое процветание ограничивалось известным содержимым коричневого конверта, вручаемого служащим в конце каждого месяца. Мой костюм, которым я поначалу так гордился, потерял вид, так что в нем уже стыдно было появиться в церкви. Но я осознал, что мне ниспослано еще одно испытание, и выдержал его — под конец, представьте, заплаты на локтях даже доставляли мне удовольствие.

Однажды меня пригласили на свадьбу сына Хори, Кедара. До чего же рано женится эта молодежь! Повод, по которому все собрались, был важнее религиозных разногласий, и я получил истинное наслаждение оттого, что я снова в кругу семьи, ибо отношение ко мне изменилось. Они примирились с моим переходом в пресвитерианство и вообще выказывали уважение к моей профессии, чего, пожалуй, не скажешь о моем начальстве и даже учениках. Свадебный обряд удручил меня. Этот сомнительный, хотя и красивый шатер, эти арки из кокосовых пальм, увешанные

<sup>1</sup> В Индии корова — священное животное. (Здесь и далее примечания переводчиков.)

гроздьями фруктов, все эти листья манго и травы, шафран и жертвенный огонь — все это я воспринимал скорее со стыдом, нежели с наслаждением. Впрочем, обрядом праздник не исчерпывался. Блюда были самые разные, и хотя все вегетарианские, но необычайно соблазнительные, так что после долгой неприязни к индийской кухне я снова почувствовал к ней вкус. Блюд, впрочем, было множество. Музыка и танцы захватывали. Шатер и иллюминация великолепием своим затмили даже наш школьный актовый зал в дни концертов, хотя, конечно, в самой свадебной церемонии отсутствовали то изящество и благородство, которые отличают венчание в церкви, — а где как не в церкви и надлежит заключать браки?

Кедар получил сказочное приданое. Его невеста, чье лицо я увидел мельком, когда на миг откинули шелковое покрывало, была воистину красавицей. Но подобная красота всегда казалась мне поверхностной. Женская красота безусловно волнует. Но за красотой должно просматриваться нечто большее, а именно манеры, о чем я не устаю повторять Уинстону, ибо учиться никогда не поздно, — манеры и обхождение. Она была красавица. Грустно было сознавать, что она связывает себя с Кедаром на всю жизнь, но кто знает, может, больше ни к чему она и не была пригодна. Что до Кедара, то его роскошный наряд говорил сам за себя: царственный тюрбан с венчиком из стекляруса, богато расшитый шелковый жилет, всевозможные украшения, — в ту ночь кто бы взглядел за всем этим простого водителя грузовика?

Я ушел со свадьбы глубоко опечаленный. Я невольно размышлял о собственном положении, сравнивая его с положением Хори и даже Кедара. Мне было уже за сорок, а о женитьбе, которая при других обстоятельствах произошла бы лет двадцать назад, я по-прежнему не мог и мечтать. Тут я был сам виноват. Брак по контракту, как у Кедара, никак не входил в мои планы. Я хотел жениться на той, которая, говоря языком персонажа из «Векфильдского священника»<sup>2</sup>, обладала бы неувыдающими добродетелями. Моя избранница должна была отвечать строгим требованиям. Я желал вступить в брак с пресвитерианкой, умной, с хорошим воспитанием и образованием и которая бы, в свою очередь, хотела выйти замуж за меня. Увы, последнее условие крайне сужало круг возможных избранниц. Да и что я мог предложить? Другое дело, если бы я направил свои поиски в индийскую общину. Вероятно, нашлись бы состоятельные люди, пожелавшие отдать своих дочерей за учителя, дабы погреться в лучах славы, окружающей эрудированного человека. Конечно, в этом положении есть свои минусы, поскольку дочь остается как бы под родительским крылом, и все же оно не лишено известной притягательности.

Вы можете догадаться и не ошибетесь, что в этот момент мои религиозные убеждения подверглись серьезнейшему испытанию. Страшно сказать, сколько раз я был на грани вероотступничества. Я готов был поддаться искушению; еще ревностней предался я обрядам и молитвам. Я говорил себе о никчемности земных радостей, но сознавал, как мало нашлось бы у меня единомышленников. Замечу вскользь и безо всякого тщеславия, что я получил несколько предложений от отцов, которые были готовы выдать за меня своих некрещеных дочерей при условии, что я отрекись от религиозных убеждений, но я не мог уступить — слишком много пришлось мне уступать в прошлом моим соплеменникам.

И вот во дни сомнений, перемежавшихся ночными борениями с господом, — вот когда я впервые осознал до конца смысл этого библейского выражения — в судьбе моей произошел перелом. Меня назначили директором. Теперь можно сказать все! Многие ли знают, через какие мытарства, дрязги, интриги должен пройти рядовой учитель, чтобы получить такое повышение? Какие тут начинаются подтасовки и злопыхательство, как вспыхивает зависть. Упомянуть ли о том, что ты вынужден заискивать перед начальством, и безропотно сносить нагоняя, и выжидать, и выводить на чистую воду недостойных, рвущихся занять должности, коим они вовсе не соответствуют и которые они, однако же, в силу своей бойкости и внешней респектабельности, показной деловитости и набожности, умеют выпросить у начальства, как будто они для этих мест созданы? У меня были свои недруги. Мой главный соперник... ну да мир праху его! Как христианин я никогда не заподозрю человека в преднамеренной злокозненности, даже когда покину эту юдоль скорби.

На мое счастье, вовремя явился мне промысел господень. Говорю об этом со

<sup>2</sup> Роман английского писателя Оливера Голдсмита.



всею серьезностью. В противном случае я несомненно заблудился бы во тьме, ибо кому из нас дано так закалить себя, чтобы противостоять искушению до конца дней своих? Исполняя благодарности, я с удвоенной энергией отдался моим обязанностям. И этим я, безусловно, снискал благорасположение начальства, что впоследствии и привело к успеху на служебном поприще. Ибо в то время, когда большинство людей, измученные борьбой, позволяют себе расслабиться, я выказал еще больший пыл. Я ввел порядок молиться четыре раза в день. Я требовал неукоснительного посещения воскресной школы. Я сам преподавал в воскресной школе и силой своего авторитета убедил других учителей последовать этому примеру, так что школьная неделя увеличилась для всех нас на один день, день отдыха, который мы заполняли трудами на благо господне.

Не забыла я и об общеобразовательных дисциплинах. Все доски отныне пестрели цветными диаграммами, отражавшими наши ближайшие планы. Любо-дорого было посмотреть на школу! Я установил жесткий дисциплинарный порядок, запретив бессистемную порку учеников. Я стал самолично пороть по пятницам, демонстрируя всей школе, и ученикам и учителям, так сказать, верх беспристрастности. Нет сомнений в том, что эта система более прогрессивная, и приятно отметить, что сегодня она введена на нашем острове повсеместно. Самых способных учеников я оставлял после занятий и за небольшую дополнительную плату давал им частные уроки. И вскоре отношение к работе как к идеалу, служению которому не тяготит, но доставляет радость, настолько укоренилось в школе, что польза от таких уроков была всеми признаваема, и очень скоро я уже с трудом мог справиться с прибывающим потоком учеников, остававшихся после занятий, чтобы лишний раз посидеть на «частых уроках», как они их любовно называли.

А еще я женился. Теперь я мог выбрать любую невесту, ну а среди тех, кто вел занятия в воскресной школе, было немало таких, кто не скрывал своей ко мне симпатии. В самом деле, разве я так уж нехорош собой? Но я-то хотел жениться на той, которая обладала бы неувядающими добродетелями. Мне было под пятьдесят. Не хотелось брать жену значительно моложе себя. И в этот ответственный момент я более чем кстати получаю предложение — я предпочел бы не употреблять этого слова, которое слишком пахнет индийскими обычаями и напоминает о всяких имущественных операциях, не туг я должен говорить начистоту, — и не от кого-нибудь, а от самого инспектора школ, у которого была незамужняя дочь тридцати пяти лет, женщина, обойденная вниманием мужчин по причине своих совершенств — да, я не оговорился, — весьма значительных, однако не таких, чтобы бросаться всем в глаза. Давно пора нам пересмотреть наше отношение к женщине! В те дни я много размышлял о браке. Об этом поворотном моменте в жизни, влекущем за собой всевозможные последствия. Хотел бы я знать, как поступит Уинстон, мой бедный мальчик, когда придет его время.

Моя обитель не могла соперничать по своему великолепию с домами Хри или Кедача, зато внутри царил покой и хороший вкус, о чем я давно мечтал. Это был обыкновенный деревянный дом, но сработанный на славу, основательно, не то что эти современные уродины, какие сейчас строят, — и все в нем было продумано. Простые стулья с плетеными сиденьями. Никаких тебе столиков с мраморными столешницами и кружевных скатерок с бахромой! Никаких горок с посудой! Я повесил на стену свой драгоценный учительский диплом в рамке вместе с религиозными сюжетами и деревенскими пейзажами Англии. Весьма кстати приобрел я по случаю фотографию одного из первых наших миссионеров — с его собственной подписью. В украшение нашего скромного жилища моя жена вложила, наверное, всю энергию, весь свой тридцатипятилетний опыт, которые доселе не находили себе применения.

Для нее, как и для меня, все пришло с опозданием. Многие друзья, тайные же за внешней доброжелательностью, как мы потом убедились, сильнейшую неприязнь, старались укрепить в нас опасения, что мы останемся бездетными по причине нашего зрелого возраста. Но они, как и мы, недооценивали действенность молитвы, ибо не прошло и года, как у нас родился Уинстон.

Господь в своей милости благословил нас рождением Уинстона. И все же это событие вселило в меня некоторую тревогу, поскольку я не мог не видеть возрастной разницы между нами. Например, мне приходило в голову, что ему будет три-

дцать, а мне восемьдесят. Думать об этом было мучительно, так как, возможно в силу моей профессии, я особенно дорожу обществом детей. Еще одно обстоятельство беспокоило меня. Ведь Уинстон в годы своего становления окажется не только без моего руководства — ибо как может мужчина семидесяти лет руководить пылким двадцатилетним юношей? — но и без моей финансовой поддержки.

Проблема денег, как это ни покажется странным, учитывая мое неожиданное повышение по службе со всеми вытекающими преимуществами, занимала нас с женой все больше и больше. Приближался мой уход на пенсию, а пособие, на которое я мог рассчитывать, едва ли превысило бы ту скромную сумму, что я получал в качестве рядового учителя-практиканта. Выходило так, что, подобно пилигримам, чьим подвижничеством я могу восхищаться лишь умозрительно, я приближался к цели, делая два шага вперед и один назад, хотя в данном случае правомернее было бы говорить об одном шаге вперед и одном назад. Вот так успех рассыпается в прах, когда к нему стремятся, как я, со всей страстностью! С самого бы начала мне эту верность и крепость веры, я бы уже тогда распознал всю обманчивость мирских соблазнов, которые манят человека, чтобы потом обмануть.

Как я уже сказал, обоих нас охватило беспокойство. Размышления о судьбе младенца Уинстона измучили нас, а несчастное невинное создание ведать не ведало, какая участь ждет его, когда мы оба покинем эту юдоль скорби. Его беспомощность, его полная зависимость от нас разрывала мне сердце. Прошло то время, когда я мог выгодно застраховать свою жизнь, а прежде, в мою бытность простым учителем, у меня никогда и не было таких средств. Выходило так, что я стал жертвой собственной удачи, что я пожинал горькие плоды моих достижений. Но этому знаку я почему-то не придал должного значения.

Пока была возможность, я продолжал давать частные уроки. К вечерним занятиям я добавил утренние, но легче на душе не стало. Меня угнетала мысль, что через несколько лет мне будет отказано в этой привилегии и соответствующем скромном вознаграждении, поскольку частные уроки, как вы понимаете, считаются прерогативой директора: так он самоутверждается в глазах школы. Результаты публичных экзаменов для мальчиков моложе двенадцати лет выглядели обнадеживающими в сравнении с показателями других школ. Религиозного рвения у меня не побавилось, и не иначе как это рвение, пылавшее в человеке моего возраста и положения, когда другие — что им, счастливым, имеющим взрослых детей! — давно бы уже угмонились, так вот, это поразительное рвение, повторяю, способствовало, надо думать, моему позднему взлету, которого я, как вам станет ясно из этого неприятного повествования, несколько не добивался.

Приближался мой уход на пенсию. Я стал крут с учениками. Хотелось, чтобы они все разом поумнели. Я был безжалостен к отстающим. Моя жена, бедняжка, не умела, подобно мне, скрывать свое беспокойство. У нее не было призвания, не было таких дел, чтобы отвлечься и забыть среди них свою тревогу. У нее был только Уинстон, и она жила в постоянном страхе за будущее нашего любимого чада. Ради него она наверняка пожертвовала бы жизнью! Нелегко ей приходилось. Так что всякий, в ком сохранилась хоть толика христианского милосердия, понял бы, что упреки, которые она все чаще и ожесточеннее бросала в мой адрес, были проявлением ее внутреннего беспокойства. Но должен сознаться, что сам я, случалось, этого не понимал! И тогда мое жестокосердие повергало меня в отчаяние, как это происходит в данную минуту.

Мы поделились опасениями с моим тестем, инспектором школ. Мы, конечно, сознавали, что несправедливо взваливать на кого-то свои беды, но ведь известно, какое это приносит облегчение человеку, несущему непосильную ношу. Увы, хотя несчастный отец и тревожился за судьбу дочери, как она тревожилась за будущее Уинстона, он не мог помочь нам ничем, кроме искреннего участия. Он сообщил, что начальство не собирается продлить мой контракт. С горя я дал волю своему раздражению, каковой всплеск он великодушно мне простил; поначалу он, правда, ушел от нас, пообещав никогда более не оказывать поддержки, но тут же вернулся и посоветовал проявить терпение.

Мы проявили терпение. Я ушел на пенсию. Сидеть дома было выше моих сил, настолько я привык к повседневному гряду, к постоянным заботам. Я начал наносить визиты единственно потому, что остерегался домашнего одиночества. Моя ак-

тивность, думается, не прошла незамеченной, притом что я старательно обходил школу, поле моей недавней деятельности. Я рассчитывал привлечь к частным урокам двух-трех учеников, чьи успехи меня особенно волновали. Однако методы мои уже не встречали прежнего одобрения! Родители тех учеников сообщили, что новый директор высказался на этот счет достаточно определенно и весьма для меня не лестно, а именно в таком духе, что это повредило бы успехам данных учеников. Словом, я отступился, а точнее, раз уж пришло время говорить всю правду, они отступились от меня.

Инспектор школ, регулярно посещавший теперь наше скромное унылое жилище, советовал и дальше проявлять терпение. До сего момента я воздерживался предоставлять на этих страницах слово моей жене, не желая утягощать ношу, которую ей наверняка предстоит нести; видите ли, жена моя при всех своих добродетелях не познала блага образования, которому придается столько значения в наши дни. Вот почему я не стану воспроизводить здесь реплику, которой она сопроводила упомянутый совет ее отца. Достаточно сказать, что она прибегла к детскому стишку, переиначив в нем и рифму и размер, причем размер она разбила вместе с вазой, которую впопыхах опрокинула на пол, отчего образовалась лужа вроде тех, какие оставлял еще совсем недавно наш маленький Уинстон. После этого эпизода отношения между моей женой и ее отцом заметно натянулись, так что я теперь старался не засиживаться дома, да и приятно было, по правде говоря, отрешившись от домашних забот, совершать прогулки, во время которых простой деревенский люд приветствует тебя не иначе как «директор».

А затем, как это уже неоднократно происходило в моей жизни, тучи рассеялись и небо просветлело. Меня назначили заведующим школьным хозяйством. Сообщение, прозвучавшее более чем сердечно, исходило от самого инспектора и опередило официальное уведомление примерно на неделю. Это событие принесло мир в семью. До чего приятно было видеть, как озабоченность на лице инспектора школ сменилась выражением умиротворенности, как отец и дочь, можно сказать, души друг в друге не чают. Это доставило мне почти такую же радость, как новообретенное положение.

Ибо на закате дней твоих должность заведующего хозяйством — это совсем неплохо. Вот когда можно употребить во благо свои неограниченные возможности. Скажем, я предлагаю устроить школьный праздник — что сравнится с бурным, от сердца идущим ликованием, которым сопровождается такое предложение? Даже директора попадают от тебя в зависимость, так как ты можешь внезапно нагрянуть к ним в школу и доложить потом по инстанции о результатах проверки. К тому же этот пост предполагает большую ответственность, потому что заведовать хозяйством — это все равно что управлять делами компании. Заведующий хозяйством решает, например, следует ли заменить водопроводные трубы или их достаточно подремонтировать; красить их один или два раза; пройтись кистью по потолку или же целиком менять перекрытия. Он выписывает по своему усмотрению школьные парты и доски, мел и бумагу. Короче говоря, этот высокий пост идеально подходит для человека деятельного, которого страшит перспектива влачить жизнь пенсионера. Тут тебе и почет и свои преимущества. Кроме того, заведующего хозяйством, как всякого государственного служащего, редко отстраняют от должности — наоборот, его положение, как правило, только укрепляется.

Я энергично взялся за новое дело, и в доме нашем вновь воцарился мир. Мой тесть стал регулярно бывать у нас, бедняге словно не терпелось разделить торжество, которому он в немалой мере способствовал. Я присматривал за школой, преподавательским составом, учащимися. Навещая на дому родителей подведомственных мне учеников, я объяснял преимущества образования, губительность прогулов и тому подобное. Надеюсь, меня простят, если я скажу, что время от времени, когда почва казалась подготовленной, я ронял семена пресвитерианства или, во всяком случае, сомнения среди тех, кто продолжал блуждать во тьме. Подобного рвения среди заведующих школьным хозяйством не наблюдалось. Я сам затрудняюсь объяснить его. Возможно, сказались нетерпимость и максимализм молодости, породившие во мне такую истовость правоверного христианина. Но подобная истовость неизбежно должна была прийти к кое-кому не по вкусу.

Несмотря на весь почет, несмотря на приятный шум одобрения, которым встречается идея школьного праздника, заведующий хозяйством уязвим для враждебных и злонамеренных выпадов. Такова судьба всякого, кого облекли властью и финансовой ответственностью. Слухи расплозились, и хотя они не могли подорвать мой авторитет среди населения — например, перед выборами ко мне обратился каждый из пяти кандидатов с просьбой отдать голос за него, и эту щекотливую ситуацию я разрешил, пообещав всем пятерым воздержаться от голосования, за что они горячо благодарили меня, — нелегко, однако, общаться с людьми, изо дня в день жадно внимающими — ибо слаб человек, и ни на что так не падки наши деревенские простаки, как на грязные сплетни, — клевете в твой адрес. Я счел ниже своего достоинства, вернее ниже своего служебного достоинства, отвечать на эти выпады и обратился за советом, как уже неоднократно делал в последнее время, к моему тестю. Он предложил пожертвовать одной из подведомственных мне школ и продемонстрировать тем самым, насколько я не одобряю сплетен и не дорожу мирскими почестями. Видите ли, я так преуспел на новом поприще, что на моем попечении уже находились три школы, а это был предел допустимого.

Я последовал его совету. Я отказался от одной школы, пребывавшей в столь плачевном состоянии, что никакие переделки не могли скрыть первоначальных просчетов в конструкции. Большинство сплетен возникало именно вокруг этой школы, и мой шаг вызвал широкий резонанс и даже отклики в прессе. При всей любви к этой школе я готов был отдать ее в чужие руки. В результате предпринятого шага разговоры и сплетни прекратились. А кроме того, за этот шаг я был вознагражден сторицей: спустя несколько месяцев мой тесть, этот добрый вестник, дал понять, что в нашем районе будет, по-видимому, сооружаться новая школа. Моя кандидатура в качестве заведующего хозяйством была во всех отношениях подходящей, и тесть, этот честнейший посредник между властями и мною, сказал, что мое имя уже называлось в этой связи. На тот момент в моем ведении находились только две школы; я вправе был претендовать на третью. Тесть уговаривал меня принять возможное предложение. Я колебался, и не зря, как показало будущее. Но слишком заманчива была мысль о новой школе, создаваемой в полном соответствии с моими представлениями и принципами. Я поддался искушению. Ах, если бы вернуть тот миг и взять назад это «да»! Но тесть, добрая душа, поспешил сообщить о моем согласии; не прошло и двух недель, как я получил официальное уведомление.

Должен признаться, что в последующие месяцы, захваченный новым делом, я забыл о своих сомнениях. Я трудился не покладая рук, даже в ущерб двум другим школам. Ибо нет ничего милее сердцу заведующего хозяйственными делами учебных заведений, чем строящаяся школа. Но увы! Каждый шаг напоминает нам о тщетности всего земного. Как часто бывает, что человек, заняв вожацкое место, которое он как никто другой заслуживал, вдруг оступается! Получив наконец свой шанс, он не способен воспользоваться им. Все силы ушли на достижение цели.

Нечто подобное случилось со мной. За что бы я ни брался, все выходило не так. Всегда аккуратный и точный в своих финансовых расчетах, отныне я повторял ошибку за ошибкой. Все мои прикидки оказывались неверными. То и дело ощущались перебои с материалами. Здание росло куда медленнее, чем мне того хотелось. И нигде было искать утешения, ибо в эту минуту, минуту нескончаемой пытки, я остался одинок! Ни у жены, ни у тестя я не мог найти участия. Они упивались моим положением, забыв обо мне. Мне представился великолепный шанс, и они не сомневались, что я сумею им воспользоваться; не мог же я разочаровать их, вторгнуться в этот безоблачный мир со своими тревогами.

Одни ошибки влекли за собой другие. Это была какая-то цепная реакция! Чтобы скрыть одну ошибку, мне приходилось замечать следы в двадцати местах, после чего нужно было скрывать уже двадцать ошибок. Я чувствовал, что меня засасывает собственная беспомощность, с которой, казалось, уже ничего нельзя поделать, это было нечто злое, насланное враждебными силами. И вот уже крах заглянул мне в глаза, и вся моя карьера, казалось, будет перечеркнута этим финальным крахом. Здание школы росло, это верно. И вид у него был вполне пристойный. Здание как здание. Но разве таким я его себе представлял? Я допустил ужасный просчет, и теперь было поздно что-либо исправлять. Все недостатки, все минусы скоро бросятся в глаза даже неспециалисту. По ночам я мучился, сознавая свое поражение. Как

легко можно было всего этого избежать, стоило только немножко подумать. Однако время для раздумий было упущено! Каждый день меня тянуло взглянуть на это здание, и всякий раз я надеялся, что совершится чудо и оно исчезнет за ночь с лица земли. Но здание стояло на прежнем месте немим укором.

От попреков жены и тестя легче не стало. Они вдвоем напустились на меня, утверждая, и не без оснований, что мой крах отразится на них. А дни шли! Я не мог — не в моих правилах пререкаться, отвечать оскорблением на оскорбление, — не мог выговаривать им за то, что они сами взвалили на меня все это на склоне лет. Я пошел на это ради них, ибо на тот момент я скопил достаточно, чтобы дожить свой век спокойно. Я сделал это ради жены, и тестя, и моего сына Уинстона. Но кто мне поверит? Человек, скажут, еще способен трудиться во имя господина, но чтобы во имя своих ближних... Они попрекали меня. Они от меня отвернулись. Бросили меня в минуту испытаний.

Это были горькие дни. Прохладными вечерами я совершал длительные прогулки по окрестным селениям. Навстречу с приветственными криками выбегали ребятишки. Матери отрывались от стряпни, отцы привставали с придорожных канализационных труб: «Директор!» И ведь скоро самый недалекий из них убедится в моем крахе. Надо действовать. Всякое свидетельство краха надо немедленно стирать с лица земли. Спалить школу — мыслимое ли это дело; но ведь существуют обстоятельства, когда подобные действия простительны, когда просто нет другого выхода. Как, например, сейчас! Конечно, мера крайняя. Но к ней неоднократно прибегали на этом острове. Так я убеждал самого себя. И неизбежно приходил к одному: свидетельства моего краха должны быть стерты с лица земли — и не только ради меня, ради всех тех, — включая жителей селения, — чьи судьбы связаны с моей.

Стоило мне укрепиться в этой мысли, как я перешел к решительным действиям. Дело было в середине ноября, когда у всех на уме уже одно рождество, а остальное отходит на второй план. Это было мне на руку. Я нуждался в помощниках — до чего совестно сейчас в этом признаваться, — поскольку в назначенный день я должен буду находиться вдали от места происхождения. Придется пустить в ход деньги, и немалые, из тех, что мы отложили на будущее для нашего Уинстона. Да уж и так пришлось затыкать рот кое-каким должностным лицам, возрадовавшимся было моему краху и мечтавшим расгубить о нем всему свету. Но вот наконец все было готово. День подарков мы проведем в Порт-оф-Спейне на бегах. А когда вернемся, школа уже исчезнет. Я говорю «мы», хотя жена не была посвящена в мои планы.

Страх, самобичевание, презрение к самому себе — в таком состоянии тянулись для меня оставшиеся дни. Рождественские гимны, которые в моем сознании всегда были связаны с несказанной благодатью сочельника — все это сейчас вновь нахлынуло на меня вследствие принятого решения, хотя подспудно нарастало ощущение конца и полного краха, увы, заслуженного, но, в конечном счете, благотворного, — так вот, и гимны и рождественские передачи по радио надрывали мое сердце, ибо мне казалось, что я порвал все связи с внешним миром, что я снова отпал от веры, которую исповедовал. Итак, дни проходили в печали, в лихорадочных молитвах и самоистязании. Сожаления не давали мне покоя. Сожаления о том, что все могло быть иначе. О том, что меня ожидало. Было такое чувство, будто я погружаюсь в выгребную яму, из которой мне уже не выбраться.

Моя жена пребывала в неведении. Но однажды она спросила: «Что ты решил?» — и, не дожидаясь ответа, тут же предложила подробнейший план, настолько совпадающий с моим собственным, что у меня упало сердце. Судите сами, если в этот ответственный момент, когда надо было проявить верх изобретательности, я выработал план, который под силу любому, значит, разоблачение неизбежно. К моему стыду, Уинстон, который каких-нибудь два-три дня назад подтрунивал над моим прежним нехристианским именем, сейчас принимал, причем без тени стыда, самое горячее участие в нашем разговоре, дрожа от возбуждения и выказывая — говорю об этом с горечью — такую гордость за отца, что я только диву давался.

Кому ведомы тайные движения души? Кто возьмется рассказать об искушении человека злом — нам ли, христианам, не знать о нем — и о противостоящей ему идее добра? Не забудьте, в эти дни все дышало любовью к ближнему. Да, именно так.

Я испытывал чувство любви ко всем и каждому. Мое сердце таяло при звуках рождественских гимнов. И разрывалось от тоски, стояло ребенку броситься ко мне с криком: «Директор!» Ибо вид этих чумазых созданий, отлученных в большинстве своем от образования, которое необходимо как воздух в юные годы и отсутствие которого впоследствии дает о себе знать на каждом шагу, обрекая человека на скотское существование,— вид этих созданий, исполненных благодарности к тому, кто вечерами напролет беззаветно нес им истинную веру, обезоруживал меня. Они гордились своей новой школой. Еще больше гордились они знакомством с тем, кто ее построил.

Везде я чувствовал себя отверженным. Я проводил все свободное время в церкви, но и там я был отверженным. Чем ближе становился назначенный день, тем чудовищнее казалось мне задуманное. Напрасно я уверял себя, что я далеко не первый, кто осуществит подобный замысел. Гимны, церковная служба, беседы о рождении и жизни человеческой — все это делало меня беспомощным.

Я бродил среди детей как человек, в чьей власти было дарить или не дарить благословение, и вспоминал иного учителя, сказавшего о тех, кто сейчас окружал меня, что они благословенны и что их есть царствие небесное. И вот, бродя среди них, я, кажется, впервые уловил сокровенный смысл веры, которую я исповедовал и о земной славе которой я так истово радел. И мне подумалось, что выпавшие мне испытания судьба специально приберегла под конец жизни, с тем чтобы лишь сейчас я пережил религиозный экстаз, о котором до сей поры только читал. Я пребывал в настоящем экстазе. Вот и сочельник. Вот и сочельник. Голова словно отделилась от туловища. Все труднее определять размеры предметов и расстояние до них. Я вырастаю. Я как будто на земле, но и где-то вовне.

Словом: «Нет! — сказал я жене за чаем. — Нет, я не опозорю себя этим трусливым поступком. Уж лучше всенародно объявлю о своем крахе и попрошу заслуженного наказания».

Ее реакцию нетрудно было предвидеть. В этот момент она развешивала всевозможные украшения, дорогие елочные украшения из Соединенных Штатов, последний крик моды, столь не похожие на те незатейливые игрушки, которые мне довелось видеть перед войной у первых миссионеров. Как же все изменилось с тех пор, как мы переехали в новый дом! Вместо простоты — все показное! И этим я гордился!

Она умоляла меня изменить решение. Она призвала на помощь Уинстона. Они оба плакали и упрашивали меня довести до конца наш план. Но я был тверд. Если бы инспектор школ был жив, я думаю, его бы тоже призвали уговаривать меня, только он, счастливцев, умер недели три назад, поручив дочь и внука моим заботам. Одно меня беспокоило: одерживая нравственную победу, я причинял страдания близким. Но я был тверд. А затем разыгралась одна из тех сцен, к которым я успел привыкнуть, и наш дом, еще утром звеневший от радостных криков Уинстона, превратился в дом скорби. Уинстон рыдал так, что слезы бежали по лицу ручьями, он уговаривал меня спалить школу, и вид у него при этом был такой, будто я не даю ему полюбоваться костром. А затем его мать вывела из употребления ряд предметов и ушла из дому вместе с Уинстоном, поклявшись, что никогда не вернется и не разделит со мной позора, которого ждать уже недолго.

И вот я сижу в своем доме, где с фотографии на меня смотрит бородач с густыми бровями — один из наших первых миссионеров — и где стены хранят столько воспоминаний о моей прежней жизни с ее грудностями и свершениями, борьбой и торжеством, а также, увы, финальным крахом, и жду — нет, не рождества, но того, что произойдет после Дня подарков, после бегов, куда мы должны поехать, — словом, жду инспекторов из Ревизионного управления. В доме пусто и темно. По радио передают рождественские гимны. Я один как перст. Но духом крепок. Засим я кладу перо. Рука устала, изящные буквы, какие нас учили выводить в миссионерской школе, уже подкашиваются и заваливаются набок на разливанной бумаге. В дверь стучат.

27 декабря.

Кому ведомы пути господни? Что можно сказать о бедствиях, выпадающих на долю человека? Мне отказано даже в искуплении грехов. Не успел я дописать последнюю фразу моего повествования, как в дверь постучали, и я пошел открывать

Вообразите, на пороге стоял мальчик с неожиданным известием. Подумать только, на западе небо окрасилось заревом! Мальчик прибежал сказать, что горит школа. Что было делать? Мир рушился. Даже в искуплении грехов, этом конечном торжестве человека, мне было отказано. Не судьба, видно. В минуту скорби и отчаяния я прежде всего вспомнил о жене. Куда она ушла? Я отправился ее искать. Все поиски оказались тщетными, и я вернулся домой, где и застал ее вместе с Уинстоном, ибо они, в свою очередь, разыскивали меня. Смеясь и плача, мы обнялись. Все-таки рождество пришло и в наш дом. С облегченным сердцем, изведавшим всю тяжесть одиночества с господом, поехал я с семьей вчера, в День подарков, на бега. Мы не играли на тотализаторе. Это противно нашим принципам. А сегодня инспектора Ревизионного управления известили меня, что их приезд отменяется.

Перевел С. ТАСК.

## *Боло осторожный*

Вплоть до сорок седьмого года Боло никак не верил, что война закончилась. До той поры он только и твердил:

— Это все пропаганда. Обманывают нас, черных.

А в сорок седьмом американцы начали сворачивать свой лагерь в парке короля Георга Пятого, и многим взгрустнулось.

Как-то в воскресенье Боло стриг меня и говорит:

— Я слышал, война кончилась.

Я сказал:

— Да, я тоже слышал. Но что-то не-очень верится.

Боло кивнул:

— Я тебя понимаю. У них, конечно, пропаганда, но я тут тоже умом пораскинул.

Если бы война еще шла, они бы лагерь оставили.

— А они уезжают,— подсказал я.

— Верно. Все просто, как дважды два.

— Как дважды два — четыре,— согласился я.

Некоторое время дождики пощелкивали задумчиво.

Потом он сказал:

— Вообще-то я рад, что война кончилась.

Расплачиваясь за стрижку, я спросил его:

— Как вы думаете, мистер Боло, что нам теперь делать? Может, стоит это отметить?

Он сказал:

— Не спеши, парень. Не спеши. Все не так просто. Подумать надо.

Больше мы к этому вопросу не возвращались.

Я помню вечер, когда в Порт-оф-Спейне узнали о конце войны. Все просто с ума посходили и высыпали на улицы праздновать. Весь город танцевал и пел неизвестно откуда взявшееся: «Что делает мисс Мэри Энн с дружкой у речки ночь и день?!»

Боло посмотрел на танцующих и сказал:

— Вот дурость! Вот дурость-то! Ну почему черные такие глупые?

Я спросил:

— Вы что, не слышали, мистер Боло? Война кончилась.

Он сплюнул:

— Ты-то откуда знаешь? Ты что, воевал?

— Но по радио сказали, и я в газетах читал.

Боло засмеялся:

— Ты прямо как маленький. Вон какой вымахал, а все веришь газетам?

Это была старая песня. Дожив до шестидесяти, Боло был твердо убежден, казалось, лишь в одном: газетам верить нельзя.

В этом заключалась вся его житейская мудрость, и счастья она ему не принесла. На нашей улице не было никого грустнее Боло.

Я думаю, Боло был от рода такой печальный. Одиннадцать лет, раз в неделю — это уж точно, я ходил к нему и ни разу не видел, чтоб он смеялся, разве что когда язвил. Боло был высокого роста, не из худых, лицо его с опущенными уголками губ

и вопросительно изогнутыми бровями выглядело карикатурой на печаль, а глаза были большие и ничего не выражали.

Удивительно, что Боло сводил концы с концами после того, как перестал стричь. По переписи он бы, наверное, проходил как носильщик. У него была тележка — тележки меньше мне не доводилось видеть.

Вся тележка была — небольшой ящик, посаженный на два колеса. Боло возил ее сам, налегая на ручки всем своим длинным телом, и лицо у него при этом было такое отрешенное, что хотелось спросить, к чему это ему вообще. На тележку влезало всего два-три мешка муки или сахара.

А по воскресеньям Боло опять стриг, и если он чем и гордился, так это своим парикмахерским искусством.

Боло часто спрашивал меня:

— Ты Самуэля знаешь?

Самуэль был самым преуспевающим парикмахером в округе. Он был такой богатый, что раз в году неделю отдыхал и не упускал случая упомянуть об этом.

Я каждый раз повторял:

— Да, знаю я Самуэля. Но ходить к нему не люблю. Он стричь не умеет. Каждый раз норовит меня обкорнать.

— А знаешь, кто научил Самуэля ножницы в руках держать? Знаешь? — спрашивал Боло.

Я отрицательно мотал головой.

— Я, Я учил Самуэля. Поначалу он даже побрить-то не мог. Пришел ко мне, плачет, умоляет: «Мистер Боло, мистер Боло, прошу вас, научите меня стричь». Я его научил, и ты посмотри, что вышло. Самуэль разбогател, понимаешь ты, а я так и живу в одной комнате в этой старой развалюхе. У Самуэля — отдельная комната для работы, а я на улице стригу, под манго.

— Да ведь это хорошо, что на улице, в комнате небось духота. А почему вы теперь стрижете только по воскресеньям, мистер Боло?

— Вот это вопрос так вопрос. Дело в том, парень, что я за себя не отвечаю.

— Это вы зря. Правда, хорошо стрижете, лучше Самуэля.

— Да я не об этом. Когда, дружок, перед тобой сидит кто-то и этот кто-то тебе не по душе, а у тебя в руке бритва, тут всякое может случиться. Так что я теперь людей стригу, только когда они мне не противны. Не могу я стричь всякого встречного-попечного.

В сорок пятом Боло не верил, что война кончилась, а ведь в тридцать девятом был одним из самых больших паникеров. Он тогда покупал все три выходившие в Порт-оф-Спейне газеты: «Гардиан», местную «Газетт» и «Ивнинг ньюс». Когда началась война и «Ивнинг ньюс» стала издавать специальные бюллетени, Боло покупал и их.

В те дни Боло говорил:

— Много народу думает, что мы так себе — грязь под ногами. Они думают, раз мы бедные, то и не понимаем ничего. Только со мной это не пройдет, ясно? Я газеты читаю каждый божий день.

Сильнее всего Боло интересовала «Гардиан». В какой-то момент он начал покупать экземпляры по двадцать каждый день.

«Гардиан» проводила конкурс «Где мяч?». Там печатались фотографии с эпизодами футбольных матчей, но изображение мяча стирали. Чтобы выиграть кучу денег, надо было всего лишь угадать, где был мяч, и поставить в этом месте крестик.

Боло ринулся на поиски мяча. Поначалу он довольствовался тем, что посылал в редакцию одну фотографию с крестиком.

Раз в неделю мы переживали вместе с ним.

Хэт, бывало, говорил ему:

— Спорим, Боло, ты о нас и не вспомнишь, если деньги выиграешь. Уедешь, приятель, с Мигель-стрит, купишь дом в Сент-Клэр, верно?

А Боло отвечает:

— Нет, я на Тринидаде не хочу оставаться. Я, пожалуй, в Штаты махну.

Сначала Боло покупал по две газеты. Потом три, четыре, шесть. Он ни разу не выиграл ни гроша. И почти всегда злился. Он так говорил: «Это знаешь как называется — вакханалия, вот как. Там, в газете, заранее решают, кому достанется приз. Им бы только деньги с нас, черных, тянуть».



Хэт его подбадривал:

— Не расстраивайся. Еще разок попробуй как следует.

Боло купил бумагу в клеточку и стал прикладывать ее на фотографии конкурса «Где мяч?». Там, где линии пересекались, он ставил крестики. Чтоб уж все было на-верняка. Боло приходилось покупать по сто — сто пятьдесят «Гардиан» в неделю.

Иногда Боло звал Бойе, Эррола и меня и спрашивал:

— Как вы думаете, ребята, где тут мяч? Давайте вы карандашом пометите, только не глядя.

А иногда он спрашивал нас:

— Вам что на этой неделе снилось?

Если мы говорили, что нам ничего не снилось, Боло бывал разочарован. Я, случалось, выдумывал сны, а Боло их толковал, пытаюсь таким образом угадать, где же мяч.

Боло стали называть «Где мяч?».

Хэт говорил так:

— Посмотрите на охотника за мячом.

В один прекрасный день Боло отправился в редакцию «Гардиан» и там с ходу избил помощника редактора — они даже полицию не успели позвать.

На суде Боло сказал:

— Мяч искать не надо, так и знайте. Его там сроду не было.

Боло оштрафовали на двадцать пять долларов.

Наша «Газетт» напечатала заметку «Дело об исчезнувшем мяче» с подзаголовком «Штраф за грубую игру».

Хотя Боло в поисках мяча потратил почти триста долларов, он даже утешительного приза не получил.

Сразу после суда Боло перестал стричь по будням и бросил читать «Гардиан».

Я не вспомню сейчас, почему Боло прекратил читать «Ивнинг ньюс», но причину бойкота им «Газетт» я знаю.

Во время войны в Порт-оф-Спейне стало очень плохо с жильем, и в сорок втором на помощь бездомным пришел какой-то филантроп. Он объявил, что затевается строительство на кооперативных началах. Те, кто хотел попробовать, что это такое, должны были внести примерно по двести долларов, и через год они бы получили новехонькие дома буквально за бесценок. Какие-то шишки благословили это начинание, и толпа народа ела-пила по этому поводу на званых обедах.

Рекламировали эту затею вовсю; пять-шесть домов были построены, и туда вселились некоторые участники званых обедов. На газетных фотографиях люди вкладывали ключи в замки и переступали через пороги.

Боло увидел в «Газетт» фотографии и рекламу и выложил требуемые двести долларов.

В сорок третьем директор «Общества кооперативного строительства» исчез, и двести тысяч домов превратились в мираж.

Боло перестал читать «Газетт».

Как-то в тот год ноябрьским воскресеньем мы сидели под манго и ждали своей очереди подстричься, и тут Боло обратился к нам с речью:

— Я вам сейчас кое-что скажу. И упаси меня господи нарушить слово — пусть я лучше ослепну. Больше я газет не читаю. Даже если выучу китайский, я и китайских газет читать не буду, так и знайте. Газетам верить нельзя, — сказал Боло.

Он в этот момент стриг Хэта, и тот поспешил подняться и уйти.

Потом сказал мне:

— Знаешь, что я подумал? У Боло теперь стричься не будем. Кроме шуток, я его боюсь.

Долго раздумывать над решением Хэта нам не пришлось, потому что через несколько дней Боло сам пришел к нам и сказал:

— Я к каждому по отдельности пришел, потому что прощаюсь навсегда.

Он был такой печальный, что, казалось, вот-вот заплачет.

Хэт спросил:

— А что ты собираешься делать?

— Уезжаю я с этого острова. Тут одно жулье.

— Боло, ты тележку с собой берешь? — Это Эддос спросил.

— Нет, — сказал Боло, — а что, она тебе нужна?

— Да вот я думаю. Вещь-то хорошая, мне кажется.

Боло ему:

— Эддос, бери мою тележку.

Хэт поинтересовался:

— Ты куда едешь, Боло?

— Так я тебе и сказал.

С тем он и ушел в тот вечер.

Эддос спросил Хэта:

— Ты думаешь, Боло с ума сошел?

— Нет. Он в Венесуэлу нацелился. Потому и помалкивает. В Венесуэле полиция тринидадцев не жалуется.

Эддос сказал:

— Боло хороший человек, жалко, что он уезжает. Вот эта тележка, которую он мне оставляет, — на нее ведь много охотников, я сам таких знаю.

В тот же вечер мы пошли к Боло и освободили его комнатку от всего хоть мало-мальски ценного. Особо нам трудиться не пришлось. Всего там было: кусок клеенки, две-три старых расчески, тесак и скамейка. Мы погрустнели.

Хэт сказал:

— Действительно, Боло у нас тут несладко жилось. По-моему, он правильно сделал, что уехал.

Эддос рыскал по комнате в поисках чего-нибудь путного.

— Боло с собой, ребята, все забрал, — ворчал он.

На следующий день под вечер Эддос явился с новостью:

— Знаете, сколько я получил за тележку? Два доллара!

Хэт говорит:

— Однако ты шустрый, Эддос.

А потом мы увидели Боло собственной персоной — он шагал по Мигель-стрит.

— Эддос, берегись, — предупредил Хэт.

— А он мне ее сам оставил, — возразил Эддос. — Не украд же я ее.

Вид у Боло был усталый, а таким печальным мы его и вовсе никогда не видели.

Хэт спросил:

— Что случилось, Боло? Ты побил все рекорды, дружище. Только не рассказывай мне, что ты уже побывал в Венесуэле и вернулся обратно.

— Тринидадцы! — произнес Боло. — Тринидадцы! Что бы Гитлеру не разбомбить весь этот остров вместе со всеми сукиными детьми. Не тех он бомбил, так и знайте.

— Сядь, Боло, и расскажи, что случилось, — попросил Хэт.

— Не сейчас. У меня есть сперва одно дело. Эддос, где моя тележка?

Хэт засмеялся.

— Смеешься, — сказал Боло, — а я тут ничего смешного не вижу. Где моя тележка, Эддос? Второй такой, знаешь ли, нету.

— Твоя тележка, Боло? — переспросил Эддос. — Ты же мне ее отдал.

— А теперь верни мне ее, пожалуйста, назад.

— Я ее продал, Боло. Вот два доллара, которые я за нее получил.

— Ну ты, парень, шустрый, — сказал Боло.

Эддос начал подниматься.

— Эддос, — продолжал Боло, — об одном тебя прошу. Стричься ко мне больше не приходи, слышишь? Я за себя не отвечаю. И пойдй выкупи мою тележку.

Эддос ушел, бормоча:

— Ну и дела пошли, люди невесть что воображают о своих тележках. Разве сравнишь твою малявку с моей большой голубой тележкой?

Боло сказал:

— Когда я доберусь до этого вора, до подлеца этого, который взял у меня деньги и обещал переправить в Венесуэлу, я ему задам. Знаете, что он сделал? Катал меня всю ночь на моторке, потом высадил на болоте — приехали, говорит, Венесуэла. Я смотрю, люди какие-то. Начинаю с ними говорить по-испански, они мотают головами и смеются. И что оказывается? Тринидад это, где он меня высадил, — от Ла Бри мила три-четыре.

— Боло, ты даже не представляешь, как тебе повезло, — это Хэт говорит. — Есть и такие, что убили бы тебя, друг, и за борт. Зачем им неприятности с венесуэльской полицией. В Венесуэлу переправлять людей — это, знаешь ли, против закона.

После этого случая мы Боло почти не видели. Эддосу удалось получить тележку назад, и он попросил меня отвезти ее Боло.

— Теперь ты понимаешь, почему черным так туго приходится в этой жизни. Он же при тебе отдал ее мне своими собственными руками, а теперь — давай назад. Отвези ее Боло и передай от Эддоса, пусть подавится своей тележкой.

Боло я сказал:

— Эддос просил передать, что он извиняется и вот посылает тележку.

— Теперь ты видишь, что за народ эти черные. Как брат, так они тут как тут. А как отдавать — так их нету. Поэтому черные и не ладят всегда.

Я сказал:

— Мистер Боло, я тоже кое-что взял, но я отдам. В смысле клеенку. Я ее взял и отнес матери, но она сказала, чтоб я назад отнес.

— Ладно, — сказал Боло. — Но кто тебя стриг, паренек, все это время? У тебя на голове как будто курица сидела.

— Меня Самуэль стриг, мистер Боло. Я же вам говорил, что он стричь не умеет. Видите, как обкорнал?

— Приходи в воскресенье, — предложил Боло, — я тебя подстригу.

Я заколебался.

— Боишься? — спросил Боло. — Не валяй дурака. Ты-то мне нравишься.

И в воскресенье я пошел к нему.

— Как у тебя в школе? — спросил Боло.

Хвастать я не хотел.

— Я хочу, чтоб ты для меня кое-что сделал. Но я не знаю пока, стоит ли тебя просить.

Я ему говорю:

— Конечно, попросите, мистер Боло. Я для вас что хочешь сделаю.

— Ладно, это не к спеху. В следующий раз придешь, я тебе скажу, в чем дело.

Я пришел снова через месяц, и Боло спросил меня:

— Ты читать умеешь?

Я заверил его, что умею.

Он сказал:

— То, что я делаю, — это секрет. Ты секреты умеешь хранить?

— Да, — говорю, — умею.

— Одинокому старику вроде меня заняться в жизни особенно нечем. А одинокому старику вроде меня надо чем-то заниматься. Вот я этим и занимаюсь, о чем тебе хочу рассказать.

— А чем вы занимаетесь, мистер Боло?

Он перестал меня стричь и выгнул из кармана штанов листок, на котором было что-то напечатано.

— Знаешь, что это такое? — спросил он меня.

— Лотерейный билет, — говорю.

— Правильно. Ты, парень, не дурак. Это действительно лотерейный билет.

— А что вы хотите, чтоб я сделал, мистер Боло?

— Сначала обещаю, что никому не скажешь.

Я дал слово, что никому.

— Я хочу, чтоб ты проверил его.

Розыгрыш проводился месяца полтора спустя, и я проверил билет Боло.

— Ваш не выиграл, мистер Боло, — сообщил я ему.

— Даже близко нету?

Я покачал головой.

Но Боло не был разочарован.

— Я так и знал, — сказал он.

Мы хранили наш секрет почти три года. И все это время Боло покупал билеты тотализатора и ни разу не выиграл. Никто и не знал, и даже когда Хэт или еще кто-нибудь говорили: «Боло, я знаю, что тебе стоит попробовать. Почему бы не попытать счастья в лотерее?» — Боло отвечал: «Я такими вещами больше не занимаюсь».

В рождественский розыгрыш сорок восьмого номер Боло выиграл. Там немного было, что-то около трехсот долларов.

Я прибежал к Боло:

— Мистер Боло, ваш номер выиграл.

Он воспринял это совсем не так, как я ожидал. Он сказал:

— Ты, парень, из коротких штанишек уже вырос. Но ты меня не зли, а то придется тебя выпороть.

— Но он действительно выиграл, мистер Боло.

— А ты-то откуда, черт тебя возьми, об этом знаешь? — спросил он.

— Из газеты.

Тут Боло всерьез обозлился и ухватил меня за шиворот.

— Сколько раз тебе повторять, сучонок, чтоб ты не верил газетам? — заорал он.

Тогда я пошел удостовериться в «Тринидадский клуб любителей скачек».

— Все верно, — сказал я Боло.

Он отказывался верить.

— Все тринидадцы вруны, врун на вруне. Только и умеют что врать. Тебя они могут провести, но меня им не провести.

На улице я рассказал всем:

— Боло совсем спятил. Человеку положено триста долларов, а он не хочет верить.

Как-то раз Бойе говорит Боло:

— Ты, значит, выиграл в лотерее.

Боло как напустится на него.

— Разыгрываешь меня, да? — кричит. — Я тебе в деда гожусь, а ты надо мной подшучиваешь?

А когда он увидел меня, то сказал:

— Вот как ты хранишь секреты? Так, да? И что же вы, тринидадцы, за народ такой?

И он привез свою тележку к дому Эддоса, приговаривая:

— Тебе тележка нужна, да, Эддос? Так возьми ее.

И давай рубить ее на куски своим тесаком.

Когда я подошел, он закричал мне:

— Они думают, меня можно обдурить.

Вытащил свой лотерейный билет и разорвал. Потом подбежал ко мне и затолкал обрывки в карман моей рубашки.

Он так и жил один в своей комнатенке, на улицу выходил редко и ни с кем не разговаривал. Раз в месяц он ходил получать пенсию.

Перевел М. ШЕВЕЛЕВ.

## *Но вот пришли солдаты*

Брат Хэта Эдвард был во многих отношениях одаренным человеком, и я всегда сожалел, что он отбился от нас. Когда я с ним познакомился, он помогал Хэту в коровнике и показался мне таким же благополучным и степенным, как и брат. По словам Эдварда, он навеки порвал с женщинами, целиком посвятив себя футболу, крикету, скачкам, боксу и петушиным боям. Это не давало ему скучать и не приносило огорчения, потому что он был нечестолобив.

Так же как и Хэт, Эдвард был неравнодушен к прекрасному. Но он не разделял увлечений брата птичками с ярким оперением. Эдвард рисовал.

Больше всего он любил изображать коричневую руку, пожимающую руку негра. И уж если Эдвард рисовал коричневую руку, она была коричневой. Без всяких там глупостей вроде светотени. Море было синее, а горы зеленые.

Эдвард сам делал паспарту из красного картона для своих картин. Крупные универсальные магазины Сальватори, Фогарти и Джонсона брали его картины на комиссию. Однако на Мигель-стрит к Эдварду относились с опаской.

При виде миссис Морган в новом платье он говорил:

— Ах, миссис Морган, какое у вас чудесное платье, неплохо б его подразукрасить.

Или, встретив Эддоса в новой рубашке, предлагал:

— Эй, Эддос, у тебя новая рубашка, напиши на ней свое имя, а то ее сопрут, оглянуться не успеешь. Слышишь, давай я напишу.

Таким образом он перепортил много одежды.

Еще у него была привычка дарить галстуки, которые он раскрашивал собственноручно.

— У меня кое-что есть для тебя,— говорил он.— Дарю тебе, носи. Ты мне нравишься.

Если галстук не надевали, Эдвард приходил в ярость.

— Вот неблагодарные негры! — кричал он.— Судите сами. Вижу, у него нет галстука. Сажусь в автобус, еду в город. Иду к Джонсону, разыскиваю мужской отдел. Плачу продавщице, беру галстук. Еду домой. Достāju кисть и краски. Окунаю кисть в краску, расписываю галстук. Трачу битых три часа, а этот тип не надевает галстука! Но Эдвард не только рисовал.

Как-то спустя несколько месяцев после того как я переехал на Мигель-стрит, он сказал:

— Возвращаюсь вчера вечером на автобусе из Кокорайта, слышу, под колесами то и дело хрупают крабы. Знаете, где ксиковая роща и болото? Там крабов видимо-невидимо. Говорят, они даже на пальмы взбираются.

— Выползают толпами при полной луне,— сказал Хэт.— Давайте сегодня пойдем ловить крабов, которых видел Эдвард.

— Как раз это я и хотел предложить,— сказал Эдвард.— Нужно взять с собой ребят, а то там столько крабов, им тоже достанется.

Итак, нас пригласили.

— Вот что я думаю, Хэт,— сказал Эдвард.— Неплохо бы захватить лопату. Крабов так много, можно грести лопатой.

— Ладно,— согласился Хэт,— возьмем лопату из коровника.

— Договорились. А вот у всех крепкие башмаки? Знаете, лучше добыть крепкие башмаки, а то с крабами шутки плохи, отхватят палец на ноге и убегут с ним — оглянуться не успеешь.

— Я надену краги, в которых чищу коровник,— сказал Хэт.

— И перчатки хорошо бы надеть,— продолжал Эдвард.— Один, я знаю, ловил крабов, и вдруг его правая рука пошла от него. Глядь, а ее тащат четыре краба. Он подскочил и давал вопить. Так что поосторожней. Если у вас нет перчаток, ребята, намотайте что-нибудь на руки. Тогда все будет нормально.

Поздно вечером мы погрузились в автобус, который шел в сторону Кокорайта. Хэт и Эдвард — в крагах, а мы — с тесаками и мешками.

От лопаты Эдварда несло коровником, и некоторые пассажиры морщились.

— Пускай нюхают,— сказал Хэт.— Молочко-то коровье небось все любят.

Пассажиры посматривали на краги, на тесаки, на мешки и на лопату и быстро отводили глаза. Разговоры в автобусе стихли. Кондуктор не спрашивал с нас за проезд. Первым нарушил молчание Эдвард.

— Нужно обойтись без тесаков,— сказал он.— Убивать нехорошо. Попытаемся взять их живьем — и в мешок.

Многие сошли на следующей остановке. Когда доехали до Макурапо-роуд, в автобусе, кроме нас, никого не оставалось. Кондуктор держался от нас подальше и переговаривался с водителем.

Перед конечной остановкой, Кокорайтом, Эдвард спохватился:

— Ах ты, совсем забыл. Нам не перевезти всех крабов в автобусе. Придется по телефону вызвать фургон.

Он сошел на одну остановку раньше.

При ярком свете луны мы прошли немного по дороге и спустились к болоту. Тихий ветерок веял с моря, повсюду чувствовался запах застоявшейся морской воды. Под кронами пальм была непроглядная тьма. Мы вошли в рощу. Облако закрыло луну, и ветерок улегся.

— Эй, ребята,— окликнул нас Хэт.— Поберегите ноги. А то потом недосчитаетесь пальцев.

— Да нет тут никаких крабов,— сказал Бойе.

Минут через десять подошел Эдвард.

— Сколько мешков наловили? — спросил он.

— Похоже, не только нам пришло в голову ловить крабов,— ответил Хэт.— Их уже всех перловили.

— Чепуха,— сказал Эдвард.— Вы что, не видите, луна скрылась. Подождем, луна выглянет, тогда и крабы вышолзут. Садись, ребята, будем ждать.

Луна зашла за облако на целых полчаса.

— Уже холодно, домой хочу... Нет здесь никаких крабов,— сказал Бойе.

— Не обращайтесь на него внимания,— сказал Эррол.— Знаю я его. Бойе просто темноты боится, думает, краб его укусит.

Тут вдалеке что-то прогрохотало.

— Фургон, что ли, едет,— сказал Хэт.

— Это не фургон. Я заказал у Сэма грузовик,— отозвался Эдвард.

Мы молча сидели и ждали, когда выйдет луна. Внезапно все вокруг озарилось светом электрических фонариков.

— Ну-ка не рыпаться!— закричал кто-то.— Дурака сваляете — пеняйте на себя!

Нас окружил целый отряд полицейских.

Бойе разревелся.

— Люди избивают своих жен. Грабят друг друга. Может, полиция делом займется? Хоть для разнообразия? — сказал Эдвард.

— Может, рот заткнешь? — сказал полисмен.— Или хочешь, чтобы мы тебе заткнули?

— Что у вас в мешке? — спросил другой.

— Только крабы,— ответил Эдвард.— Осторожнее. Они здоровые, могут руку откусить.

Никто из полицейских не заглянул в мешки, а тот, у которого было много нашивок, сказал:

— Все головорезами заделались. За словом в карман не лезут — прямо американцы.

— У них тесаки, мешки, лопата, перчатки,— сказал полисмен.

— Мы ловили крабов,— сказал Хэт.

— Лопатой? Ай-яй-яй, ты что, бог? Сотворил новых крабов, которых лопатой ловят?

Пришлось долго объяснять, прежде чем полицейские нам поверили.

— Попался бы мне сукин сын, который позвонил, что вы идете на мокрое дело,— сказал старший.

Полицейские ушли.

На последний автобус мы опоздали.

— Лучше подождем грузовик Эдварда,— сказал Хэт.

— Мне почему-то кажется,— сказал Эдвард,— грузовик уже не приедет.

— Ты хоть и брат мне, Эдвард, но ты настоящий сукин сын,— то ли в шутку, то ли всерьез с расстановкой сказал Хэт.

Эдвард так и покатился со смеху.

Началась война. Гитлер захватил Францию, американцы — Тринидад. Про оккупантов сложили песенку:

С женой покладистой своей я счастлив был вполне,  
Но вот пришли солдаты и жизнь разбили мне.

Впервые на Тринидаде каждый мог найти себе работу, и американцы хорошо платили. В песне были такие слова:

И отец, и мать, и дочь  
Трудятся на янки.  
Деньги — все на свете, ох,  
Этот доллар янки!

Эдвард бросил коровник и нанялся в Чагуарамас к американцам.

— Смотри не прогадай, Эдвард,— сказал Хэт.— Американцы здесь не на веки вечные. Срываться с места за большие деньги не резон, через три-четыре года ты можешь оказаться на улице.

На что Эдвард ответил:

— Войне конца не видно. И американцы — это тебе не англичане. Вкалывать они заставляют, но платят хорошо.

Эдвард продал Хэту своих коров, и это было началом его отчуждения от нас.

Он сделался ярым приверженцем всего американского. По-американски одевался, жевал резинку, старался разговаривать с американским акцентом. Мы его почти не видели, кроме как по воскресеньям, да и тогда он все стремился показать свое превосходство. Стал слешком заботиться о внешности. Носил золотую цепочку на шею, а на запястье, подражая теннисистам,— кожаный ремешок. Эти ремешки тогда только входили в моду среди молодых пижонов в Порт-оф-Спейне.

Рисовать Эдвард не бросил, но уже ничего не рисовал для нас, и, по-моему, многие от этого вздохнули с облегчением. Он участвовал в конкурсе плаката, и когда его работы не выиграли даже утешительного приза, он совсем осерчал на Тринидад.

— Нужно быть дубиной — отдавать на суд тринидадцам то, что создано моими руками, — сказал он как-то раз в воскресенье. — Что они вообще понимают? Будь я в Америке, все было бы по-другому. Американцы — вот это люди. Уж они-то понимают.

Послушать Эдварда, так Америка — это гигантская страна, населенная гигантами. Живут они в высоченных домах и ездят в больших автомобилях.

— Взять Мигель-стрит, — говорил Эдвард. — Думаете, в Америке бывают такие узкие улицы? В Америке тротуары шире.

Однажды вечером мы пошли с Эдвардом в Доксайт, где была американская военная база. За колючей проволокой виднелся огромный экран летнего кинотеатра.

— Появл, какой театр они могут раскинуть где-нибудь у черта на куличках? — сказал Эдвард. — А что же в Штатах, ты только представь себе.

Неподалеку в будке стоял часовой, и мы подошли к нему.

— Как оно, Джо? — лихо спросил Эдвард с американским акцентом.

К моему удивлению, часовой, который устрашающе выглядел в своей каске, ответил Эдварду, и как только между ними завязался разговор, они стали сыпать ругательствами, стараясь перешеголять друг друга.

Вернувшись на Мигель-стрит, Эдвард стал еще пуще задирать нос.

— Ты им расскажи, — внулал мне Эдвард. — Расскажи, какие мы друзья с американцами.

— Мы тут недавно толковали с одним американцем, — сказал он Хэту, — близкий мой приятель, черт побери, так он говорит: если американцы вступят в войну, ей тут же конец.

— А нам-то что от этого? — вмешался Эррол. — Вот станет премьер-министром Энтони Иден, война сразу кончится.

— Цыц, сопляк, — сказал Эдвард.

Но больше всего изменилось его отношение к женщинам. Раньше он утверждал, что порвал с ними навеки. Сердце его, мол, давным-давно разбито, и он зарекся на сей счет. Это была какая-то туманная и трагическая история.

Теперь же по воскресеньям Эдвард говорил:

— Вот сила у них там на базе, видел бы ты. Не то что эти придурковатые тринидадские девки. Нет, дружище. У них девочки что надо, классные девочки.

Кажется, Эддос ответил ему:

— Я б на твоём месте не беспокоился. С таким, как ты, эти девочки не станут путаться. Им подавай дюжих парней, американцев. Тебе там нечего делать.

Эдвард обозвал Эддоса шмакодявкой и в гнев удалился.

Эдвард начал заниматься штангой — он и здесь не хотел отстать от моды. Не знаю, что случилось тогда с Тринидадом, но молодежь повально увлеклась культуризмом и устраивала конкурсы чуть ли не каждый месяц. Хэт говорил себе в утешение:

— Спокойно. Знаем мы эти штучки. Вот они все твердят: мускулы, качать мускулы. А когда бросят это дело, увидишь: то, что они называют мускулами, обернется жиром.

— Ну и смеху, — говорил Эддос. — В молочном кафе за стенкой, на Филип-стрит, сидят в ряд черные как смоль негры и хлещут молоко из литровых бутылок. И все в безрукавках, чтоб видно было, какие у них здоровые мускулы.

Эдвард предстал перед нами в безрукавке месяца через три. Он превратился в дюжего парня.

Вскоре, по словам Эдварда, женщины на базе стали сходиться по нему с ума.

— Не знаю, что они во мне находят, — говорил он.

Кто-то придумал устроить конкурс местных талантов.

— Не смеште меня, — сказал Эдвард. — Какие еще таланты на Тринидаде?

Первый тур транслировался по радио, и все мы собрались у Эддоса послушать, как он проходит. Эдвард потенался вовсю.

— Может, и ты споешь? — предложил Хэт.

— Для кого? Для тринидадцев?

— Сделай им такое одолжение.

Удивительно, но Эдвард начал петь, и в конце концов Хэт сказал:

— Я не могу жить в одном доме с Эдвардом. По-моему, он должен переехать.

Эдвард переехал, но не очень далеко. Он поселился на той же Мигель-стрит.

— Ну и хорошо,— сказал он.— Мне надоел запах коровника.

Эдвард принял участие в одном из туров местных талантов, и, несмотря на то, нам все-таки очень хотелось, чтобы он выиграл какой-нибудь приз. На этот раз конкурс финансировала компания кондитерских изделий, и победителю назначалась денежная премия.

— Остальные получают по пачке печенья за тридцать центов,— сказал Хэт.

Эдварду досталась пачка печенья. Он выбросил ее.

— Да пропади она пропадом,— сказал он.— Нужна она мне. Говорил же я: тринадцать ни в чем не смыслят. Они кретины от рождения. Американцы умоляют меня, чтобы я пел. Они понимают что к чему. Недавно работаю на базе, пою себе, подходит полковник, говорит: какой у вас прекрасный голос. Он просто умолял поехать к ним в Штаты.

— Чего ж ты не едешь? — спросил Хэт.

— Все мое время. Уеду, дай только срок, — яростно сказал Эдвард.

— А как же женщины, которые сходят по тебе с ума? — спросил Эддос.— Ты их с собой возьмешь, или обойдутся?

— Послушай, Джо, неохота мне с тобой связываться,— ответил Эдвард.— Сделай милость, заткнись.

Приглашая к себе друзей с базы, Эдвард делал вид, будто незнаком с нами, и смешно было смотреть, как он, идя рядом с нами, на манер американцев болтает руками, словно горилла.

— Эдвард тратит все заработанные деньги на ром и на пиво, к американцам подлизывается,— сказал Хэт.

По-своему мы ревновали Эдварда.

— К американцам наняться легче всего,— поговаривал Хэт.— А я не желаю иметь над собой хозяина, и точка. Я сам себе хозяин.

Эдвард теперь почти не звался с нами.

Как-то Эдвард явился грустный.

— Хэт,— сказал он,— похоже, мне придется жениться.

Он произнес это без всякого акцента.

Хэт встревожился:

— Зачем? Зачем тебе жениться?

— Она беременна.

— Глупости. Если каждый станет жениться на женщине только потому, что она от него беременна, это же черт знает что такое будет. Что стряслось, почему ты не хочешь быть таким, как все? Ты что, совсем американцем заделался?

Эдвард подтянул свои узкие американские штаны, и у него сделалось лицо, как у американского киногероя. Он сказал:

— У тебя на все один ответ. Она не такая. Бывали у меня женщины, но эта крошка не такая.

— Ну собой-то она хоть ничего?

— Ничего.

— Эдвард, ты уже взрослый,— сказал Хэт.— Ясно, что ты решил на ней жениться. Зачем же копить? Неужели ты хочешь, чтобы я силком заставил тебя жениться? Ты человек взрослый. Можешь не спрашивать, как тебе быть.

Когда Эдвард ушел, Хэт сказал:

— Каждый раз, когда Эдвард лжет, он лжет, как мальчишка. Но меня не проведешь. А женится на этой женщине, хоть я и незнаком с ней, чует мое сердце, пожалует.

Жена Эдварда оказалась белой женщиной, высокой и тощей. Она была очень бледная и постоянно недомогала. Двигалась она так, будто каждый шаг давался ей с трудом. Эдвард на нее надыхаться не мог и нас с нею не знакомил.

На улице тем временем принялись судачить.

— Такие на горе людям рождаются,— говорила миссис Морган.— Бедняга Эдвард попал в переплет.



— Из этих, современных,— говорила миссис Бхаку.— Хочет, чтобы муж ходил на работу, а потом еще и дома все делал. Ей лишь бы мазаться с утра до вечера, вертикал-стке этакой.

— Разве она беременна? — говорил Хэт.— Я ничего не вижу.

Эдвард совсем от нас откололся.

— Жена дает ему жизни,— говорил Хэт.

Однажды Хэт крикнул Эдварду через дорогу:

— Джо, на минутку подойди-ка сюда!

Эдвард был не в настроении.

— Чего тебе? — спросил он попросту, без акцента.

Улыбаясь, Хэт спросил:

— Так как насчет бэби? Когда она его родит?

— А тебе-то что?

— Хорош я буду дядя, если мне плевать на племянника.

— Она больше не беременна,— сказал Эдвард.

— А, так это она тебя просто подловила? — спросил Эддос.

— Не бреши, Эдвард,— сказал Хэт.— Ты выдумал все с самого начала. Она и не была беременна, и ты это знал. Хочешь жениться, так зачем мозги пудрить.

Эдвард поник головой.

— Если хочешь знать правду, она не может иметь детей.

Когда эта новость просочилась на улицу, женщины стали повторять сказанное моей матерью.

— Где это видано,— сказала она,— чтобы белые еще и детей рожали?

И хоть не было на то никаких оснований, хоть у Эдварда всегда был полон дом американцев, мы чувствовали, с женой у него не ладится.

Как-то в пятницу, только начало темнеть, прибежал ко мне Эдвард.

— Брось читать эти глупости,— говорит,— беги за полицейским.

— За полицейским? — спросил я.— Вот так прямо пойду и найду тебе полицейского?

— На велосипеде умеешь ездить?

— Умею.

— А фонарь на нем есть?

— Нет.

— Езжай без фонаря. И во что бы то ни стало найди полицейского.

— Если я его найду, что ему сказать?

— Скажи, она снова хочет покончить с собой.

Не успел я доехать до Ариапита-авеню, навстречу мне попались сразу два полисмена. Один из них был сержантом.

— Далеко ли собрался? — спросил он.

— Вас ищу,— сказал я.

Другой полисмен усмехнулся.

— Ловок, а? — сказал сержант.— Судье это оправдание, пожалуй, понравится. Что-то я такого не слыживал, даже мне нравится.

— Идите скорей, Эдвардова жена снова хочет покончить с собой.

Сержант засмеялся:

— А что, она часто этим занимается? И где же это она снова хочет покончить с собой, а?

— Вон там, недалеко, на Мигель-стрит.

— И впрямь ловкач,— сказал другой полисмен.

— Еще бы,— сказал сержант.— Мы оставим его здесь, а сами пойдем искать, кто там пытается покончить с собой. Брось чепуху пороть, малый. Где права на велосипед?

— Честно,— сказал я.— Я пойду с вами и покажу дом.

Эдвард ждал нас.

— Пропадал сколько времени, а привел только двух полисменов,— сказал он.

Полицейские прошли вместе с Эдвардом в дом, а на тротуаре тем временем собралась небольшая толпа.

— Так и знала,— сказала миссис Бхаку.— Я с самого начала чувствовала, что тем все и кончится.

— Странная штука жизнь,— сказала миссис Морган.— Хотела бы я тоже не мочь рожать детей. Надо же, женщина хочет покончить с собой только потому, что не способна родить.

— Откуда вы взяли,— сказал Эддос,— что она из-за этого хотела покончить с собой?

Миссис Морган пожала жирными плечами:

— Из-за чего же еще?

С тех пор я стал жалеть Эдварда, потому что все на улице пришли к выводу, что он пропащий. Какие бы вечеринки ни закатывал Эдвард для американцев, от меня не укрылось, что его смутили слова, сказанные Эддосом:

— Чего бы тебе не уехать с женой в Америку? Там доктора знаешь какие? Они все могут.

То же самое было, когда миссис Бхаку посоветовала, чтобы жена Эдварда сходила на Ариашита-авеню сдать кровь на анализ в Карибскую медицинскую комиссию.

Вечеринки у Эдварда становились все более шумными и роскошными.

— Гулянки кончаются, гости расходятся. А Эдварду от этого только хуже,— говорил Хэт.

И в самом деле, от этих вечеринок жена Эдварда не стала счастливее. Она по-прежнему глядела исподлобья, казалась болезненной, и порой Эдвард стал повышать на нее голос. Это не было похоже на семейные перебранки, к каким привыкли на Мигель-стрит. Даже выведенный из себя, Эдвард старался ей угодить.

— Попалась бы мне такая,— сказал Эддос.— Побил бы ее разок как следует — и стала бы шелковая.

— Эдвард получил, чего хотел,— сказал Хэт.— Но как это ни глупо, я чувствую, что он любит ее по-настоящему.

С Хэтом, с Эддосом и с другими взрослыми Эдвард еще как-то разговаривал, однако выходил из себя, стоило кому-то из нас, мальчишек, обратиться к нему. Он грозился задать нам взбучку, и мы оставили его в покое.

Но Бойе, по натуре дерзкий и упрямый, всякий раз при виде Эдварда спрашивал с американским акцентом: «Как дела, Джо?»

Эдвард останавливался, гневно смотрел на Бойе, затем бросался за ним вдогонку, крича и ругаясь.

— Ну и детки на этом Тринидаде,— говорил он.— Этого малого только пороть и пороть.

Однажды он поймал Бойе и принялся его пороть.

После каждого удара Бойе вскрикивал:

— Эдвард, не надо!

Но Эдвард вошел в раж.

Подбежал Хэт.

— Сию же минуту оставь малого,— сказал он.— Не то тебе житься не дадут на улице. Оставь, говорю. Сам знаешь, я не боюсь твоих мускулов.

Вынуждены были вмешаться соседи.

Бойе, отпущенный на свободу, крикнул Эдварду:

— Своих детей заведи и бей их на здоровье!

— Бойе,— сказал Хэт,— вот всыплю тебе сейчас. Эррол, ну-ка срежь мне розгу!

Эту новость сообщил нам сам Эдвард.

— Она ушла от меня,— сказал он небрежным тоном.

— Очень жаль, Эдвард,— сказал Эддос.

— Малыш, чему быть, того не миновать,— сказал Хэт.

Эдвард, казалось, не очень и переживал.

Поэтому Эддос добавил:

— Мне с самого начала это не нравилось, с какой стати жить с женщиной, кото...

— Эддос, заткни фонтан,— сказал Эдвард.— И ты, Хэт, тоже с твоим сочувствием. Знаю я, как грустно всем вам, всем вам так грустно, все вы смеетесь.

— Кто смеется? — сказал Хэт.— Послушай, Эдвард, иди показывай характер кому-нибудь другому, понял, а меня оставь в покое. В конце концов, ничего особенного, если от мужа уходит жена. Это как в песне поется: «Но вот пришли солдаты и жизнь разбили мне». Американцы виноваты, а не ты.

— С кем она убежала, ты знаешь? — спросил Эддос.

— А я разве сказал, что она с кем-то убежала?

— Нет, ты не говорил, но сдается мне, что так оно и есть.

— Да, она убежала,— грустно сказал Эдвард.— С **одним** солдатом-янки. А я-то угощал его ромом, не жалел ничего.

Но через несколько дней Эдвард уже рассказывал об этом всем и каждому, приговаривая:

— Мне чертовски повезло. Зачем мне жена, которая рожать не может.

Никто уже не подшучивал над его любовью к американцам, и я уверен, мы бы с радостью приняли его обратно. Но он не интересовался нами. Он почти не бывал дома. Уезжал куда-то после работы.

— Все-таки любовь есть любовь,— сказал Хэт.— Он жену разыскивает.

В песне, когда жена уходит к американцу и муж просит ее вернуться, она говорит:

Ступай-на прочь, ведь я теперь  
Живу с солдатом-янки.

То же самое случилось и с Эдвардом.

Однажды он вернулся в мрачном настроении. Он был несчастен.

— Я уезжаю,— сказал он.

— Куда, в Америку? — спросил Эддос.

Эдвард чуть не врезал ему.

— Ну как можно из-за женщины ломать себе жизнь? — сказал Хэт.— Будто ты первый, с кем такое случилось.

Но Эдвард не слушал.

В конце месяца он продал дом и уехал. Кажется, он отправился на Арубуб или на Кюрасао работать в голландской нефтяной компании.

— Что я узнал,— спустя несколько месяцев сказал Хэт.— Жена-то Эдварда родила ребенка американцу.

Перевел И. ШВАРЦ.



---

---

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

☆

## «...Я-ТО НЕ ИЗМЕНИЛСЯ...»

В июле текущего года отмечается 100 лет со дня рождения большого писателя, убежденного и последовательного гуманиста, искреннего друга Советского Союза Лиона Фейхтвангера.

Он оставил богатое литературное наследство — 17 романов, книгу воспоминаний, новеллы, драматические произведения, сборник стихотворений, много литературоведческих статей, литературных и театральных рецензий. Ряд творческих замыслов ему так и не удалось завершить. Он работал над литературоведческим эссе «Дом Дедемоны...», вынашивал планы исторических романов «Клеопатра в Риме», «Тильман Рихтенштейн» — о Крестьянской войне в Германии, «Симон Боливар», второй, заключительной части романа «Гойя», новелл о годах изгнания Ксенофонта, Росция, Макиавелли, Гюго...

Лион Фейхтвангер любил русскую, советскую литературу, она помогла ему понять людей Советского Союза. В статье «Литература — сила, сближающая народы» он писал:

«Я прочел много теоретических трудов о царской России, но впервые она открылась мне лишь в книгах Толстого и Чехова. Я проштудировал сотни две книг о походе Наполеона в Россию, но сущность этого похода я понял только тогда, когда прочитал «Войну и мир». Мне известно множество объективных изложений хода Октябрьской революции и описаний Советского Союза, но подлинные предпосылки революции я постиг лишь после прочтения рассказов и романов Горького, а Советский Союз я узнал из произведений советских писателей, в особенности Маяковского и Шолохова».

Как романист, новеллист, драматург Лион Фейхтвангер в СССР хорошо известен. Почти все его художественные произведения были опубликованы на русском языке. Лучшие его романы издавались у нас многотысячными тиражами.

Как литературоведа у нас знают его значительно меньше. Несколько очень небольших по объему статей, посвященных в основном отдельным писателям или литературным произведениям, вошли в двенадцатый том собрания его сочинений (М. ГИХЛ. 1963—1968). Известны нам также публикации, посвященные общим вопросам литературы, — статья «Современный роман интернационален» и речь писателя на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в Париже в 1935 году «О смысле и бессмыслице исторического романа».

Публицист Фейхтвангер современному советскому читателю мало знаком. Несколько напечатанных в свое время в нашей периодике статей не переиздавались.

Публикуемые в настоящем номере журнала материалы в какой-то степени освещают эти стороны деятельности писателя.

Фейхтвангера очень интересовала теория его любимого жанра — исторического романа. В послесловиях к своим историческим романам — «Еврей Зюсс», «Испанская баллада», «Лисы в винограднике» — он будет говорить о своем отношении к историческому роману, о причинах, побудивших его выбрать историческую тему.

В декабре 1953 года в одной из статей Фейхтвангер писал, что десятилетиями думает над тем, чтобы создать книгу об историческом романе. Но план этой книги он составил лишь в июне 1957 года и тогда же начал диктовать текст. Книга должна была

называться «Дом Дездемоны, или Величие и границы исторического художественного произведения».

Успел написать писатель только введение, часть I, первую главу части II и неполностью — вторую главу этой части.

Яркое выступление на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в Париже содержало в себе как бы заявку на эту книгу. Опираясь на огромный фактический материал, охватывающий литературы всех времен и народов — от эпических произведений греческих греков и Библии до романов и трагедий современников (Рикарда Хух, Анатоля Франс, Бернард Шоу), — писатель приходит к выводу, что художник-автор всегда преследовал единственную цель — «выразить собственное (современное) мироощущение и создать такую субъективную (а вовсе не ретроспективную) картину мира, которая сможет непосредственно воздействовать на читателя».

Мы предлагаем вниманию читателей «Открытое письмо семи берлинским актерам» («Открытое письмо...» было опубликовано сначала на английском языке в «Атлангик мансли» в апреле 1941 года; затем на немецком в «Ауфбау» — Нью-Йорк, 4 июля 1941 года) и фрагмент книги «Дом Дездемоны...». Введение к «Дому Дездемоны...» было опубликовано в «Грейфенальманахе» в 1960 году. Книга (все, что успел написать Фейхтвангер) вышла в издательстве «Грейфенферлаг» (Рудольштагт, ГДР) в 1961 году. К печати ее подготовили Марта Фейхтвангер и Хильда Вальдо.

### ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СЕМИ БЕРЛИНСКИМ АКТЕРАМ

**Г**оспода, в газете «Фолькишер беобахтер»<sup>1</sup> я прочел, что вы играли главные роли в фильме «Еврей Зюсс», получившем в Венеции премию. Как пишет газета, фильм раскрывает истинное лицо еврейства, его зловещие приемы и разрушительные цели. Упоминается один из эпизодов фильма, тот, в котором еврей Зюсс, подвергая человека пыткам, склоняет к сожительству его молодую жену. Короче говоря, если перевести на немецкий высокопарную болтовню, написанную в стиле напыщенного фюрера, это означает: вы, господа, сделали из моего романа «Еврей Зюсс», сдобрив его малой толикой «Тоски»<sup>2</sup>, мерзкий антисемитский провокационный фильм в духе Штрейхера и его «Штурмера»<sup>3</sup>.

Все вы знаете мой роман «Еврей Зюсс». Насколько я помню, пятеро из вас наверняка, а может быть, и все семеро, играли в инсценировке этого романа. Вы спорили со мной по отдельным частностям, показав этим, что поняли книгу; вы говорили о ней с восхищением.

Конечно, свои взгляды можно менять, и я допускаю, что вы не захотели принадлежать к тем пробковым душам, что вечно плавают на поверхности раз и навсегда установленно, предвзятого образа мыслей. Все вы играли в пьесах Августа Стриндберга<sup>4</sup>, утверждавшего, что каждые семь лет клетки человеческого организма полностью обновляются. Правда, Стриндберг подчеркивал, что, несмотря на все телесные, физические изменения, дух человека остается неизменным. Вы же, господа, идете дальше: своим примером вы доказываете, что человек может меняться полностью — и физически и духовно.

Это основательное изменение не очень-то, видно, пришлось вам по вкусу. Тому из вас, кто играл Зюсса<sup>5</sup>, «не больно-то хотелось телесно и духовно вживаться в отвратительный образ раболепствующего подлизы еврея Зюсса», как выразился ваш рецензент (впрочем, эта фраза его отчета — единственная, которой я безусловно верю).

Когда мы вместе репетировали, господа, вы часто признавались, что работать со мной приятно, что я понимаю вас, могу найти с вами общий язык. Попробую-ка и сейчас, находясь по другую сторону океана, понять вас. Вас, мой изворотливый, свержающий всеми красками Вернер Краус, «играющего различных евреев-талмудистов, одного за другим, каждого со своей индивидуальной маской, своей манерой держать себя, своим языком и жестикующей воспроизводящего их с прямо-таки неправдоподобной достоверностью» (я согласен, что эта достоверность неправдоподобна). Вас, Эжен Клопфер, «символ германской порядочности», как именует вас рецензент; то, что вас когда-нибудь назовут так, никто не предполагал, и вы сами — меньше всех. Вас, неуклюжий, суматошливый, хитрый Генрих Георге, давшего герцогу «черты дородного грубоватого сластолюбца, внешне сильного, а по существу слабовольного человека», вы создали такой образ, по-видимому, после нового и интенсивного изучения моей книги. Вас, спившийся и беспринципный Альберт Флорач, и вас, маленький, в высшей степени подвижный

Фейт Харлан, «прекрасно знающего, как совершенно однозначно представить исторический материал», то есть то так, то иначе. На этот раз, как подчеркнул ваш рецензент, «вы превзошли себя».

Я представляю себе, господа, как Геббельс однажды сказал одному из вас: «Да, вот еще, этот «Еврей Зюсс». Фейхтвангер сделал его таким популярным и объективно, как и все эти евреи, выставил напоказ все, что свидетельствует против них. Нельзя ли нам все это заимствовать, стибрить? Для этого, пожалуй, следует лишь похерить две трети книги, из остатка же можно сварганить отличное дельце».

А прогос, ваш шеф уже однажды сделал хорошее дельце с моим романом «Еврей Зюсс». Как раз когда Геббельс пришел к власти, был отпечатан большой тираж дешевого издания романа. Несколько экземпляров сожгли, большую же часть тиража сбывли в Швейцарию и Австрию, выручив хороший куш иностранной валюты.

Итак, я представляю себе, как пришли к вам с этим предложением. Сначала вы, возможно, колебались, возможно, вы сказали себе: «А не выходит ли это за рамки приличия? Можно, конечно, добиться на сцене весьма значительного эффекта, представив какую-нибудь личность в виде ее противоположности, показав Цезаря — ничтожным болваном, Рембрандта — мазилкой, халтурщиком, Наполеона — идиотом, Гитлера — великим человеком. Но ведь это годится лишь для комедии, фильм же, который предлагает поставить Геббельс, задуман как серьезный. Но в конце концов один из вас соблазнился ролью и гонораром, второй последовал ему, третий сказал себе: «Если я отклоню роль, ее возьмет другой», — четвертый подумал: «Откажешься от роли, хлопот не оберешься», а пятый, возможно, действительно был вынужден принять роль под сильным нажимом. Итак, наконец все оказались в киностудии, большинство — с нечистой совестью, но все же собрались все.

А теперь, господа, поговорим не об убеждениях, вкусах, приличии, морали и подобной метафизической чуши, поговорим «реалистически», как это у вас нынче принято. Было ли разумно то, что вы сделали? Было ли это практично? Может ли трезвый, расчетливый рассудок одобрить это?

Боюсь, господа, что если рассматривать ваш поступок с этой точки зрения, то скажется, что вы жестоко ошиблись, просчитались и, в конечном счете, за убеждения, принесенные вами в жертву, вам заплатят фальшивой монетой, так сказать, инфляционными деньгами.

Некоторые из вас в течение этих семи лет через доверенных лиц все время заверяли меня, что, в сущности, вы являетесь противниками наци, а если и остались в Германии, то лишь затем, чтобы помочь жертвам режима и хоть как-то смягчить зверства и глупости этого режима. Иной раз вы, пожалуй, и сами обманывались на этот счет, но основной причиной ваших заявлений было стремление обезопасить себя на случай падения режима. Ибо в тысячелетний рейх фюрера даже самый глупый из вас не верит, а шестеро из вас совсем не глупы.

А теперь рассудите-ка, господа: коль скоро вы не верите в это тысячелетие, то не совершили ли вы большую глупость? Если вы и играли до сих пор в какой-нибудь нелепой нацистской пьеске, то все же могли сказать себе: «Пьеса быстро сойдет со сцены, а когда фашистский режим исчезнет, то и о пьесе и о нашем участии в спектакле останется разве что лишь слух». Теперь же отнят фильм с вашим участием, «фильм-экстра» в роскошном оформлении. И если появится необходимость, не будет надобности ссылаться ни на слухи, ни на газетные статьи, можно будет увидеть и услышать все, что вы, собственно, натворили. Можно будет увидеть и услышать, как вы вывернули наизнанку историю этого еврея, о котором все вы знали, что он был незаурядным человеком. И никакие попытки оправдаться не помогут вам, ибо всем вам было хорошо известно, что с самого зарождения фильма у его создателей не было ни малейшего следа творческой свободы, одна лишь тенденция, глупость и низость которой всем очевидны.

И вам не станет немножко не по себе от одной мысли, что этот фильм мы будем смотреть после того, как исчезнет тысячелетний рейх? Не находите ли вы, что с учетом дальней перспективы вы поступили достаточно глупо, приняв участие в этом фильме? Не говорите, что вам не удалось бы отказаться от игры в нем без тяжелых последствий для себя. То же благоразумие, которое в свое время побудило вас выказать мне свое расположение, о чем я уже говорил, помогло бы вам, если бы вы того захотели, найти предлог уклониться от этой позорной работы. Но вы как раз этого-то и не хотели. Вам хотелось заполучить роль, гонорар.

Вам нравится успех. Ваше сердце, ваш слух жаждут рукоплесканий. Конечно, аплодисменты, выпавшие на вашу долю сначала в Берлине, а затем в Венеции, на короткое время заглушили голос совести, которая, я могу допустить это, беспокоила вас. Впрочем, и сам успех очень скоро должен был приобрести скандальный оттенок.

Так, например, газеты сообщили об одном солдате-отпускнике, который пожелал посмотреть этот ваш фильм, однако воздушный налет и бомбежка помешали ему посмотреть картину, увидеть, как будут вешать еврея. Но солдату очень хотелось посмотреть на казнь, и он вторично пошел смотреть фильм. И на этот раз сеанс прервали прежде, чем еврей был повешен; так солдату пришлось вернуться на фронт, а еврей все не был и не был повешен.

Я могу понять вас и представляю себе, что это сообщение газеты заставило вас призадуматься. Вы живете в фешенебельной части города, господа, и бомбоубежища, которыми вам приходится пользоваться во время налетов английской авиации, конечно, относительно удобны. Но не так уж удобны, чтобы иной раз не подумать с тоской о тех мирных временах, когда вы еще работали с режиссерами и директорами—евреями и когда критики-евреи обсуждали ваши успехи и неудачи не по законам политической тактики, а по законам искусства.

«Живешь, смотришь на людей, и сердце должно либо разорваться, либо превратиться в лед»<sup>6</sup>—сказал однажды великий француз во времена, подобные нашим. Ваши сердца, очевидно, не разорвались. Но если вы сравните свой шедевр «Еврей Зюсс» с той хорошей инсценировкой, которая была поставлена нами в Берлине до Гитлера, то, наверно, почувствуете странное потрескивание в ваших заледенелых сердцах.

Придет время, и мы встретимся с вами в Берлине, господа, и, вероятно, очень скоро. Я представляю себе нашу встречу, улыбки на ваших губах, радостные улыбки освобождения; они получатся очень натуральными — ведь вы же хорошие актеры. Но в ваших оттаявших сердцах будет неуверенность. Эту мучительную неопределенность вы попытаетесь прогнать наигранной уверенностью. Вы вспомните, что мы всегда были великодушными, либеральными. Но не рассчитывайте, господа, что и на этот раз мы проявим глупую терпимость. Не рассчитывайте, что вам будет все прощено.

И не потому, что мы, антифашисты, мстительны. Возможно, мы и не откажем себе в удовольствии, заставим вас посмотреть с нами фильмы, подобные вашему шедевру «Еврей Зюсс». К этому и сведется возмездие. Не наша мстительность, вероятно, мешает вам работать в хорошем театре, который мы очень скоро восстановим в Берлине. Мы не будем нуждаться в вас по другим причинам.

Вот они, эти причины: боюсь, нельзя на протяжении семи лет работать в плохом, беспринципном театре без ущерба для таланта. Удивительно, но вместе с душой нищает и искусство. Удивительно, но хороший артист не может играть вопреки своим убеждениям, без того чтобы не потерять что-то от своего таланта.

Вы можете получать большие гонорары. Ваша сегодняшняя публика, возможно, и не заметит в вас никаких изменений. Но когда мы вернемся, когда вы снова станете играть в наших пьесах, под нашей режиссурой, вот тогда странным образом станет ясно, что вы не остались прежними. Нет, именно так, как сам Дориан Грей не менялся, портрет же его страшно изменился, так и вы остались внешне неизменными, на вашем же даровании, боюсь, останутся тяжелые следы участия в фильмах, подобных «Еврею Зюссу».

Вы прочтете мое письмо, пожмете плечами, постараетесь забыть его через час. Если же встретимся, то скажете мне: «А вы помните, дорогой Фейхтвангер, то забавное письмо, которое написали нам когда-то?» И тогда вы с удивлением поймете, что письмо-то не такое уж забавное.

Пока же, господа, пользуйтесь своим временем. Боюсь и надеюсь, что не так-то уж много осталось его у вас. И если изменились вы, господа, то я-то не изменился, и вас встретит все тот же

старый Лион Фейхтвангер.

1941.

<sup>1</sup> «Фолькишер беобахтер» — центральный орган национал-социалистов.

<sup>2</sup> «Тоска» — опера Пуччини.

<sup>3</sup> Штрейжер Ю. — один из лидеров национал-социализма. Повешен по приговору Нюрнбергского международного военного трибунала. Созданный им еженедельник «Штюрмер» издавался в 1923—1945 годах.

<sup>4</sup> Стриндберг Юхан Август (1849—1912) — шведский писатель.

<sup>5</sup> «Тому из вас, кто играл Зюсса...» Заглавную роль в фильме исполнил Фердинанд Мариан. В 1945 году американские оккупационные власти занесли

его в черные списки, затем он был оправдан, но вскоре погиб в автомобильной катастрофе, многие подозревали, что это было самоубийство.

**Краус Вернер** (1884—1959). Обладал редкой способностью перевоплощаться, блестяще играл роли Фауста и Мефистофеля, Телля и Гесслера. После войны ему было запрещено выступать на сцене три года. Причина — участие в фильме «Еврей Зюсс».

**Клоппер Эжен** (1886—1950). В его репертуаре — Отелло, Шейлон, Фальстаф, Лир, Валленштейн. В 1934—1945 годах занимал высокие административные посты в театрах Германии.

**Георге Генрих** (Генрих-Георг Шмидт, 1893—1946). Выступал в ролях Валленштейна, Франца Моора, Фауста, Геца фон Берлихингена. В 1945 году был интернирован.

**Харлан Фейт** (1899—1964) — актер, режиссер. Постановщик фильма. Жена его Кристина Зедербаум исполняла одну из ведущих женских ролей. В 1949 году в Гамбурге состоялся процесс над Харланом, обвиненным в преступлении против человечества. Суд признал фильм антисемитским, но Харлана оправдал, так как по законам ФРГ антисемитизм — не преступление.

<sup>6</sup> «Ж и в е ш ь , с м о т р и ш ь...» Фраза, слегка измененная Фейхтвангером, принадлежит Шамфору. Никола Себастьян Рок Шамфор (1741—1794)— французский писатель.

## ВОСКРЕШЕНИЕ МИНУВШЕГО

Фрагмент из книги «Дом Дездемоны...»

### 1

Читатели и критики, желающие похвалить историческое повествование, часто заявляют, что художнику удалось сделать живой эпоху, которую он описывает. Вероятно, они полагают, что именно в этом и заключается конечная цель исторического произведения. Тут они ошибаются. Профессорам, которые писали исторические романы, подобная мысль об основном назначении исторического романа, вероятно, также могла прийти в голову. Настоящие художники и в своих произведениях, посвященных историческим темам, всегда хотят показать, как глубоко в их времени живет и дышит прошлое.

Великие рассказчики Библии Яхвист и Элохист<sup>1</sup> в своем изложении ранней истории Израиля не задумываясь описывали свою собственную эпоху, свои обычаи, свои политические тенденции, излагали свою веру. Описывали они события, которые произошли за пятьсот, а подчас и за тысячу лет до них, и не ставили перед собой вопрос: а не думали ли, не действовали ли те древние люди совсем по-другому, не отличался ли бог их предков от того, которому поклоняются они? События тех старых времен они наивно перетолковывали в соответствии со своим миропониманием и в основе поступков праотцев усматривали свои собственные стремления. Точно так поступали и Гомер и поэты его времени. «Илиаду» они писали не для того, чтобы оживить то время, когда ахейцы вторглись в Азию. Нет, они изображали жизнь и приключения своего века, а не события тех седых времен. Их волновали злободневные проблемы, например вопрос о том, что лучше — диктатура или демократия, причем они отдавали предпочтение демократии. А Вергилий? Кто был ему грек Эней? Вергилий хотел написать о пращуре Августа, своего императора и покровителя, написать об основании Рима. Точно так же поступали и Шекспир, и Гёте, и Скотт. Изображение прошлого никогда не было для них самоцелью, всегда — лишь средством выразить переживания своего собственного времени.

И даже те полухудожники, которые считали своей основной задачей хорошо и эффектно переложить тот или иной исторический эпизод, все равно говорили о том, что волновало их самих в их реальное время.

Можно упомянуть об «Эфиопике» Гелиодора<sup>2</sup> — произведении, которое считают первым историческим романом. Это очень разнородный по составу приключенческий роман, насыщенный бурными и волнующими событиями. И видно, что автор первого исторического романа не может не внести в описание далекого прошлого проблемы своего времени, он вдохновляется неким утонченным религиозным культом, горячо выступает за равенство рас — сам он, видимо, был черным. И личность даже такого рассказчика, как Дюма, очень любившего мелодраматические эффекты, всегда проглядывает в его героях. Его герои смелы, патетичны, расточительны: они бунтуют, если их что-либо не устраивает, и он сам был вечным мятежником, его историческая пьеса призывала к свержению Бурбонов. Чарлз Кингсли<sup>3</sup>, скорее поэт, художник, чем профессор истории, в «Ипатии», действие которой происходит в пятом веке, возвещает о своем учении — о христианском социализме.

То, что делает историческое произведение живым, никогда не берется из истории прошлых времен, а всегда — из собственных переживаний автора, почерпнуто из современного мира, и читатель больше узнает о переживаниях автора и о его времени, чем об изображаемой эпохе. Кто хочет понять художника, должен проникнуть в его мир, не-



сколько дидактически заявляет Гёте, а Шоу в своей экстравагантной манере пишет, что то, что не является журналистикой, надолго остаться живой литературой не может. «Я,— заявляет он,— не имею никакого отношения ни к одной исторической личности за исключением лишь той ее небольшой частицы, которая заключена и во мне. Эта Частица — все, что я знаю об их сущности. Человек, который пишет о себе самом и о своем времени, единственный человек, который пишет обо всех людях и о всех временах». Вот он — поэт Цезаря и Иоанны<sup>4</sup>.

Многие художники излагали то, что они хотели выразить и в виде исторических произведений, и в виде произведений, написанных на современном материале. Сущность тех и других оказывалась близкой. Гёте выразил себя сначала в «Гёце», потом в «Вертере». Драматург Гёте никогда не чувствовал себя хорошо в современной одежде, его пьесы, посвященные современной политике, неудачны, он мог бы их содержание передать несравненно лучше и сильнее, если б обрядил своих героев в исторические костюмы, мы это знаем по «Эгмонту». Художник Гёте любил переодевания, он предпочитал одевания Тассо <...> фраку, и глубочайшая его мудрость в наибольшей степени проявилась в «Фаусте» и в «Западно-восточном диване». С другой стороны, хотя эпический поэт тоже охотно скрывался за исторической личиной, ему случалось излагать свои мысли и чувства от имени современных героев, например в «Вильгельме Мейстере» или в «Избирательном средстве».

Молодой Шиллер находит выход своим революционным переживаниям в пьесах «Разбойники» и «Коварство и любовь», но также и в сюжетах из прошлых времен («Фигаро», «Дон Карлос»). Художественные замыслы зрелого Шиллера избегали одежды своего времени. События времен Наполеона он косвенно отразил в «Валленштейне», те же чувства, которые пробудила в нем Французская революция, — в «Телле».

Многие большие художники испытывали некое раздвоение чувств, обращаясь к историческим сюжетам. И хотя с большей или меньшей удачей разрабатывали их, все же время от времени весьма резко высказывались об этом каверзном литературном жанре.

Молодой Генрик Ибсен написал целый ряд исторических пьес, а в зрелом возрасте стал страстным противником этого жанра. После исполнения одной исторической пьесы Мартина Грейфа разгневанный Ибсен бежал по безлюдным улицам ночного Мюнхена и кричал: «Какое дело Мартину Грейфу до мертвых королей!» Сам он очень усердно трудился над историей Юлиана-отступника в «Кесаре и галилеянине» и над эпизодами из жизни норвежских королей Хокона и Скуле («Борьба за престол»). Идею «Борьбы за престол» он еще раз воплотил в «Строителе Сольнесе». Я полюбил эту драму, много раз видел ее, однажды на совершенном немецком языке, другой раз в прекрасном исполнении французов. «Борьбу за престол» я видел лишь раз в очень среднем исполнении, однако эта драма взволновала меня сильнее, чем «Строитель Сольнес».

Готфрид Келлер писал отличные исторические новеллы («Дон Корреа», сборники «Изречение» и «Семь легенд», глава «Девочка Мерет» романа «Зеленый Генрих»). Но он был очень скептивен в оценке исторических произведений своего великого соотечественника Конрада Фердинанда Меьера, и тот в своих «Воспоминаниях о Готфриде Келлере» рассказывает: «К историческому материалу относился он удивительно холодно и однажды высказался о нем очень недоброжелательно. «В эффективности давно случившегося и переданного потомкам я совсем не так уверен, как в эффективности того, что видел сам», — любил он говорить».

## 2

Если автор исторического художественного произведения действительно, как я утверждаю, озабочен в основном современностью, тогда любой имеет право спросить у него: почему же ты не пользуешься современными костюмами, реалиями, современными оборотами речи? К чему маскируешься ты, зачем прячешь свое истинное лицо?.. Эти вопросы, пожалуй, приходится слышать каждому автору исторического произведения, да и сам он вновь и вновь ставит их перед собой...

Существует материал, который в современных костюмах либо вообще нельзя передать, либо передача эта сопряжена с большой опасностью для автора. Таковыми могут быть, например, политические мысли или ситуации рискованного эротического характера. В таких случаях автор прибегает к маскировке, к историческим костюмам. Авторы Библии, когда им недоставало смелости сказать своему царю или его советникам всю правду в лицо, изображали прошлое народа так, чтобы читателю или слушателю были очевидны преимущества священника и автора перед царем. Создатель «Октавии»<sup>9</sup>

отважился выказать свое недовольство правлением Нерона, лишь набросив на своих героев одеяния давно прошедших лет. Поздний Шекспир бежал в прошлое, чтобы иметь возможность выразить свое горькое разочарование убожеством современного ему правления. Так поступали Расин, Вольтер, Дидро. Чтобы описать смелые эротические забавы, Овидий черпал материал из мифов. Пьер Луи<sup>7</sup> для подобных же целей накинул на себя одеяние современницы Сапфо<sup>8</sup> и сделал это с таким поразительным мастерством, что его произведение приняли как подлинно античное. Следует добавить, что благодаря такому историческому маскараду события как бы покрываются патиной, и произведение становится менее уязвимым. «Благоговение растет с расстоянием», — сказано у Тацита.

Далее. Известна страсть художника к игре, потребность «разыграть» читателя, скрыть свое «я», замаскироваться. Художник хочет исчезнуть в своем произведении, и тут прекрасным средством является отступление в прошлое. Творцы Библии приписали мифическому Моисею свои истории, свои песни — царю Давиду, который за четыре или пять столетий до этого отошел к праотцам, свои мудрые изречения и смелые любовные песни — старому, мудрому и сладострастному царю Соломону. Многие творцы древнейших эпосов остались нам неизвестными... Так же обстоит дело и с великими произведениями средневековья, с «Песней о Роланде», «Нибелунгами», мы можем лишь предполагать, кто написал их; звучат же они правдоподобно потому, что их истинный автор скрылся за одеянием старого народного поэта. Великие французские писатели восемнадцатого века с Вольтером во главе любили издавать свои произведения анонимно, хотя тайна авторства весьма часто скрывалась под очень тонким покровом.

Многие авторы пользуются формой старых дневников, писем и пр. Другие предпочитают писать под псевдонимом. Объясняется это тем, что они не хотят, и это совершенно естественно, чтобы их личная жизнь как-то смешивалась с их вымыслом, их субъективное — с объективированным. Ж. Б. Поклен полностью исчезает за Мольером, Мари Франсуа Аруз — за Вольтером, мадам Дюдеван превратилась в Жорж Санд, Анри Мари Бейль — в Стендаля. Кто знает Мэри Анн Эванс? Но всем известна Джордж Элиот<sup>9</sup>. Кто знает А. Ф. Тибо или Алексея Пешкова? Но всем известны и Анатоль Франс и Максими Горький.

Склонность подавать свои замыслы как бы замаскированными — одно из основных свойств художника. Гёте любил переодевания и в жизни и в творчестве. Он очень серьезно относился к маскарадным шествиям, организуемым при дворе герцога, сам принимал участие в различных маскарадах, охотно выступал на сцене, и не только в своих пьесах...

Почти все художники мечтают иногда убежать от своего собственного «я», уйти из своего времени. Очень хорошо сказал об этом Конрад Фердинанд Мейер: «Охотнее всего я углубляюсь в прошлые времена, которые дают мне возможность обрабатывать вечно человеческое более художнически, чем это позволяет грубая актуальность современного мне материала». Именно этим отвращением к «грубой актуальности» и объясняется то, почему многие художники тянутся к изображению прошедших времен.

И как раз художники-реалисты, исходящие из убеждения, что точные наблюдения являются предпосылкой каждого правдоподобного утверждения, часто чувствуют себя вынужденными воспроизвести свои личные переживания, прибегая к историческому антуражу, и подчас реалист выглядит романтиком. Молодой Гёте создает свою Гретхен по живым моделям, смешивает черты своей подруги с чертами матери-детубийцы Сусанны Маргариты Бранд и создает бессмертный образ. Однако зрелый Гёте перерабатывает этот образ матери-убийцы в образ сверхромантичной святой, в *Ulla Poenitentium* («Одну из кающихся» — персонаж из второй части «Фауста»). Острый наблюдатель Стендаль в одном из своих самых больших повествований пишет о прошлом Пармского монастыря. Теккерей, очень стесненный и сдержанный в изображении современных ему женщин, создает настоящих, живых женщин лишь в своих больших исторических романах — «Ярмарке тщеславия» и «Истории Генри Эсмонда». Мелвилл превращается в Израэля Поттера, человека, жившего за полстолетия до него, и это для того, чтобы объективировать свои собственные переживания. Для этой же цели Стивен Крейн<sup>10</sup> превращается в одного из солдат Гражданской войны.

Мопассан переносит действие романа «Жизнь» в первую половину девятнадцатого века.

Все искусство — постоянная борьба между фантазией и контролирующим ее разумом. Как бы в подтверждение этому Сервантес создал бессмертные параболы своей великой эпопеи. Гойя в подписи к одному из своих капризов выражает ту же примерно

мысль в неуклюжих, но волнующей честности словах: «Пока разум спит, мечтающая фантазия создает чудовищ. Объединенная же с разумом, фантазия становится матерью всех искусств и всех их чудесных творений». Последователи натурализма еще сильнее контролируют свою фантазию, пытаются ее жестоко обуздать, однако необузданная фантазия становится на дыбы и вырывается. И как раз исторические произведения натуралистов нередко оказываются особенно красочными, чрезмерно яркими. Вот хотя бы Флобер. В своих произведениях о современных людях он подчас доходит до окаркиатуривания; в своих же исторических произведениях — в «Саламбо», «Искушении святого Антония», в «Трех повестях» — он позволяет себе нагромождать дикий хаос красок, совершенно неправдоподобных, совершенно нереальных. Или Герхарт Гауптман — мастер натуралистической драмы. В драмах из современной жизни он подчас громоздит друг на друга совершенно несущественные, уводящие в сторону подробности лишь для того, чтобы добиться впечатления абсолютной, фотографической точности. Так, например, решающий трагический разговор между молодым человеком и его возлюбленной все время прерывается надоедливой мухой; или в другой пьесе автор делает одного из действующих лиц закройкой, что к его характеру ничего не добавляет. Но вот Герхарт Гауптман отступает в прошлое, изображая судьбу Германии времен Крестьянской войны, и, подобно Гёте в «Гёце», увлекается ярким колоритом того времени, создает свой собственный язык, звучащий как старый, ужасая им всех филологов и восхищая им всех музыкально одаренных людей<sup>11</sup>. Затем, позже, опять-таки вперемешку с натуралистическими драмами, написанными на современном материале, он воспроизводит свои интимнейшие переживания в «Бедном Генрихе» и в «Заложнике императора Карла», написанных прекрасными стихами в форме, напоминающей средневековый эпос, церковную архитектуру, нежные позолоченные буквицы и заставки старых манускриптов.

Анатоль Франс охотно уходит от пронизанных скепсисом и разочарованностью размышлений о современном ему мире в минувшие эпохи. Крупнейший художник новой португальской литературы Эса ди Кейрош в своем романе «Реликвия» в резкой сатирической форме описывает ханжество богатой современной дамы и проделки человека, охотящегося за наследством. Но тут же введено в текст страстно романтическое описание последнего дня Иисуса. Аналогичный прием встречаем у Фридриха Теодора Вишера в одном из самых популярных немецких юмористически-созерцательных романов «Еще один»<sup>12</sup>. Это мудрая, горькая и страшно многословная книга — немецкое искусство всегда отличалось длиннотами, — книга чрезвычайно самобытная, единственная в своем роде. Ее герой на протяжении всего длинного двухтомного романа воюет с «заговором» вещей, прежде всего со своим хроническим насморком. Этот человек, как многие немцы, мыслитель и художник, пишет хорошую новеллу. Действие новеллы происходит в поселении на сваях за 18 веков до появления на свет героя книги, и в этом продуваемом ветрами поселении на сваях основным двигателем развертывающихся событий является... насморк.

### 3

...Художника интересует материал, способный служить подходящим средством для выражения его, художника, переживаний. Но художник понимает, что его произведение должно иметь прочный каркас. И он нередко находит такой каркас, обращаясь к истории. Исторические сюжеты имеют заданное начало и заданный конец, а в промежутках — заданные придорожные столбы. Художник может, когда и где захочет, отклониться от дороги, но вынужден сверяться с дорожными указателями. Он должен изобразить Есфирь сначала маленькой девочкой, затем — в гареме, любимой наложницей, затем спасительницей своего народа; он должен довести Амана<sup>13</sup> до виселицы. Он должен показать Валленштейна офицером, ищущим приключений, затем — всемогущим военачальником и не может уклониться от описания его убийства. Шиллер, правда, обладая чрезвычайной отвагой, не особенно-то заботился о точном воспроизведении хорошо известных многим исторических фактов, и его Орлеанская Дева гибнет на поле боя, а не на костре. Но подобная смелость — явление исключительное, и даже самый пламенный поклонник Наполеона не в состоянии приписать ему победу под Ватерлоо. Итак, многие художники, боясь свободы, которую им предоставляет современный материал в конструировании сюжета, предпочитают выбрать историческую тему, принимая при этом и ограничения свободы, которые с таким выбором сопряжены.

К сказанному добавлю, что свобода в конструировании сюжета, которая дается художнику, выбравшему современный ему материал, часто ведет и к свободе повествования — существенное может оказаться заслоненным изображением мелких, незначительных, частных подробностей. Автор охотно и увлеченно описывает интересных ему людей, по существу никакого отношения к его книге не имеющих; детально фиксирует особенности одежды, хвалит или порицает модные кушания, воспроизводит зловонные разговоры о политике, неинтересные за пределами его страны. И может случиться, что изображение всего этого читателю будет неинтересным. Носил Вертер зеленые, белые или желтые панталоны, никакого отношения не имеет к тому душевному состоянию, которое хотел изобразить Гёте. Но очень многих читателей заинтересовали желтые панталоны Вертера, пожалуй, не менее, чем его страдания; вопрос, а не заказать ли и им самим желтые панталоны, отвлекал их от этих страданий, и они приходили к заключению, что им действительно следует носить желтые панталоны. Один молодой испанский автор поведal нам, что чтение «Вертера» побудило его заказать Гоше свой портрет в подобных панталонах.

У Булвера в одном романе, написанном на современном материале, кельнеры некоего изысканного ресторана носили фраки. Это повело к длительным обсуждениям как в Англии, так и в других странах: а не следует ли кельнерам и обычных ресторанов носить также фраки? Булвер оставил после себя чрезвычайно много книг, бесчисленное количество исторических романов и романов на современные темы. Но все, что осталось от этих книг, за исключением, возможно, романа «Последние дни Помпеи» — это полемика о фраках кельнеров.

Исторический роман от столь дробных описаний свободен. Автор, у которого его римляне попивают охлажденное на льду красное вино, едва ли соблазнятся на высказывание своей точки зрения по поводу того, какое именно вино подавалось, до какой температуры его охлаждали. И автор, показывающий свою героиню восемнадцатого века в кринолине, едва ли станет вдаваться в описание преимуществ и недостатков кринолина, а если и увлечется этой темой, то все равно не окажет никакого влияния на дамские моды своего времени. Автор исторического романа может не тревожиться, что личные житейские пристрастия сильно отвлекут его от темы.

Разумеется, самые существенные мотивы, побуждающие настоящего художника выбирать для своих героев исторические одеяния, глубоки и серьезны. Сознательно или неосознанно художник выбирает исторические одеяния потому, что они позволяют ему избежать слишком большой близости со своими героями, ставят изображаемое на возвышенные подмостки, а художнику подобная дистанция необходима. Автор понимает, что лучшую перспективу можно получить только на расстоянии, что линии горного хребта лучше видны с некоторого отдаления. Чтобы дать четкую проекцию современного ему мира, он относит его на некоторое расстояние от себя. Он изображает историю не ради ее самой; в костюмах, исторических одеяниях он видит средство стилизации, средство простейшим образом добиться иллюзии реальности. Он принуждает себя самого, принуждает своих читателей отступить в сторону, чтобы иметь возможность наблюдать не отдельные детали, не фрагменты, а все в целом, в совокупности. Принуждает и себя и их видеть современное содержание во временной перспективе (точнее — ретроспективе).

Шпильгаген в своей книге «Теория романа» эту технику называет отдалением (Entfremdung). Брехт нашел ей еще более удачное наименование — отчуждение<sup>14</sup> (Verfremdung). Речь идет о том, чтобы дать почувствовать читателю или зрителю то, что примечательно, существенно в текущем времени. А произойти может это лишь тогда, когда человек выйдет из своего времени и будет рассматривать его как чужое, если выберет историческую точку зрения. Каждый художник чувствует, что «жестокая зловонность» отвлекает и его самого и его читателей от сути, от самого существенного в движении жизни. Используя преимущества дистанции, он может отчетливее показать настоящее.

Даже авторы, живущие исключительно в настоящем, гордые именно тем, что воспроизводят лишь свое время, его неповторимость, иногда углубляются в историю, при этом, вероятно, не слишком разбираясь в мотивах, которые их сюда привели. Может, они хотят запечатлеть четкую, отстоявшуюся реальность: «Это было так, это история!» Но прежде всего именно потому, что они художники и чувствуют, что им их субъективное восприятие времени лучше всего объективировать в исторических декорациях.

Я говорил уже о Готфриде Келлере, который, несмотря на свою брюзжащую антипатию к историческим, «парчовым» повествованиям, писал исторические рассказы. Страстный жизнелюб, Эрнест Хемингуэй с презрением отворачивается от мертвого прошлого. И тем

не менее роман «Прощай, оружие!» написан о совершенно определенной исторической эпохе. Наверняка Хемингуэй не собирался дать историю битвы на Пьяве. Он хотел лишь рассказать историю двух людей, любивших друг друга в некое опасное время. Но эта любовная история уложена в отрезок времени, поддающийся точной датировке. Все романы и повести великого датского романиста Германа Банга, основавшего направление, которому затем следовал Хемингуэй, разыгрываются в настоящем времени; однако сюжет его наиболее значительного романа «Тине»<sup>15</sup>, одного из прекраснейших произведений о любви в мировой литературе, развертывается во времена старой, забытой войны. И благодаря этому роману война пруссаков с датчанами останется в памяти людей на вечные времена...

<sup>1</sup> Я х в и с т, Э л о х и с т — авторы (именуемые условно) отдельных частей Ветхого завета.

<sup>2</sup> Г е л и о д о р — греческий писатель III века, автор романа «Эфиопика», ставшего образцом для галантно-авантюрных романов XVII—XVIII веков.

<sup>3</sup> К и н г с л и Чарлз (1819—1875) — английский писатель и публицист, автор романов «Инатия. Новые времена в старом обличье» (1852—1853), «Хэреурд» (1866) и других.

<sup>4</sup> Имеются в виду пьесы Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра» (1898) и «Святая Иоанна» (1923).

<sup>5</sup> Г р е й ф Мартин — псевдоним, настоящее имя Ф р е й Герман (1839—1911) — немецкий поэт и драматург.

<sup>6</sup> Трагедия «Октавия» приписывается римскому философу и писателю Луцию Аннею Сенеке (около 4 года до н. э.—65 год н. э.).

<sup>7</sup> Л у и Пьер (1870—1925) — французский поэт и прозаик.

<sup>8</sup> С а п ф о, или С а ф о, — греческая поэтесса первой половины VI века до н. э.

<sup>9</sup> Э л и о т Джордж — псевдоним, настоящее имя Э в а н с Мэри Анн (1819—1880) — английская писательница.

<sup>10</sup> К р е й н Стивен (1871—1900) — американский писатель, речь идет о повести «Алый знак доблести» (1895).

<sup>11</sup> Имеется в виду пьеса «Флориан Гейер» (1896).

<sup>12</sup> Б и ш е р Фридрих Теодор (1807—1887) — немецкий писатель, теоретик искусства, богослов. Роман «Еще один» написан в 1879 году.

<sup>13</sup> Е с ф и р ь, А м а н — библейские персонажи.

<sup>14</sup> Ш п и л ь г а г е н Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель. Его исследование «Материалы к теории и технике романа» было издано в 1883 году.

Вертольт Брехт (1898—1956) в свою теорию эпического театра ввел эффект отчуждения, «V-эффект», — прием, с помощью которого драматург (режиссер) показывает явления жизни с неожиданной стороны, заставляя зрителей увидеть их по-новому.

<sup>15</sup> Б а н г Герман (1857—1912) — датский писатель, театральный деятель, критик. Роман «Тине» написан в 1889 году.

Вступительная заметка, перевод с немецкого,  
примечания и публикация Л. МИРИМОВА.

Ленинград.



---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕОРГИЙ БЕРЕГОВОЙ



## КОСМИЧЕСКАЯ ВАХТА

### ВХОЖДЕНИЕ В ЗВЕЗДНЫЙ

**Я** заболел космосом не сразу, не в один миг, не под воздействием чьих-либо рассказов или встреч. Медленно, но верно созревало решение...

Я мечтал о полете в космос, рвался в него и мучился сомнениями. Возраст, устоявшиеся летные навыки, сложность психологического вхождения в новый коллектив — не помешает ли все это?

Как летчик я кое-чего достиг, допущен к испытательной работе, провел различные испытания почти 60 типов самолетов, дал жизнь многим превосходным машинам. Не обижен признанием — Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР.

И все же, все же...

Я обратился с просьбой к Каманину.

Став кандидатами, космонавты очередного набора имели довольно смутное представление о своей профессии. Будущее было, как говорят, за семью печатями.

Иногда утверждают, что романтические мечты свойственны лишь молодым людям, дерзновенные порывы — юношам. Так ли это? Во всяком случае мой далеко не юношеский возраст не помешал мне жить высокой мечтой о космосе. Она придавала мне силы, в ней черпал энергию, которую никакими приборами не измерить и не установить срок ее действия.

В звездном, в Центре подготовки космонавтов, складывались свои отношения, вырабатывались традиции, нравственные правила коллектива. Мне предстояло войти в эту новую для меня семью, понять и принять их взгляды, привычки, психологию.

Я шел сюда, чтобы работать, учиться и летать.

Юрий Гагарин, как и многие товарищи, не одобрил моего решения «уйти в космос» — открыто не осудил, но и не высказал явного одобрения. Держался внешне спокойно, с достоинством, может быть, даже несколько суховато.

Мы вместе тренировались, летали на космодром, играли в волейбол, хоккей, футбол. Все шло на равных, несмотря на разницу в возрасте — я был старше Гагарина на тридцать лет.

В те дни руководитель подготовки советских космонавтов Николай Петрович Каманин, безмерно любивший Гагарина, писал в своем дневнике: «За два с половиной года Юра прошел дистанцию от старшего лейтенанта до полковника, обычно на этот путь требуется 15—20 лет. Два с половиной года всемирной славы не испортили Гагарина. Он сильно вырос за это время, приобрел большой опыт в выступлениях, он может хорошо проводить самые сложные пресс-конференции и беседы. Объехав более тридцати стран, проведя тысячи встреч и выступлений, он не имел времени много читать, думать и учиться. Но сами поездки и встречи с народами различных стран были такой большой школой, с которой не может сравниться ни одно высшее учебное заведение».

Мое вхождение в космонавтику не обходилось, разумеется, без трудностей: были курьезы, были срывы, случались и ошибки.

Вся наша жизнь состояла из тренировок: утренних, вечерних, суточных, многодневных и даже многомесячных. Приобретался опыт, расширялись знания, совершенствовалась методика, менялась программа.

Юрий Гагарин серьезно и упорно готовился ко второму полету в космос. Став заместителем начальника Центра подготовки, он повседневно занимался научно-исследовательской и летно-практической деятельностью всех его регионов. Именно в это время проявился его талант организатора и руководителя.

Герман Титов испытывал самолеты. В нем обнаружилась удивительная неукротимая сила настоящего «авиационного волка». Его исследовательские полеты высоко оценивались не только начальством, но и его коллегами, товарищами по испытаниям. Его авторитет неуклонно рос, конструкторы с большим вниманием прислушивались к его профессиональному и зрелому голосу. Он дружил со многими из них, знал профиль их работы, восхищался их творческим горением. В этом своем устремлении он находил полную поддержку и понимание своих товарищей по Центру подготовки космонавтов.

Андрей Николаев очень основательно занимался тренировками, готовил себя к длительному орбитальному полету. Мечтал о полетах к другим планетам.

Валерий Быковский, как всегда немногословный, неторопливый, готовый к любому эксперименту, шел, а точнее, отдавал себя, как он говорил, ради науки на «растерзание медиком». До прихода в отряд космонавтов Валерий служил в истребительном авиационном полку. Однополчане любили его, приезжали в гости, часто приглашали к себе.

Валентина Терешкова увлеченно приобщала к космосу своих подруг, готовившихся к будущим полетам. С ними, девушками женской группы отряда, она пропадала все дни напролет, убежденная в целесообразности женских полетов. Николай Петрович Каманин советовал Валентине отказаться от дальнейших тренировок и целиком посвятить себя общественной деятельности. Но она наотрез отказывалась от всех предлагавшихся ей постов, полагая, что в отряде космонавтов принесет больше пользы.

Боясь пропустить занятия, очередную тренировку, она забывала об отпуске, уклонялась от зарубежной поездки, командировки. Очень пришлось нам по душе такая ее настойчивость.

Из многих стран мира поступали приглашения Валентине, она находила повод отказаться от поездок, но вдруг охотно согласилась посетить Болгарию. Тогда мы не знали, чем вызван ее интерес к этой стране. Оказывается, много лет назад Валентина начала переписываться с одной болгарской девушкой. Знали об этом немногие, сама Валентина никому не рассказывала.

Перед отъездом в Болгарию Валентина Терешкова просила корреспондента газеты «Народна младеж» разыскать подругу. В газете появилось сообщение. Так состоялась волнующая встреча подруг, о которой много писали газеты.

Желание Валентины Терешковой сбылось. Правда, не вдруг, не сразу. Через девятнадцать лет после ее полета в космос снова поднялась женщина. И если полет Валентины Терешковой должен был дать ответ на основной вопрос, может ли женский организм перенести космические условия, то Светлане Савицкой время предъявило более сложное задание — ей нужно было провести уже серию перспективных, нелегких для исполнения экспериментов.

Для Савицкой и ее коллег по экипажу было запланировано более 20 экспериментов, включающих медицинские исследования, астрономические и геофизические съемки, а также ряд других заданий. Восемь экспериментов отдала медицине. В основном их проводила Светлана, исследуя реакции на полет собственного организма. И это понятно, у медиков в этой части пока мало статистики. Полученные результаты, конечно, еще будут тщательно анализироваться специалистами. Предварительная же обработка данных показала, что заметных различий в реакциях мужского и женского организма на невесомость нет.

Светлана Савицкая успешно поработала на борту орбитального комплекса для будущего мировой космонавтики.

### ВНЕЗЕМНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

...Еще недавно вывод на орбиту целого научного комплекса с аппаратурой, запасом питания для одного человека считался явлением фантастическим.

И вот фантастика стала явью. Почти пять лет трудилась в космосе орбитальная стан-

ция «Салют-6», выведенная на орбиту 29 сентября 1977 года. Она совершила свыше 25 тысяч витков вокруг Земли, преодолев расстояние около 12 миллиардов километров. Полет «Салюта-6» специалисты справедливо относят к одному из самых значительных достижений советской космонавтики. Эта станция имеет особые заслуги. Объем ее вместе с пристыкованными кораблями — 110 кубических метров. Такое пространство позволяет разместить на орбите целый научный коллектив с самыми совершенными приборами и в большом количестве — 1500 наименований. На борту станции работали самые длительные экспедиции — по 96, 140, 175, 185 суток. Летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин стал абсолютным долгожителем космоса.

Мы привыкли к нашим частым и значительным достижениям в космосе и многое в этой области воспринимаем как нечто обыденное. А потому, сославшись на некоторые цифры, позволю себе хотя бы кратко прокомментировать их.

Для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции и экипажа посещения (а их, как известно, на борту станции «Салют-6» было шестнадцать) постоянно требуется: пища, воздух (запасы которого непрерывно пополняются), научная аппаратура (сменяемая), фотоматериалы, топливо и т. д.

По подсчетам специалистов, суммарный расход названных и не названных, но необходимых материалов требуется не один десяток килограммов на каждого члена экипажа в день. Так, транспортно-грузовые корабли «Прогресс» доставили на борт свыше 20 тонн различных грузов. Весьма внушительный вес!

Теперь давайте представим, сколько потребуется грузов при полетах продолжительностью в несколько месяцев, лет при тенденции все возрастающего числа членов экипажа.

Длительные эксплуатации на «Салюте-6» — станции второго поколения — позволили продемонстрировать большие возможности таких орбитальных станций.

За время эксплуатации станции произведено 35 стыковок (14 кораблей «Союз», 4 корабля «Союз Т», 12 транспортных кораблей «Прогресс», искусственный спутник Земли «Космос-1267»), четырежды происходила перестыковка космических кораблей «Союз»). На борту станции выполнено более 200 технологических плавок, произведены сотни опытов, специальные наблюдения и фотографирования, поставлено 1600 экспериментов по астрономии, природоведению.

Экипажи «Салюта-6» вели геофизические, астрофизические, физико-технические и медико-биологические исследования и эксперименты в интересах развития фундаментальных наук и практического использования их достижений в народном хозяйстве. Проведены фотосъемки территории Советского Союза и других социалистических стран для изучения природных ресурсов Земли. Накоплен значительный опыт отработки технологии получения различных материалов и покрытий в условиях космического полета. 27 космонавтов участвовали в пилотируемых экспедициях на «Салюте-6» (шесть из них — дважды) и 8 посланцев социалистических государств посетили станцию.

Конструктивно станция позволяла рационально организовать быт, установить четкое чередование режимов труда и отдыха, строго соблюдать график рабочей недели, принятый на Земле.

Кухонное оборудование, хранение, подогрев, сервировка помогли в значительной степени улучшить питание космонавтов, питательные рационы стали разнообразнее и калорийнее.

Техническое оснащение позволило поддерживать с экипажами постоянную радио- и телесвязь, и вряд ли стоит сомневаться в огромном значении и психологическом настрое, морально-нравственном подъеме экипажа, который не только слышит, но и видит своих собеседников. Можно ли переоценить такой фактор, как общение экипажа со своими семьями, руководителями полета, писателями, артистами, зрительно участвовать во всех важнейших событиях страны, мира.

Сеансы связи стали сопровождаться музыкой. Расширился ассортимент фоно- и видео-записей. На орбиту транслировались концерты и спортивные передачи. «Прогресс» доставляли космонавтам почту, фрукты и овощи. И, конечно, ни с чем не сравнить по моральному воздействию визиты гостевых экипажей, в которые входили люди, хорошо знакомые по Звездному.

Земля внимательно следит за работой станции, знает ее объективное состояние, оперативно и своевременно приходит на помощь.



Как известно, 29 июля 1982 года полет орбитальной научной станции «Салют-6» завершился.

На смену ей 19 апреля 1982 года в околоземный космос была выведена более усовершенствованная станция «Салют-7».

В советской и зарубежной прессе справедливо дали высокую оценку создателям станции «Салют-6», перекрывшей в рабочем режиме все предполагаемые нормативы, ставшей долгожителем космоса.

Анатолий Березовой и Валентин Лебедев, первыми освоившие станцию «Салют-7», установили новый рекорд — 211 суток пребывания на орбите.

После полета, отвечая на вопросы журналистов, космонавты ответили:

**В. Лебедев.** Станция и корабль созданы разумом и руками талантливых ученых, специалистов, рабочих, представляющих народы всех республик страны.

**А. Березовой.** Добавлю: «Салют» — лаборатория очень широкого профиля. На борту ее проводили исследования в таких областях знаний, как геофизика и медицина, астрофизика и метеорология, биология и металлургия и т. д. Наш полет показал, что «Салют-7» по своим достоинствам значительно выше своего предшественника.

На станции отдано предпочтение автоматике, облегчающей труд экипажа как по управлению полетом самой станции, так и разнообразным научным оборудованием. Еще одна примечательная сторона: в нашем распоряжении имелась не только отечественная аппаратура, но и аппаратура из ГДР, Болгарии, Чехословакии, Франции. Этот факт и полеты международных экипажей — замечательный пример объединения усилий стран и народов в мирном изучении и освоении космического пространства.

Программа работы на станции Валентина Лебедева и Анатолия Березового предусматривала более 30 геологических заданий. Космонавты перевыполнили ее почти в 10 раз, исследовали границы Астраханского свода — пологого поднятия пластов земной коры. Уже несколько лет велись там работы по освоению газоконденсатного месторождения. Но изыскание натолкнулось на ряд трудностей, в частности на такую: если границы свода на одном берегу Волги просматривались четко, то на другом их скрывали пески. Космонавты обнаружили эту границу месторождения, появилась возможность более целенаправленно вести наземные исследования.

Что касается ежегодного экономического эффекта от космогеологии, то специалисты оценивают его в десятки миллионов рублей.

Несколько лет назад по согласованию между крупнейшими державами мира СССР, США, Францией и Канадой создана специализированная организация КОСПАС — САРСАТ (космическая система поиска аварийных судов и самолетов).

Что же заставило могучие морские державы призвать на помощь спутники, до того «освоившие» уже десятки специальностей, в том числе морских навигаторов, обеспечивающих точное судовождение?

По данным статистики Ллойда, за 1971—1980 годы на морях и океанах погибло 3764 морских судна, каждое валовой вместимостью более 100 регистровых тонн. (Мелкие плавсредства — яхты, катера, рыболовные шхуны — при этом даже не учитываются.) Почти столько англо-американских торговых судов потопили за всю вторую мировую войну «волчьих стаи» фашистских подводных лодок.

За те же десять лет свыше 60 судов мирового торгового флота исчезли бесследно, то есть мы до сих пор точно не знаем, несмотря на продолжительные поиски, где и как потонул, скажем, норвежский нефтерудовоз «Берге Ванга», плававший под либерийским флагом. А ведь это было не угловатое суденышко — огромный современный транспорт. Он пропал в конце 1979 года на переходе из Бразилии в Японию.

Международная система КОСПАС—САРСАТ призвана исключить такие и им подобные ситуации. Сигналы с аварийного радиобуя, установленного на каждом транспортном средстве, в экспедициях геологов, ученых, поступят на советский или американский спутник, патрулирующий над планетой на высоте 800—1000 километров. После обработки их на береговых специальных пунктах точность определения координат составит всего одну-две мили. Находящиеся вблизи от места аварии суда и самолеты согласно существующей договоренности получают полную информацию.

На орбите находится советский спутник «Космос-1383», входящий в международную поисково-спасательную космическую систему по спасанию людей на земле и на море в любой части земного шара. В 1982 году осенью печать многих стран мира известила своих

читателей о первых результатах работы системы КОСПАС—САРСАТ. С помощью информации, поступавшей с орбиты, определены координаты нескольких авиационных и морских катастроф. В результате были спасены граждане Канады, США, Великобритании. Речь идет о трех авиационных катастрофах: двух в Канаде, одной в США и одной морской катастрофе в Северной Атлантике, недалеко от побережья Соединенных Штатов.

Американский еженедельник «Тайм» писал: «Когда в прошлом месяце небольшой самолет с тремя людьми на борту исчез над безлюдными районами Британской Колумбии, канадские официальные лица отчаялись их спасти. Местность была настолько отдаленной и имела такой сложный рельеф, что быстро отыскать потерпевших аварию не представлялось возможным. Однако благодаря одному из чудес космического века помощь пришла вовремя».

Над западной Канадой в это время пролетал советский спутник, оборудованный специальной аппаратурой, которая «слышит» сигналы бедствия, автоматически подаваемые потерпевшими катастрофу самолетами или судами. Космический аппарат зарегистрировал тревожный сигнал и ретранслировал его на приемную станцию возле Оттавы. Там с помощью этих данных специальный компьютер быстро определил место катастрофы, и вертолет через несколько часов доставил потерпевших в больницу».

Сейчас печать регулярно приносит новые сообщения о помощи, оказанной из космического пространства людям, попавшим в беду. Радостные известия!

Советская наука и техника одержали еще одну выдающуюся победу в исследовании и освоении космического пространства в мирных целях. В канун 60-летия образования СССР успешно завершён самый длительный в истории космонавтики орбитальный пилотируемый полет на станции «Салют-7». Космонавтов Анатолия Березового и Валентина Лебедева, ученых, конструкторов, инженеров, техников и рабочих, коллективы и организации—всех, принимавших участие в подготовке и осуществлении полета на космическом научно-исследовательском комплексе «Салют-7» — «Союз», с новым достижением в освоении околоземного пространства поздравили Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР.

211 суток несли свою космическую вахту Анатолий Березовый и Валентин Лебедев. 211 суток взаимодействовали с посланцами Земли большие группы специалистов Центра подготовки космонавтов, Центра управления полетом, командно-измерительного комплекса на территории нашей страны и в просторах Мирового океана. Напряженно работали ученые — постановщики десятков сложных экспериментов, направленных на расширение наших знаний об окружающем пространстве, на использование космической техники в интересах народного хозяйства страны.

Словом, космос изучается, покоряется, осваивается, обживается. Во Вселенную поднимаются все новые и новые разведчики звездных трасс. Но в памяти народной вечно будет жить человек, который первым открыл дорогу в космос — советский гражданин, коммунист Юрий Гагарин.

9 марта нынешнего года ему исполнилось бы 50 лет — возраст творческой зрелости, возмужания.

Много лет минуло со дня трагической гибели Гагарина, но в памяти живо все, что пережила в те дни страна да и весь мир.

С особой силой проявилось тогда значение бессмертного подвига Юрия Гагарина для всей планеты, для истории, величие этого русского человека, обладавшего всеми достоинствами, присущими лучшим представителям землян.

Восстановим в памяти те роковые дни.

### СКОРБНЫЙ ПОИСК

В это трудно было поверить: нет Юры Гагарина, погиб Юрий Алексеевич Гагарин.

Завтра мы не услышим его голоса, не увидим его веселых и быстрых глаз, не пожмем его сильной, доброй руки.

О его смерти знали тогда немногие. Трагедия пока ранила только нас. Но боль так велика, что скрыть ее, упрятать не удавалось.

Городок утонул в кромешной тьме, нет света в окнах квартир. Какая жуткая тишина, как давит она... Трудно дышать, плохо видят глаза.

В памяти возникают один за другим эпизоды — о нем живом, среди людей.

«Я искренне восхищен его изумительным хладнокровием,— писал Пэт Слоун,— выдержкой, умением находить со всеми общий язык. Помнится, в Лондоне на пресс-конференции... собралось более тысячи журналистов из всех стран мира. Вопросы сыпались со всех сторон — только успевай отвечать. Другой человек, пусть даже более опытный и более зрелый, наверно, растерялся бы, может быть, даже не всегда нашел, что ответить. Другой, но не Юрий. Улыбка, такая добрая, хорошо всем знакомая, гагаринская улыбка, не сходила с его лица. Просто, ясно и очень дружелюбно он отвечал на все вопросы. Все были в восторге. Я не удержался... сказал ему, что помню множество пресс-конференций самых различных деятелей, но что ни один из них не смог бы держаться так свободно и непринужденно. Юрий сильно удивился. «Ну что вы,— сказал он,— это совсем не трудно. Я просто отвечал на вопросы»...»

Да, он выходил на аудиторию в сто или тысячу журналистов так же спокойно, как к нам, космонавтам, объясняя что-либо из теории или конструкции.

Он был кудесником!

Его мастерство не имело пределов, не было проштампованным и стереотипным, он не повторялся, не пасовал, не обрушивался на слушателей гигантской своей славой.

...Мы собрались в служебном помещении, в бескрайней скорби замерли у дверей кабинета Гагарина.

Торопливо, не поднимая головы, прошел начальник Центра подготовки Н. Ф. Кузнецов, у дверей остановился, вернулся, сказал:

— Не надо толпиться, идите по своим местам, вы можете скоро потребоваться..

Николай Федорович ушел, не добившись исполнения собственного приказа. Может быть, это и не было приказанием.

Ждали Николая Петровича Каманина.

Мы уже знали, что самолет Гагарина—Серегина не найден, что самолеты и вертолеты, посланные в район пилотирования, следов катастрофы не обнаружили.

Это известие мгновенно разнеслось по кабинетам и лабораториям, тренажным помещениям и учебным классам. Затеплилась надежда: они живы.

Припоминали детали последних двух дней, встречи и беседы с Юрием, его слова. Приехал Каманин.

Он угрюмо прошел в кабинет Кузнецова, не подняв тяжелой головы, не оторвав глаз от пола. Погасла пробудившаяся было в нас надежда. Сомнений не оставалось: самолет потерпел катастрофу.

— Что сообщают группы поиска?—спросил Николай Петрович, ни к кому не обращаясь.

— Поиск ведут экипажи вертолетов на высоте пятьдесят—сто метров, самолеты «Ил-14» ходят на высоте триста метров. Никаких следов катастрофы не обнаружено,—сообщил Степан Сухинин.

Каманин временами отключался от окружающей его обстановки: не реагировал на свет, не обращал внимания на столпотворение. Иногда вдруг заговаривал вслух: «Да нет, не может быть» — так велико было его потрясение. Огромным напряжением воли заставлял он себя возвращаться к действительности.

— Попросите космонавтов вспомнить последние два дня из жизни Гагарина. О чем и с кем говорил, какие он давал указания. Пожалуйста, не забудьте об этом,—сказал он и глухо обронил: — Все свободны.

Вышли не все.

— Может быть, сообщить Валентине Ивановне? — робко спросил кто-то.

— Нет!

Это был приказ.

Каманин выехал на аэродром.

Со стартового командного пункта сообщили: «Экипаж вертолета с бортовым номером 27 в трех километрах от деревни Новоселово обнаружил обломки самолета».

Николай Петрович тотчас встал и, обводя глазами присутствующих, сказал:

— Срочно вертолет.

Всякое приходило в голову. Возможно, что в воздухе что-то произошло, допустим, отказал двигатель, наступило внезапное обледенение, самолет столкнулся с... С чем может столкнуться самолет зимой на высоте четыре тысячи метров? Они катапультировались, сели на вынужденную, приземлились на запасном аэродроме? Внизу на огромном пространстве, засыпанном снегом, Каманин искал парашюты, живительное пламя костра.

Он вспомнил, что в марте 1965 года Павел Беляев и Алексей Леонов очень разумно воспользовались костром. Эту инициативу космонавтов одобрил Юрий Алексеевич и рекомендовал в аварийных ситуациях использовать их опыт. Не мог же Гагарин, одобрявший «костер жизни», не воспользоваться им! Внимательно осмотрев район, Каманин ничего подозрительного не обнаружил. Снова появилась робкая надежда: Гагарин жив. Вертолет медленно, зависая на мгновения, совершал еще один медленный круг. Со стороны деревни, выбрасывая сизое облако дыма, куда-то торопливо бежал трактор.

Из окна иллюминатора Николай Петрович видел, как трактор изменил направление, и мужчина, выскочивший из кабины, замер на широких траках.

Посадка!

Впервые Каманин проявил нетерпение.

Вертолет, завершая круг, приземлился метрах в восьмистах от воронки.

Что это такое — никто на борту вертолета не знал. Мало ли что можно встретить в лесу в весенний пору. Родник, выкорчеванный пенек, медвежья нора, охотничья засада...

Утопая в снегу, Каманин быстро зашагал в сторону воронки.

В 16 часов он добрался до места предполагаемого падения самолета. Проваливаясь по пояс в снег, осмотрел место: густой лес, как обычно смешанный, характерный для средней полосы России, вероятно, с мягким, тонким грунтом, ибо воронка три-четыре метра глубиной медленно заполнялась грунтовыми и талыми водами. Макушки деревьев срублены, объект падал под углом 60—70 градусов. Непосредственно у воронки, у места столкновения самолета с землей никаких особых доказательств катастрофы самолета Гагарина—Серегина не было. При ударе о землю самолет разлетелся на мельчайшие обломки, отнесенные взрывной волной на большое расстояние.

Каманин внимательно осмотрел местность вокруг места падения, приказал измерить глубину воронки, зажечь осветительные костры. Глубина воронки оказалась весьма внушительной — 7 метров. Значит, там, на дне, двигатель и, возможно, кабина упавшего самолета. Но где доказательства, что это самолет Гагарина—Серегина? В этом районе летают и другие самолеты, рядом проходят воздушные трассы. Нет доказательств и гибели людей. Они, предвидя падение неуправляемого самолета, могли его вовремя покинуть!

Снова команда: искать!

Во все стороны от воронки, вооруженные факелами и фонарями, пошли авиационные специалисты, тщательно осматривая территорию.

На лес опустились вечерние сумерки. Из чащобы в сторону воронки шла густая синь ночи. Подмораживало.

К Каманину, с профессиональной дотошностью осматривающему воронку, стекалась вся информация по поиску, непрерывным потоком шли доклады о всяком предмете, найденном в глухом лесу.

Сомнения не было: потерпел катастрофу самолет. Но какой, пока установить не удалось. Осмотр первых ста метров ничего не дал.

И снова возвращалась надежда, что летчики покинули самолет, экипаж жив.

И вдруг по цепочке первое тревожное сообщение: найден летный планшет. Летный планшет! Это весьма серьезно. Это доказательство. Летный планшет в лесу не валяется просто так.

Каманин извлекает из него карты, карандаши, фломастеры... Планшет сильно обгорел, потрепан. Прямых доказательств, что он принадлежит Гагарину или Серегину нет.

Искать!

Продолжать осмотр!

Неожиданно факельное шествие останавливается: обнаружены останки человеческого тела. Врачи походной лаборатории устанавливают — это останки Серегина.

Каманин, отдав распоряжение приостановить работу, поставить палатки, организовать для всех горячий ужин, сам направился к вертолету. В воздухе, когда шел к Звездному, он прослушивал эфир в надежде узнать, как идет поиск. Многочисленные гоюса настойчиво вызывали Гагарина, посылая в пространство позывные экипажа.

Из Звездного Каманин позвонил в Москву, сообщил о первых находках, попросил создать аварийную комиссию, включить в нее Павла Романовича Поповича и как можно быстрее провести первое заседание.

Главнокомандующий ВВС, Главный маршал авиации Константин Андреевич Вершинин принял самое активное участие в расследовании причин катастрофы и просил Каманина обращаться к нему лично в любое время суток. Первое заседание комиссии назначили на ноль часов тридцать минут.

Николай Федорович Кузнецов, неотлучно находившийся на стартовом командном пункте, предложил Каманину поужинать. Каманин отказался.

В этих людях, убеленных сединами, была какая-то особая сила. Чем труднее и напряженнее становилась обстановка, тем собраннее и работоспособнее становились они. Свою безмерную боль они прятали глубоко в себе. Мы видели, как, опустив голову, Каманин до синевы сжимал губы, как Кузнецов усилием воли останавливал дрожь подбородка, как, отвернувшись к стене, надолго замирал Леонов, как скрупулезно, уж который раз всматривался в летные документы Попович, словно пытаюсь найти в них ответ на немой вопрос. Все они, располагая самой разнообразной и широкой информацией, все же еще не верили безоговорочно в гибель Гагарина.

Вновь вылетели в свой скорбный поиск вертолеты. В 23.10 начались беседы с теми, кто видел и беседовал с Гагариным и Серегиным 26 и 27 марта.

Первое сообщение сделал Кузнецов.

Он рассказал о режиме предполетного дня, о личной подготовке Гагарина, его настроении, планах. Детализировал последние часы работы, сослался на медицинский осмотр, который не выявил никаких отклонений: нормальный сон, отсутствие головных болей, никакой утомляемости.

О своих встречах и беседах с Гагариным приходили рассказывать космонавты, инженеры, специалисты разных служб. Слушая их, восстанавливающих в мельчайших деталях обстоятельства встреч, невозможно было поверить в беду. Георгий Тимофеевич Добровольский рассказал о том, что Юру он видел вчера.

«Дело было так,— вспоминал он,— примерно в семь сорок, спускаясь в лифте, я услышал его голос: «Пожалуйста, остановитесь на шестом». Я тут же нажал кнопку, лифт остановился, и Юрий Алексеевич вошел в кабину, как всегда, веселый, бодрый, со всеми поздоровался за руку.

Когда вышли из лифта, сзади застучали каблочки. Нас обгоняли женщины, они спешили на электричку.

Около лесочка, где обычно проходит физзарядка, мы увидели Виталия Жолобова. Идем дальше. Юра меня спрашивает:

— А чего ты так рано собрался?

— На права думаю сдавать.

— На права? Ты только сдавай не так, как вчера в гараж въезжал.

Наши гаражи рядом. Вчера с трудом поставил машину в свой бокс. По этому поводу Юрий Алексеевич и шутил. Мы опять посмеялись и продолжили разговор об автолюбителях и автомобилях. Юра спросил:

— А кто еще будет сдавать на права?

— По-моему, женщина.

— Женщина будет сдавать на права?! — притворно удивился Юра.— Нет, ничего не выйдет. Позвоно в ГАИ, чтобы завалили ее. Ни в коем случае. Женщина за рулем — это ЧП».

В тот день и много позже подробно восстанавливали час за часом предполетные дни Юрия Алексеевича Гагарина Владислав Волков, Евгений Хрунов, Алексей Губарев, Мария Калашникова (сестра Валентины Ивановны Гагариной) и многие другие.

Петр Ильич Климук с затаенной болью в больших темных глазах тихо рассказывал Каманину:

«С Юрием Алексеевичем я встречался много раз, все последние три дня. 25 марта в 14.45 он пришел в спортзал. Мы вместе раздевались. Шутил. Спрашивал, как живу, чем занимаюсь в свободное от работы время. Переодевшись, вошел в спортзал. Там еще никого не было. Он пробежал несколько кругов, начал выполнять разминочные упражнения. В 15.10 Юрий Алексеевич заинтересовался: почему никого нет на занятиях? Обратил внимание на то, что по расписанию в это время должна заниматься группа слушателей.

Пришли преподаватели. Юрий Алексеевич поговорил с ними. Попросил разрешения у них и начал заниматься на батуте. В этот день с занятия он ушел немного раньше.

26 марта я видел Юрия Алексеевича на предварительной подготовке к полетам. Он вошел в класс бодрим. Поздоровался. И сразу принялся за подготовку к полетам. Спросил, кто должен летать, записал в планшкетку время их вылетов.

Перед тем, как уходить на тренаж, Волков попросил у Юрия Алексеевича разрешения уехать в конструкторское бюро. На это Юрий Алексеевич ответил, что кто на предварительной не бывает, тот отстраняется от полетов. Уходя на тренаж, он еще раз предупредил Волкова, чтобы он обязательно присутствовал на тренаже, иначе будет отстра-

нен от полетов. Далее вместе со всеми Юрий Алексеевич пошел к самолетам, сел в «Миг-17» и проиграл весь полет, работая в кабине с арматурой.

Беседовал с летчиками об инструкции по эксплуатации и технике пилотирования самолета «Миг-17». Сказал, что вечером просмотрит ее повнимательнее. Задал несколько вопросов и своему инструктору.

27 марта Юрий Алексеевич пришел в столовую в 7 часов 50 минут. Как всегда, поздоровался, пожелал приятного аппетита. Из столовой в 8 часов 10 минут пошел к автобусу. В автобусе он разговаривал с летчиками-космонавтами. Принял доклад дежурного. Прощел в раздевалку и начал переодеваться. Проходя медицинский осмотр, шутил, разговаривал с врачом Игорем Чекирдой. Затем перешел в класс на предполетную подготовку. Здесь Юрий Алексеевич еще раз просмотрел плановую таблицу, уточнил задание. Проверил позывные аэродромов у начальника связи. Записал данные в планшечку, пометил в ней указания руководителя полетов. Больше Юрия Алексеевича я не видел».

Степан Сухинин со сдержанным волнением восстанавливал картину дня перед вылетом:

«Юрий Алексеевич внимательно записывал все, что говорилось на предполетной подготовке. Выслушал сообщения дежурного штурмана и синоптика, информацию руководителя полетами. Был добр и весел. Когда Гагарин и Серегин сели в самолет, я направился на СКП, находился там и слышал их передачу и команды руководителя полетов. Последние радиопереговоры были примерно следующие:

Юрий Алексеевич: «Я — 625-й, задание выполнил. Высота 5200, разрешите вход».

Руководитель полетов: «Уточните высоту».

Далее ответа не последовало. На всех каналах руководитель полетов запрашивал 625-го. Ответов не последовало».

Много людей приняло участие в этих устных воспоминаниях. Ничего тревожного, подозрительного в сообщениях не содержалось.

В эти напряженные и тревожные часы Каманин не повышал голоса, не приказывал, не вскидывал гневно голову, хорошо понимая, что в эти минуты его распоряжения будут улавливаться с полуслова и немедленно выполняться. Он распорядился хорошо экипировать лыжников и направить в район катастрофы.

Получив сообщение о готовности экипажей четырех самолетов «МиГ-14» к полету, согласился с предложением послать их на разведку. Кто-то стал доказывать необходимость немедленных раскопок в районе падения самолета. Каманин согласился с этим предложением, но просил начать работу только утром, в светлое время суток.

Мысль о гибели Гагарина отлеталась. Было принято решение в пять часов вылететь в район деревни Новоселово.

В районе катастрофы самолета шла активная подготовительная работа. Из-под снега извлекли покореженные куски самолета, откачивали воду из воронки, расширили ее в диаметр, стремясь добраться до двигателя, оказавшегося глубоко в земле.

В 7 часов 52 минуты Каманин, как и все прилетевшие члены аварийной комиссии, осматривая территорию, обратил внимание на клок материи, развевающийся на ветру на высоте восемь—десять метров. Сняли его, тщательно осмотрели и установили, что это нагрудная часть летной куртки. В кармане оказались талоны на питание, выписанные на имя Юрия Алексеевича Гагарина.

Все надежды рухнули, сомнения рассеялись: Гагарин погиб.

Каманин немедленно вылетел в Москву.

Находясь на борту вертолета, он информировал Константина Андреевича Вершинина о находке и уже более аргументированно высказал версию о катастрофе самолета.

Через час Николай Петрович Каманин доложил ЦК КПСС и Советскому правительству о гибели первого космонавта планеты.

Было принято решение об образовании Правительственной комиссии для выяснения обстоятельств гибели летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза полковника Ю. А. Гагарина и Героя Советского Союза инженер-полковника В. С. Серегина.

В тот же день в 21 час 15 минут состоялась кремация останков погибшего экипажа. В крематории присутствовали родственники погибших, все космонавты.

Шла долгая, нескончаемая вторая ночь.

В Звездном не спали. Кто в полном молчании сидел дома, кто, стремясь к одиночеству, вышел бродить по городку, кто-то пришел в служебное помещение и замер у опечатанной двери служебного кабинета Юрия Алексеевича Гагарина.

29 марта советские газеты оповестили всех людей планеты о гибели Гагарина.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР извещали, что 27 марта 1968 года в результате катастрофы при выполнении тренировочного полета на самолете трагически погиб первый в мире покоритель космоса, прославленный летчик-космонавт СССР, член КПСС, депутат Верховного Совета СССР, Герой Советского Союза полковник Гагарин Юрий Алексеевич.

В этой авиационной катастрофе погиб командир авиационной части, член КПСС, Герой Советского Союза инженер-полковник Серегин Владимир Сергеевич.

Газеты сообщали о том, что для организации похорон погибших образована Правительственная комиссия.

В 9 часов утра Краснознаменный зал Центрального Дома Советской Армии, в котором были установлены урны с прахом Юрия Алексеевича Гагарина и Владимира Сергеевича Серегина, открыл свои двери.

В первые же часы проститься с прахом погибших приехали руководители Коммунистической партии Советского Союза и члены Советского правительства.

30 марта Москва провожала в последний путь первого космонавта планеты и его товарища.

В 14 часов 30 минут состоялось захоронение.

Газеты публиковали соболезнования, многочисленные отклики советских людей, полные скорби и печали.

К советскому народу со словами глубокой печали обращались руководители государств и правительств, лидеры политических и общественных организаций, люди доброй воли.

Шарль де Голль писал: «С волнением узнал о трагической гибели полковника Юрия Гагарина — героя Европы и всего мира, с которым я имел большое удовольствие познакомиться лично».

Письма с выражением глубокой скорби и невыразимой печали шли непрерывным потоком в адрес Звездного городка, журнала «Авиация и космонавтика», Николая Петровича Каманина. Все газеты мира откликнулись на трагическую весть. Во всех статьях, корреспонденциях, письмах — боль, сострадание, недоумение. «Гагарин, прошедший через все главные двери опасности и риска семь лет назад, вернулся к нам невредимым. Что может случиться с ним на Земле?» Так, наверное, думали многие, так, возможно, думал и сам Гагарин...

1 апреля Правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина заслушала доклады представителей подкомиссий, сообщения специалистов, участвовавших в расследовании катастрофы в районе села Новоселово.

В результате тщательного исследования всех предметов, найденных на месте падения самолета, было установлено и неопровержимыми фактами подтверждено, что двигатель самолета работал на режимах, достаточных для горизонтального полета. Экипаж находился до самого столкновения с землей в рабочем состоянии и никаких попыток к катапультированию не предпринимал. Катастрофа самолета произошла через 50 секунд после доклада Гагарина руководителю полетами.

Подлинной причины катастрофы ни один выступающий не назвал. Полного единства взглядов и позиций выступающие не продемонстрировали. Отдельные специалисты, не высказывая своих суждений о причине катастрофы, предлагали лишь некую форму безопасности космонавтов: не летать, не заниматься, не рисковать...

Из уст малокомпетентных специалистов прогремели грозные упреки в адрес должностных лиц, допустивших полеты первого космонавта планеты на «старом» самолете.

— Этот старый самолет, — твердо сказал Каманин, — один из самых надежных самолетов. Он надежнее некоторых типов в 8—9 раз. За десять лет мы не имели ни одного летного происшествия.

На очередном заседании Правительственной комиссии рассматривались многочисленные гипотезы, предположения, версии. В расчет принимались только неоспоримые факты.

Николай Петрович Каманин обратился к Главнокомандующему ВВС, Главному маршалу авиации Вершинину с просьбой проанализировать причины катастроф самолета «Ути-Миг-15» за последние десять лет, если таковые случались.

Комиссия получила строгую установку принимать к исследованию всякий случай или

злит, ранее неизвестный, любое заявление по событиям, могущими пролить свет на причину или обстоятельства происшествия.

Стали поступать неожиданные сообщения о ранее неизвестных фактах. Житель села Новоселово Николай Иванович Шальнов, учитель, сообщил, что самолет не падал, а летел по прямой к земле, а совершал некоторые эволюции, сопротивляясь силе, которая неминуемо влекла его вниз.

Шальнов начертил схему полета самолета, которую надлежало тщательно проверить, проанализировать. Кстати, по инициативе Шальнова из числа местных жителей была создана аварийная команда и направлена в лес к месту падения самолета.

Стали поступать и другие сообщения. В пяти километрах от места падения самолета был найден люк от кинофотопулемета. Факт малозначительный, но... не есть ли это доказательство того, что самолет, находясь в воздухе, начал разрушаться? Не произошло ли столкновение самолета с каким-либо предметом в воздухе? Надлежало немедленно все исследовать.

Константин Павлович Кононов из города Гусь-Хрустальный сообщил о том, что 27 марта между десятью и одиннадцатью часами, подвезжая на автомашине к городу Киржачу, услышал взрыв в воздухе, поднял машинально голову и увидел падающий самолет, за которым тянулся шлейф пламени и дыма. «Погода была хорошая, солнечная,— утверждал Кононов, — и все было хорошо видно».

Бюллетени службы погоды не подтверждали заявления Коконова о погоде, небо в ту пору закрывали облака.

Все эти сообщения ответственными работниками внимательно проверялись.

Сильный хлопок или взрыв в воздухе в районе города Киржач, происшедший во время, указанное Кононовым, подтвердили Павел Попович, Валерий Быковский и Алексей Леонов.

Группа поиска, направленная в район предполагаемого столкновения, нашла оболочку шара-зонда с запахом керосина.

Специалисты утверждают, что при столкновении самолета с шаром-зондом, оболочка которого наполнена водородом, может произойти взрыв, но запах керосина...

Если при столкновении самолета с шаром-зондом разрушается самолет, то может ли остаться невредимым шар-зонд?

И эта версия нуждалась в тщательном исследовании.

Специалистам поручалось вычертить схему движения самолета и изменения его полета после вероятного столкновения.

В процессе исследования остатков разбившегося самолета родилась новая версия: в полете взорвался гидробачок.

Может ли быть подобное явление в полете? И снова проверка.

Комиссия поручает специалистам провести исследования, собрать данные об аналогичных взрывах в прошлом.

Позже Каманин придет в Центр подготовки космонавтов с проектом предложений о присвоении имени Гагарина Центру подготовки космонавтов и Военно-воздушной академии, городу Гжатску и Калужской площади в Москве. В проекте предусматривалось воздвигнуть памятники и обелиски в Звездном, Гжатске, Москве, учредить премию его имени. Имя Серегина предполагалось присвоить Пеговскому переулку и так далее. За проект проголосовали все космонавты, и с небольшими поправками он был принят Советским правительством.

### НАСТАВНИК КОСМОНАВТОВ

Сейчас всему миру известно имя прославленного советского летчика, одного из первых Героев Советского Союза Николая Петровича Каманина.

Так случилось, что мне довелось служить под его началом много лет. В годы Великой Отечественной войны наш полк входил в состав смешанного авиационного корпуса, которым командовал Николай Петрович. Нам, молодым летчикам, было лестно сознавать, что служим под командованием такого известного летчика. Перед войной Николай Петрович закончил командный факультет Военно-воздушной инженерной академии имени Николая Егоровича Жуковского, командовал авиационной бригадой, а позже корпусом.

Прекрасное знание своего дела, творческое постижение методологии военных действий, научное осмысление взаимодействия рядов Вооруженных Сил на поле боя очень



быстро выдвинули Каманина в число передовых командиров советских Вооруженных Сил. Он бесстрашен, неутомим, напорист, инициативен. Казалось, не знал усталости, не делал сутки на ночь и день, не нуждался в допингах.

Каждый раз, когда успешно или не очень удачно завершались вылет, поддержка наших войск и бомбардировка передовых позиций противника, генерал Каманин прилетал в полк и тщательно, со скрупулезностью следователя разбирал вылет-операцию. Нет, он не был по-судейски категоричен, не считал свою позицию или точку зрения непогрешимой, его интересовали мнения всех причастных к боевым действиям людей.

Тогда, по молодости лет, нам иногда это казалось чудачеством «старого» тридцатипятилетнего генерала.

Почти всегда нам удавалось достичь определенных успехов, но иногда эти победы доставались слишком дорого, значительными потерями. В таких случаях, анализируя вылет, оценивая примененную тактику, Николай Петрович оставался недовольным. Он считал, что так можно было летать вчера. Отстаивая свою точку зрения, мог выступить и с критикой высокого начальства.

Нам стал известен случай, когда Каманин, выслушав доклад командующего армией генерала Михаила Михайловича Гримова, заявил в своем выступлении, что он не согласен с выводами и анализами боевых потерь и считает главной причиной низкую лётно-тактическую выучку командиров. С присущей ему твердостью выступал против шаблона, зазнайства, переоценивания своих сил. Его беспокоили высокие потери штурмовиков в боях (практически редкий вылет заканчивался без потерь), и он настойчиво искал пути решения «живучести» экипажей. Каманин, например, внимательно изучил и рекомендовал использовать для боевых действий так называемый оборонительный круг, который летчиками был уже проверен в воздушных боях и для построения которого требовалось не менее 7 самолетов. Как-то мне довелось прочесть в одной из газет военного времени мнение Каманина на этот счет: «В ходе боев на Курской дуге группа капитана Берегового штурмовала передний край противника. Неожиданно появились две группы вражеских истребителей. Одна завязала бой с нашими истребителями прикрытия. А другая напала на «Ильи». Фашисты атаковали штурмовиков с задней полусферы, снизу.

Береговой быстро перестроил свою группу... в оборонительный круг, и воздушные стрелки встретили гитлеровцев пулеметным огнем...»

Разумеется, я помню этот бой, знаю его результаты, но те тактические подробности и сама неопишуемая круговерть схватки мною давно забыты.

Во время одной из послевоенных встреч ветеранов 5-го штурмового авиационного корпуса я узнал, что у Николая Петровича Каманина хранятся записи многих воздушных боев и их тщательный разбор. Не скрою, что порадовался, увидев в списке асов и свою фамилию. На этой встрече Каманин легко обратился к воспоминаниям, был внимателен в расспросах, но вряд ли подозревал тогда о моих намерениях.

«Откровенно говоря, перед встречей с Георгием Тимофеевичем, — писал он в своей книге «Летчики и космонавты», — я предполагал, что боевой однополчанин, освоивший после войны профессию летчика-испытателя, человек, которому перевалило за сорок, должен быть довольным своей жизнью и своим местом в ней. Думалось, что он хочет по-вспоминать фронтовые были, друзей, а он сразу удивил меня просьбой взять его в группу летчиков-космонавтов».

Он не отказал мне тогда, но обещал поддержку. Медленными темпами шел я к заветной цели, проходя все положенные испытания, в том числе тщательную медицинскую проверку. Не все мне удавалось сразу, я демонстрировал не самые лучшие показатели, но, невзирая на возраст и звания, не считал возможным пользоваться какими-либо льготами. Николай Петрович, получая результаты обследования и отбора, не выделял мою фамилию и никакого режима наибольшего благоприятствования мне не предоставлял.

Каманин скрупулезно изучал все документы, относящиеся к катастрофе самолета, внимательно читал справки, объяснения. В некоторых случаях приглашал на беседы второй и даже третий раз.

Беседы с разрешения присутствующих он записывал и потом, оставшись один, внимательно перечитывал.

Мария Ивановна Калашникова, сестра Валентины Гагариной, довольно подробно рас-

сказала об обстановке дома. Она вспомнила, что во вторник, 26 марта, она разбудила Леночку и Галочку в семь часов утра и тотчас, пока они одевались и умывались, начала готовить завтрак.

Юра спал. Его она никогда не будила, потому что он по неведомым для нее признакам всегда вставал сам в те часы, когда ему это было нужно. Вечером он был спокоен, деловит, много говорил о Вале, лежавшей в больнице, беспокоился о ее здоровье.

В воскресенье Валя была дома, Юра сумел убедить врачей отпустить ее домой, побыть с детьми, смеясь, говорил, что это тоже лечение, так сказать, домашняя терапия.

И в этот день, 26 марта, Юра снова был у Вали в больнице. Весь вечер рассказывал о ней, о беседе с врачами, играл с девочками. Потом попросил что-нибудь поесть, так как не обедал сегодня. Спросил, нужна ли по дому его помощь. Мария Ивановна попросила его поточить ножи, и он тут же это сделал. Поужинали. Юра уложил девочек спать, а сам пошел в гараж. Вернулся около десяти часов вечера.

Теперь эти минуты и часы жизни, к сожалению, последние, приобретали особый смысл, и именно в них Каманин хотел найти разгадку тайны происшествия.

Читая то бегло, то медленно запись Калашниковой, он не находил ничего, что могло бы его натолкнуть на новую мысль. Все было, как обычно, как и должно было быть.

Каманин перевернул страницу и уже в который раз стал медленно читать рассказ Марии Ивановны о последнем дне жизни Гагарина:

«В семь часов я попросила Леночку разбудить папу. Но он уже не спал, лежал в кровати и, видимо, думал о сегодняшнем тяжелом дне, ибо ему предстояло сделать очень многое. Каждый час был занят до предела...

И все же он несколько минут поиграл с Леночкой. Попросил ее выйти, быстро встал. Побрился, принял душ, надел форму и прошел в кабинет. Там он находился несколько минут. Включил радиоприемник. Затем вышел из своего кабинета, быстро надел шинель и сказал: «Я пойду на завтрак в столовую». Было 7 часов 40 минут. Но вскоре Юра вернулся и, улыбаясь, пояснил: «Да эту чертовку книжечку забыл». Так он назвал пропуск, показывая его мне. С этими словами ушел и... больше не вернулся».

Каманин продолжал тщательный поиск причин катастрофы. Запросил все документы по самолету «Ути-Миг-15» с бортовым номером восемнадцать и стал тщательно их изучать.

Он вычерчивал графики, схемы, составлял диаграммы, читал формуляры двигателя. И не обнаружил никаких нарушений, отклонений от наставления по инженерно-авиационной службе.

Не имея достаточной информации, томимые неведением, люди продолжали писать письма, в которых выражали соболезнования, просили сообщить, как все произошло.

В откровенных письмах было много и гневных слов — не уберегли-де Гагарина, разрешили ему летать, не наказали ответственных лиц за безответственный поступок.

«Тяжело читать такие письма, — писал 9 апреля 1968 года в своем дневнике генерал Каманин. — Я потерял больше чем родного сына. Я потерял лучшего из моих друзей, человека, которому я передавал все лучшее, что было у меня, я не раз спасал его от ошибок, неприятностей, и я ни на секунду не задумался бы отдать свою жизнь за него, если бы этого потребовали обстоятельства. В него я вложил свою душу, ему я отдал свое сердце...»

Приближался День космонавтики.

Как всегда, представители советского и зарубежного радио и телевидения, корреспонденты газет и журналов звонили Каманину, просили совета, материалов, интервью.

Настроение было совсем не праздничным. Но День космонавтики справедливо стал всенародным праздником, и его предстояло провести.

И Каманин, как умел делать только он, заглушал в себе боль, принимал журналистов, рассказывал об успехах и задачах космонавтики, делился планами, подсказывал темы, рекомендовал фото, организовывал встречи с космонавтами.

К нему шли за советами, помощью, за идеей, и он, загруженный многочисленными обязанностями, неожиданными поручениями, ответственными делами, никогда и никогда не отказывал во внимании.

Каманин читал статьи, правил очерки, предлагал новую структуру книги — в общем, с высокой ответственностью выполнял свой долг.

Именно в период его активной служебной деятельности и при его личном участии появились самые лучшие книги о космосе и космонавтах.

В статье «Дерзновение» он писал: «Труден и суров путь к звездам. На этом пути мы потеряли двух талантливых испытателей космических кораблей — Юрия Гагарина и Владимира Комарова. Их подвиги бессмертны. Шли они на них не ради славы, не ради житейского благополучия, не ради того, чтобы повсюду повторялись их имена. Они шли вперед по непроторенному пути потому, что это нужно было их народу, всем людям Земли, науке и прогрессу...»

Сознанием понимаешь, что, когда человечество вторгается в новую, неизведанную область, когда идет дерзновенное завоевание океана Вселенной, возможны жертвы. Сердцем это понять тяжело.

Но жизнь продолжается. Советские люди неминуемо пойдут дальше, будут открывать непознанное ради блага всего человечества. Так было, так будет».

Однажды меня пригласил на беседу генерал Каманин.

Он расспросил о ходе тренировки, о взаимоотношениях в отряде, сказал о потерях.

— Вы хорошо знаете, Георгий Тимофеевич, как много внимания я уделял Юрию Алексеевичу. С ним мы исколесили почти всю планету, побывали во всех крупнейших странах мира. Все наши поездки прошли успешно, благополучно. Я ни на одну минуту не оставлял его, был постоянно рядом, готовый в любую минуту прикрыть его своей грудью.

Как правило, Юра выступал по 18—20 раз в сутки, давал интервью, а это требовало огромного напряжения. Добравшись до машины, он как мертвый сваливался мне на руки и засыпал. Я был счастлив в эти минуты и потому, что человек, всемирно известный, тихо, как ребенок, дремал у меня на руках, и потому, что он доверял мне, черпал в наших контактах силу.

Высокую работоспособность нам удавалось сохранять благодаря хорошей организации работы и строжайшей дисциплине. Да что это я ударился в воспоминания...

— Спасибо вам, Николай Петрович, за новые сведения, за урок,— поблагодарил я генерала и добавил огорченно: — Некоторые упражняются в досужих вымыслах о причинах аварии. Хорошо бы развеять такие разговорчики...

— Да, кое-что я знаю. Приходят письма, звонят, иногда откровенничают...

— Быстрее бы опубликовать итоги работы комиссии, обнародовать подлинные причины катастрофы.

— Хорошо бы, но это не от нас зависит. На каждый роток, как говорят, не накинешь платок.

Он вновь стал рассказывать о Гагарине, об огромном его авторитете, о безмерной популярности, о стремлении людей всех рангов и возрастов с ним пообщаться.

Потом Каманин сказал о готовящихся запусках кораблей «Союз», близком старте станции «Луна-14», которая должна стать новым искусственным спутником Луны.

— Я не полечу с вами, — тихо проговорил Николай Петрович, — первый раз я не буду с вами на космодроме.— Каманин долго молчал, возможно, снова думал о Гагарине.— Будет образована группа Берегового, вы назначаетесь старшим. И еще: не отказывайтесь от полета. Вы должны как можно скорее, непременно в этом году провести испытания «Союза».

Я встал и ответил по-военному: «Слушаюсь!»

Через день мы вылетели на Байконур.

#### ГАГАРИН С НАМИ

Уходили вдаль, в прошлое тяжкие дни прощания с Юрием Гагариным.

Что бы мы ни делали: тренировались, присутствовали на пусках очередных космических объектов на Байконуре, примеряли новые скафандры — мы думали о нем, соотносили свои поступки с его.

Рабочие просили рассказать о нем, журналисты убеждали написать о нем, а мы молчали. Не могли. Слишком глубока и тяжела была рана.

Газеты и журналы продолжали публиковать статьи, написанные Гагариным, яв-

тервью, данные им. Журнал «Авиация и космонавтика» опубликовал его статью «Космическая дорога Родины», в которой он писал: «Многие люди за рубежом, для которых первенство Советского Союза в освоении космоса оказалось неожиданным, начали понимать, что запуск первого спутника, а затем первый орбитальный полет человека — это далеко не случайные и не единичные успехи, а закономерный результат развития социалистического общества, результат, свидетельствующий о великих созидательных силах, экономической мощи и колоссальном творческом потенциале нового строя, рожденного Октябрем».

Мир жил глубокой памятью о первом космонавте планеты. Его именем люди называли города, села, улицы, проспекты, корабли, научные учреждения. Детей! В его честь открывали музеи, памятники, мемориальные доски, чеканили медали, организовывали фестивали. Журналист Павел Барашев свою статью назвал «Сын Земли».

Некоторое время спустя Николай Петрович Каманин повторит: «Сын Земли! Как нельзя лучше подходит это определение к Юрию Гагарину. Он первым проник в космос и благополучно вернулся на Землю. Подвиг этого сына Земли человечество назвало бессмертным».

В 1983 году в издательстве «Советский писатель» вышел сборник «Сын Земли», посвященный Юрию Гагарину.

Но это было потом, а в те скорбные дни мы не писали о Гагарине, ибо никто не решался сказать о нем в прошедшем времени, дать оценку тому, что еще до конца не объято. Он мечтал написать много книг, рассказать о своей профессии, поведать миру о своих товарищах. Он думал написать о Германе Титове, Павле Поповиче, Валерии Быковском. Он оставил наброски многих статей.

Возрастала интенсивность полетов, все более далекими становились орбиты и межпланетные трассы.

За три года, прошедшие после трагической гибели Юрия Гагарина, в космос слетало четырнадцать космонавтов Советского Союза, запущено семь автоматических межпланетных станций по программе «Луна», три по программе «Венера» и две «Марс».

Все эти новые достижения в изучении космоса мы связывали с именем Гагарина и посвящали его памяти.

Валерий Быковский вместе с Гагариным проходил отборочную комиссию в первый отряд космонавтов, составлял костяк первого отряда, вошел в ударную шестерку, которую журналисты справедливо называли гагаринской.

«О Юрии Гагарине написано уже немало,— сказал он,— и благодарные земляне будут еще писать и писать о нем. А нам, знавшим его близко, часто кажется, что пишущие о Гагарине больше стремятся показать эффектные стороны жизни этого замечательного человека. Но Юрий Гагарин — это прежде всего труженик, любознательнейший и упорный, неистощимый в своем стремлении к познанию мира, достойный сын своего народа...»

Евгений Хрунов — ходячая ЭВМ, как товарищи называют его,— говорил, что Гагарин уже при жизни стал легендой, символом того, на что способен человек. Именно поэтому, предостерегая против некоей стереотипной характеристики Гагарина, он писал: «...считаю своим долгом сказать, что нельзя... изображать Гагарина как эдакого развеселого ухаря-парня с вечной улыбкой на лице. Да, он любил жизнь, людей, умел радоваться от души, был удивительно чутким. Но в работе — а это большая, главная часть его жизни — Гагарин был необычайно сосредоточенным, когда надо — требовательным, строгим. И к себе и к людям. Поэтому вспоминать впазд и невпазд об улыбке Гагарина — этого великого труженика — значит заведомо обеднять его образ».

В этих замечательных словах заключена верная мысль. Она адресована всем: товарищам, художникам, писателям, коллегам.

Юрий Гагарин — это огромный мир со сложным механизмом управления, реакции, откошения, восприятия.

В то время, зная о всепоглощающем интересе к Гагарину, многие авторы начали писать о нем.

Наши предостережения об их торопливости, неосведомленности были оставлены без внимания. Литературные эксперименты не удались, спусы остались незавершенными.

Мы, знавшие Гагарина, видевшие его в процессе повседневного труда, ощущавшие его неотразимое влияние, робели перед величием его имени. Его выдержка, дисциплинированность, необычайное трудолюбие, оптимизм, эрудиция, целеустремленность были теми качествами, которые сделали его признанным лидером.

Он никогда не подавлял своего собеседника широкой осведомленностью, авторитетом своих связей, не стремился произвести ошеломляющее впечатление.

Гагарин никогда не стеснялся говорить правду.

Без лукавства он говорил чистосердечно, что он не успел прочитать книгу, хотя очень хочет и давно ее приобрел, не посмотрел спектакль, хотя был приглашен на премьеру, не ознакомился с выставкой известного художника, хотя предполагал побывать на ее открытии.

С ним было интересно работать, тренироваться, разбирать схемы нового корабля, принимать гостей, ехать в служебную командировку. Несмотря на свою молодость, он обладал большим жизненным опытом, той необходимой бытовой мудростью, которая позволяла ему избегать трений в коллективе, конфликтов с товарищами.

Я далек от идеализации личности Гагарина, но я говорю о тех качествах характера, которые и определяли его авторитет.

А он был поистине велик.

До предела загруженный делами, он не был суетлив. Занимаясь важными профессиональными и общественными делами, никогда не отказывал во внимании своим друзьям. Очень многое мог сделать, но никогда не использовал свои возможности в личных целях.

В год десятой годовщины со дня полета в космос Юрия Гагарина мы остро ощутили его отсутствие. 12 апреля «Правда» опубликовала письмо группы советских космонавтов «Ждут звездные трассы». В нем мы писали: «Полеты автоматических разведчиков ближнего и дальнего космоса последовательно обогащают науку все новыми и более обстоятельными данными о звездном океане, дают необходимые предпосылки для последующего надежного освоения его человеком как в околоземном пространстве, так и на большей глубине. Настанет время, и люди построят в космосе долговременно действующие пилотируемые орбитальные станции со сменяемыми экипажами. Вслед за автоматическими межпланетными станциями к Венере, Марсу и другим планетам Солнечной системы полетят экипажи пилотируемых межпланетных кораблей...

Впереди — немало новых стартов в бескрайний звездный океан. Дорога в космос, впервые проторенная десять лет назад советским человеком — Юрием Гагариным, — станет еще длиннее и шире. Наш народ может быть уверен — именно к этому будут приложены все усилия дружной семьи советских исследователей космоса. Каждый из нас — и те, кто уже летал в космос, и те, кому еще предстоит впервые подняться на высокую орбиту, — сделает все для того, чтобы еще более упрочить и возвеличить немеркнущую космическую славу нашей социалистической Родины».

Юрий Алексеевич мечтал о том времени, когда на крутых орбитах космоса появятся смешанные международные многонациональные экипажи.

Бывая в зарубежных поездках, он об этом много раз говорил и призывал объединить усилия всех стран мира по более глубокому и планомерному исследованию космоса.

Весной 1968 года он собирался выступить с докладом на конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.

В числе многих вопросов, выносимых на рассмотрение конференции, он предлагал программу международного сотрудничества в космосе, запуск на орбиту совместных экипажей, а советский Центр подготовки космонавтов назвать международным.

В 1975 году Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и стал международным.

Это не просто новая роль, овладеть которой отнюдь не легко уже потому, что других таких примеров в мире пока не имеется. Коммунистическая партия воспитала нас интернационалистами. Интернационализм — и наша идеология и строй повседневной жизни. Деятельность нашего Центра, как известно, подчинена конкретным и весьма сложным практическим задачам. И эти задачи все более решаются на основе братского сотрудничества с другими социалистическими странами. На космические орбиты мы выносим не только программу экспериментов и исследований, мы переносим туда и частицу нашего социалистического образа жизни.

Будущим исследователям космоса предстояло в довольно сжатые сроки освоить большую, сложную и совершенно новую для них программу. И мы понимали, насколько важно, чтобы с первых дней совместной работы и наши зарубежные товарищи и их семьи почувствовали себя дома, в своих стенах. Не как дома, а именно дома. Чтобы женам нравилась квартира, детям — школа и всем — Звездный с его порядками, взаимоотношениями, традициями.

Общая подготовка советских космонавтов к рейсу занимает, как правило, около двух лет. Срок обучения космонавтов-исследователей из социалистических стран примерно такой же. Но так как в полете на их долю приходится меньше операций по управлению кораблем и станцией, мы стремимся высвободить время для более тщательной и детальной отработки экспериментов по научной программе, подготовленной учеными братских стран.

От некоторых трудных испытаний мы освобождаем космонавтов из других стран. У нас приняты, скажем, тренировки экипажей в крайне неблагоприятных, экстремальных условиях — в знойной пустыне или в лютый мороз в тайге. Задается контрольный срок, в течение которого космонавты с минимальным аварийным запасом продовольствия, медикаментов должны обойтись без посторонней помощи. Разумеется, наготове находится группа специалистов. Их всегда можно вызвать, но тогда и оценка, соответственно, будет снижена. Экзамен тяжелый, требует кремневого характера. Мы сочли возможным наших зарубежных товарищей от него освободить. Считаем, что командир экипажа, который проходит такую тренировку в обязательном порядке, способен принять эту часть ноши на себя.

Космонавт — всегда испытатель. Он добровольно берет на себя обязанность дать ответ на вопросы, многие из которых поставлены впервые. И заведомо известно, что результаты получить не просто, они даются в упорном труде, требуют предельного напряжения всех сил и, что не менее существенно, исключительной внутренней собранности, ответственности. Воспитание этих качеств для нас — повседневная забота.

Наши друзья из социалистических стран, успевшие изведать радость космического полета и приобщиться к трудностям его, возвращаясь в Звездный, рассказывают прежде всего об атмосфере дружбы, товарищества, взаимовыручки, присущих на орбите.

В 1978 году, через десять лет после трагической гибели Гагарина, начались орбитальные полеты по программе «Интеркосмос».

В первый международный экипаж вошли Алексей Губарев (СССР) и Владимир Ремек (ЧССР).

Много лет назад по инициативе Юрия Алексеевича Гагарина в Звездном был создан музей. Профиль его в нарушение существующих принципов весьма многообразен. Он не отражает истории развития космонавтики, не содержит материалов, посвященных творческой деятельности конструкторов и ученых, теоретиков и практиков исследования космического пространства. Музей отражает жизнь Звездного, в определенной степени — служебно-практическую деятельность космонавтов. Очень широко представлены в нем экспонаты, свидетельствующие об огромных внешнеполитических контактах ЦПК имени Ю. А. Гагарина.

В экспозиционном материале отражается все расширяющийся авторитет нашей родины, ее лидирующее положение в мирном освоении космического пространства, а те подарки, которые вручали космонавтам рабочие коллективы зарубежных стран и нашей родины, руководители государств и правительств, именно здесь, в Звездном, стали уникальными свидетельствами мирового значения истории нашей космонавтики.

Задолго до 20-летия полета Юрия Гагарина в печати появились сообщения о научном, непреходящем его значении.

В те юбилейные дни гагаринского полета бельгийский журналист Жан Ван Кудсем в газете «Суар» писал: «Человек, хорошо знавший Гагарина, С. П. Королев — знаменитый конструктор космических кораблей, говорил о нем: «Юрий является воплощением вечной молодости русского народа. В нем счастливо сочетается природная смелость, аналитический ум и исключительное трудолюбие». К этому надо добавить, что Гагарин был очень общительным, жизнерадостным человеком, имел хорошо развитое чувство юмора. Все это в сочетании с отличными профессиональными качествами сыграло решающую роль при выборе именно его в качестве первого космонавта».

Хорст Хоффман в газете «Унзере цейт» писал: «С самого начала главной задачей советской космонавтики стало не исследование далеких миров, а изучение Земли, которую Гагарин называл голубой планетой. Он завещал нам любить ее: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!». Эти слова наилучшим образом определяют содержание космической эры, начатой Гагариным 20 лет назад».

Вся мировая прогрессивная пресса правильно поняла советскую космическую программу, ее глубоко научное направление, тот гигантский вклад в мировую цивилизацию, который она вносит.

Президенту Национального центра космических исследований Франции Юберу

Кюрьену был задан вопрос: «Как вы оцениваете значение полета Юрия Гагарина для развития космонавтики?»

Он ответил: «После того как советский искусственный спутник Земли положил начало космической эре, стало ясно, что следующим этапом является посылка в космос человека. То, что первопроходцем стал именно советский космонавт, свидетельствовало о впечатляющих масштабах научно-технического потенциала вашей страны и, кроме того, об огромных человеческих ресурсах, ибо речь шла прежде всего о выдающемся подвиге человека.

Полет Юрия Гагарина открыл перед учеными новые невиданные возможности для проведения исследований в космосе, осуществление которых возможно только лишь с участием человека. В этом его неопределимое научное значение. Однако я глубоко убежден, что политическое значение полета советского человека в космос превосходило даже его чисто научное значение. Сейчас мир привык к сообщениям о космических полетах, новых экспериментах, воспринимая самые невероятные из них как едва ли не обыденные. Ведь за 20 лет пройден такой огромный путь! Тогда же, 12 апреля 1961 года, весть о полете Юрия Гагарина буквально всколыхнула весь мир, в том числе и Францию. Все взгляды были обращены к Советскому Союзу».

Эту же мысль поддержал летчик-космонавт Болгарии Георгий Иванов, заявив, что «совсем недавно мы, космонавты из стран социалистического содружества, летавшие по программе «Интеркосмос», участвовали в научном симпозиуме в Москве, посвященном 20-й годовщине полета Ю. Гагарина. Один только этот факт — яркое доказательство того, что его полет продолжается, обретает новую высоту. А для нас, зарубежных участников симпозиума, это был замечательный повод от всего сердца высказать слова благодарности стране Ленина».

Закончил он свое высказывание словами, выражающими мысль всех землян, славящих подвиг первого космонавта планеты: «Гагарин останется человеком-легендой, живым примером, зовущим в будущее».



---

---

# В МИРЕ НАУКИ

В. ПОЛИЩУК

☆

## НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

Весной 1951 года в редакцию одного из московских химических журналов пришла по почте рукопись, которая вскоре была забракована рецензентом на том основании, что описанная автором реакция принципиально невозможна. Пять лет спустя то же сочинение, расширенное и дополненное, вернули из другой редакции, и отзыв снова был неблагоприятный. Эти давние события не стоили бы упоминания (мало ли статей отклоняют ежедневно), если бы не выяснилось: рукопись никому в тех редакциях не ведомого исследователя содержала описание того, что известный ученый, лауреат Нобелевской премии И. Пригожин впоследствии определил как один из важнейших экспериментов нашего века — первый пример колебательной реакции.

Что же это за реакция?

Вековой опыт химиков свидетельствовал: количество вещества, вступающего в реакцию, может либо плавно убывать до полного исчезновения, либо оставаться постоянным, равновесным. Но не колебаться, то возрастая, то падая! В несложном же эксперименте, проделанном автором отвергнутой статьи, как раз это и происходило: раствор, содержащий определенные компоненты, аккуратно, словно по часам, окрашивался то в синий цвет, то в красный, что явно говорило о циклических колебаниях концентрации одного из веществ. Так эту реакцию и прозвали «химические часы».

Получалось, будто явно неживая смесь проявляет как бы способность самоорганизации, которая считалась неотъемлемой привилегией живых организмов. Понятно, такое казалось неправдоподобным.

Между тем ничего противоречащего законам природы в этом не было. И даже недредсказуемого. О том, что колебательные реакции должны существовать, говорили многие проникательные люди, но, к сожалению, среди них почти не было химиков. Позднее, когда эти реакции признали, так сказать, официально, быстро выяснилось, что они встречаются и в живых организмах и в реакторах химических заводов. С помощью «химических часов» можно моделировать и деятельность нервной клетки, и работу сердечной мышцы, и размножение болезнетворных микробов. Да не просто играть в модели, а на основе их математического анализа управлять сложнейшим природным явлением, брать его под контроль. Говорят уже о создании самоорганизующихся технологических процессов, в которых оптимальный режим работы поддерживался бы сам собой, без внешнего вмешательства...

Перечисленные практические выгоды — лишь первые, пока в малой степени реализующие те далеко идущие выкладки, которые благодаря замечательному открытию сумели сделать теоретики. Один из важнейших выводов: живые системы отличаются от неживых куда менее разительно, чем до сих пор считалось. Ну и другие вещи выведены, чрезвычайно важные и интересные, о них читателям, видимо, предстоит еще услышать. Пока же расскажу о судьбе самой первой колебательной реакции и ее создателя.

### ФОЛЬКЛОР

Эта история вошла в мою жизнь незаметно, начавшись с каких-то необязательных пустяков.

Возник однажды в случайной компании спор: с какого времени в нашей стране появилась бриллиантовая зелень, в просторечии зеленка, которой смазывали все — от



тяжких солдатских ран до аллергических прыщиков на детских физиономиях? Казалось, зеленка существовала испокон веку. Но один из спорщиков, незнакомый мне человек старшего поколения, твердил: нет, она появилась не так давно. Только перед войной, мол, засияли ярко-зеленые пятна вокруг мальчишеских порезов, болячек. И предъявил сей незнакомец невесть откуда взявшийся у него документ:

«Руководство Наркомздрава выражает благодарность тов. Белоусову за успешную разработку и внедрение в массовое производство фармакопейной чистого препарата «Бриллиантовый зеленый»... Благодаря оригинальной разработке тов. Белоусова отпала необходимость в импорте препарата, а обеспеченность бойцов Красной Армии и гражданского населения антисептическими средствами достигла необходимой нормы.  
...марта 1938 года».

По строгому счету заключать это в кавычки нельзя: документ приведен не дословно, по памяти. Потому, кстати, и дата не вполне точная. Инициалы человека, одарившего нашу страну знаменитым антисептиком, были невняты — то ли Б. Н., то ли В. П. Тускло печатали старые машинки. Фамилия, однако, запомнилась. А вскоре — так бывает нередко — снова всплыла, по другому поводу.

Был-де в начале 30-х годов преподаватель Белоусов в только что организованной Академии химзащиты. Прекрасный лектор в высоком воинском звании, чуть ли не генеральском. Умел рассказывать о химии так, что ею начинали увлекаться даже кавалеристы, проходившие в академии стажировку. И большой, как припоминают, юморист. Такие опыты затевал, что слушатели то ужасались, то с хохота покатывались. А однажды говорит ассистенту: дайте, мол, большую пипетку с эфиром. Аудитория притихла, ждет чего-нибудь эффектного. Белоусов же молча выливает эфир себе в сапог — и продолжает речь как ни в чем не бывало. В перерыве подходят к нему, спрашивают: что за опыт-то был с эфиром? А он отвечает: никакой не опыт. Блоха в сапог забралась, так я ее химическим оружием...

Как звали этого Белоусова, собеседник за давностью лет припомнить не мог, но клялся, что тот читал неорганическую химию, даже учебник-де написал. И концы с концами не сходились. Один Белоусов, выходит, был знатоком неорганической химии, генералом, а другой, штатский, синтезировал бриллиантовую зелень, вещество исконно органическое. И третий возник Белоусов и четвертый...

В совсем дальние времена, в голодном двадцать первом году, был-де лектор с такой фамилией в Народном университете, устроенном в городе Кисловодске. А читал тот, третий Белоусов химию и вовсе аналитическую. Как его звали? То ли Б. Е., то ли Г. П.

Четвертый Белоусов служил на армейском складе горюче-смазочных материалов. Возникла там проблема — как учесть, сколько в наличии бензина. Бензин весь в бочках, для удобства розлива поставленных наклонно, в одной с половину будет, в другой поменьше, в третьей побольше... Повздыхал начальник склада да и приказал из всех этих десятков бочек горючее сливать и перемерять ведрами. А Белоусов говорит: погодите. Откопал какую-то хитрую формулу и по ней, промеряя лишь палкой высоту жидкости в бочках, подсчитал все в точности. Получил от командования благодарность.

Надо думать, уж этот, четвертый, к остальным никакого отношения не имеет. Задачу-то он решил математическую, а те трое химики. Да и с ними непонятно, сколько их было на самом деле. Упоминают, между прочим, еще одного. Тот перед войной изобрел какие-то чудодейственные приборы для анализа воздуха. Чуть появится в воздухе ядовитая примесь — краснеет в ней что-то или синееет...

Были ли вообще в природе эти Белоусовы? Ведь все здесь записанное — смутные легенды, фольклор. Про старые времена чего только не нараскажут. Да и Белоусовых в России тысячи. Стоит ли ломать голову?

Но история уже вцепилась в меня, не отпускала.

Вынырнул новый незнакомец, старичок, житель Малого Гнездиновского переуллка, оставил мне отрывки будто бы из дневника, найденного рядом с его жилищем, во дворе бывшей канцелярии московского генерал-губернатора. Особого доверия этот малогнездиновец не внушал — больно уж напоминал он классического графомана, а отрывки — главу из посредственного романа. Впоследствии, однако, выяснилось, что графоман либо действительно что-то знал, либо ловко угадал. Вот некоторые выдержки из его записок.

17 января 1906

...Самое страшное, на мой взгляд, дело нашего времени — это никем не замеченный вчерашний протокол о задержании малолетних братьев Белоусовых. Ужасает обыденность, с которой отпрыски приличной, исконно русской семьи изготовляли бомбы, заворачивали их в полотенца и под видом посещения бань относили свертки для дальнейшей передачи бунтовщикам с Пресни. Главный виновник здесь, разумеется, старший, А. П. Белоусов, член фракции большевиков, ныне скрывающийся от правосудия.

14 апреля 1911

В. П. и Б. П. Белоусовы, приговоренные к высылке из столичных городов, предпочли выехать за границу. Его высокопревосходительство не возражал. Отправились (это было ясно заранее) в Цюрих, к немчуре, среди которой уже обосновалось немало высланных и беглых. Агентура в Цюрихе надежна. Осенью прошлого года из Красноярского края бежал ссыльный А. П. Белоусов, подпольная кличка «Бомбиль», арестован в 1907. Его брат С. П., царствие небесное, утечь не успел, скончался в Иркутске от чахотки. Вместе с А. П. бежала невенчанная его жена Валентина, каковая родила в Японии ребенка женского пола. С помощью социалистов, которые водятся и в стране желтоглазых, А. П. с семьей перебрался в Италию, а затем, конечно же, в Цюрих.

7 августа 1916

...а наезжая в Россию, знались и фотографировались с профессором химии Каблуквым, всей Москве известным либералом и насмешником, за коим негласный надзор. Перед окончательным же возвращением в Отечество В. П. и Б. П. Белоусовы, по некоторым данным, свели знакомство с неким профессором Эйнштейном, фигурой также подозрительной по связям и либерализму. Если подтвердится, будут основания завести дело.

Б. П. Белоусов ныне служит у Гужона в металлургической лаборатории. По неизвестным причинам пользуется покровительством председателя военно-химического комитета генерал-лейтенанта академика Ипатьева, известного и другими компрометирующими его чин знакомствами, а также противоправительственными высказываниями.

Показал я свои находки одному осведомленному, бывалому человеку, а тот смеется: чепуха, мол, это, семечки. Белоусов! (Эту фамилию он произносил благоговейно.) Белоусов такую штуку открыл, что мы будем еще им гордиться, как Ломоносовым. В чем состояла штука, однако, вытянуть в те годы из неразговорчивого собеседника было невозможно.

Давно уж, думаю, нет на свете скрытных стариков, с которыми мне когда-то посчастливилось знаться, и многое из того, что они утаили, теперь общеизвестно. Впрочем, не все. Одно скажу твердо: не привирали мои старики ни на полслова.

### АКУЛЫ И САРДИНЫ

Солнце Италии щедро, земля Италии плодородна. Обильна Италия и гениями (кто сказал, что вывелась в наш машинный век эта богоравная порода?).

Родился в многодетной семье мальчонка. Рано осиротел, пошел по людям, по сердобольным, но тоже очень бедным итальянским родственникам. О чем может думать такой сирота, когда ему сравняется четырнадцать? О порции макарон? О дырявых ботинках? Об этом, конечно, тоже, но главной заботой юного Вито Вольтерры была старинная неразрешимая задача о взаимном влиянии трех небесных тел. Думал он над ней так крепко, что своим умом дошел до интегрального исчисления. А в сорок с небольшим Вольтерра состоял членом почти всех академий мира — в первую голову, понятно, старинной римской Национальной академии деи Линчей, в которую входил еще сам Галилей. Такой взлет объясняется тем, что за недолгие годы успел Вольтерра оставить след чуть ли не на всех страницах величественной книги, в которую записываются деяния математиков. А в сорок пять лет стал бывший оборванец сенатором, самым молодым из сенаторов королевства.

Тут бы и передохнуть. Но не таковы итальянцы, даже с годами...

Была у Вольтерры дочь, а у дочери жених, молодой зоолог по фамилии д'Анкона. И занимался этот зоолог загадочным делом: ходил по великолепным, благоухающим всемирным ароматам суши и моря итальянским базарам, пересчитывая рыб.

После мировой войны, будь она неладна, резко упали уловы. Старики из Неаполя, Палермо и прочих тысячелетних столиц рыболовства припоминали, что такое не раз случалось и до 1920 года. Надо перетерпеть... Но то старики — а что скажет наука? Вот и ходит зоолог по базарам, подсчитывая, сколько каких рыб приносят сети. И поражается: до обидного мало в уловах сардины и сельди, но ничуть не меньше, чем в сытые годы, скатов, тунцов и любимых итальянцами мелких акул — катранов. В чем тут дело? Почему такое изобилие хищников? Д'Анкона делится за обедом своими наблюдениями с будущим тестем, а тот сразу спрашивает, не бывает ли так, что годы, богатые уловами, регулярно чередуются вот с такими, скудными. Как в библейском сказании — семь тучных коров, потом семь тощих... Зоолог подтверждает: это точно, на базаре так и рассказы-вают. И тут почтенный математик срывается из-за стола, удаляется в кабинет. В кабинете же, не теряя ни минуты, берется за новую работу — главную работу своей жизни.

Что же, в самом деле, получается? Вот размножились обычные мирные сардинки. Прибыло корма для хищников. Начинает идти в гору их поголовье — но численность жертв из-за акулего обжорства падает.... На словах это понятно и неграмотному рыбаку. Но предскажет ли рыбак, к чему приведет такой ход событий? Едва ли. А вот математик напишет систему уравнений и обнаружит, что она нелинейна: входят в эти уравнения члены, содержащие переменные величины (численность хищников и жертв) не только поодиночке, но и совместно, перемноженные друг на друга. И приведет изучение этих уравнений к незбылому подтверждению старинных наблюдений: поголовья и сардин и акул должны колебаться подобно двум маятникам. Только со сдвигом по фазе. Когда численность поедаемых идет к максимуму, хищники еще только начинают раскачиваться (тут-то и обрушиваются сказочные, рекордные уловы — хищников-то всегда гораздо меньше, чем жертв). А вот когда зубастая банда разгуляется в полную силу, ресурсы для ее прокорма уже идут на спад. Тут начинают вымирать и акулы с тунцами.

То же самое должно иметь силу для волков и оленей, для рысей и зайцев, для овец и травы. Вообще для любых биологических видов, связанных пищевой цепью. Тем-то и дорога математика, что — «вообще»...

Когда Вольтерра вывел свои уравнения, ему сразу припомнилось, что очень похожую систему предложил еще в 1910 году другой математик, перебравшийся из Австро-Венгрии в Америку Альфред Лотка. Только его уравнения описывали не животный мир, а химическую реакцию. Фантастическую, никем еще не осуществленную — колебательную, при которой некие вещества реагируют многоступенчато. Вначале превращаются в один неустойчивый промежуточный продукт, потом в другой, а уж из него получается что-то окончательное, прочное. Но как раз это окончательное Лотку интересовало менее всего. Для математики было важно другое: если по скорости превращений стадии отличаются друг от друга не сильно, а конечные продукты могут как-то влиять на поведение исходных, то ход событий описывается нелинейной системой уравнений. И промежуточные продукты ведут себя точь-в-точь, как — об этом уж Вольтерра мог догадаться — хищники и их жертвы. И концентрации этих промежуточных веществ могут колебаться, а вовсе не устремляться только вверх или только вниз.

В общем, сильно подкрепили веру Вольтерры в значение своего открытия эти самые фантастические превращения. Ведь записал он в своем кабинете не что иное, как один из важнейших законов природы — закон борьбы за существование. Мудрый закон, согласно которому хищник никогда не может окончательно восторжествовать над беззащитной жертвой, потому что каждый его успех для него же, проклятого, и губителен.

Очень похожие выводы из своих химических выкладок сделал к тому времени и сам Лотка. Работая параллельно, два замечательных математика перешли от простейшего случая сосуществования всего двух видов (разве в природе бывает, чтоб всего два?) к более сложным, близким к реальности. Каждый по отдельности пришел к сложнейшим системам уравнений, выражающих общий вид Закона. Закон этот лег в основу новой науки, значение которой оценили только совсем недавно, хотя название для нее — экология — было припасено давным-давно. А уравнения научились решать, лишь когда появились счетные машины...

Богата Италия гениями — богата и крикунами. Пока Вольтерра работает над своими уравнениями, а потом над книгой о честной борьбе за существование, все громче звучит над страной глотка лихого крикуна, предлагающего — в который уже раз за два тысячелетия? — возродить величие Древнего Рима. Фразами дело не ограничивается. Расползаются по щедрой земле стаи хищников в черных рубашках, а в руках у них не только

символические пучки прутьев, но и вполне реальные кастеты, велосипедные цепи, револьверы. И уж в сенате поставлен вопрос о передаче власти этому, горластому.

Отцы-сенаторы, трусливая рухлядь, голосуют за. Все, кроме одного: Вито Вольтерра против. Его голос ничего не решает.

И вот — стучат колеса. Старый математик уезжает доживать свой век за границей. Уезжает, увозя рукопись новой книги, увозя свою всемирную славу. Потому что нельзя жить в стране, где царствуют акулы.

Очень скоро в Риме спохватятся, сообразят, что Италия без гениев — не Италия. Начнут зазывать, подкупать, заискивать... Он не поддастся.

Академия приветствовала непобедимого дуче? Значит, к черту академию.

«Прошу исключить меня из списков...»

### ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Во второй половине 50-х годов стали размножаться науки. Народились, вошли в силу гибриды, кентавры: химфизика, биохимия, биофизика. И гипотезы — дерзкие, еретические.

В сентябре 1958 года собрался семинар в только что организованной при Московском институте химической физики лаборатории физики биополимеров. Выступал на нем гость со стороны, из медицинского мира — молодой кандидат биологических наук Симон Шноль. Сейчас можно не вспоминать подробности того, о чем он рассказывал (речь шла о замеченных им периодических изменениях в активности ряда ферментов), — для нас важен самый конец доклада. Поведая о своих наблюдениях, Шноль сказал, что ритмичные, периодические явления, свойственные живому миру, бесчисленные биологические часы, бесшумно и точно отсчитывающие в нашем организме отрезки времени длиной от секунд до десятилетий, обязаны иметь простой, чисто химический прототип. Должны существовать в природе реакции, в ходе которых концентрация веществ то возрастает, то убывает. И обратился с вопросом: не знает ли кто из присутствующих таких реакций, не слышал ли хоть о чем-нибудь подобном?

Говорилось это неспроста. Уже добрых два года Шноль, посмеиваясь над собой, сравнивая себя то с Генрихом Шлиманом, то с Шерлоком Холмсом, шел по следам загадочных слухов о «мерцающей колбе» — об открытой будто бы кем-то из московских химиков реакции, при которой раствор аккуратно, словно по секундомеру, окрашивается то в один цвет, то в другой. Шноль знал о математических выкладках Лотки, о том, что некоторые теоретики прямо призывали к поиску таких реакций. Он посмеивался, но настойчиво опрашивал каждого химика, с которым ему удавалось познакомиться. Как правило, его переправляли сначала к одному коллеге, потом к другому, вырабатывалась гипотеза на счет того, кто бы мог такую штуку открыть. Но каждый раз, когда Шноль добирался до заветной кандидатуры, та снисходительно разъясняла, что ничего подобного не видела и видеть не могла, потому что мерцающих колб на этом свете не бывает («Вы что, батенька, термодинамики не знаете?»). Теоретических же выкладок со всякими там прогнозами почти никто из химиков не читал: такие вещи печатались не в химических журналах.

Ко времени, когда собрался семинар, все известные в академическом мире химики были опрошены, детективный поиск совершенно зашел в тупик, и свое заклинание Шноль повторил просто по привычке. Повторил — и тут же забыл, потому что зубастые физики взялись за его доклад всерьез. От иронических вопросов и суровой критики пришлось отбиться не один час.

Когда же споры утихли, к Шнолю подошел человек двадцати с небольшим лет, местный аспирант Борис Смирнов. Подошел и тихо сообщил, что о мерцающей колбе ему известно. Он не раз видел ее в руках своего родственника, Белоусова Бориса Павловича.

- Где же об этом можно прочитать?—накинулся на молодого человека Шноль.
- Нигде,—отвечал аспирант.—Его статью не стали печатать ни в одном журнале.
- Разве так бывает?
- Выходит, что да. Я ему советовал—поди, мол, в редакцию, покажи им, как цвет меняется. Это же дело пяти минут.
- А он?
- Говорит, клоун я им, что ли, фокусы показывать?

## ТРЕБОВАЛСЯ ГАЛИЛЕЙ

Видимо, не надо очень уж строго судить химиков, не веривших в возможность колебательных реакций (речь идет, разумеется, не о тех, от кого зависит судьба открытий, — с тех спрос особый). Как говорил Сократ, не знать — не позор... К тому, что он говорил дальше, мы еще вернемся, а сейчас напомним: и законы обыкновенного физического маятника не понимали, пока не явился Галилей. Не найденному, не увиденному, а лишь предсказанному химическому маятнику тоже требовался свой Галилей. Требовался действительно. Его ждали несколько десятилетий...

1896 год занесен в анналы истории как дата открытия радиоактивного распада урана. Но в том же году было сделано еще одно открытие, тоже важнейшее, но не столь громкое. Немецкий ученый Рафаэль Лизеганг, специалист в фотографической химии, потомственный фотограф, налил на стеклянную пластинку подогретый раствор желатина, в котором содержался бихромат калия — обычный в лабораторной практике окислитель, чаще именуемый хромпиком. Когда желатин застыл, Лизеганг капнул в центр пластинки раствором другого широко известного вещества — азотнокислого серебра (ляписа).

При взаимодействии между хромпиком и ляписом выпадает плохо растворимый осадок бихромата серебра — это знали и задолго до Лизеганга. Осадок на его пластинке выпадал, но — странное дело — не сплошным пятном двинулась от места падения капли мутная волна осаждения. Осадок почему-то выделялся кольцами, концентрическими окружностями, очень похожими на годовые кольца, что видны на срезе дерева. Аккуратные, разделенные примерно равными прозрачными промежутками окружности, постепенно расширяясь, ползли по пластинке и успокоились лишь тогда, когда иссякло азотнокислосое серебро.

Надо отдать должное Лизегангу. Увидев это невероятное явление, он моментально забыл о своих фотографических затеях, ради которых и был затеян его странный для химика «непробирочный» опыт, и взялся за изучение того, что впоследствии вошло в учебники под названием «кольца Лизеганга». И изучал их еще добрые полвека.

Оказалось, что периодическое, послойное выпадение осадка возможно не только на пластинке, но и в пробирке, что периодически, импульсами может выделяться не только твердый осадок, но и жидкость и газ (очень модными в начале нашего века были исследования «химического нерва» — железной проволоочки, погруженной в азотную кислоту и выделяющей газ не равномерно, а толчками; толчками же, импульсами проводящей ток). Оказалось также, что при некоторой сноровке осадку на пластинках можно придавать форму не только колец, но и затейливых художественных фигур (одно время это тоже было в моде), что кольца можно наблюдать в природе — на срезах горных пород, например, агата, при замерзании жидкостей и во многих других случаях.

В 20-е годы, когда появилась квантовая механика, горячие головы пытались даже увязать эти периодические, колеблющиеся во времени кольца с волновыми свойствами материи: вот, мол, они, эти свойства, видимые воочию. Сказывалась, конечно, тоска химиков по очевидности, таявшей на глазах по мере открытия все новых немислимых физических свойств веществ...

Точной, математически безупречной теории кольца Лизеганга не получили до сих пор, но есть неплохие модели и из них явствует, что ничего сверхъестественного в кольцах нет, что они представляют собой лишь один из примеров широко распространенных в природе явлений, описываемых нелинейными уравнениями. Однако не эти ли самые кольца натолкнули Лотку на изобретение его фантастической схемы, на предсказание периодических реакций? Не слышал ли он о них и Вольтерра — кто знает, только ли средиземноморские рыбы взбудоражили фантазию великого итальянца?

Кольца Лизеганга — простые, зрелищные и в то же время загадочные — привлекли внимание сотен экспериментаторов, и профессионалов и любителей. Наблюдений накопилось столько, что выпущенную в 1938 году в Москве книгу Ф. М. Шемякина и П. Ф. Михалева «Физико-химические периодические процессы» пришлось снабдить списком литературы, содержащим свыше восьмисот ссылок. Каких только затейливых фотографий и феерических выкладок не найдешь в этой, ставшей теперь редкостью, книге! Чего только не подмешивали к веществам, образующим кольцеобразные осадки! И теориями какими-то задавались, и просто так подливали чего-нибудь, на авось.

Особо существенны для нашего повествования опыты, проделанные в 1934 году самими авторами книги Михалевым и Шемякиным. Прибавляя к раствору ляписа, коим капа-

ют на пластинку, разные органические соединения, они каждый раз измеряли, насколько меняется в результате этого расстояние между кольцами. И установили, что сильнее всего раздвигает кольца добавка лимонной кислоты. Лимонной — а не щавелевой, не уксусной, не этилового спирта и не метилового.

Этот факт надлежит запомнить: лимонная кислота в нашей истории будет упоминаться и в дальнейшем.

В те же довоенные времена были начаты и другие важнейшие для нас опыты. Занимался ими не химик, а физик, крупнейший советский физик Д. А. Франк-Каменецкий. Работая над теорией сложных процессов, составляющих в сумме нехитрую, всем известную реакцию горения, он наблюдал, как смесь паров углеводородного топлива (в частности, бензина) с кислородом воспламеняется не сразу, а после некоторого периода разгона, именуемого среди специалистов индукционным периодом. И замечал, что в некоторых случаях даже после воспламенения горение становится непрерывным не сразу. Смесь вспыхивала, потом угасала, потом вспыхивала снова — и так несколько раз, с довольно регулярными промежутками между вспышками. Можно было, конечно, предположить, что вещество сначала лишь прогревается (химик, возможно, так бы и заключил), но физик Франк-Каменецкий понял, что дело обстоит иначе. Зная уравнения Лотки, владея теорией разветвленных ценных реакций, только что разработанной Н. Н. Семеновым, он заключил, что наблюдается новый, ранее неизвестный режим горения — нелинейный, периодический, колебательный.

В 1941 году Франк-Каменецкий написал статью, в которой объявил, что необходимо искать колебательные реакции и в кругу обычных, происходящих в жидкой среде превращений, что реакции эти обязаны существовать, что изучать их будет куда легче, чем горение с его неустойчивым режимом. После войны, в 1947 году, Франк-Каменецкий издал книгу — одну из самых блестящих в истории науки книг о скоростях реакций. И в конце ее, изложив с поразительной ясностью теории Лотки и Вольтерры, снова описав свои наблюдения, повторил призыв: ищите колебательные реакции, их существование неизбежно!

#### ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ДЕТЕКТИВА. ГОЛОС

После семинара Шноль и Смирнов проговорили недолго. На естественную просьбу познакомиться его с Белоусовым Шноль услышал ответ уклончивый. Борис Павлович, мол, живет очень замкнуто, всегда занят, неизвестно, сможет ли уделить время... В общем, придется прежде спросить его согласия. Шноль удалился, подозревая, что ждать ему придется долго.

Тем не менее ответ оказался скорым. Смирнов позвонил в тот же вечер и сообщил, что времени для личной встречи у Белоусова нет, но он согласен поговорить по телефону. Был продиктован номер.

Набирать его Шноль не торопился. Попытался представить себе голос человека, которого искал два года.

Бывает же такая чертовщина! Живем в одном городе, занимаемся смежными науками, а познакомиться, найти друг друга можем только по счастливой случайности. Как будто по параллельным плоскостям ходим, нигде не пересекающимися... Каким голосом может говорить человек, не имеющий ни времени, ни желания общаться с товарищами по науке, человек, открывший удивительную реакцию, но нигде и ничего о ней не сообщивший? Наверное, глухим басом, коротко, отрывисто, считая в уме бесполезно утраченные секунды... А может быть, это человек слабый, больной, стесняющийся своей внешности. Такой будет говорить фальцетом, сбивчиво, со множеством вводных предложений. Беседа затянется на час, а до сути так и не доберешься...

Набрав наконец названный ему номер, Шноль долго ждал, пока позовут Бориса Павловича. Женщина, поднявшая трубку, медленно шлепала задниками туфель, очевидно, по коридору (было ясно слышно, как она шлепает), потом скрипнула дверь, послышался призыв: «Борис» — и спустя пару минут в трубке зазвучал голос. Обыкновенный, не бас и не фальцет, очень внятный, спокойный — чересчур даже спокойный, принадлежавший, как легко было понять поговору, исконному московскому интеллигенту. Шноль торопливо представился, начал было излагать историю своих поисков, но голос твердо, хотя и очень вежливо, эту тему отклонил, предложив взять бумагу и записывать. Затем уверенно, явно

не нуждаясь в шпиргалке, продиктовал: лимонной кислоты столько-то, бромата натрия да серноокислого церия — по столько, серная кислота — вода: один к трем. Если нужно, чтобы смена окрасок была легко заметна, можно добавить железо-фенантролин. Как вы скажете? Прошу прощения, я не расслышал... Железо-фенантролин, комплекс двухвалентного железа с фенантролином, есть такое органическое основание, количество такое-то. Вот и все.

Шнолю не хотелось верить, что это все, что разговору конец. Он попытался просить о личном свидании, предложил познакомиться. Голос ему ответил... Нет, рано еще, пожалуй, рассказывать, что он ответил. В общем, не согласился голос материализоваться. Попрощался, в трубке раздались короткие гудки. Весь разговор длился минутой две.

### АМИГДАЛИН

Вскоре после того, как был открыт радиоактивный распад и началось его изучение, некоторые из тех, кто этим занимался, начали страдать непонятными недугами. У них расстраивалось пищеварение, выпадали волосы, появлялись признаки белокровия. Первые же опыты на животных подтвердили то, о чем пострадавшие ученые догадывались и сами: элементарные частицы и осколки атомных ядер оказывают на организм губительное действие; живым существам, соприкасающимся с радиацией, необходима защита.

Возникла потребность в радиозащитных лекарствах. Поиски их начались в разных странах одновременно с разработкой ядерного оружия. И то и другое окружалось строжайшей государственной тайной, ибо защитное средство — это тоже оружие.

Среди веществ, испытанных советскими учеными, был амигдалин — природный алкалоид, содержащийся в косточках горького миндаля, персика и в некоторых других растениях. Позднее, в 1963 году, о радиозащитном действии амигдалина была написана целая книга. Но сначала и алкалоид был тайной.

Теперь, пожалуй, невозможно установить, кто первым предложил взять на вооружение это вещество, известное с давних времен, но то был человек глубокой культуры и четкого химического мышления.

Амигдалин считался изрядно ядовитым, однако это свойство не было редким для радиозащитных препаратов: опасность, от которой они должны предохранять, настолько грозная, что как средство от радиации испытывался (и не без успеха) даже цианистый калий, даваемый, разумеется, в несмертельных дозах. Сведения об этих испытаниях, проводившихся за рубежом, возможно, и натолкнули неизвестного нам ученого на мысль исследовать амигдалин. Дело в том, что ядовитость алкалоида тем и обусловлена, что при распаде под действием особого фермента, который тоже содержится в персиковых или миндальных косточках, он выделяет синильную кислоту — ту самую, в которую превращается в организме цианистый калий.

К началу нашего века было, однако, установлено, что сам по себе, в отсутствие фермента, получившего название синаптаза, амигдалин довольно устойчив, синильную кислоту выделяет с трудом и потому в чистом виде ядовит сравнительно мало. На эту особенность и ориентировались те, кто взялся изучать его радиозащитное действие. Ведь амигдалин доступен, довольно дешев, и в случае успеха испытаний его без труда можно добыть в любых количествах.

Расчеты во многом оправдались. Амигдалин, если его давать животным заранее, до облучения, очевидным образом повышает их сопротивляемость даже при больших дозах радиации.

Вводя собакам, мышам или крысам амигдалин в количествах, не вызывавших почти никаких неприятностей, исследователи тем не менее уделили внимание и последствиям, которые возникают при больших его дозах. И подтвердилась при этом теория, которой руководствовался безвестный инициатор испытаний: амигдалин, подобно синильной кислоте, только несколько слабее, блокирует работу ферментов, управляющих внутриклеточным дыханием. Биохимические анализы показали, что под действием больших его порций в клетках печени падает содержание лимонной кислоты, а также кетоглутаровой, образующейся из той же лимонной в ходе преобразований, составляющих в сумме так называемый цикл Кребса. Тот самый цикл, по которому (наряду с аппаратом наследственности) в первую голову ударяет радиация...

Эта круговая, бесконечная последовательность ферментативных реакций достойна удивления. Органические кислоты непрерывно превращаются друг в друга, потребляя энергию любого горючего — углеводов, белков, жиров, что в данный момент доступнее. Однако не только на вращение этого биохимического колеса тратятся ресурсы. Колесо оказывается универсальным генератором, выдающим клетке энергию в форме стандартных, пригодных для любой ее житейской надобности молекул аденозинтрифосфата. В этом важнейшем, существеннейшем для выживания клетки пункте, от надежности работы которого зависит все прочее в организме, природа не приняла на вооружение превращений прямоточных, линейных, нет — выбран был именно цикл, последовательность, сходная с колебательной. Не совсем, конечно, строга эта аналогия с точки зрения современной теории, но мог ли пройти мимо нее человек, размышляющий о колебательных реакциях? Мог ли он не знать другое, тоже часто применяемое название цикла Кребса: цикл лимонной кислоты.

Опять на первый план выходила лимонная кислота...

Повторяю, мне неизвестно в точности, кто предложил испытать амигдалин, кто первым додумался до особой роли, которую играет в защите от радиации цикл лимонной кислоты. Знаю только одно: в списке авторов книги о радиозащитном действии амигдалина значится имя Б. П. Белоусова.

### МОБИЛЬ АЛЕКСАНДРОВНА. РАССКАЗ ПЛЕМЯННИЦЫ

Да, я была в Швейцарии вместе с отцом, Александром Павловичем Белоусовым, членом военно-технического бюро, организованного в девятьсот пятом году при Московском комитете РСДРП для подготовки вооруженного восстания, а также с его братьями Владимиром и Борисом. Родилась же я в Японии. Точнее сказать, на пароходе вблизи японских берегов. Пароход был английский. Поэтому крестили меня по англиканскому обряду, присвоили имя Мейбл. И я считалась британской подданной.

Родители бежали из Красноярска через Китай. Это был обходный, но относительно безопасный для ссыльного маршрут в Западную Европу. В Японии пробыли недолго, отправились пароходом через Суэцкий канал в Италию. Потом перебрались в Цюрих. Там жило немало большевиков, друзей отца, там учились его братья.

Следует уточнить, что отцу тогда было двадцать три, Владимиру девятнадцать, а Борису — семнадцать лет. Революция, в которой все они участвовали, произошла пять лет назад. Тем не менее и четырнадцатилетний Владимир и двенадцатилетний Борис действительно работали в мастерской, тайно устроенной на чердаке родительского дома, делали бомбы для Красной Пресни. Был еще Сергей, ему было шестнадцать... В начале тысяча девятьсот шестого года мастерскую нашли, ребят арестовали. Такая подробность: когда их размещали в камере, у одного нашли под накидкой плюшевого мишку. Невзирая на возраст, наказали детей по всей строгости. Сергея сослали, из Сибири он уже не вернулся. Владимира и Бориса исключили с волчьим билетом из коммерческого училища, приговорили к высылке из Москвы. Здоровье у обоих было неважное. Мать решила отправить их не в деревню, а в Швейцарию. Сама поехать с сыновьями не могла — у нее были на руках двое еще меньших. Спиралась с пансионом в Цюрихе, ребята отправились самостоятельно.

Вы спросите, какое участие в них принимал отец, Павел Николаевич? Он был далек от сыновей. Посмотрите фотографию... Старше матери лет на двадцать пять, суровый, традиционный глава семейства, он занимал важную должность в каком-то банке. Сыновья доставляли ему немалые неприятности: воспитать их по своему образцу он так и не сумел. А мать, Наталья Дмитриевна, была человеком совсем другого склада. Видите, какая красавица... Стриглась коротко, с шестью своими мальчишками играла, как старшая сестра, прощала им многое — но вырастила людей, отличавшихся глубокой порядочностью и не показной, не казенной, а глубоко внутренней, истинной дисциплиной.

Хлопот с такой командой было, конечно, предостаточно. Интерес к химии появился у братьев раньше, чем мастерская на чердаке. И способствовал этому, сам того не желая, отец. В обязанность мальчикам вменялось набивать Павлу Николаевичу папиросы (покупных он не любил). Часть папирос утаивалась и передавалась солдатам из охраны арсенала, помещавшегося по соседству с дачей деда в Лосинке. Это была одна из первых там дач; по Лосинке, как рассказывают, еще бегали волки. В награду за папиросы солдаты без отказа выдавали ребятам порох. А они устраивали взрывы, судя по результатам, довольно



значительные. Изменили, например, русло Яузы, чтобы сделать себе удобную купальню. Подняли на воздух любимую отцовскую клумбу, усаженную какими-то особыми, специально выписанными георгинами, с модным тогда стеклянным шаром в центре.

Потом склеили шар синтетиконом, натянули цветов каких попало. Отец, приехав, начал было бранить цветоводов — жулики, мол, продают семена невесть какие. Но потом взялся свою клумбу поливать, и правда выплыла наружу.

Вскоре, однако, навыки работы со взрывчаткой пригодились для дел самых серьезных...

В Цюрихе Борис с блеском закончил гимназию, поступил в Политехникум. Следует сказать несколько слов о том, как взимали там плату за обучение. Проходя курс наук, студент вносил сравнительно скромные суммы, не составлявшие и половины общей стоимости образования. Главный, самый крупный взнос полагалось делать в конце, при получении диплома. Из-за этого многие русские эмигранты — денег у всех было не густо, — пройдя курс наук, диплома не запрашивали, оставались без официального документа об образовании. Так получилось и у Бориса Павловича. В пятнадцатом году он учебу закончил, и притом отменно (ему предлагали тут же остаться работать при университете), но диплома не выкупил. Впоследствии это было причиной немалых неприятностей.

Меня увезли из Швейцарии еще до начала мировой войны. Приехала из Москвы Наталья Дмитриевна и забрала без всяких документов, записав в дорожных бумагах вымышленное имя. Без документов я жила довольно долго: после Октябрьской революции царские свидетельства и паспорта силу утратили. Потом же, в начале тридцатых годов, когда я собралась замуж (да и паспортизация началась) документы были мне выданы на основе свидетельских показаний. Мою личность удостоверяли деятели нашей партии Литвинов и Ульяновский — они помнили меня еще по Швейцарии.

Там, в Цюрихе, квартиру, которую снимали мои родители вместе с братьями отца, посещали также Луначарский, Дзержинский и другие известные революционеры. Нередко бывал и Ленин. Он с отцом подолгу работал вместе, запершись в кабинете. Я-то этого не помню — мала еще была, но отец впоследствии рассказывал, как Ленин брал меня на колени и весело, заразительно смеялся.

Тогда же возникло и мое необычное имя. Одни продолжали называть меня Мейбл, другие величали старым прозвищем отца — Бомбиль. А потом оба имени слились и получилось Мобиль.

Мой отец, профессор математики, умер во время ленинградской блокады. Когда началась война, он успел отправить мне по почте (это я узнала позднее) воспоминания о Ленине, но они не дошли, затерялись... Я да и мой сын Борис несколько раз принимались расспрашивать Бориса Павловича, что помнит о Ленине он, но ответы бывали скудными. К своей памяти Борис Павлович относился строго и, видимо, не хотел стать источником недостоверных сведений. Помнил только замеченный многими заразительный ленинский смех, непобедимую его игру в шахматы да привычку во время спора расхаживать, заложив пальцы за проймы жилета. Говорил, что друзья моего отца были люди отнюдь не сухие, а веселые, насмешливые, ценили шутку, розыгрыш... Ведь в большинстве своем они были тогда очень молоды.

После учебы братьев потянуло на родину. Предлагали им в Швейцарии работу, война шла, но Владимир и Борис нашли способ вернуться в Россию окольным путем. Отцу же дорога была по-прежнему закрыта. Борис явился в Москву настолько худой, что его даже в армию не взяли «по малости веса». Он и в зрелые годы был худ — Белоусовы к полноте не склонны, но тогда, видимо, отощал уж совсем небывало. Потом он работал на заводе Гужона (теперь «Серп и молот»), завод считался оборонным, и оттуда не забирали. Тогда же на него обратил внимание академик Ипатьев. Несмотря на разницу в возрасте и общественном положении, подружились, даже домой заходил... Борис Павлович потом говорил, что перенял у этого одаренного химика очень многое — и в исследовательском деле, и в манере чтения лекций, и в показе многочисленных, увлекавших аудиторию лекционных опытов.

Лекции он начал читать после революции. Тогда же вернулись наконец и мои родители. Отец тоже стал преподавать, Владимир ушел в Красную Армию. Борис Павлович также стал военным служащим, но уже после гражданской. Служил на складе горючих материалов, потом снова стал читать лекции. Вот, сохранились фотографии...

Рассказывая, Мобиль Александровна Белоусова листала старинные семейные альбомы в добротных переплетах. Фотографии, десятки фотографий. Многие кадры — любитель-

ские, но удивительно четкие, выполненные уверенной рукой. Это работы Бориса Павловича. Знатный был фотограф, разъясняет хозяйка.

А вот и сам Борис Павлович. Длинное, чуть скуластое лицо, громадные, широко открытые глаза, губы сжаты, поза напряженная. Видно, что человек думает, непрерывно думает о чем-то. Не знать, кто изображен — так вообразишь: поэт или музыкант (и не будет в этом большой ошибки: Белоусов когда-то славился импровизациями на рояле), но на воротнике петлицы, на петлицах знаки отличия военного специалиста высшей квалификации — так тогда обозначали звание, равное генерал-майору-инженеру. Это Белоусов, преподаватель Академии химзащиты. То же лицо, но чуть помоложе, еще худее. В пенсне, одежда штатская... Белоусов — лектор в Кисловодском народном университете. Четыре таких же лица, заостренных, глазастых, пятое чуть поплотнее, в круглых очках... Братья Белоусовы, собравшиеся на материнские похороны. 1932 год. Слева, в очках — старший, Александр Павлович. Остальные похожи друг на друга так сильно, что Бориса Павловича среди них выделишь не сразу.

Был, значит, в самом деле был такой человек, успевший сделать все, о чем рассказывают смутные предания. И бомбы для революционеров, и зеленку для раненых, и первую в мире колебательную реакцию.

### КОЛБА-ЗЕБРА. ВЕРСИЯ 80-х ГОДОВ

Шесть раз в неделю ровно в восемь утра во двор въезжает потертая «эмка», и старший лаборант Белоусов, пожилой, немногословный, удивительно худой даже по несытому послевоенному времени, отправляется на ней в институт, расположенный в дальнем пригороде столицы. Такой невиданный при скромнейшем звании почет объясняется тем, что лаборант он не простой. Бывают, знаете, такие уникалы, у которых все не как у людей, — это тот самый случай. Другой человек при таких заслугах да наградах да на пятьдесят восьмом году жизни уж как минимум кандидат наук. А этот знаменитый в кругу специалистов химик не то что ученой степени — простого диплома, как выяснилось при проверке личных дел, не имеет. Ну и результат: переводят начлаба на общих основаниях, как по новому закону положено, на должность старшего лаборанта. Но с сохранением прежних обязанностей (лабораторию-то кто будет тянуть?), с правом подписи, участия в заседаниях, с машиной... Говорят ему, однако, по-человечески: мы ж все понимаем, ну, не смог в свое время бумажку оформить, дорого за нее брали при буржуазном строе — так напиши куда следует, объясни, попроси. Обязательно пойдут навстречу. А он гнет свое: на харчи мне хватает, сколько платят, столько, стало быть, и стою. На общих основаниях — значит, на общих, по справедливости. Вот и пиши вместо него бумажки во все инстанции...

Дирекция, общественные организации пишут понемногу, поругивая строптивца, но восхищаясь им в глубине души как героем из чудесной, давно не читанной книжки. А Борис Павлович тем временем ездит на «эмке» на работу да с работы; вернувшись домой, садится за те же книги, что и в рабочем кабинете. Съедает, не замечая, легчайший ужин, да и укладывается спать, с тем чтобы наутро снова усесться в «эмку». На прочие дела у него в настоящий момент времени не хватает, так что когда приходят звать на заседание или в дирекцию, безмолвно раздражается.

Тягостнее всего, если канцелярские глупости наваливаются прямо с утра, когда голова свежа и работает особенно четко. Вот и сегодня.. Ровно в девять, с машины — сразу на заседание, приехало начальство, доклад будет.

...Верно ставится вопрос и справедливо. Работая над защитой людей от радиации, думаем почему-то только о громадных дозах, которые могут им достаться в случае аварии реактора или если, не приведи господь, какой-нибудь душегуб бомбу бросит. А ведь не менее вероятны дозы малые, не столь заметные: атомная техника не сегодня-завтра станет бытом.

Есть еще и тяжелая вода. Она не радиоактивна, но кто знает, как действуют на организм небольшие ее количества? Например, такие-то...

Когда доклад закончился, попросил слова начальник химической лаборатории Белоусов и объявил, что испытания растворов тяжелой воды названной концентрации он готов начать хоть сегодня, и притом на самом себе. Одно требуется: руководство должно обеспечить эксперимент жидкостью, с которой легко смешивается водопроводная вода, лучше

всего — этиловым спиртом. Зал оживился, предчувствуя оборот событий веселый, а то и скандальный. Председатель собрания очень серьезно спросил, для чего требуется жидкость. Здесь-то Белоусов и разъяснил, что обычная вода, какую мы ежедневно наливаем в чайники, содержит окиси дейтерия, сиречь воды тяжелой, вдвое больше, чем названо с трибуны. Так что ежели разбавить ее спиртом один к одному, будет в самый раз. Сдавленный смех в зале.

Белоусов же произнес, сел и начал думать о другом. Об эксперименте, намеченном на сегодня. Неизвестно, состоится ли... А в зале царил тихая буря, а в президиуме приезднее начальство, еще большее, чем сам докладчик, шептало ему, бедному, неопишуемые слова касательно ответственности, которую берет на себя каждый, дерзающий вылезать на трибуну.

Но довольно о заседаниях. Наш герой не охотник убивать служебное время таким способом. Ускорим же ход событий, поможем ему сменить пиджак на потертый сатиновый халат, а ботинки — на шлепанцы. Старые химики любят работать в домашней обуви.

Предстоит Борису Павловичу подействовать на лимонную кислоту раствором, в котором будет смесь бертолетовой соли и сульфата церия. Почему на лимонную? Да потому, что она — ключевая в цикле Кребса. Потому, что она сильнее всего влияет на расстояния между кольцами Лизеганга. Думаете, не читал Борис Павлович книги Михалева и Шемякина? Читал, наверняка читал. Он сам увлекается этими кольцами, умеет делать их как никто — даже в тончайших капиллярах. Да если бы и не увлекался. Есть в книге целая глава о применении периодических процессов в аналитической химии. А эта химия — первая из многочисленных профессий Белоусова: перед войной, как раз когда книга вышла в свет, а Белоусов с преподавательской работы ушел, стал штатским исследователем, он только аналитикой и занимался. Что же касается книги Франк-Каменецкого, то она Борису Павловичу, видимо, незнакома. В ней тоже кое-что написано об аналитической химии, однако последующий ход событий заставляет предполагать, что, увы, к сожалению, не читал.

В общем, с лимонной кислотой дело ясное. Но почему бертолетова соль, а не, скажем, марганцовка, перманганат калия? Да потому, что марганцовка окисляет лимонную кислоту сама по себе, без всяких посредников. А нужен окислитель, способный действовать только через передаточное звено, через катализатор. Или, думаете, Белоусову неизвестна схема Лотки? Известна: она в той же книге Шемякина подробно описана. А в математике Белоусов, в отличие от большинства химиков, толк понимает, среди прочих его домашних изобретений — и некий магический квадрат для опознания простых чисел и специальный бильярд со шкалой по борту: шарик, отражаясь от бортов, все те же простые числа отмечает...

Короче говоря, Борис Павлович знает, что требуется последовательность промежуточных продуктов реакции, и выяснил уже, что окислительный потенциал бертолетовой соли вроде бы как раз достаточен, чтобы в кислой среде перевести ионы железа, марганца или церия в высшее валентное состояние. А оные после этого способны, в свою очередь, окислять лимонную кислоту. И остановился он на соли редкоземельного металла церия: в низшем, трехвалентном, состоянии его ионы бесцветны, а в высшем, четырехвалентном, — желты. Значит, если реакция пойдет вообще без колебаний, будут видны пузырьки углекислого газа — их выделяет при распаде лимонная кислота. Ну а если пощастливится поймать колебательный режим, начнет меняться окраска.

Так думал наш герой или не так, сказать трудно. Никаких сведений сейчас, в 80-е годы, не сохранилось. Логика, однако, могла быть похожей. Попробуем же держаться этой версии.

Итак, Белоусов добирается до своего рабочего места. Время уже обеденное, все сотрудники в столовке. Он не спеша переодевается, достает из шкафа банки с лимонной кислотой и серноокислым церием. И еще одну баночку, совсем старенькую, с отвалившейся этикеткой — лаборантка, пожилая, надежная, многоопытная, уверяла, что это бертолетка, и ей ли не знать свое хозяйство? Белоусов разбавляет серную кислоту, остужает ее, присыпает в колбу с кончика ножа немного бертолетовой соли, а потом, обтерев лезвие, лимонной кислоты (первый, пробный опыт химии всегда делали именно так, не взвешивая реактивы). Осторожно, стараясь не перебрать, подцепляет чистым скальпелем несколько кристаллов сульфата церия (много не надо, это же катализатор), всыпает их туда же и — слышит настырный звон телефона.

Будь проклят этот телефон!

## ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ. СНОВА ГОЛОС

Нетрудно догадаться, что сделал Шноль, узнав по телефону рецепт периодической реакции. Рано утром, едва открылся Центральный институт усовершенствования врачей, где Шноль работал, он был уже в лаборатории. Часть веществ нашлась тут же, кое за чем пришлось сбегать в соседние комнаты. Спустя какой-нибудь час Шноль уже наслаждался колбочкой, в которой то вспыхивало, то угасало желтое сияние. Бледное, но на фоне белой бумаги заметное любому, имеющему глаза.

Таковых нашлось немало. Все, кто являлся в комнату, по очереди любовались мерцающей, пенящейся колбой. Потом потянулись любопытные из других комнат, с других этажей... Шноль терпеливо смешивал все новые порции растворов, повторял очередному гостю загадочную историю, связанную с реакцией, спорил насчет ее механизма.

Это тянулось не один день. Реакцией восхищались, рассказывали о ней коллегам, знакомым, приходили все новые любопытствующие, теперь уже и химики. Две старшекурсницы с физфака МГУ взялись реакцию изучать, Шноль, естественным образом, оказался их научным руководителем. Но экспериментировать девушки почти не успевали, больше работали, как острил один аспирант, гидами, показывая всем, кто бы ни попросил, новую достопримечательность.

Среди всеобщего восторга только один человек становился с каждым днем все печальнее — и это был Шноль. До него начало доходить, что происходит нечто ужасное. Все большее число специалистов узнает об открытии, которое на сегодняшний день ничье. Хозяином колебательной реакции, владельцем приоритета и связанных с этим лавров станет тот, кто первым опубликует ее описание в издании, доступном всеобщему прочтению. И с каждым днем возрастают шансы на то, что таковым станет случайный человек, который, даже и не имея никаких дурных замыслов, просто обнаружит какую-нибудь подробность в этой мало еще изученной реакции и напишет о своем наблюдении в журнал.

Вот почему Шноль сначала затосковал, а потом понял, что, несмотря на ясно выраженное Белоусовым нежелание продолжать знакомство, придется снова ему звонить. В конце концов Шноль так и сделал. Это произошло спустя несколько месяцев после первого их разговора. Снова медлительная женщина шлепала разношенными туфлями, снова донесся ее крик: «Борис!» — и опять Шноль услышал невеселый голос. Усвоив опыт предыдущей беседы, о свидании просить не стал, а лишь кратко изложил суть своих переживаний. Ответ был неожиданный: если украдут — буду рад. Стало быть, реакция кое-чего стоит. Никудышных вещей не воруют...

Шноль пустился уговаривать: крупнейшие-де ученые пришли в восторг (он неизвестно предвосхитил события), все только и спрашивают, кто до такой замечательной штуки сумел додуматься. Лесть не подействовала. Голос твердо заявил, что скромный его опыт общения с редакциями журналов вполне достаточен, чтобы в дальнейшем ни в какие отношения с этими организациями не вступать.

— Но нас-то вы в какое положение ставите! — возопил Шноль. — Мы же, выходит, преступники, подрываем законный ваш приоритет.

Голос смягчился. Поняв, что собеседник хлопчет вовсе не о своей выгоде, Белоусов пообещал подумать. Может быть, он напечатает сообщение о реакции в каком-нибудь сборнике. Но только не в журнале — о журналах не может быть и речи!

Одержав эту маленькую победу, Шноль вздохнул с облегчением. Вскоре ему сообщили: в некоем сборнике трудов по медицине, даже не трудов, а кратких рефератов, появилась публикация, подписанная Б. П. Белоусовым. В ней сообщалось о периодически действующей реакции между лимонной кислотой и броматом натрия. Катализатор — соль церия. И все: никаких подробностей, детальной рецептуры, никаких осциллограмм. Пораженный столь быстрым результатом своего телефонного демарша, Шноль стороной разузнав, что в сборник принимают материалы без предварительного рецензирования (вот почему Белоусов выбрал именно его), составители этого малоизвестного издания Бориса Павловича знают и почитают. Поэтому когда им в руки попал реферат его неопубликованной статьи, они немедленно вставили его в уже готовый сборник, чуть ли не в корректуре. Вот и получилось быстро.

Маленький реферат 1959 года так и остался единственной публикацией Белоусова об открытой им реакции. Общеизвестным он стал очень скоро. Стчасти благодаря курьезному случаю. Знаменитый старый физикохимик швед Христиансен выступил с очередным призывом искать колебательные реакции. А Шноль, прочтя эту статью, написал пись-

мо, в котором сообщил, что дело сделано. Указал ссылку. И с легкой руки Христиансена об открытии Белоусова узнали по всему свету.

Значимость, ценность того, что делает исследователь, принято оценивать по числу упоминаний его публикаций в последующих научных изданиях. Так вот, годы спустя скромный реферат, а вместе с ним и безвестный сборник вошли в круг самой что ни есть элиты: почти каждая статья о колебательных реакциях, о проблемах неравновесной термодинамики, «биологических часах» содержит ссылку на Белоусова. А таких статей теперь сотни.

Между тем в 1961 году недавно созданную в Московском университете кафедру биофизики, куда Шноля пригласили вести занятия, посетил начальство. Не такое, чтобы к его приходу выставлять цветочные горшки или показательные, неработающие приборы. Академика И. Е. Тамма почитали не только из-за титулов. Крупнейший физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии, он был одним из тех, кому кафедра биофизики была обязана своим существованием: в свое время он упорно добивался ее организации. Ударить лицом в грязь перед Таммом не хотели. Поэтому, хотя парадных костюмов не надевали да и обыденная рабочая суета не прекращалась, все были в сборе. У каждого наготове были таблицы и диаграммы, каждый был готов (и мечтал) ответить на любой вопрос.

Комната, в которой изучали белоусовскую реакцию, помещалась прямо против лифта. Из-за этого Тамм заглянул в нее в первую очередь. А заглянув, уж больше никуда не пошел. Добрых полтора часа любовался игрой окраски, расспрашивал о планах дальнейших опытов, придумывал вместе с девушками и Шнолем, что можно проделать еще. Когда же хватился, что пора уходить, дела ждут,— пришли из других комнат, спросили с обидой: «Что же, к нам-то и вовсе не зайдете?»

Игорь Евгеньевич, извиняясь, произнес: «Довольно и этого. Если хорошенько потрясти одну только реакцию Белоусова, работы хватит на целую лабораторию».

А вскоре появился на кафедре человек, взявшийся за дело капитально,—аспирант Анатолий Жаботинский.

#### КОЛБА-ЗЕБРА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Будь проклят этот телефон!

Борис Павлович с надеждой косится через плечо (может, хоть кто-нибудь вернулся?), никого, конечно, нет, и он, вздохнув, ставит колбочку на стол, бросается к требовательно трезвонящему аппарату. Не отрывая глаз от стола (в колбе начинают выделяться пузырьки), слушает решительный голос, приказывающий сей же час явиться в дирекцию, потом вдруг швыряет на полуслове трубку и кидается к посудине. Поднеся ее к окну, успевает еще заметить, что на фоне пузырьков появляется бледенькая, но несомненно желтая окраска. Появляется, исчезает, возникает еще раз спустя пару минут — и пропадает окончательно. Пузырьки больше не идут, реакция закончена.

Тихо чертыхаясь, Белоусов надевает ботинки с галошами, пиджак, пальто и потертую шляпу, отправляется в корпус, где помещается дирекция. На дворе поздняя, слякотная осень. 1950 год. Многие горожане еще носят галоши.

Белоусов не без труда переправляется через лужи и разбитые колеи, пересекающие институтский двор во всех направлениях, предъявляет пропуск охраннику в зеленых петлицах, оберегающему директорский корпус. Пока тот обстоятельно, будто впервые этого человека видит, изучает документ, находит наконец Борис Павлович время задаться вопросом, зачем его вызвали. Уж не по поводу ли утренней проделки на заседании? Может быть, в угол хотят поставить за шалость... Пропуск тем временем возвращается в его руки, и Белоусов, тщательно отерев с ног глину, с несолидной легкостью взбегает по ковру, устилающему парадную лестницу.

В кабинете, куда попадает Борис Павлович, подавляюще тихо. Тяжелые шторы, день и ночь заслоняющие окна, отгораживают его от стихий природы и прочих превратностей внешнего мира. Двое стоят около стола неподвижно, руки по швам. Белоусов, несколько не ошеломленный их молчанием, шагает в угол, неторопливо, по-домашнему скидывает у вешалки пальто и галоши, затем направляется к столу. На столе лежат какие-то бумаги, в которых дальнорезкий начал сразу улавливает свою фамилию. «Прочтите сами, Борис Павлович»,—не меняя позы, шепотом говорит ему один из неподвижных.

Борис Павлович вынимает из нагрудного кармана очки, берет пачку листов и обнаруживает, что перед ним ходатайство дирекции о восстановлении его должностного окла-

да. Поперек первой страницы крупными, очень разборчивыми буквами начертано: «Платить как заведующему лабораторией, доктору наук, пока занимает эту должность».

Стоящий у стола — теперь уже своим обычным резким голосом — поздравляет дорогого Бориса Павловича и снова, в который раз осведомляется, не намерен ли тот оформить себе докторскую степень. Если со временем туго — можно без защиты. Ответ таков же, как и при всех предшествовавших беседах на эту тему: вы полагаете, я от этого стану умнее?

Поспешно, не говоря более ни слова, одевается у вешалки Белоусов. Успевает тут же забыть и о бумагах и о лестном предложении обзавестись тем, что старые его, довоенные друзья непочтительно называли вывеской. Спешит к себе, мечтая попить чайку да снова взяться за опыты. Но ни то, ни другое ему в тот день не суждено.

Так уж повелось с давних пор, что Белоусову приходится выступать в роли консультанта в делах самых непредсказуемых. Спрашивают его, к примеру, чем можно обезвредить какую-нибудь экзотическую восточную отраву,—он это знает; любопытствуют, из чего состоят космические лучи,—он выдает сведения последнего физического журнала; просят помочь по части крашения меха—извлекает из закутков памяти точную рецептуру... Когда-то это напоминало развеселую игру. Пригласят Бориса Павловича в какую-нибудь неведомую организацию, ставят перед ним вопрос, какого сам сатана не измыслит, а гость, покуривая, попивая чаек, задает этой организации работу на год вперед. Потом еще поражается: приехал, чаю попил с хорошими людьми, а по почте деньги приходят за какую-то там консультацию. Теперь особых радостей этот вид спорта не доставляет, но совестливый Борис Павлович по-прежнему раздает советы всем без отказа.

Вот и нынче, вернувшись в лабораторию, он застаёт ходока из родственного института. Ходок озабочен вопросом не столько научным, сколько административным: куда, с какой формулировкой и в скольких экземплярах следует подавать некую бумагу. Белоусов в этих делах не силен, но не огорчать же гостя! Возится с ним несколько часов, создает неуязвимый черновик. А когда творение наконец готово, звонит шофер Сева и напоминает, что пора ехать домой. Так в тот день Белоусов и не добирается до колбы.

Назавтра Борис Павлович самолично заходит на склад, отбирает нужные реактивы в свежих, нетронутых банках, взвешивает каждый из них точнейшим образом, и у него ни черта не получается. То есть пузырьки в колбе выделяются исправно (разлагается, стало быть, лимонная кислота) и осадок выпадает (о его природе Борис Павлович уже догадывается), однако никаких цветных чудес не видно. Пенится и бурлит в колбе унылая, совершенно бесцветная жижа.

Звонит Борис Павлович «старикам» — так он обращается к своим коллегам, Ивану Александровичу Пигалеву и Алексею Петровичу Софронову. Призывает на совет. Те в охотку пьют особый, крепчайший, белоусовской заварки чай, дымят папиросами да помалкивают. Такая уж у людей этого круга привычка — до времени помалкивать. Потом же, выслушав все до мельчайших подробностей, подает голос Софронов: а покажи-ка, Борис Павлович, вещества, с какими пробовал вчера...

Просьба для профана бессмысленная, но для старого химика законнейшая. Мало ли какая путаница может случиться в этикетках, мало ли что может приключиться с веществом при многолетнем хранении. Надо посмотреть, какое оно есть. Софронов оглядывает банки не спеша, даже на палец кристаллы пробует, а потом заявляет: вот в этой, без надписи,—не бертолетка.

Здесь уместно отвлечься и поговорить о вещах, которых ни в одном учебнике не напишут. Представьте себе человека, знающего назубок все справочники и ученые монографии. Даже какую-нибудь химическую энциклопедию наизусть задолбившего. Можно такого назвать химиком высшего класса? Не торопитесь с восторженным согласием: вполне может оказаться, что энциклопедист — химик самый никудышный. Потому что главное — не бумажные сведения, а опыт, знание вещества, понимание души всяких там жидкостей и кристалликов. Настоящий химик поболтает в пузырьке жижу, объявленную, скажем, эфиром, и объявит, не нюхая: нет, не эфир, эфир не так со стенки стекает. Заглянет в баночку, потрет пальцем кристаллик и установит: не бертолетка, у нее, мол, кристаллы не такие. И это — без всяких инструментов, без анализов...

Проверяет Белоусов вещество из сомнительной баночки — и точно: вместо хлора, присущего бертолетовой соли, оно содержит бром. Бромат натрия — близкий родственник бертолетки, вот лаборантка и перепутала.

Еще день. Добывает Борис Павлович новенькую, нетронутую банку с броматом натрия, снова берет точнейшие навески. И снова никакой окраски не усматривает. Только теперь становится ясно, какое феерическое счастье привалило ему в том, первом опыте. Угадал, стало бы, случайно, присыпая вещества с кончика ножа, те самые заветные их концентрации, при которых реакция переходит в колебательный режим. Теперь пора за удачу расплачиваться.

Ложится на стол Бориса Павловича лист ватмана, на нем — таблица, напоминающая те, что чертят в свободное время фанатичные болельщики. И предстоит Борису Павловичу перепробовать все сочетания, как на всесоюзном первенстве. Не на год, конечно, история, но все же не такая скорая, как бездумно насыпать чего-то там с ножа. Начинается работа нудная, обстоятельная, не для суетливых.

А ведь служебные обязанности у него совсем другие. Пора писать отчеты, квартальный и годовой; заседания частят одно за другим, — выручает Софронов. Придет Белоусов в свой кабинет с какого-нибудь совещания, а в таблице две-три клеточки аккуратно зачеркнуты. Выдалась, значит, у Алексея Петровича свободная минутка, забежал, проверил пару вариантов...

Долго ли, коротко ли — натывается Белоусов на сочетание концентраций, при котором раствор в колбе желтеет раз, другой и, подмигнув дружески, гаснет. Соседняя клетка мигает раз десять. И вот наконец Борис Павлович нападает на золотую жилу: уголок таблицы, в котором какую клетку ни ткни, колба включается всерьез и надолго. Мерцает, родимая, и по двадцать раз и по сорок, а интервалы между тактами — хоть по секундомеру проверяй. Только к концу, когда исходных веществ в растворе становится мало, мерцания реже. «Стареет реакция», — определяет для себя это состояние Белоусов и звонит Пигалеву. По телефону, однако, никаких сенсаций не преподносит, а говорит слова обыденные: «Старик, иди пить чай». Иван Александрович слегка удивляется: до привычного времени чаепития еще добрых полчаса, — однако идет.

В белоусовской комнате он застаёт Софронова. Тот вместе с хозяином созерцает колбочку, в которой бурлит пена, возносящая лохмотья какого-то осадка, а раствор в колбе время от времени желтеет. «Нашли-таки пропорцию, черти», — думает гость восхищенно. А молчун Софронов срывается с места, выходит и отсутствует минут пять. Возвращается с крошечным бумажным кулечком, содержащим несколько кристаллов. «Подсыпь-ка этого», — только и говорит.

Борис Павлович подсыпает — и бледно-желтая окраска внезапно сменяется ярчайшей синью. Синь резко, будто щелкнул выключатель, переходит в красноту. Потом снова, будто щелкнуло, синь. И так много раз.

«Железо-фенантролин», — односложно отвечает Софронов на невысказанный вопрос.

Неделю-другую после этого счастливого дня в кабинете творится то же, что восемь лет спустя предстоит испытать комнате Шноля. Один за другим входят любознательные люди, и им показывают мерцающую колбочку. Белоусов, и до того вопреки всем инструкциям дверь запирает не любивший, теперь уж держит ее и вовсе нараспашку. Обнаруживается у него вдруг неизвестная большинству сослуживцев улыбочность, шутки его становятся легкими, довоенными. «Она живая, — объясняет он какому-нибудь безумному мэнэсу. — Она, реакция то есть, может быть молодой и старой, порывистой и медлительной. И продукт метаболизма выделяет — вот этот самый осадок, пентабромацетон. Если выдохлась — можно ее подкормить, подлить растворов, снова заиграет».

Показывается и совсем новый фокус. Запустив на полный ход сине-красное чередование, Белоусов осторожно подливает поверх раствора чистую воду. Она понемногу разбавляет слои, лежащие ниже, время пульсации в каждом становится свое, и окраски начинают не просто чередоваться, а пробегать снизу вверх волнами, полосами. «Колба-зебра», — шепчет счастливчик новое, тут же придуманное слово...

А потом кто-то глазастый усматривает на фоне главных, медленных волн другие, не столь яркие, сменяющиеся куда чаще. Кино бы отснять — целый боевик получится...

Демонстрации продолжаются дома. Приходит внучатый племянник и тезка Борис. Ему скоро кончать школу, вот и случай приохотить парня к химии. Борис-старший раскладывает фотографии: колбы, рядом секундомер. Сам гляди, как четко ходят наши химические часы. Борис-младший с набитым ртом (Настя-соседка успела что-то вкусное стоговить) заинтересованно мычит, а потом вдруг произносит совершенно отчетливо: «А статью-то, Борис, будешь писать?» Никогда не зовет старшего ни дедом, ни дядей — просто Борис.

А ведь верно, товарищи, про такое дело и написать не стыдно. Даже в самый разакдемический журнал!

Призывается назавтра Софронов, говорится ему: будем писать. А тот — ни в какую. Я-де тут ни при чем, ты, Борис Павлович, сам все сделал. Тычется ему таблица на ватмане: вот же — твоей рукой клетки замараны. А индикатор такой замечательный кто подсунул? Никакого впечатления. Молчуны — народ упорный. Побившись добрый месяц, Белоусов пишет статью сам. Пишет долго, стараясь все подробности изъяснить простыми словами, пунктуально отмечая то, что проделано Софроновым. Оформляет, чертыхаясь, бумаги, какие в подобных случаях полагаются, да и отправляет рукопись в журнал.

А через пару месяцев, в мае, возвращается в институт эта рукопись вместе с рецензией. Читателям уже известно, что в ней написано: не бывает, мол, таких реакций...

### ОТ СОЗЕРЦАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ

Реакция, которую восемь лет спустя повторил Шноль, сияла красками куда более скромными, чем белоусовская. Сине-красного броского мерцания не было, а лишь тусклое желтое, первоначальное. Забыл, думаете, Шноль о железо-фенантролине? Нет, не забыл. В первый же день стал искать, и дали ему какую-то баночку. Но то ли с надписями опять путаница вышла, то ли вещество в ней было старое, разложившееся — никакого влияния эта добавка не оказала. Как был желтый цвет, так и остался. Удовлетворились пока и этим. В желтых тонах была выдержана и кандидатская диссертация Жаботинского...

Потомственный физик, Анатолий Жаботинский сразу же повернул от созерцания и неконкретных восторгов в сторону точных физических измерений. Объем работы предвиделся колоссальный. Реакция сложна, состоит из множества стадий. Каждую из них надо по возможности вычленивать и изучать отдельно, да не просто зафиксировать ее существование, а точно измерить скорость при разных температурах и концентрациях участвующих в ней частиц.

Надо измерить, как влияют на каждую стадию добавки посторонних для нее веществ, в особенности тех, которые участвуют в других стадиях. Без этого разложившаяся на части система под рукой чересчур прямолинейного экспериментатора легко утрачивает свою сущность — так говорит многолетний опыт.

Надо посмотреть, существуют ли другие колебательные системы, вряд ли белоусовская единственно возможная.

Надо доказать, что колебания происходят во всем объеме раствора, а не только на стенках сосуда или на поверхности инородных тел — пылинок или, скажем, выделяющихся пузырьков газа. Если окажется, что на поверхности, что реакция носит, как говорят, гетерогенный характер, это сразу ее обесценит: гетерогенных колебательных процессов было известно уже довольно много, и полагали, что самоорганизации в них нет — организующим элементом как раз и служит поверхность. Правда, всерьез братья за них боялись — считалось, что доступным на тот момент теориям они неподвластны (впоследствии оказалось, что это неверно — подвластны).

Все перечисленное требовалось для того, чтобы построить математическую модель, формульный фантом явления. Без этого физики не могут. Фантом должен в точности отражать поведение и этой живой, бурлящей в колбочке системы, и других, еще вовсе не открытых. Ведь коллеги-физики скажут о работе доброе слово не ранее, чем гороскопы начнут сбываться.

Такова была программа, которой задавались в начале затеянного цикла работ. Теперь большинство ее пунктов выполнено, из иных выросли новые проблемы, каких тогда, в начале 60-х годов, нельзя было даже назвать. Важнейшая из них родилась на свет при обстоятельствах довольно неожиданных.

В 1964 году Шноль вместе со своим аспирантом Жаботинским отправился на прием к академику Келдышу. Принимал он их не в качестве президента Академии наук, каковым тогда был. Визит был рабочий. Попытки построить математическую модель колебательной реакции породили немало вопросов, относящихся к сфере прикладной математики, а Келдыш был крупнейшим авторитетом по этой части.

Академик принимал гостей в кабинете, в котором стоял большой стол, покрытый зеленым сукном (эта подробность имеет в данном случае прямое отношение к делу). Визитеры



явились с заготовленными растворами, чтобы показать колебательную реакцию в ее первоначальном, Белоусовском, варианте. Стараясь не отнимать зря дорогое время хозяина кабинета, смешали их чересчур быстро. Из колбы повалила пена, часть жидкости пролилась на стол. А в ней — серная кислота. Заахали гости: сукно-то проест! А Мстислав Всеволодович говорит: «Бог с ним, с сукном, смотрите, окраска же в вашей колбе идет волнами, снизу вверх».

Напомню: индикатора, помогающего видеть полосы так четко, как их видел Белоусов, у Шноля с Жаботинским не было. И кто мог догадаться, что если разглядывать бледно-желтую колбу на зеленом фоне, откроется в ней нечто новое, да притом важнейшее: автоволны?

Так получилось, что маститый математик неожиданно совершил хоть и повторное, но несомненно самостоятельное открытие в чисто экспериментальной науке, какова есть физическая химия.

Аспирант Жаботинский за время, отпущенное ему для обучения, доказал, что реакция действительно идет во всем объеме раствора: добавление дробленого стекла и прочих инородных тел, резко увеличивающее поверхность соприкосновения жидкости со «стенкой», равно как и резкое уменьшение поверхности «стенки» с помощью нейтральной, не смачиваемой раствором смазки, на скорости процесса существенно не сказывалось. Подтвердилось, что желтая окраска действительно принадлежит ионам церия (Белоусов предполагал, что она может принадлежать свободному брому). Было доказано также и то, что Белоусов предсказал совершенно безошибочно, — за обратную связь в системе ответственны ионы брома, подавляющие окисление церия. Пока они есть в растворе, желтая окраска не появляется. Ну и других, тоже очень важных вещей было доказано немало. Перечислять их едва ли нужно — все они значатся в книге Жаботинского «Концентрационные автоколебания», увидевшей свет в 1974 году.

#### «ЕЩЕ ГОВОРИЛ СОКРАТ...»

Машина — уже не «эмка», а «Победа» — приезжала за Борисом Павловичем по-прежнему без опозданий. Но все чаще приходилось, не заходя в лабораторию, с утра отправляться на заседание. И все чаще случалось ссориться с биологами...

Образцы препаратов, изготавливаемые в лаборатории Белоусова, передавались им для испытаний. Биологи возились подолгу, а результаты того, что у них получалось, никакому предсказанию не поддавались. Образец, на который возлагались верные надежды, объявляли никуда не годным, а другой, заведомо пустой, поданный лишь для сравнения, вдруг возносили до небес, а потом, при повторном испытании, напрочь ниспровергали.

Заседание того дня в институте запомнили надолго. Руководитель испытаний, длинноволосый профессор, которого смешливые лаборантки за глаза звали «мышинным полковником», докладывал результаты очередной серии. Уснащая речь латынью, сбиваясь порой на стиль лекции для первокурсников, он многословно поведал о том, что образец Б абсолютно не активен, действие радиации он скорее даже усиливает; другой, обозначенный буквой В, активен умеренно. А вот образец А — чудотворен. Все мыши, которым его вводили, перенесли дозу радиации, от которой контрольная группа передохла почти поголовно. А одна рекордистка выдержала такое, чего живому организму вообще выносить не полагается. Профессор предъявил даже клетку с беспокойно мечущейся счастливой долгожительницей.

Он хотел порадовать сидевших в президиуме чем-то еще, но послышался надсадный кашель — в институте его слышали все чаще, — и по проходу к трибуне двинулся Белоусов. В руке он держал банку, обыкновенную банку с пластмассовой крышкой, в каких продают и хранят химические реактивы. Подойдя к «мышинному полковнику», он унял кашель и вежливо осведомился, каков размер ячеек в проволочных сетках, из которых делаются клетки для мышей. Профессор оторопел и пролепетал, мол, что-то около сантиметра. «Это когда клетки в исправности, — кротно уточнил начальник химлаборатории. — Ну, а если надорвалась сеточка?»

И тут не выдержал, сорвался с места начальник вивария. «Верно, — закричал он, — давно пора чинить клетки. Дыры в них такие, что приходишь утром — десяток-другой мышей на воле. Отловишь их со служителями, по клеткам растолкаешь, но какая откуда выскочила, на них же не написано. Вот и получаются невероятные результаты!»

Даже руководство, отродясь в виварий не заглядывавшее, почувствовало, что неладно там, неладно. А Белоусов — нет бы ему в этот момент промолчать — уточнил: все три образца, о которых докладывал профессор, — и Б, и В, и целительный А — взяты из одной и той же, вот этой самой банки. Только действуют почему-то по-разному.

Что тут началось! Кричал, чуть не плача, «мышинный полковник»; перекрывая его, гремел своим знаменитым басом председатель собрания, огорченный пустой, как ему казалось, тратой времени и неподытного материала; дерзко хохотали молодые сотрудники, окопавшиеся в дальнем углу зала...

После долгих прений решение приняли, конечно, разумное — то, которого Белоусов и добивался: биологам надлежит навести в своем хозяйстве порядок, методику испытаний сделать воспроизводимой, об исполнении — доложить.

«И все же эта победа бесполезна», — думал Белоусов. Кому здесь нужна химия? Требуется препарат — один-единственный, но верный. Он уже сделал такой. Испытания прошли блестяще, результаты, полученные не очень-то надежными институтскими биологами, подтвердились и на стороне. Теперь дело перешло в руки физиологов и клиницистов, сразу несколько солидных мужей в белых халатах спешно кроют диссертации, и он, Белоусов, пока не нужен: следующий препарат всерьез потребуется не ранее чем через лет пять-шесть...

Как бы подтверждая справедливость невеселых белоусовских размышлений, пригласило его в директорский кабинет начальство. То самое, памятливое — его Борис Павлович еще по поводу тяжелой воды всенародно оконфузил. И устроило тяжелый разнос по поводу профессиональной этики: не знаем, мол, как там у вас в швейцариях, а среди нас, русских врачей, принято беречь авторитет коллеги, не всякий, черт подери, вопрос уместно выносить на всеобщее обсуждение, в присутствии подчиненных, ну и так далее. Устало глядел Борис Павлович на взбешенного приезжего и думал: на пенсию, что ли, податься?..

Еще говорил Сократ: не знать — не позор, постыднее, пожалуй, не хотеть знать. Суждение знаменитого грека, написанное рукой Белоусова, я видел на титульном листе книги, подаренной старинной его знакомой, профессору Беккер. Дата стояла: весна 1956 года. Надпись сделана по-немецки, видимо, так он запомнил фразу со времен цюрихской гимназии. Печально ее значение: незадолго до того пришел по почте отказ опубликовать новый, расширенный и уточненный вариант статьи, над которым Борис Павлович работал пять лет.

К тому времени Белоусов был автором то ли пятидесяти, то ли шестидесяти научных трудов, владельцем двух десятков авторских свидетельств. Однако статьи в академических журналах он не публиковал никогда. Вероятно, именно поэтому совершил две ошибки, обычные для начинающих: не разбил текст на главы со стандартными подзаголовками и не сопроводил свое сочинение списком ссылок на труды предшественников. Преувеличивал, видимо, осведомленность неизвестных ему коллег, которым предстояло знакомиться с рукописью: не могут же они не знать такие фундаментальные вещи, как теории Лотки и Вольтерры, как книга Шемякина с Михалевым, не ему, Белоусову, о таких общеизвестных предметах напоминать... Знай он книгу Франк-Каменецкого, прямо призывавшего искать колебательные реакции, — несомненно бы на нее сослался, это же был сильнейший козырь, но как раз этой книги Белоусов, вероятно, не знал.

Упущения Белоусова объясняют действия лиц, отклонивших статью. Но не оправдывают! Их квалификации явно не хватило, чтобы оценить и многолетние наблюдения, и тщательно продуманные выкладки насчет механизма реакции, и ее «кардиограммы» (так Борис Павлович называл свои кривые).

«Не надо — значит, не надо», — жестко сказал он Борису-младшему, уже не школьнику, а студенту Института тонкой химической технологии. И запретил даже упоминать в своем присутствии о злосчастной реакции.

Чем дальше, тем реже видели его веселым. Пришло ему как-то в голову составить список своих старых друзей и сверстников. Переписал он их и обнаружил, что почти никого уже нет в живых.

Вот как обстояли дела Бориса Павловича в то время, когда его разыскал человек по фамилии Шноль. Позвонил, начал восхищаться его открытием. Запоздали, дорогой Симон Эльевич, не ваша вина — но запоздали... На предложение приехать, помочь чем можно, наконец, просто познакомиться Белоусов ответил так: «Извините, но мне уже поздно заводить новые знакомства. Почти все, кого я знал и любил, умерли или убиты...»

### НА ПОКОЙ

— Ста двадцати рублей в месяц мне хватит.

Начальство решило проявить чуткость. Пригласило в кабинет, говорит задушевно: что ж, старик, так и уйдешь на общих основаниях, без надбавки к пенсии, без ордена на прощанье?... Будто и не оно когда-то устраивало выволочку по поводу этики, а неделю назад кричало на институтском собрании, что не может быть толка от начлабов, по полгода сидящих на больничном.

Это верно: здоровье уже не то. Семьдесят три года, с чем только не работал, чего не нанюхался... Насчет денег можно, конечно, ответить, как отвечал многим: не ради них, мол, работаю. Но здесь, в кабинете, прозвучало бы это как высокий штиль, хохшпрахе. А хохшпрахе с детства ненавистен. Вот и выходит, сказать нечего, кроме: ста двадцати хватит. Да и не в деньгах главное, главное-то в другом: новый препарат пошел в дело, и очень успешно.

А с реакцией этой злополучной... Начал было названивать некий юноша, его увлеченный, рассказывал, какие чудеса он там намерил. Уломал подать вместе с ним заявку на открытие. Сколько бумажек пришлось подписать, не сочтешь. А в результате отказ: открытием вашу реакцию признать-де нельзя, колебательное горение знали раньше. С тем юноша и сгинул.

Начальство между тем, отговорив положенные нежности, начинает официальным порядком прощаться. Ты, мол, не забывай, позванивай. А мы будем тебя навещать. В общем, недолго уламывало остаться.

Бывает же так: двадцать лет человека знаешь, а облика его будто и не видишь. Только сейчас (последний раз, вероятно, встречаемся) заметил: глаза-то у него хитрые, зеленые. И зрачок, будто у кота,— щелочка.

Не подобает, конечно, сравнивать с чем-либо глаза такой персоны, но вспоминается Борису Павловичу совсем некстати, как он давным-давно изобретал экспонометр. Не было таких приборов в магазинах, хоть зарежься. А как жить без него фотолюбителю? Вот и предлагал: носить с собой в кошелке кота. У кота зрачок — чем освещеннее, тем уже. Измеряй, стало быть, кошачий глаз да выбирай по шкале выдержку. Рассказывал друзьям, хототали. Даже шкалу составлять начал.

Вспоминает Борис Павлович под рокот начальственного голоса и думает вдруг: вместо кота можно сажать в кошелку этого дядю, только тяжеленко будет. От таких мыслей не то чтобы улыбается (разучился), а как-то светлеет лицом. Собеседник же, уловив это движение, решает, что вызвано оно услышанными благосклонными словами (неужто проняло упряма?), ухватывает момент, чтобы пожать руку и достойно расцеловаться.

Борис Павлович шагает в лабораторный корпус, коротко прощается со своими (эти-то и впрямь будут навещать). Последний раз пьет чаек, тут же оставляя свой чайник на память старушке лаборантке (тридцать лет вместе работали). Сдает бумажные дела, на что уходит остаток рабочего дня.

1966 год. Уже никто не утверждает, что колебательные реакции — лженаука. Их изучают люди серьезные и маститые. Некоторым из них предстоит получить за это научные награды самой высокой пробы.

### ЖЕЛЕЗО-ФЕНАНТРОЛИН

Тем временем в Институте биофизики (и Шноль и Жаботинский уже работали здесь) бились над тем, чтобы сделать окраску раствора, возникающую при колебательной реакции, более яркой. Потребность была крайней: желтый цвет слишком бледен, автоволны, которые углядел Келдыш, просматриваются слишком слабо. А ими следовало заняться с особым вниманием. Думали даже приспособить телеустановку, которая бы цвет усиливала и накапливала. Но городить сложный физический агрегат не пришлось — выручила незатейливая химия.

В 1967 году наконец заново открыли действие железно-фенантролина. На этот раз взяли вещество свеженькое, специально для такого случая приготовленное. И снова все сбегались любоваться волнами, теперь уже сине-красными.

С того момента реакция как бы начала жить самостоятельной жизнью. Все больше людей — физиков, биологов, математиков — подключались к ее изучению, и все меньше превратности ее судьбы зависели от воли каждого из них.

Взялись за дело и химики-органики: пузырьки, выделяющиеся при распаде лимонной кислоты, мешали наблюдать за автоволнами не менее, чем тусклая окраска. Был найден целый класс веществ, реагирующих так же, как лимонная кислота, но без выделения газа.

Дольше всего не удавалось подобрать другой, не цериевый катализатор. А потом оказалось, что тот же железо-фенантролин может работать и катализатором: синекрасные волны прекрасно возникают без всякого церия.

Забегая вперед скажу, что не обязательным оказалось и органическое вещество. В 1982 году ухитрились обнаружить колебательный режим в Белоусовской реакции без лимонной кислоты. Зафиксировать это явление было исключительно трудно: интервал концентраций, при котором улавливаются колебания, чрезвычайно узок. Результат 1982 года подтвердил некоторые теоретические выкладки о природе реакции, которая теперь представляет собой лишь один из образцов колебательной реакции некоего класса. А всего таких классов то ли четыре, то ли больше, пока не выяснено.

Имеются в виду только превращения, происходящие в колбах или пробирках. Что же касается природы — как живой, так и неживой, — то один перечень обнаруженных в ней колебательных химических процессов занял бы немало страниц. Ограничусь лишь некоторыми.

Колебания нередко происходят при передаче нервного импульса (интересно, что это было предсказано еще полвека назад в результате опытов с «химическим нервом»). Причина в том, что клеточные мембраны способны время от времени менять свою проницаемость для ионов натрия и калия. Какие вещества управляют ею, еще не установлено, однако мембрана нервной клетки в иных случаях сама способна играть роль периодически действующего физико-химического генератора. Вероятно, это связано с тем, что и концентрация этих неизвестных веществ колеблется.

Колебательными реакциями сопровождается гликолиз, важнейший для живых организмов путь добывания энергии в условиях недостатка или отсутствия кислорода. Доказано, что при этом колеблется активность одного из ключевых ферментов, управляющих гликолизом (в свое время Шноль предполагал, что такое поведение свойственно ферментам, о чем уже упоминалось). Примечательно, что в активности системы гликолиза есть и другие колебания — медленные, совпадающие с суточным ритмом.

Колебательные стадии обнаружены в еще одном жизненно важном процессе — делении оплодотворенных яйцеклеток. Этими стадиями управляет обратная связь, организуемая с помощью неких белков, концентрация которых колеблется так же, как концентрация ионов церия в Белоусовской реакции.

Колебания, происходящие, как говорят биологи, на молекулярном уровне, порождают другие — на уровне организмов и целых популяций.

Рост культур некоторых грибов и плесеней происходит от центра к периферии периодически, причем образуются концентрические круги, очень похожие на кольца Изеганга. Это явление обнаружила еще три десятка лет назад профессор Беккер (помните, именно ей была подарена книга, на которой Белоусов надписал памятные слова «ократа»). Как рассказывает Зинаида Эрнестовна, она предьявляла культуры Белоусову, и тот уверенно сказал: «Это результат периодических реакций».

Культуры бактерий также развиваются неравномерно. Если измерять скорость их роста, нередко получается синусоида, похожая на ту, что отражает колебания маятника. Результатом таких колебаний оказываются, в частности, периодически повторяющиеся вспышки некоторых болезней. Так, известно, что заболеваемость малярией достигает максимума каждые три года. Вступает, стало быть, в действие схема Вольтерры.

А вот примеры совсем другого характера.

С начала 50-х годов в промышленности применяются реакции окисления ароматических углеводородов воздухом. Впервые такой процесс внедрили советские химики, азработавшие чрезвычайно оригинальный способ одновременного получения фенола и ацетона. Так вот, четверть века спустя выяснилось, что ключевая стадия процесса — окисление воздухом углеводорода кумола, происходящее при катализе солями кобальта, — тоже колебательная реакция. Правда, не гомогенная, а происходящая на поверхности

катализатора. Но теперь это различие уже стерлось. Теоретики доказали, что основания и у тех и у других — общие. Колебания обнаружены и в других промышленно важных каталитических реакциях — в горении водорода, окиси углерода...

Еще пример из области техники. Колебательный режим горения, известный свыше сорока лет, нашел неожиданное практическое применение. Химики, работающие в Киевском институте физической химии и Институте катализа, который находится в Академгородке под Новосибирском, заметили, что интервал между вспышками зависит, при прочих равных условиях, от строения молекул углеводородного горючего. Построили график — оказалось, что период прямо связан с октановым числом топлива, числом, известным каждому, кому случается сидеть за рулем автомобиля. Пользуясь этим графиком, создали новый компактный прибор, который позволяет определить октановое число за считанные минуты. Раньше требовалось куда более хитрое, громоздкое оборудование, и измерения длились часами.

Но довольно перечислять, вернемся к событиям, происходившим на кафедре биофизики МГУ и в Институте биофизики.

Реакции Белоусова повезло. Она попала в хорошие руки. Московская школа физиков традиционно сильна в исследовании всевозможных волновых процессов. Физический факультет университета, можно сказать, насыщен теорией колебаний — еще бы, здесь работают ученики Мандельштама и Тамма! Едва трудности с наблюдением автоволн (физическое определение цветных волн в белоусовской реакции) были преодолены, результаты пошли косяком. Потому что, наблюдая за тем, что происходит в растворе, измеряя это с помощью несложных приборов, можно уточнить детали аналогичных по природе событий, свершающихся там, куда никакой глаз не доберется...

К началу 70-х годов существовали, к примеру, теории, согласно которым автоволновые процессы — причина тяжелых испытаний, иногда обрушивающихся на сердечную мышцу, в частности, аритмии и фибрилляции. Результат кризиса, именуемого фибрилляцией, до 70-х годов, как правило, бывал трагическим. Действуя на ощупь, ее иной раз удавалось сбить, например, сильным электрическим разрядом. Но гарантий, точных рецептов, методик не хватало. Требовалась модель, на которой можно было бы в деталях «проиграть» ситуации, возникающие в святой святых организма.

Когда физик А. Н. Заикин попробовал воспроизвести автоколебательную реакцию в тонком слое раствора, налитом в плоскую стеклянную посудинку — чашку Петри, то выяснилось, что сине-красные волны могут бежать в чашке, будто вытекают из некоего ведущего центра. Центров, порождаемых случайностью, флуктуацией, может быть и несколько. Тогда простым глазом видно наложение волн, очень похожее на то, какое случается при неисправности сердечной мышцы. Волны могут, огибая отверстия или преграды, завихряться, могут идти по кольцу...

Красота картин, наблюдавшихся при этом, как говорили в старину, превосходила всякое воображение. И в то же время стало понятно, что в руках — желанная модель, воспроизводящая любые подробности событий, совершающихся в замкнутых контурах живого организма. Этими подробностями можно не только любоваться, их ничего не стоит сфотографировать, точно измерить, перевести на язык математических формул...

Теперь, в 80-е годы, в распоряжении врачей есть проверенные средства борьбы с фибрилляцией, имеются и «водители ритма», предохраняющие изношенные человеческие сердца от сбоев. Дозировку лекарств, режим лечения тяжелых больных предварительно проигрывают на математических моделях, заложенных в памяти электронных машин.

В том, что все это стало возможным, — немалая заслуга тех, кто изучал колебательные, автоволновые химические реакции. А занимались ими коллективы во главе с Г. Р. Иваницким и В. И. Кринским.

### НАСТЯ. РАССКАЗ СОСЕДКИ

— Борис Павлович любил делать подарки. Приедет, бывало, ко мне родня из деревни, дарить что-нибудь надо. Он всегда говорит: не то давай, чего не жалко... И в войну когда на лесозаготовки меня посылали, всегда напоминал: возьми с собой подарков, хоть гостинцев каких-нибудь. Поселят тебя у людей, ты их обязательно одари, порадуй. Вот уж кто не жадный был...

Когда его перевели в лаборанты, говорил — ничего, Настя, и так прокормимся. Ты preparator, я лаборант — две зарплаты. Я же не для денег, говорит, работаю. А потом прибавили ему жалованье. Я тогда в отпуске была, в деревне (я вятская, летом всегда к своим ездю — и отдохнуть и помочь чем могу). Прислал телеграмму: приезжай. Приехала, а он дает пачку денег. Говорит, вот разбогатели, купи там чего надо. Только и сказал, очень занят был. Чего купить-то? А чего хочешь, только по очередям не стой. Но сам никогда не скажет...

Ел всегда очень мало. Я готовила на скорую руку, самой же на работу спешить. Иной раз почти совсем не ест, но чтобы ругаться — невкусно, мол, — этого никогда не было. Однажды только пристала я к нему: скажи, ради бога, Борис Павлович, может быть, плохо я состряпала, почему не ешь? Отвечает: правду сказать, Настя, невкусно. Но сам никогда не скажет...

Была когда-то у Бориса Павловича жена, да разошлись. С тех пор жил холостяком. Комната — целых четырнадцать метров, по сороковым—пятидесятым годам роскошь. А Настя, Анастасия Петровна Князева, жила рядом, в шестиметровой. Работала в институте то preparatorом, то уборщицей и вела нехитрое белоусовское хозяйство. Кем числить ее среди прочего кадрового состава этой истории? Трудно записать в какую-то стандартную рубрику простую добрую соседку, которая сердечно, как-то не по-современному бескорыстно скрашивала жизнь одинокого ученого человека.

— Я в его делах да книгах, конечно, ничего не понимала. Книги многие не русские, по-немецки или по-французски написаны. Сидел он целыми вечерами над ними, курил и кашлял. Ему курить вредно было. У них, Белоусовых, у всех легкие слабые. А он ведь еще и травленный был. Сказывал, до войны еще какой-то отравой надыхался. Так вот, сидит, занимается, и ничего больше ему не надо, лишь бы тихо было. Радио не выносил, даже в комнате его не держал... Редко когда в театр соберется или на концерт, хотя музыку очень любил.

А иногда отложит книги, позовет меня чаевничать да рассказывает. Очень интересно всегда рассказывал. Или книжку какую-нибудь вслух читает.

Говорил: все мы братья во Христе. Шутил, конечно, — в бога не веровал, в церкву никогда не ходил. Но говорил так.

Церковь тут когда-то была близко, ее потом сломали. Борис Павлович вспоминал, какой там священник был наблюдательный. Их гимназистами-то заставляли ходить на праздничные службы, а они пропускали, играть бегали. Так поп, старичок, встретит потом на улице, сразу говорит: а тебя, раб божий, я в храме не видел. Учителям хоть и не жаловался, но ребята уж на улице ему старались не попадаться...

Когда Бориса Павловича печатать в журнале отказались, очень обиделся. Ему советуют: ты, мол, напиши им, объясни. А он — ни за что. Гордый.

Всегда был гордый. В последние годы, когда ослабел, на палочку опираться отказывался. Позор, говорит. Старался держаться прямо, не гнуться. Потом на улицу ходить перестал. Далеко шагать сил нету, а во дворе на лавочке сидеть со стариками — это не для него. Все беспокоился: вот умру, а комнату мою тебе, Настя, может, и не отдадут. А раз зашел его навестить Софронов, он снова про комнату. Тогда Алексей Петрович и говорит: а ты женись на Насте, вот и вопроса не будет.

Борису Павловичу это понравилось. Собрались мы как-то, дошли до загса да и записались. А вскоре он ходить перестал... Все говорил: умрешь — пусть тебя рядом со мной похоронят. А я отвечала: или здесь я тебе не надоела?

Я был в этой четырнадцатиметровой комнате, сидел в жестком кресле за стареньким письменным столом с выдвигной доской, на которую Анастасия Петровна в свое время осторожно, чтобы не отвлечь, ставила Белоусову ужин.

Она и теперь старается помогать ближним. Ездит к родственникам, чтобы посидеть с ребенком, прополоть огород, штопает, вяжет... Счастье, что не вывелись еще люди, для которых числиться — не самое главное.

#### УЧЕНИЕ О САМООРГАНИЗАЦИИ

Остановить колебательную реакцию ничего не стоит — плесните в колбу раствором щелочи или бромистого натрия... Пустить же эти реакции в ход можно только при соблю-

днени целой тучи условий. Капризы, маложизнеспособны. Не потому ли так долго пришлось их искать?

Да и как им быть живучими? В колебательный режим может войти только та система, которая далека от состояния равновесия. Стремясь же к равновесию, из режима выходит.

Неуязвимым кажется такое рассуждение, и все же есть в нем слабое место: любое устойчивое состояние молчаливо приравнивается к равновесному. Между тем это неверно. Долго, бесконечно долго может длиться не только состояние, когда скорость всяких превращений равна скорости превращений, им обратных, когда даже время как бы стоит на месте...

Молекулы, образование которых термодинамически невыгодно, потому что при их распаде выделяется энергия, тем не менее, возникнув однажды каким-то образом, могут не распадаться годами. Пример тому — общеизвестный газ ацетилен, применяемый при сварке и резании металлов. Настоящее равновесие наступает, когда этот газ превращается в смесь углерода и водорода. Тем не менее у баллона с ацетиленом можно просидеть в ожидании хоть столетие, и ничего в нем не случится.

Лауреат Нобелевской премии Манфред Эйген построил физико-химическую модель, в которой происходит естественный отбор белков, синтезируемых и разрушаемых в присутствии ферментов. Эйген показал, что при прочих равных условиях в открытой, неравновесной системе будут выживать те белки, которые синтезируются быстрее, чем распадаются. Естественный отбор и эволюция белковых цепей станут устойчивы, если система организуется в гиперцикл, в котором весьма вероятны автокаталитические, колебательные процессы.

Любой организм, если его рассматривать в отрыве от среды, живет как бы вне закона: он высокоорганизован, его энтропия куда ниже, чем была бы, превратись он в хаотическую кучу атомов и молекул. Тем не менее он существует, пусть не бесконечно долго, но достаточно для того, чтобы пройти завещанный предками круг бытия и породить, если повезет, себе подобных. Неужели при этом действительно нарушаются законы классической термодинамики?

Нет. Отделять организм от окружающей среды — вот еще одна логическая ошибка. Ведь он не существует вне обмена с внешним миром. Обмена веществом, энергией, а если он мыслит, то и информацией. И нельзя его, стало быть, числить замкнутой системой. В этом его слабость, извечная уязвимость, однако в этом же и непобедимое преимущество перед красивым, незыблемым, но неспособным к самоорганизации и самосовершенствованию, туповатым кристаллом.

Структура кристалла равновесна. А, скажем, тростник, колеблемый ветром, принадлежит к числу иных структур — диссипативных, незамкнутых. Их открыл другой лауреат Нобелевской премии, бельгиец русского происхождения Илья Пригожин. Он сумел примирить термодинамику с существованием устойчивых неравновесных структур (не отменяя же в угоду несовершенству наших знаний наше же собственное существование!), построил математический аппарат, позволяющий рассчитывать и предсказывать свойства этих капризных структур, определил четкие признаки способности к эволюции.

В качестве удобного образца устойчивых неравновесных систем Пригожин и его ученики нередко используют колебательную реакцию, которую (откуда им было это знать?) еще три десятилетия назад некий житель Москвы величал «живой».

Не всякое устойчивое состояние равновесно. Вот почему возможны колебательные реакции, вот почему возможна на Земле жизнь. Наша незаконная, нелинейная, наша замечательная жизнь.

### ЭПИЛОГ

Борис Павлович Белоусов умер 12 июня 1970 года. Теперь, задним числом, стало понятно, что этот человек, вероятно, был одним из крупнейших ученых нашего времени. Конечно, не в титулах дело — сам Борис Павлович был к ним непритворно равнодушен, но была ему свойственна та великолепная, озорная простота замыслов, которая есть первый признак гениального экспериментатора.

В последние годы жизни Белоусов говорил немного. А память близких сохранила и того меньше. Запомнили, однако, его слова о порче стиля науки, об утрате уважения

к факту. В старинных книгах, замечал Белоусов, можно обнаружить великое множество непонятых, но честно записанных достоверных наблюдений, завещанных потомкам для осмысления. В современных такого не найдешь.

А в чем тут действительно дело? Может быть, в том, что каждый умеет радоваться своим успехам, однако рыцарская традиция радоваться чужим утрачена?

Может быть, и в этом, но, к счастью, утрачена она не до конца. Нашлись ведь люди, которые без всякой для себя корысти разыскали самого Бориса Павловича, вывели его имя из безвестности...

Колебательные реакции, которые теперь называются реакциями Белоусова—Жаботинского, изучают по всему свету. Будут изучать еще долго. По-прежнему много в них неясного, необъясненного и перспективного. Ясно, однако, уже теперь, что такого рода процессы — одна из основ нашей земной жизни...

Исследователя, как и всякого творческого человека, следует судить по законам, им самим признаваемым. Если следовать этому правилу, что нелегко, ибо Белоусов, видимо, располагал степенями внутренней свободы, непостижимыми для большинства современников, то его судьбу следует признать на редкость удачной. Он достойно завершил свой жизненный цикл, сумев передать людям все, что для них сделал, не причинив зла ни одной живой душе.

И слава его нашла. 22 апреля 1980 года группа исследователей в составе Г. Р. Иванецкого, члена-корреспондента АН СССР, директора Института биофизики, В. И. Кринского, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией, А. М. Жаботинского, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией, А. Н. Заикина, кандидата физико-математических наук, и Б. П. Белоусова, химика-аналитика, была награждена Ленинской премией.





---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЛЕОНИД ПОЧИВАЛОВ

☆

## ГАЛЕТЫ КАПИТАНА СКОТТА

Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!

*Юрий Гагарин.*

**Д**авно я собирался рассказать об истории, которая началась много лет назад и все еще продолжается до последнего времени, но откладывал — вроде бы не было повода. И вдруг заметка в газете — пожар на внутриконтинентальной антарктической базе Восток. Там, в ледяном безмолвии, погиб еще один... Еще одна жертва в длинной череде тех, кто отдал жизнь ее величеству terra инкогнита, неведомой земле. После пожара, уничтожившего электростанцию, двадцать человек, блокированных в самом неприятном месте на свете, выжили, несмотря ни на что, выстояв даже перед кошмаром восьмидесятиградусного мороза.

Те, первые пятеро, выстоять не сумели. За судьбу этих шестнадцати на Востоке тревожились не только на советских антарктических станциях — на американской, австралийской, японской, далеко за пределами континента на Большой земле. Ломали голозу: как помочь в беде, хотя помочь в это время года было невозможно. Но пленников ледяной пустыни по крайней мере связывала с миром вселявшая им веру в себя хрупкая ниточка радиоволны. Жизни тех пятерых, захлестанные белой мглой пурги, покрсно загасли, как робкие светлячки. И никто на свете не знал, где они и что с ними. Радио тогда не существовало. Их жизни были первым векселем, которые Антарктида предъявила людям к оплате за любопытство и гордыню. После тех пятерых англичан оказались уже сотни, которые тоже не вернулись к берегам зеленой земли. И вот еще один...

Дорога путешественника — почти всегда дорога подвижничества. Поиск в пространстве таит в себе риск. Греческие парусники, безвозвратно уходившие за ворота Геркулесовых столбов в открытый океан, и вернувшаяся на Землю из подзвездного простора кабина космического корабля с тремя мертвыми космонавтами. Все они в одной череде. Веками, тысячелетиями человечество платило самую высокую цену за право узнать свою планету, свой собственный дом во Вселенной. На протяжении нашей истории ничто не вдохновляло так молодые сердца, как поиски неведомого, лежащего там, за горизонтом. Скольким прекрасным книгам обязана мировая литература этой извечной человеческой потребности в дороге, куда бы дорога ни вела — лишь бы была неведомой и трудной — в океан ли, в пустыню, на вершины гор или в чащобу джунглей. Великая нравственная сила мировой литературы всегда заключалась в том, что она активно пособляла человеку в освоении Земли, потому что всегда искала героев прежде всего в идущих, которым дано осилить дорогу, которые мужеством, упорством, верой в себя возвышают человека среди ему подобных. Люди неизменно нуждались в таких героях для подражания и будут нуждаться, пока существует на Земле род человеческий.

При всей своей противоречивости история человечества все же была неизменным восхождением рода людского по пути к новым и новым вершинам прогресса, к великому возвышению над природой, к все большему торжеству разума. Но вооруженный знаниями, достиг ли этот разум торжества? Подлинное величие не может быть без величия нравственного. А его недостает. Больше того: рушится созданное тысячелетиями.

Что случилось? Может быть, придавленный все нарастающей лавиной информации человеческий мозг не справился с непосильной ношей и помутился? Он, человек, расщепивший атом, ступивший на Луну, открывший тайны генетического кода, готовый к новым поразительным, непостижимым уму открытиям на своей планете, вдруг сейчас всерьез говорит о всеобщем самоубийстве в атомном пламени. Он узнал так много о своей планете и все же так мало ее знает. И вдруг все разом уничтожить — себя, жизнь, планету! Закрыть последнюю страницу истории человечества, которая только-только началась. Зачем? Ради открытий были и будут жертвы. Они понятны и оправданы. Но жертвы ради закрытия? Безумие!

Может быть, мировая история, мировая культура, включая литературу, так и не справились со своей главной этической задачей, хотя веками учили нас уму-разуму. Недоучили! И рано выкидывать их на свалку, как обветшалые буквари наших отцов, дедов и прадедов. Пускай еще послужат.

Станным образом стечение обстоятельств соединило меня с именами самых первых павших в Антарктиде. Наверное, эта история начинается с того давнего дня, когда однажды мне в руки попала книга, только что вышедшая в Москве повторным изданием, «Последняя экспедиция Р. Скотта». Я немного знал об истории гибели пятерых англичан. Знания эти эмоционально окрасил небольшой рассказ Паустовского «Соранг» — о скоттовской экспедиции, один из самых любимых мной рассказов писателя. Прочитав изданные дневники путешественника, я был поражен еще больше — в тот момент в мою жизнь навсегда вошел человек, воплотивший в себе образец великого мужества и благородства. Особенно потрясали последние страницы дневника и последняя в них строка: «Ради бога, не оставьте наших близких». Мне казалось, что с этой мольбой он обращается и ко мне, и что я тоже в ответе и за родных и близких погибших, и за дело, которое погибшие начали, и за память о них, которую они оставляли нам в наследство.

...Всего в двадцати километрах от базы, где путешественников ждали тепло и пища, капитан английского флота Роберт Фолкон Скотт, почти придавленный провисшим от снега брезентом палатки, под сатанинский вой пурги коченеющей рукой писал прощальные письма своей вдове, вдовам своих лежащих рядом еще живых товарищей — женщины станут вдовами через час или два. Скотт утешал тех, кого они оставляли, и в этот роковой час находил самые прекрасные, самые значительные слова, чтобы рассказать о мужестве и стойкости своих товарищей.

Увы, им не повезло! На обратном пути с Южного полюса, преодолев многие сотни тяжких антарктических километров, не смогли преодолеть последние двадцать. Они умерли по-солдатски стойко, как подобает людям долга и чести.

Гибель английской антарктической экспедиции, последние дневники ее руководителя (о которых Паустовский в пылу почти юношеского восхищения написал, что перед этими дневниками вся мировая литература выглядит праздной болтовней) произвели в свое время огромное впечатление во всем мире. Скотт и его товарищи стали национальными героями Англии, и не только Англии.

Начало XX века было озарено целым созвездием блестящих имен людей, продолжавших на планете поиск неоткрытого на земле, на воде и в воздухе, — американцы Пири и Линдберг, русские Седов и Рusanов, поляк Нагурский, норвежцы Нансен и Амундсен, итальянец Нобиле. В этом созвездии занял свое место и Роберт Скотт.

Все мы принадлежим к одному роду человеческому, духовные богатства у нас общие, и вершины человеческого величия видны с любой точки планеты. Вполне естественным было то, что в 1955 году советское издательство сочло нужным и важным вновь, в третий раз, выпустить на русском языке дневники Скотта.

Одно дело — книга, другое — газета, живет она одним днем, тесно связана с повседневностью, с заботами и задачами, которые ежечасно выдвигает жизнь. В то время я работал в «Комсомольской правде» и вовсе не думал о повседневности, когда однажды сел за стол и в один присест написал рецензию на только что вышедшую книгу. Нет, это была не рецензия в обычном ее значении. Скорее обращенный к молодому читателю горячий призыв непременно прочитать книгу. Редактор отдела заколебался: нужна ли? Подобных вещей выходит немало, история давняя, не упрекнул ли нас, что дорожную газетную площадь занимаем боковыми темами, экскурсами в историю не на главных

ее направлениях? Да еще не о нашем — об англичанине! Я запротестовал: это вовсе не боковая тема! И пошел прямо к главному редактору Дмитрию Петровичу Горюнову. Тогдашний высший мой начальник казался мне человеком суровым и суховатым. Шел к нему без надежды. Но он, быстро проглядев рецензию, решительно черкнул в углу листа: «В номер!» — а мне коротко бросил: «Полезная вещь. Как раз для «Комсомолки!»»

Рецензию напечатали, да еще с фотографией, взятой из книги: Скотт со своими товарищами перед походом на Южный полюс. В ответ на публикацию я получил много читательских откликов.

Так английский путешественник вошел в мою судьбу. Я стал интересоваться всем, что связано с Робертом Скоттом, прочитал то, что мог достать о нем в московских библиотеках. И вдруг совсем неожиданно установил происхождение жизненного лозунга героев Каверина из «Двух капитанов», одной из любимых книг моей юности: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Видимо, и на Каверина произвела впечатление история трагической гибели Скотта, может быть, даже в какой-то степени повлияла и на фабулу романа, на высокий дух романтики, поиска и нравственной чистоты «Двух капитанов». «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Эти слова Скотт однажды записал в свой дневник. Они высечены на кресте из красного дерева, что стоит в Антарктиде на склоне вулкана Эребус. Поставили крест в память экспедиции Скотта, а эпитафией взяли именно эту строку из поэмы «Улисс» английского поэта прошлого века Альфреда Теннисона, любимой поэмы капитана.

На делийском аэродроме Палам стояли два самолета, на которые индийцы взирали с удивлением, — у самолетов непривычно оранжевые крылья и оранжевые хвосты, а на хвостах изображение неведомой здесь птицы пингвина. На бортах надпись: «Полярная авиация». Надо же, в Индии и вдруг — полярная! Под моими подошвами асфальт мягок, как глина, сегодня в тени — плюс тридцать семь. В груди гулко бьется сердце: на одном из этих самолетов я улетаю! В Антарктиду!

Это случилось декабрьским днем 1961 года, тогда я работал региональным корреспондентом «Комсомольской правды» в странах Юго-Восточной Азии, и мой корпункт находился в столице Индии. Однажды позвонил из Москвы главный редактор Ю. Воронов и сообщил: «Самолеты вылетают — готовься!» А я уже был готов. Так я стал участником первой советской воздушной антарктической экспедиции.

Трасса перелета была огромной, самой длинной в истории Аэрофлота — через Индию, Бирму, Индонезию, Австралию, Новую Зеландию, американскую базу в Антарктиде Мак-Мердо — в советский полярный поселок Мирный на шестом континенте. Перелет оказался нелегким, с приключениями, рискованными ситуациями. На подходе к Австралии у ведущего самолета «Ил-18» вдруг вышел из строя радиолокатор. А нам в это время пришлось проламываться через тяжелый барьер грозовых тропических туч. Во время прохода этого опасного барьера в самолет ударила шаровая молния, и уцелел он чудом. Были и другие события подобного рода — первым всегда труднее.

В маленьком, чистеньком, приветливом новозеландском городке Крайстчерч на аэродроме нас встречали сотни горожан. Новозеландцы знают, что значит Антарктида. Она соседка их земли, между ними только океан, холодный и косматый от бурь.

На бульварах городка цвели липы, в Южном полушарии было начало лета. На аэродроме наши экипажи готовили машины к последнему труднейшему броску над океаном, а мы, участники экспедиции, без дела бродили по тихим, чуть согретым нежарким южным солнцем улочкам незнакомого городка. Во время перелета я подружился с корреспондентом «Правды» Юрием Гавриловым, рослым молодым человеком с удивительно мягкой, неизменно спокойной улыбкой надежного спутника. Было интересно бродить вдвоем, на каждом шагу мы делали для себя удивительные открытия, большие и маленькие, в этом незнакомом окраинном мире и с одинаковой благодарностью их воспринимали.

На одном из бульваров в пышном обрамлении старых лип мы увидели на гранитном постаменте — куске скалы — высеченного из белого мрамора человека. Это был памятник капитану Скотту. Здесь, в Крайстчерче, Скотт снаряжал свою последнюю экспедицию на ледяной континент, а из порта недалеко от Крайстчерча Данидина его судно уходило на юг навстречу неизвестности.

Человек, стоящий на постаменте, казалось, был высечен не из мрамора, а из глыбы льда, и даже воздух вокруг него звенел от непостижимой стужи. А рядом цвели липы...

Мне вдруг снова припомнился грустный рассказ Паустовского «Соранг». Англичане

добрались до полюса, надеясь ступить на него первыми в истории, но подходя к желанной точке, издали увидели на снегу брошенную палатку — оказалось, что незадолго до англичан полюс открыл Амундсен. Это была полная неожиданность, крушение честолюбивых надежд. На обратном пути капитан Отс отморозил ноги и, чтобы не быть обузой своим товарищам, ушел безвозвратно в пургу. Он оставил записку, адресованную женщине, которую любил. Послание не пропало: участник береговой партии экспедиции, нашедшей трупы Скотта и его товарищей, русский матрос Василий Седых сумел отыскать в Шотландии ту женщину и вручил ей предсмертное послание друга. В письме Отс вспоминал Шотландию, теплые дожди, летящие над землей, подобно дыму, огни в сумерках, тяжелую воду гавани, соленый воздух мокрых осенних полей с неубранным клевером и их любимую старинную песенку:

Здравствуй, дом! Прощай, дорога!  
Сброшен плащ в снегу сыром.

В ту ночь пришел к тем берегам удивительный ветер соранг, дующий раз за сотни лет из бесконечного далека, откуда-то несущий запах снега и экваториальных лесов, запах незнакомых стран. И у детей от радости темнели глаза.

Над Крайстчерчем висели белые ночи, ветер с океана был свеж и прохладен, нес в город аромат окрестных полей. Перед отлетом мы снова пришли на бульвар, где стоял памятник Скотту. Я сорвал у памятника ветку с пахучим липовым цветом. Первый же прохожий изумленно вскинул брови: «У нас так не делают». Подошли другие. Я объяснил: «Через три часа улетаем в Антарктиду, это на память о зеленой земле». «В Антарктиду?!» Кто-то пожал мне руку, кто-то протянул еще одну ветку, побольше. Кто-то сказал: «Храни вас бог!»

Полет снова был тревожным, и снова нас ждали неожиданности. Прошли роковую «точку возврата», а так и не сумели связаться по радио с американской антарктической базой, где предстояла наша первая посадка на континенте. Тяжелой преградой вдруг встал не предвиденный метеосводкой сильнейший, почти ураганный встречный ветер. И на всем пути ни клочка суши, где можно было бы притулиться в беде. Шли на наше родное авось. Погода в Антарктиде меняется за полчаса, могло так случиться, что и сеть будет негде.

В одно из мгновений тех томительных часов полета вдруг внизу в разрывах облаков разом вкуче проступили три цвета — синий, серый и белый: море, берег и снега на берегу за острыми клыками скал. Внизу было море Росса, именно сюда много лет назад, во время первой английской антарктической экспедиции, после долгого пути через океан, через сороковые ревущие и шестидесятые неистовые широты вошло «Дискавери», хрупкое суденышко капитана Скотта, чтобы робко приткнуться к этим негостеприимным берегам.

В Мак-Мердо, где наши самолеты сажались для заправки и отдыха экипажей, нас встретили, как обычно встречают в Антарктиде путешественников, с добром и заботой. В те годы в мире дули злые ветры «холодной войны», а здесь, на шестом ледяном континенте, ветры были просто холодными ветрами, и люди тянулись друг к другу — вместе легче выстоять.

Не ожидал, что две ветки, сорванные на бульваре в Крайстчерче, произведут такое впечатление. Вскоре они оказались изрядно пощипанными — каждый жаждал получить по листочку, для каждого этот чуть поувядший зеленый листок нес щемящий сердце аромат далекой родины. Но до конца обкорнать ветви я не позволил. Хотелось выполнить данный себе зарок: добраться до знаменитого креста в память экспедиции Скотта и положить к его подножию ветку липы. Ведь этот крест вроде надгробия над несуществующей могилой погибших путешественников. Вернее, могила существует, но где именно она, уже никто в точности не знает и найти ее невозможно — Скотт и двое его товарищей, дошедших до своего последнего привала, были похоронены в снегу на месте гибели, и метелями давно занесло ледяной могильный холмик.

В экспедиции надо мной посмеивались: сантименты! Может быть! Но я был уверен, что именно так и должен поступить — не для вида, не для рисовки перед другими — для самого себя. Не обойтись нам в своем житье-бытье без символов, нужны они сейчас особенно, может быть, больше, чем раньше, в наш деловой, прагматичный, далекий от лирики век. Людям нужны символы! Они вроде верстовых столбов у нашей совести — дают нравственные ориентиры на жизненном пути. Ведь знамя тоже всего-навсего кусок материи, а сколько голов сложено за него!

Однако поход к знаменитому кресту не состоялся. Вдруг представилась возможность добраться до мыса Армитедж, а это была редкая удача. Я и раньше знал, что недалеко от Мак-Мердо на скалистом мысу сохранилась небольшая дощатая хижина, база экспедиции Скотта, откуда он с товарищами отправился в глубины Антарктиды и до которой не добрался на обратном пути.

— Армитедж? Хотите взглянуть?—Никс вытягивает руку в сторону моря с таким видом, будто хочет показать, что это совсем рядом.—Могу проводить.

Когда наши самолеты приземлились на аэродроме Мак-Мердо, встречавшие нас американцы проявляли поразительную настойчивость, дабы заполучить от гостей что-нибудь на память. Даже пластмассовые чашки в бортовой кухоньке «Ила» немедленно превратились в сувениры. Особенно неотразимое впечатление произвели наши меховые шапки-ушанки — у американцев таких не было. Один из встречавших решительно сорвал с головы легкую вязаную шапочку, протянул мне:

— Поменяемся?

Его рыжий бобрлик горел на голове таким жгучим пламенем, что мог напугать любой антарктический мороз.

Я устоял. Шапка мне, прилетевшему из Индии, ох как была нужна! Американец огорченно щелкнул языком, снял варежку и, протягивая мне руку, представился:

— Никс.

Так я познакомился со славным американским парнем, великодушным здоровяком, немногословным, неторопливым — в каждом его слове, в каждом жесте или шаге проглядывала такая уверенность в себе, такая деловая обстоятельность, словно мы прибыли в гости лично к нему, а вокруг до самого горизонта простирается территория его фамильного ранчо.

На другой день Никс повел нас с Юрием Гавриловым к мысу Армитедж. Курс он избрал туда напрямик, наиболее короткий, но некоторым образом рискованный. Посему вручил по бамбуковому шесту и пояснил:

— Будете валиться в трещину во льду, постарайтесь опереться шестом о ее края. Купаться не советую. Вода холодная!

В руках у Никса тоже шест, только потолще наших. Он тычет им в снег, и если шест погружается глубже, чем положено, уводит нас в сторону.

— Ребята, не зевать!—покрикивает временами. — Мне скучно будет возвращаться домой одному.

Он заставляет нас идти строго по его следу. Оглянуться не дает. А нам, новичкам, все интересно. Вон белая ватага пингвинов семенит навстречу знакомиться — каждый в черном фраке и белой манишке, словно симфонический оркестр в полном составе опаздывает на концерт.

— Эй! Ты куда смотришь?! Если все же решил топиться, оставь на память шапку — она мне как раз по размеру.

Никс все больше нравится мне. Он вполне уместен среди этих диких снегов со своей круглой шотландской бородкой, неторопливой походкой знающего себе цену человека. Возможно, он немножко красуется перед нами, новичками, но, несомненно, человек бывалый — механик, водил снегоходы в глубь континента, так что знает, почем фунт лиха.

— Никс, как тебе Антарктида?

— Льда многовато и отапливается плохо, но жить можно.

По каменистым склонам мы забираемся на мыс. С его вершины открывается такая перспектива, что дух захватывает.

Гладкая, до блеска вылизанная ветрами белая равнина, матовые спины ледников, за ледниками неправдоподобно синие, как театральные декорации, невысокие горные хребты, а за ними опять ледяная равнина, и так на тысячи и тысячи километров.

— Сколько красоты пропадает зря!—усмехается в бороду Никс.

И вот наконец у цели. На дикой скале примостилась в полном одиночестве деревянная хижина. Четыре дощатых стены дома без окон, крутая дощатая крыша — все, что нужно, чтобы спасти теплинку человеческой жизни в краю, где эта жизнь так беззащитна. Доски одной из стен оторваны, должно быть, ветрами, внутри до самого потолка годами спрессованный, превратившийся в лед крупнозернистый снег.

Каждая деталь значима. Кусок поломанной нагты, расколотый надвое чугунный котелок, выглядывающий из-под валяющихся на снегу досок. К торчащей из стены перекладине подвешена тушка поросенка. С одной стороны, обращенной к дому, она целехонька, отда-

ет розовым, словно только вчера обстоятельный, деловой Отс прицепил ее со словами: «Вернемся и подзакусим на славу!» С другой стороны тушка иссушена солнцем, завялилась, но выглядит вполне съедобной. Пять десятилетий висит здесь, столько же провисит еще, пока ветер не обложит ее до последней косточки. Не гниет.

Никс сидит на камне в сторонке и, попыхивая трубкой, молча, с легким смешком поглядывает на нас: и чего это они возятся в этой рухляди?

— Никс, ты знаешь об истории Скотта?

— Кое-что. Не повезло парню, хотел финишировать на полюсе первым, но его обскакал Амундсен.

Мы с Юрой находим острые дубовые щепы и принимаемся долбить слежавшийся в домике снег. Просто так. А вдруг?

Слоистые куски с хрустом отваливаются один от другого.

— Работа для шизиков!

Бородатый, смуглый от загара, мощный, как каменная глыба, на которой сидит, Никс кажется сейчас похожим на Отса, мужественного друга Скотта.

...Очередной удар щепы отзывается не снежным хрустом, а глухим тугим звуком — из-под отвалившегося куска снега торчит угол железного ящика. Мы осторожно ящик откапываем. Не поржавел, просто потемнел от времени. На крышке еле различаем надпись: «Глазго. 1910 год». С трудом вскрываем крышку. В ящике — галеты, их здесь не меньше сотни, каждая размером с пачку сигарет. Кажутся совсем свежими, только по краям чуть крошились.

Я беру одну. На моей ладони желтоватый кусок сухого хлеба. Скрип снега под ногой в последнем шаге, еще одно отчаянное усилие мускулов, еще несколько затухающих ударов сердца, уходящая теплота безнадежно протянутой руки. «Последней умирает надежда», — говорит старая мудрость. «Должны бороться до последней галеты...» — записал Скотт в своем дневнике 14 марта, когда его группа, изнуренная холодом и голодом, уже потерявшая одного из своих товарищей, шла с полюса к морю. Оставались считанные дни, а потом и часы их жизни на свете. В этой галете утраченная надежда тех, кто не дошел до нее всего двадцать километров.

...Пальцы еле-еле сжимают карандаш. Не веря в великодушие его пославших, капитан выписывает последнюю мольбу к людям: «Ради бога, не оставьте наших близких»...

Вот что значит эта галета!

Мы с Юрой берем по паре галет, бережно завертываем в носовые платки и держим в руках, не доверяя даже карману.

— Сувенир? — не выпуская изо рта трубку, спрашивает Никс. В его словах по-прежнему сквозит ирония.

— Видишь ли, Никс, — говорю я. — Это не сувенир. Это нечто другое. Один из тех пятерых, мне кажется, был похож на тебя, наверное, он слыл тоже отличным парнем. Он любил теплые дожди над Шотландией и мечтал о них, когда сквозь бураны шел с полюса. Он погиб от голода и холода где-то там, вон за теми горами... Понимаешь, это очень, очень горькая галета, Никс.

Никс, не торопясь, легкой морской развалочкой подходит к ящику, вынимает из нее галету, внимательно ее рассматривает, подносит к носу: какова на запах; под жимом его крепких, привыкших к металлу пальцев галета рассыпается на мелкие кусочки.

— Твердовата, — глядит на меня, на Юру, — и вы уверены, что эта черствятина сейчас что-то стоит?

— Стоит? Конечно! Ей цены нет! Это реликвия! Это память о Скотте, замечательном путешественнике. Его знают все. Ведь ваша американская база на полюсе носит и его имя. Под рыжими ресницами Никса пропадает надолго поселившийся там ленивый смешок.

— А как вы думаете, много ли здесь, в снегу, таких ящиков?

— Трудно сказать. Может быть, один, а может быть, и больше.

— Может быть, больше... — задумчиво повторяет он. Постукивает желтым ногтем по трубке, вытряхивая пепел.—Смех да и только,—он показывает свои крепкие прямоугольные зубы.— Вот уж не мог подумать, что здесь, в Антарктиде...

Бросает крошки от раздавленной галеты обратно в ящик.

— Если этот залежалый товар в самом деле может привести в умиление таких чудачков, как вы, то здесь, под снегом, может быть целое богатство.— Он оборачивается к Юре:— Как думаешь, по пять долларов за штуку? А? Пойдет?

Весь он сотрясается от смеха, кажется, даже трясутся и вот-вот осыплются с его носа крупные рыжие веснушки. Нет, сейчас он вовсе не похож на Отса!

Обратно мы возвращаемся тем же путем, и Никс по-прежнему идет впереди с палкой, тычет ею в снег — оберегает наши жизни.

— Глядите в оба, ребята! Здесь дырка.

Снег слегка оплывило летнее солнце, и ледяная корочка звонко, как стекло, похрустывает под расчетливыми, но уверенными шагами Никса.

— Если почувствуете, что снег под ногами уходит, падайте плашмя и ползите в сторону. И не трусить. А дальше я помогу. Со мной такое уже бывало.

Я смотрю в оранжевую спину Никса... Ах, Никс, и зачем ты только сказал те слова!

Они нам встретились на окраине поселка. Даже издали по их походке можно было понять, что чем-то озабочены и заботы эти не простые. Впереди шагал массивный Борис Семенович Осипов, командир «Ан-12», нашего второго самолета, который в перелете шел грузовым рейсом. Летчики направлялись в сторону аэродрома. Увидев нас, сдержали шаг.

— Развлекаетесь? — За вопросом пряталась ирония.

— Да нет. Вот были на мысе Армитедж. Отыскали галеты.

Мы рассказали о неожиданной находке. Осипов взял одну из галет, подержал на просторной, как аэродром, ладони.

— Надо же! Самого Скотта! — Протянул галету обратно, и мне почудился в его тоне оттенок зависти.

— А вы куда торопитесь?

— Отчаливать!

Я знал, что экспедиция должна была задержаться на американской базе минимум на три дня, и вдруг «Аннушка» улетает! Не пробыла здесь и суток. Нам невесело разъяснили: накладочка получилась. У американского горячего не то октановое число, которое нужно нашим машинам.

— Нельзя на нем лететь?

— А черт его знает! Запросили по радио КБ, а там, конечно, на себя брать ответственность не решаются — мало ли что? Ну мы и вздумали попробовать. Не оставаться же у американцев невозвращенцами.

Вот грузовую «Аннушку» и посылают в пробный полет на Мирный. А вся экспедиция остается здесь.

— Возьмите нас! — вдруг попросил Юра.

Осипов исподлобья взглянул на него.

— Это риск...

— Возьмите!

Осипов слыл молчальником, словами разбрасываться не любил. Мне показалось, что был рад просьбе.

— Беру!

Мы побежали обратно в Мак-Мердо в наш дом за вещами. Ветки липы отдали Никсу:

— Спасибо за все! Вот тебе еще один сувенир. Ему тоже нет цены. По крайней мере здесь, в Антарктиде.

Никс повертел в руке увядшие, но все еще пахучие ветки.

— Если вам так приспичило, ребята, я, пожалуй, отнесу их к тому кресту. Он недалеко, на Обсервейшн-хилл.

Под нами Антарктида. Мы с Юрой счастливы — завершаем самый дальний в отечественной истории перелет в числе самых первых. Нас вместе с экипажем десятеро. Старшим Марк Иванович Шевелев, Герой Советского Союза, получивший одну из первых в нашей истории звездочек за участие в арктических экспедициях. Рейс у нас дальний, через глухие глубины Антарктиды — здесь никогда не летали самолеты, не ходили люди. И в этом вроде бы мы — первые.

Едва взмываем в небо из-под зловещей тени вулкана Эребус и ложимся на курс, как Осипов, стянув с круглой маловолосой головы дужку наушников, оборачивается ко мне — я стою за спинкой его кресла — и, кивнув на спящее солнцем стекло пилотской кабины, произносит:

— Вот где-то здесь они и лежат...

И мне сразу ясно, о ком он говорит. Значит, галеты произвели впечатление и на него, бывалого полярного бродягу.

Я шагнул в соседний отсек, прильнул к стеклу иллюминатора. Даже сквозь густо-темные стекла защитных очков отраженные ото льда лучи полярного солнца больно колют зрачки, словно забило глаза пылью. Безжизненная пустыня уходила к дымчатому горизонту, где белое постепенно превращалось в голубое и даже темной крупинки не было в унылом двучетье. Где-то в этой вековой пустыне, погребенные под просторным саваном снегов, лежат в вековечном сне Скотт и его товарищи, которые погибли не от болезней, не от ран — просто заснули навсегда.

Радист крикнул со своего места:

— Слышу Южный полюс. На волне станция «Амундсен — Скотт»!

Темные глаза радиста радостно сверкают, полные губы растянулись в долгой улыбке. Еще бы! Знакомые для радиста места! Андрей Капица, тогда еще молодой, но уже достаточно известный исследователь шестого континента, на борту «Аннушки» добровольно исполнял обязанности радиста — он в совершенстве знал английский. А по всей нашей трассе радисту только с английским и работать. С полюсом у него личные взаимоотношения — он входил в состав первой советской экспедиции на Южный полюс в 1959 году. Они добрались до оси Земли после труднейшего рейса на вездеходах, первого в истории похода от антарктического берега Индийского океана.

На крыльях в неистовом солнечном свете висели, как распушенные павлиньи хвосты, радужные диски вращающихся самолетных винтов. Я достал свою любительскую кинокамеру и направил объектив на один из кругов: если остановится, то по крайней мере может сохраниться пленка, запечатлевшая последние минуты полета на американском горючем — значит, оно нам, увы, не подошло по октановому числу. Значит... Взлетев в Мак-Мердо на остатках собственного горючего, мы в эти минуты переходили на то, что предоставили американцы. Вдруг подведет?

Не подвела «Аннушка»! После долгих часов полета благополучно «проглотила» над Мирным свой 25 045-й километр пути. Тяжелая машина с опаской коснулась колесами дорожки малопригодного для такой машины, скороспело сработанного «мирянками» ледяного аэродрома, увесисто, со скрипом во всех самолетных суставах попрыгала на неположенных для такой посадки буграх и ямах и наконец с последним рывком турбин замерла. Прибыли!

Через несколько дней в Мирном нам с Юрой пришла в голову мысль установить здесь полосатый дорожный столб со стрелками-указателями. Экспедиционный плотник выстрогал столб, дощечки-указатели выпилили из фанеры мы сами, сами же их раскрасили в разные цвета и сделали нужные надписи: столько-то километров до Москвы, столько-то до Ленинграда, Киева... Первой прибили табличку, которая указывала на Южный полюс Земли.

Забегая вперед скажу, что недавно, будучи в Ленинграде, я заглянул в музей Арктики и Антарктики. Приятно было вдруг увидеть в числе наиболее приметных экспонатов привезенный из Мирного как предмет истории дорожный столб, сработанный нашими руками, знакомый до детали — на стрелках-указателях я узнал свой собственный корявый почерк: «До Южного полюса — 2617 км».

Через два месяца на обратном пути из Антарктиды, снова отмеченном неожиданно-стями и риском, наши самолеты задержались на крайнем севере Австралии в неприметном городишке Дарвин. Теперь уже у «Ан-12» вышел из строя локатор, и на его починку понадобилось два дня.

В маленьком городке было безнадежно тоскливо и чудовищно влажно — люди обливались потом. В номере дешевой, но чистенькой гостиницы я подобрал с пола листок: «Дорогой Джон! Я снова попал в этот комариный ад. Может быть, хотя бы здесь найду свою удачу?»

Временами налетали на городок короткие, но тяжелые тропические дожди, картечью били в шиферные крыши домов, дырявили воду в заливе. На маленький местный аэродром прилетел из Европы самолет, привез из Испании эмигрантов — искать в Австралии удачи. В зал, раскалывая дремотную тишину аэровокзала, ввалилась шумная и суетливая публика. Длиннолицые, с выпирающими кадыками мужчины носились по залу с паспортами и анкетами, громко спорили друг с другом, со зловеще невозмутимыми таможенниками.

Наконец-то нам лететь.

Наш «Ил» казался давно обжитым родным домом. Я занял свое место у иллюминатора. Там, за стеклом, мокро отсвечивали крыши чужого города. И вспомнился еще



один рассказ Паустовского, «Австралиец со станции Пилево» — о судьбе заброшенного в Австралию превратностями судьбы в дореволюционные годы русского паренька, который тоже на чужбине искал удачи и не нашел ее. Есть в рассказе такие слова: «Чужое небо и чужие страны радуют нас только на очень короткое время, несмотря на всю свою красоту. В конце концов придет пора, когда одинокая ромашка на краю дороги к отчему дому покажется нам милее звездного неба над Великим океаном, и крик соседского петуха прозвучит, как голос родины, зовущей нас обратно в свои поля и леса, покрытые туманом».

Я был единственным членом экспедиции, который покидал борт самолета, не завершив до конца наш великий перелет через всю планету, — сходил в Дели, где был мой корпункт. Мне польстило, когда делийские журналисты объявили меня первым человеком, прилетевшим в Индию напрямик из Антарктиды. Засыпали вопросами. Рассказывая о путешествии, я, конечно, не мог не вспомнить о галетах капитана Скотта и посылать их журналистам.

Незадолго до моего полета в Антарктиду в Дели проездом оказалась делегация советских писателей. Среди них был Всеволод Иванов.

Я возил гостей по Дели, показывал самое примечательное, про что знал — рассказывал. А меня забрасывали вопросами, будто я родился на этой земле, и на каждый вопрос должен был отвечать обстоятельно, исчерпывающе. Особенно напирал Всеволод Вячеславович. Он был самым старшим в делегации и, наверное, самым неумным. Он считал, что даже короткий отдых здесь, на индийской земле, — безумие. Крупнотельный, округлый, волчком вертелся и на делийских улицах и под прохладными сводами древних храмов, даже в тесной моей машине: а что это, а это почему? Темные очки его то и дело сползали на кончик носа, он их поправлял торопливым, досадливым движением, и за каждым из таких движений угадывалась тревога: вдруг что-то пропустит или не узнает?

И сейчас, в Индии, ясное, мальчишески счастливое каждый раз проступало в его мягком, добром лице, когда узнавал что-то для себя неожиданное. А неожиданного было вдоволь. Индия! Он — в Индии! В этой сказочной стране мечтал побывать еще в юности, даже отправился туда пешком, но, понятно, не добрался. Воспоминанием об этой сладостной мечте явился годы спустя роман «Мы идем в Индию» — он подарил его в Дели и мне. И вот писатель наконец пришел, он здесь, на индийской, навечно прогретой солнцем земле.

Вечером я завез гостей к себе домой для передыха. Показывал экзотические трофеи, добытые в поездках, — маски, кораллы, охотничьи луки, горские ножи... Все это Всеволод Вячеславович рассматривал обстоятельно, серьезно, словно определял подлинную ценность предметов. Кое-чему удивлялся:

— Это в самом деле настоящий непальский кукри?

Извлек кривую полоску лезвия из ножен, уверенно, со знанием дела, провел по острию пальцем, одобрительно кивнул: настоящий!

Среди всей этой экзотики скромно поблескивал на полке маленький фарфоровый пингвинчик — его как амулет подарили мне, узнав, что собираюсь на шестой континент.

— А это откуда? В такой коллекции Антарктида вроде бы ни при чем.

— Я собираюсь туда.

Он медленно обратил лицо ко мне, глаза его за стеклами старомодных очков прищурились:

— В Антарктиду? Любопытно! Ну-ка расскажите!

Я коротко рассказал о предстоящем полете. Он слушал, склонив голову набок, и в этот момент был похож на учителя, определяющего серьезность знаний своего ученика. Вдруг на его губах вспыхнула задорная улыбка.

— Мне всегда казалось, что земля кончается в Индии. Оказывается, есть еще где-то Антарктида. Значит, теперь «Мы идем в Антарктиду»?

— Идем!

Погасил улыбку, вздохнул коротко:

— А я бы пошел! Амундсен, Скотт, Шеклтон, Бэрд... Южный полюс... Полюс холода... С каким трепетом я когда-то обо всем этом читал! Особенно о Скотте. И даже писал о нем однажды....

Протянул мне мягкую, но сильную, с крепким жимом руку:

— Не заработайте насморка на Южном полюсе. Летите-то туда из Индии! Это все равно что голым из парной бани в сугроб.—Будто вспомнив о чем-то важном, добавил:—Не забудьте пингвиненка. Амулет — вещь серьезная. Особенно если его подарила женщина. А вы же отправляетесь на край света.

...А через несколько месяцев (уже после моего возвращения из Антарктиды) гостем в моем делийском доме оказался Константин Симонов. Он тоже рассматривал мои экзотические приобретения, обратил внимание и на фарфорового пингвинчика, побывавшего в Антарктиде и, разумеется, защитившего меня от всех полярных напастей. К галетам отнесся с интересом особым: рассматривал, нюхал, даже отщипнул крохотный кусочек, попробовал на вкус. Кладя галету на место, вдруг нахмурился, глухо обронил:

— Вот она, доля человека! Даже в своем величии зависит он в конечном счете от куска обыкновенного черствого хлеба.

Однажды поздним вечером он позвонил мне по телефону.

— Что-то очень жалко тратить время на подушку, когда вокруг такое творится!...— прокартавил в трубку.

— Что творится?

— Жизнь!

У нас быстро сколотилась небольшая компания полуночников. Решили ехать за город. К затерянной в лесу древней Башне любви, с которой, по легенде, кто-то бросился вниз, потеряв надежду быть рядом с любимым человеком.

В лесной темени мы с трудом отыскивали эту одинокую башню, похожую на гигантский старый пенёк. Всплывая летучих мышей, невесть как взобрались по крутым скользким ступеням на плоскую вершину башни. Щербатые камни еще хранили дневное тепло, легкий ветер был насыщен запахами ночного влажного тропического леса.

Мы лежали на камнях, наслаждаясь тишиной и покоем.

На вершине башни пробыли довольно долго. Константин Михайлович, глядя на отблески электрического зарева чужого тропического города, читал стихи свои, и не свои, и такие, которых мы не знали. Много было стихов о любви, и, казалось, их слушает старая башня, которая никогда не утрачивает тепло своих камней.

Но вот решили, что пора возвращаться. Когда спустились вниз, я пошел к машине, которую оставил на проселочной дороге в лесу на подступах к башне, а все остальные отправились напрямик через лес по просеке к недалекой шоссеной дороге, чтобы подождать меня там.

Пока отыскивал машину, пока по проселку добрался до шоссе, прошло с полчаса. Подъезжая к условленному месту, почувствовал, как в тревоге сжалось сердце: на шоссе кружком стоят люди, в том числе и мои спутники, и внимательно смотрят на что-то в центре круга. А где Симонов? Что-то случилось! Резко торможу, распахиваю дверь, бегу к толпе, заглядываю в круг. Упираясь руками в асфальт, стоит на голове, четко и складно вытянув вверх ноги... Симонов. Продержался еще с полминуты, потом ловко вскочил на ноги, стряхнул пыль с брюк и весело крикнул по-русски индийцам:

— Мы тоже можем быть йогами! Не задавайтесь!

Индийцы, в основном шоферы недалекой от этого места загородной автобазы, хохоча, хлопали Симонова по спине как своего парня.

Когда ехали обратно, то всю дорогу живо обсуждали необычность сегодняшнего вечера; перед самым городом, утомившись, притихли. Симонов сидел впереди рядом со мной. Вдруг уже совершенно с другой интонацией в голосе, негромко произнес:

— Я вот все думаю о ваших галетах. У вас ведь их две. Знаете что, подарите одну Паустовскому. Уж вот кто оценит подарок по-настоящему, так это он. Правда, подарите!

В Индии начинался сезон тропических дождей. Дома были туго набиты банной духотой, кажется, сожми пальцы в кулак, и сквозь пальцы просочится вода — так влажен воздух. Я тревожился за галеты — размокнут ведь. На помощь пришли знакомые чехи. В их колонии в Дели вдруг оказались проездом два натуралиста и путешественника. Они поместили галеты в специальные пластиковые вакуумные пакеты и этим спасли их.

Однажды пролетом через Дели на индийской земле оказался Гагарин. В специальном зале ожидания аэропорта, того самого, с которого я улетел в Антарктиду, вместе с Гагариным были сопровождавшие его лица, работники нашего посольства и мы, советские журналисты, аккредитованные в Индии. Я только что заглянул в соседний, общедоступный зал, чтобы купить там бутылку кока-колы. Густел полуденный зной. Гагарин в этот

момент стоял посередине зала почему-то один. И вдруг я перехватил его взгляд, обращенный... на мою бутылку с кока-колой. Его губы чуть заметно шевельнулись, и между ними показался кончик языка. Я шагнул к Гагарину и протянул бутылку.

— Хотите?

— Хочу!

Он вылил содержимое бутылки себе в рот почти залпом прямо из горлышка. Вдохнул облегченно, улыбнулся, блеснув зубами:

— Ой спасибо!

Журналистский опыт мне подсказывал, что надо непременно воспользоваться удачным моментом, чтобы получить хотя бы пару слов для своей газеты. И неожиданно и для Гагарина и для самого себя я спросил:

— Юрий Алексеевич, а Антарктиду вы сверху видели?

Его светлые глаза на мгновение озадачились:

— Антарктиду?..

В этот момент к Гагарину подошел наш посол.

— Пора, Юрий Алексеевич, пора!

И, бросив на меня осуждающий взгляд, взял гостя под руку, решительно повел к двери.

Потом мне попало от посольских за эту ширпотребовскую, не прошедшую специальной гигиенической обработки бутылку кока-колы, легкомысленно предложенную первому в мире космонавту, который легкомысленно опорожнил ее прямо из горлышка. А коллеги-журналисты подтрунивали: ну и вопросик задал! В Индии — об Антарктиде!

А я и сам не знал, почему об Антарктиде. Может быть, потому, что в тот момент взгляд мой коснулся за окном части аэродромного поля, где были ангары. Как раз там, у ангаров, еще недавно стояли два больших самолета с оранжевыми крыльями и пингином на хвостовом оперении. А скорее всего потому, что существует на свете неведомая, диалектическая связь событий и человеческих судеб, и живые нити этой связи пронизывают тысячелетнее время, тысячекилометровые расстояния, скрепляя в единое целое то, что называется человечеством с его историей, событиями и героями.

Прилетев в отпуск из Дели в Москву, я на другой же день позвонил домой Паустовскому. Женский голос сдержанно сообщил, что Константин Георгиевич подойти к телефону не может, очень занят, поинтересовался, кто я и что мне нужно. Я представился и коротко объяснил причину звонка.

— Минуточку... — сказала женщина после паузы, за которой угадывалось колебание.

И вот я услышал глуховатый, с покашливанием мужской голос:

— Простите... как ваше имя-отчество? Вы в самом деле только что из Антарктиды? Галеты Скотта? Неужели может быть такое? Где вы сейчас? Не смогли бы приехать сегодня? Да, да, не откладывая, а то еще исчезнете куда-нибудь. Ну хотя бы часиков в семь вечера. Устраивает? Буду ждать! Очень буду ждать! Только, пожалуйста, не исчезайте!

...Сейчас мне уже трудно вспомнить все детали этого удивительного вечера. Осталось в памяти главное: сухая длиннапалая рука, узковатая, в трещинах морщин ладонь, на которую легла желтая галета.

Он держал ее на ладони так, будто это был не кусок черствого хлеба, а нечто одушевленное, нуждающееся в защите, словно только что вылипший из скорлупы птенец. И я почти явственно ощущал трепетное животворное тепло его ладони. Стоял передо мной грустно притихший человек, и казалось, в этот момент теплинку своей жизни отдавал тому, кто так в ней нуждался, — через время и расстояние.

Идя в этот дом, я надеялся пообщаться с Паустовским, взглянуть в него, вслушаться в его голос, соприкоснуться с его мыслями, узнать о нем что-то мне неведомое, неслышанное, нечитанное о нем самом, о его жизни, творчестве — все интересно! Но на втором часу пребывания в гостях поймал себя на том, что говорю в основном я. И не из-за болтливости — просто хозяин дома не давал мне закрыть рта. Это был допрос с пристрастием. А как выглядят айсберги, как кричат пингины — скрипят или верещат, действительно ли страшные, будто бездонные, трещины в материковом льду напоминают врата в преисподнюю и что я пережил, когда мне довелось заглянуть в одну из них. А уж про наш поход к хижине Скотта на мысе Армитедж заставил доложить во всех подробностях: вплоть до самых вроде бы пустяковых деталей — как именно поскрипывает под подошвой антарктический снег — так же, как наш, или иначе.

Выслушав один из моих ответов, на секунду задумался, даже вроде бы отстранился

от разговора, скосил застывшие глаза в сторону, вдруг потянулся к карандашу, к листу бумаги на столе, что-то на листе неторопливо отметил. Мне показалось, что за таким придирчивым дознанием стояло не только любопытство живого, неугомного, жадного до нового ума художника. Может быть, Паустовский задумывал написать новый рассказ, вроде «Соранга», и ему нужен был самый живой, самый свежий «строительный материал» именно с шестого континента. Я спросил его об этом.

Писатель рассмеялся:

— Нет! Просто все это необыкновенно интересно. Видите ли...— Он погладил ладонью отполированный временем подлокотник старого кресла.— Видите ли... Я всегда мечтал побывать в Антарктиде.

Помолчал. На его тонких бледных губах появилась и надолго задержалась чуть приметная, с грустью улыбка, которая, казалось, проступала из самых глубин его памяти, из далеких, давно ушедших лет юности.

— Я много где мечтал побывать... На нашей планете столько поразительного. И так обидно что-то не увидеть... — Качнул головой.— Вот, например, Антарктиду я уже не увижу никогда. Никогда...

В молодости его больше всего манила к себе именно Антарктида. И капитан Скотт был любимым героем — в те годы еще свежей для воображения, будоражащей умы во всем мире была трагическая история гибели пятерых англичан, стоически принявших смерть в самом суровом краю на свете. Потому-то и появился рассказ «Соранг». Оказывается, причиной его появления стал неожиданный спор — соревнование с друзьями-писателями: на любую вольную тему за очень короткий срок написать рассказ определенного размера. Константин Паустовский не задумываясь выбрал то, что его в то время волновало. Наверное, рассказ давно подсудно вызревал в его сознании и вот вдруг обрел себя на бумаге легко, свободно, уверенно — ни одной скороспелой фразы, все выношенное.

Рассказывал он мне об этом, когда нас уже пригласили к столу ужинать. Неожиданное воспоминание о прошлом высветило его лицо, пропали под глазами нездоровые тени, в глазах блеснули острые живые искорки. Повернулся к жене, хлопотавшей над угощением:

— Таня! По случаю гостя из Антарктиды не разрешишь ли ты мне рюмочку водки?

Разгладил машинальными движениями пальцев салфетку на столе, поднял на меня на мгновение ушедшие вдаль глаза.

— А какие в Антарктиде закаты? Говорят, что-то невообразимое...

Когда в завершение вечера я стал прощаться, Константин Георгиевич снова взял подаренную ему галету, которую перед этим положил на видное место на книжной полке. В этот раз он взглянул на нее каким-то новым, острым, вроде бы оценивающим взглядом; на лоб набежали морщины.

— Скажите... А есть ли такая галета в Англии? Ведь это же прежде всего их реликвия!

— Не знаю... Думаю, что у них нет такой галеты. Ящик-то откопали мы.

Он задумчиво погладил подбородок.

— Понятно...

Из дома Паустовского я уходил с истинным богатством — простеньким, довоенного издания сборником его рассказов. На титульном листе стояла надпись: «...с благодарностью за драгоценный подарок — галету капитана Скотта. Это старая книга, но в ней есть рассказ об экспедиции Скотта».

— Приходите обязательно!— сказал он, провожая меня до дверей.— Ведь я вас только-только начал слушать.

Больше к Паустовскому я не приходил. Мне казалось неудобным отнимать у писателя такое дорогое для него и всех нас время, приглашение я воспринял как проявление естественной вежливости. К тому же от моего внимания не ускользнул тревожный взгляд Татьяны Алексеевны, брошенный на мужа в конце нашей встречи: не переутомился ли? В то время здоровье писателя уже серьезно шло на убыль.

Я даже не решился позвонить Константину Георгиевичу по телефону. Вместо этого засел за стол и попробовал сделать то, что не давало мне с некоторых пор покоя,— написал новеллу «Чужое небо» и посвятил ее Паустовскому. Настроение для этой новеллы было навеяно рассказом Паустовского «Австралиец со станции Пилево», а в основу сюжета легли впечатления о трех днях, проведенных мной в далеком Дарвине,— тропические ливни над городком, письмо неприкаянного человека, найденное в номере гостиницы, суетливые и перепуганные испанцы-эмигранты на аэродроме... В новелле

было то же звучание: необоримая тоска русского человека по родине, где бы он ни находился, потому что «чужое небо и чужие страны радуют нас только на очень короткое время...». Эти слова из рассказа Паустовского взял эпиграфом к нозелле. Ее напечатала «Комсомольская Грзда».

А потом я уехал снова в дальние края.

В живых Паустовского уже не видел. Летним днем шестьдесят восьмого года я стоял в зале Центрального Дома литераторов в почетном карауле у гроба и не мог оторвать взгляда от скрещенных на груди сухих пергаментно-желтых кистей рук, навеки утративших свое тепло.

Паустовский когда-то сказал, что жизнь хороша еще и тем, что можно путешествовать. Мне повезло — я немало странствовал и по суше и по воде. Однажды научно-исследовательское судно «Витязь», в состав экспедиции которого я входил, скитаясь по тропическим широтам Тихого океана, зашло в маленький порт маленького острова. Над городом возвышалась невысокая, но крутобокая гора, поросшая тропическим лесом. Только что закончился сезон дождей, и путь на гору был нелегко — пришлось карабкаться по скользким скалам. И вот я стою на гребне. Передо мной вздыбленная к небу сияющая океанская синь, внизу подковка бухты, стрелка мола, возле которого притулился похожий на щепочку белый кораблик — наш «Витязь». Возле бухты в волнах пышной и легкой, как зеленая пена, тропической растительности прятались тростниковые крыши городка, а за городком горбились невысокие горы.

Здесь, на вершине, передо мной лежала в траве мраморная плита, а под плитой были останки человека, который так много сделал для мальчишек всего мира — учил их мечтать, верить в добро и ненавидеть несправедливость. Он тоже считал, что жизнь хороша потому, что можно путешествовать. И звал в дорогу юных.

На плите была выбита строфа из стихотворения этого человека:

На камне моем вы напишете так:  
...Из долгих скитаний вернулся моряк,  
Охотник — из чащи лесной.

И крупными буквами имя того, кто лежит под плитой:

Роберт Льюис Стивенсон

Вот, оказывается, где погребены останки знаменитого английского писателя, любимца молодежи! Вот где нашел он свой собственный Остров сокровищ, которому отдал последнее дыхание жизни. Неизлечимо больной, Стивенсон уехал сюда, в Тихий океан, на тропический остров Уполу в архипелаге Самоа, и поселился на окраине Апии — единственного здесь крошечного городка. Он надеялся, что тепло тропической земли продлит его жизнь. Тепло продлило ее. Стивенсон стал добрым другом самоанцев, смело защищал их от несправедливостей колонизаторов. Когда он умер, самоанцы через лес пробили на вершину горы Ваза Дорогу Скорби, чтобы с почетом вознести тело друга над городом, который стал ему дорог. И эта небольшая гора Океании превратилась в символ любви к людям и благодарности людей.

Много лет назад Паустовский послал сыну Вадиму из Ялты письмо и приложил к нему свой рисунок: на фоне Ай-Петри стивенсоновская «Эспаньола» — острый нос, далеко торчащий бушприт, по бортам люки для пушек, чуть подавшиеся к корме мачты и бьющийся на ветру флаг. Рисунок уводил «Эспаньолу» из Ялты, где тогда работал Паустовский, в океанский простор на поиски Острова сокровищ... У каждого в мечтах есть свои сокровенные острова. А Паустовский искал их всю жизнь.

Однажды «Витязь» вошел в небольшой залив Астролябия у берегов острова Новая Гвинея, мы спустили шлюпку и высадились на жарком тропическом берегу. Высадка оказалась знаменательной — она произошла ровно сто лет (день в день) спустя после того, как на этот же берег вышел Н. Н. Миклухо-Маклай, и прибыл он на корвете, который носил то же имя — «Витязь». Мы оказались первыми из России, кто за минувшие сто лет ступил на эту землю, названную Берегом Маклая. В глухих папуасских деревушках мы встречали мальчишек по имени Маклай. Из поколения в поколение передавалась добрая память о «человеке с Луны», который на этой земле стал другом.

И вот настал день, когда в своих долгих и дальних скитаниях «Витязь» достиг Новой Зеландии. Однажды ночью он огибал южную часть скалистого неприютного острова Южный. Не спалось, я вышел на палубу и словно потонул во влажном тяжелом мраке, который плотно лежал на палубах судна. В этом мраке шумел океан и там, далеко на юге,

упирался своей могучей колышущейся грудью в отполированные бастионы айсбергов. Ни единого огонька вокруг — самая что ни на есть глушь. Вспомнились стихи Ивана Бунина:

Окраина земли,  
Везлюдные пустынные прибрежья,  
До полюса открытый океан.

В этом рейсе на борту «Витязя» оказались четверо, которые бывали в Антарктиде. И надо же такое совпадение: как раз исполнялось пятнадцать лет со дня высадки первой советской экспедиции на шестом континенте и основания там первой советской станции Мирный. Сейчас этот такой мне знакомый поселок находился вроде бы не столь уж далеко от «Витязя» — всего-навсего на противоположном берегу океана. И вот мы, четверо бывших «мирян», послали с борта судна радиogramму в Мирный: «...сегодня особенно чувствуем свою близость к вам, словно вместе с вами на берегах суровой, но прекрасной Антарктиды. Сил вам и бодрости, дорогие друзья. Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

А на другой день наше судно пришвартовалось к причалу новозеландского порта Данидин. Превратности судьбы: и подумать не мог раньше, что снова ступлю на новозеландскую землю, которая на самом краю света. Я заранее знал, куда прежде всего мне надо ехать в Данидине. Гора на берегу залива, наверное, такой же высоты, как Ваза, на которой покоятся останки Стивенсона.

У края обрыва — обелиск, простой, сложенный из светлого камня четырехметровый столб. Текст на бронзовой доске сообщает, что капитан Роберт Фолкон Скотт и его товарищи «отплыли к Неведомой земле из этого порта 29 ноября 1910 года и достигли Южного полюса 17 января 1912 года, откуда отправились в обратный путь...». Под этим текстом было высечено старинное библейское изречение: «...Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих: «что значат эти камни?»...»

Я долго стоял возле обелиска. С уступа скалы открывался вид на залив, который, раздвигая гористые берега, длинной широкой горловиной выходил в океан, полыхающий на горизонте жгучей манящей синевой. Внизу привалились к причалу черные туши двух лесовозов, краны осторожно опускали в трюмы толстенные бревна, к склонам холма лепились уютные бежевые домики под красными шапочками черепичных крыш, с одинаково белыми оконными рамами и белыми дверями — точь-в-точь такие я видел в Англии в ее тихих провинциальных городках, — розовыми облачками парили в палисадниках огромные бутоны гортензий, ветер приносил из города пряный запах отцветающих лип...

Много лет назад на этот холм пришли Скотт и его товарищи, чтобы проститься с землей людей. Эти поросшие соснами холмы, чистые, яркие, зовущие к покою луга в долине были последним отсветом зеленого мира в их жизни.

Я работал над книгой для детей о путешествии за тридевять земель на «Витязе», поселившись в маленькой тихой гостинице в подмосковном научном городке Пущино, что на Оке. Недалеко от Пущина лежит Таруса, и на второй же день по приезде я отправился туда. Прежде чем навестить могилу Паустовского, я сперва пошел на тихую окраинную улочку, на которой писатель жил, когда покидал Москву.

На окраине улочки подошел к ничем не примечательному, обыкновенному деревенскому дому за дощатым забором. В зелени сада праздничными гирляндами полыхала на солнце антоновка.

Окна были раскрыты настежь, и в одном из них я увидел женщину в темном платье. Подойдя к окну, она бросила на улицу мимолетный рассеянный взгляд, и в поле ее зрения на мгновение оказался я. Взгляд женщины на мне не задержался, озабоченная своими делами, она оборотилась спиной, сделала шаг в глубь дома и вдруг быстро обернулась. Даже издали я почувствовал остроту ее зрачков.

— Это вы? — Голос ее звучал удивленно, даже с оттенком укора.

— Я, Татьяна Алексеевна...

— Боже мой! Ну куда, куда вы пропали? Он вас так ждал!

И вот я сижу в чистой, пронзенной косыми солнечными лучами горнице за столом вместе с Татьяной Алексеевной и юношей, похожим на отца, сыном Константина Георгиевича, Алексея. Татьяна Алексеевна высыпала на стол груды звонких от спелости, лимонной желтизны яблок:

— Угощайтесь! Это хороший сорт. Константин Георгиевич любил...

Покачала головой, вздохнула:

— Ну почему, почему вы не пришли снова? Он вас так ждал.

Оказывается, то, давнее, приглашение было не просто проявлением вежливости. Константин Георгиевич хотел узнать об Антарктиде как можно больше. Месяца через два он даже поручил разыскать меня. Но я тогда уже снова уехал из Москвы. А потом настал обнадеживший всех период, когда Паустовский, казалось, оправился от недуга, почувствовал новый прилив сил, и его снова потянуло в путь. На этот раз отправился в Лондон — об этой поездке мечтал давно. С собой захватил галету капитана Скотта. Пояснил:

— Я не имею права владеть ею. Она принадлежит Англии.

В Лондоне Паустовский передал галету в музей капитана Скотта. Уходя из музея, почувствовал облегчение — выполнил свой человеческий долг. Совесть его была чиста — Англия получила принадлежащее ей.

Алеша проводил меня на могилу отца. На могильном холме лежал большой глыбистый камень-валун, тропа к нему была крепко протоптана множеством ног. Алексей подобрал несколько окурков, пустую бутылку, бросил подальше в кусты. С неприязнью заметил:

— Туристы! Объектом туристским стала в Тарусе могила Паустовского. Идут, идут... Если бы здесь лежал метеорит или кости мамонта, все равно бы шли, шли... Лишь бы отметить — объект осмотрен.

— Разные бывают туристы, — заметил я.

— Турист — это путешественник, а не топтун, — сурово возразил Алеша.

В тот день вместе мы долго бродили вдоль берега Оки. Низко над водой летали ласточки, с недалеких полей доносился запах луговых трав, сухо и таинственно шумели в заводях камыши. Я рассказывал Алеше о далеких краях, где побывал в последнее время. Он спрашивал и спрашивал, и я порой снова и снова удивлялся: до чего же похож на отца!

— А я и не знал, что Стивенсон последние годы жизни провел на Самоа, что там и умер, — признался Алеша. — Наверное, отец тоже этого не знал.

— Вряд ли! — усомнился я. — Знал наверняка.

Алеша задумчиво покачал головой:

— Вовсе не наверняка. Отец всегда говорил, что он так мало повидал и узнал в жизни, что прожито лишь самое ее начало и все-все впереди. Будто рассчитывал на то, что жизнь его продолжится без конца и края.

— Она и продолжается. У таких, как ваш отец, Алеша, жизнь продолжается очень долго.

Два года спустя мне довелось побывать в английской столице. Было сырое лондонское утро. В редящем под ветром тумане у гранитной стены набережной между двумя массивными мостами, брошенными к тому берегу реки, чуть заметно, как карандашный рисунок на ватмане, проступал легкий, почти бестелесный силуэт старого корабля с тремя тонкими, в паутине снастей мачтами и высокой старомодной дымоходной трубой. На деревянной скуле борта значилось имя судна: «Дискавери». Теперь «Дискавери» поставлен на вечный причал на Темзе, в самом центре города, и на его борту — музей, посвященный экспедициям Скотта.

В тот мой визит в Лондон мне не повезло. Перед трапом висела табличка «Закрыто» — на судне шел ремонт. Какая обида!

Я уходил от «Дискавери» убежденным, что многолетняя эпопея скоттовских галет в моей жизни завершена, что я поставил логическую точку, придя на поклон к знаменитому кораблю, и останутся только воспоминания романтического прошлого. Но я ошибался.

Прошло еще несколько лет, и я снова оказался в океане и снова на борту дорогого моему сердцу «Витязя». Мне посчастливилось быть участником его последнего рейса. Честно отслужив науке тридцать лет, «Витязь» шел в Калининград, чтобы там разделить счастливую судьбу «Дискавери» — навсегда встать к почетному причалу судном-мемориалом.

В неприятном Бискайском заливе «Витязь» попал в жестокий шторм. Один из членов нашей экспедиции получил тяжелую травму, и судно на форсированном режиме машины взяло курс на Англию. Стоянка в Дувре неожиданно затянулась, это позволило нам съездить в Лондон. Группа наших ученых намеревалась посетить знаменитый Британский музей, чтобы встретиться там с английскими коллегами. К ним присоединился и я.

Принимал нас директор музея доктор Р. Н. Хэдли. Как требовали приличия, наши ученые обменялись с Хэдли и его сотрудниками короткими, но пышными спичами о пользе международного научного сотрудничества, а также научными книгами. Я же достал бланк с текстом радиogramмы, полученной от Шпаро, и рассказал о его экспедиции. Когда текст радиogramмы был переведен на английский, наши хозяева одобрительно закивали... «Бороться и искать...» Слова эти знает в Англии каждый школьник. Потом пришлось рассказать о своем давнем походе в Антарктиде на мыс Армитедж, о найденных галетах экспедиции Скотта...

Видимо, и радиogramма и мой рассказ произвели впечатление, потому что меня пригласили в самую заповедную часть музея — его библиотеку. Моим партнером в экскурсии оказался высокий седой человек с благообразно-неподкупной внешностью хранителя реликвий. Вид у него был классически английский, с первого взгляда мне показалось, что он наглухо застегнут не только на все пуговицы пиджака и жилетки. Но мистер М. М. Роуландс оказался живым, улыбчивым, доброжелательным человеком. От старомодного английского стиля была в нем лишь некоторая церемонность и значительность жестов в те минуты, когда со связкой таинственно позвякивающих ключей он вел меня в святая святых — хранилище архивов музея.

На нашем пути почему-то оказалось множество запертых дверей. Каждую мистер Роуландс открывал с подчеркнутой неторопливостью, словно намеренно сдерживал ход событий, которые наверняка навсегда останутся в моей памяти. Иногда в этой длинной анфиладе комнат и залов встречались сидящие за столом тоже седовласые мужчины и женщины, тоже со строгими лицами — казалось, они были стражами на подступах к сокровищам. Мой сопровождающий с церемонной торжественностью представлял меня коллегам:

— Этот русский джентльмен интересуется историей Скотта.

Они вскидывали брови, тоже значительно кивали. Меня награждали короткими, но поощрительными улыбками, я осторожно пожимал протянутые мне сухие, вялые руки.

Шли дальше.

— Этот русский джентльмен интересуется капитаном Скоттом.

Сидевшая за столом сухонькая дама подняла на меня не улыбчивые глаза, спросила:

— Вы бывали в Антарктиде, сэр?

Я снова коротко повторил то, что говорил во время встречи у директора.

Видимо, дама была здесь важным человеком. Она сняла с полки толстенную книгу в кожаном переплете, раскрыла ее передо мной.

— Прошу вас, сэр, оставьте нам свой автограф.

Когда мы пошли дальше, мистер Роуландс, понизив голос, сообщил:

— В этой книге расписываются только самые почетные гости библиотеки и хранилища.

Я был польщен.

Наконец, после того как были открыты новые и новые замкнутые двери, меня ввели в просторную комнату, уставленную массивными шкафами, и усадили за широкий, крытый сукном дубовый стол. На минуту Роуландс исчез из комнаты и вернулся с толстой папкой в руках. Раскрыл папку, осторожно положил ее передо мной. Я обомлел. Это был дневник капитана Скотта! Тот самый, который он вел в Антарктиде.

Когда я прощался с любезным мистером Роуландсом, он сказал:

— Как приятно, что в России все еще почитают Роберта Фолкона Скотта, нашего национального героя.

— Почему «все еще»?

Роуландс грустно покачал головой:

— Видите ли, сэр, сейчас иной век. Век прагматизма, расчета, душевной черствости. Сейчас у молодежи другие герои — футболисты, джазисты, гангстеры, шпионы, наркоманы. В школе, куда ходит моя внучка, учитель недавно спросил детей: кто такой капитан Скотт? Не многие ответили вразумительно. Больше того, сейчас у нас кое-кто вздумал



пересматривать Скотта: мол, погиб по собственной вине, не все правильно предусмотрел, не все учел, надо было бы готовиться к походу иначе... Горько слышать такое.

Я согласился с мистером Роуландсом. Ведь так можно пересмотреть и Амундсена, который ринулся на самолете в глубины Арктики, чтобы спасти других, и погиб сам, можно пересмотреть и Кука, который тоже вроде бы погиб по собственной вине — чего-то недоучел... В мировой истории люди, которыми мы гордимся, делали в жизни немало ошибок, но мы ими все-таки гордимся, их имена украшают род человеческий. Так всю нашу человеческую историю легко подвергнуть ревизии — пропусти ее через ЭВМ, и электронная машина холодно подытожит: нагромождение вздора и нелепиц! Но мы ведь люди, не машины, и ничто человеческое нам не чуждо, именно человеческое, которое не закодируешь на перфокарте. Например, последние дневники капитана Скотта.

— У нас есть писатель Паустовский. Он написал рассказ о капитане Скотте, — сказал я Роуландсу. — В рассказе есть фраза: «Перед дневниками Скотта вся литература кажется праздной болтовней».

Роуландс порывисто протянул мне руку:

— Спасибо! — сказал он.

— Спасибо! — сказал я Роуландсу.

На обратном пути из Лондона в Дувр я разговорился со своей соседкой по купе. Это была молодая худенькая женщина с красивым именем Элис, с красивым породистым носом с горбинкой и возле носа — с классическим английским созвездием веснушек. Говорят, в Англии это тоже считается признаком породистости.

— Русские? — Она не удивиласьнисколько. Не удивилась, а просто констатировала: русские! Губы ее слегка раздвинулись, пропуская наружу легкую, чуть ироническую улыбку. — Я вроде бы должна вас сторониться. — Она потрясла газетой, которую только что читала, как бы предъявляя ее в подтверждение своих слов. — Вы готовитесь воевать с нами, а мы с вами.

— Бог мой, зачем?

— Вот именно, зачем? Никто этого не знает. — Улыбка тут же померкла на ее губах, и серые широко открытые глаза стали серьезными.

Элис с первых минут знакомства вызвала симпатию — не только своими детскими веснушками, но прежде всего искренностью, прямоотой и неистребимым желанием докопаться до истины.

— В самом деле, но почему вы надумали с нами воевать? Какой для вас резон? Это же глупо, бессмысленно!

Ехала в Дувр по служебным делам — работала в какой-то фирме, — вечером собиралась обратно в Лондон, и до поезда у нее оказывалось часа два свободных.

— Не хотите взглянуть на наше судно? Оно знаменитое.

Мы водили гостью по палубам «Витязя», показывали самое примечательное: «Вот эхолотная. Здесь, на этих аппаратах, впервые в истории была определена максимальная глубина Мирового океана — 11 022 метра. Вот геологическая лаборатория. Здесь однажды оказался поднятый нами со дна кусок мантии Земли, второй в мире образец, добытый в океане»...

Она вежливо кивала в ответ на наши объяснения и даже повторяла временами: «Поразительно!» В кают-компании за обедом мы познакомили Элис с членом нашей экспедиции академиком Крепсом, крупным советским ученым, основоположником нового направления в биологии. «Евгений Михайлович — ученик великого Павлова, путешественник, исследователь моря, был знаком с Нансеном и Амундсеном». Она вскинула брови: «В самом деле? Поразительно!» Наша молодая гостья была безупречно вежлива, вполне искренна в своей благодарности за внимание к ней. Но вопросов не задавала.

На прощание мы надумали ей что-то подарить. Однако подходящего под рукой не оказалось, и тогда начальник экспедиции выдал из своего НЗ книги: на английском языке — Лев Толстой и Диккенс.

Кажется, впервые она изумилась всерьез:

— Диккенс? На английском? Изданный в России? Почему же на английском?

— Для тех, кто читает по-английски.

— Господи, но почему именно Диккенс? Все это было так давно...

До вокзала я провожал Элис вместе со своим товарищем, ученым Олегом Георгиевичем Сорохтиным. По пути мы рассказывали ей о нашем посещении Британского музея, я вспомнил о радиোগрамме Шпаро, о галетах Скотта...

— Скотта? — переспросила она. — У нас сейчас многие смотрят на него иными глазами. О нем говорят, что он много понаделал ошибок, дал себя околпачить Амундсену, который поступил с ним нечестно.

В ее голосе впервые проступили недобрые нотки.

— Вот они, кумиры, которым ставят монументы! К тому же все это далекое прошлое. Мало кого всерьез может взволновать сегодня...

— Как же вы, Элис, решительно расправляетесь с монументами,— рассмеялся Сорохтин. — Вот и Скотту и Амундсену досталось!

— А что мне до них и им до меня! Просто люди. Даже в героизме могут быть ничтожными.

— В таких условиях, как Антарктида, люди ничтожными не бывают,— сухо заметил Сорохтин.

Она почти с досадой возразила:

— Господи! Люди везде люди, где бы они ни находились, и мнение о них у меня не столь уж высокое. Вы-то откуда знаете, какими они там становятся?

— Видите ли, Элис,— вмешался я,— Олег Сорохтин, который перед вами, был в числе тех, кто впервые в истории человечества достиг в Антарктиде Полюса недоступности. Так что он знает, что говорит.

Элис, которая шла на полшага впереди, упорно глядя себе под ноги, вдруг бросила внимательный взгляд на моего товарища, словно увидела его впервые.

— Извините...

Помолчала.

— Вам хорошо. У вас хотя бы есть воспоминания. И такие необычные. Полюс недоступности! У вас есть прошлое. А у таких, как я,— ничего: ни прошлого, ни будущего. Только настоящее...

Сдержала шаг, вдруг выбросила вперед руку, раздвинула большой и указательный пальцы, словно отмеряла в сосуде уровень жидкости:

— А настоящего осталось вот столечко! Скоро нас прихлопнут, как мух.

И напрямик высказала свои соображения: человечество идет к самоуничтожению, это ясно всем. И сейчас не время восторгаться обветшалыми реликвиями минувшего. Пусть этим занимаются старцы — им остались только воспоминания. А у молодежи по причине молодости ничего такого нет — ни воспоминаний, ни будущего, его молодежи не обещают. Осталось чуток настоящего — как им распорядиться? Жить!

— А что значит жить?

Она на момент заколебалась — продолжать или нет...— медленным движением руки поправила спавшую на лоб прядку светлых волос.

— Извините за откровенность: жить так, как хочется,— без рамок, без заборов, без кодексов и библий, без бабушкиной морали, без алтарей и реликвий. Есть вкуснейшее, пить самое дорогое, скользить по морям на белоснежных яхтах, иметь пятерых любовников, загорать на пляжах Гавайских островов, париться в филиппинских банях... Ну, что еще?

Говоря все это, она почему-то ускорила шаг, словно даже этим торопила череду своих непостижимых желаний, голос ее звучал зло:

— Что еще? Голой ходить по городу... Курить марихуану, если будет охота. Купить пистолет и пальнуть из него в кого-то просто так, для забавы! Или себя для забавы пристрелить. Какая разница—чуть раньше того, как все мы разом сгорим в адском огне. Словом, делать то, что хочется. Вот сейчас, вот сию минуту!

Под ее белесыми ресницами блеснули слезы. Я вдруг вспомнил пушкинский «Пир во время чумы»:

Зажжем огни, нальем бокалы,  
Утопим весело умы  
И, заварив пиры да балы,  
Восславим царствие Чумы.

Она настороженно покосилась на меня:

— Это вы о чем?

— Видите ли, Элис, в прошлом веке был у вас поэт Джон Вильсон. Он написал драматическую поэму «Город чумы», а наш Пушкин перевел на русский сцены из этой поэмы о пире во время чумы.

— Это очень точно! — живо отозвалась Элис.—Очень верно. Наступает царствие чумы. И нам остается только пировать.

— Трудно поверить, Элис, что вы так думаете.

— Так думают многие люди! — сказала она сурово, словно от имени этих людей в чем-то обвиняла нас. Помолчала и уже вдруг ослабевшим, потерявшим недавнюю наступательность голосом, с какой-то горькой, трогательной и женской беззащитностью заключила: — К сожалению, возможности попить у меня нет. Ни вилл, ни яхт, ни чековых книжек. И убить мне никого не хочется. Просто я сама хочу жить. Обыкновенно, но жить. А не погибнуть под обломками исчезнувшей цивилизации, включая гранитные монументы полярному исследователю Скотту и классику Диккенсу.

У вокзала, прощаясь с нами, она улыбулась одними глазами грустно и устало:

— Спасибо за Диккенса, за Толстого. По правде сказать, Толстого я, кажется, и не читала.

С вокзала в порт мы шли с Сорохтиным пешком по кривым улочкам небольшого городка, приткнувшегося к белым скалам Альбиона. В палисадниках возле двухэтажных, тщательно выкрашенных, похожих на игрушечные домиков желтели нежные пучочки первых весенних нарциссов. На вершине холма, господствующего над городом, каменным обручем лежали массивные стены старинного рыцарского замка, в его узких решетчатых щелях-окнах, как в надрезах, живой плотью проблескивало солнце, заходящее за холмы. С Ла-Манша дул свежий ветер, из порта доносились короткие вскрики буксиров, стрекот турбин стремительного, похожего на жука паромы на воздушной подушке, уходящего к французскому берегу.

На набережной было пустынно, колючий ветер изгнал с нее праздных. Вдруг мы увидели монумент. На постаменте возвышалась бронзовая фигура человека в куртке, судя по всему кожаной, в старомодном кепи со спущенными ушами, в старомодных крагах. Слегка подавшись вперед, выставив твердый подбородок, он зорко вглядывался в свинцовый простор Ла-Манша. На цоколе мы прочитали: «Чарлз Стюард Ролсс. Первый человек, который перелетел Ла-Манш и вернулся обратно в одиночном полете 2 июня 1910 года».

Всего за день до этого перелета вот от этих же берегов ушло к берегам Антарктиды экспедиционное судно Роберта Фолкона Скотта. Через два года оно вернулось обратно, но только без Скотта и четверых его товарищей.

Каждому — свое.

На граните цоколя кто-то нацарапал острым имя — то ли Джон, то ли Джек. Туристы! Присовокупил человечек себя к истории. Каждому — свое. Я вспомнил окурки у могилы Паустовского.

— Послушай, а ты не забыл монумент в Данидине? Не забыл, что там было написано на плите?

— «...Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих: «что значат эти камни?» Кажется, так...

— Кажется, так.—Сорохтин поправил очки и взглянул куда-то поверх моего плеча.— А ведь время это настало. Если не защищать прошлое, у них, молодых, в самом деле не будет будущего. Черт возьми, мы же все-таки люди — человеки! И что-то значим на этой планете со всем своим прошлым — с хорошим и плохим, с удачами и ошибками, со всем, что нас делает людьми. Иначе и в самом деле, как считает Элис, нас прихлопнут, как мух.

У борта стоял и глядел на город Евгений Михайлович Крепс.

— Вы в замок ходили? — спросил живо. Искренне огорчился, когда узнал, что не ходили.—В вашей компании оказалась англичанка. Почему она вас туда не сводила?

— Видимо, не сочла нужным. Сказала, что сама в замок никогда не заглядывала.

— Не заглядывала? — изумился Крепс.—Вот странно! Это же замок четырнадцатого века! Седая старина. Интереснейшая коллекция предметов рыцарских времен — история древней Англии как на ладони.

— Вы были там?!!

На его губах проступила почему-то смущенная улыбка, словно академик в чем-то извинялся.

— Да вот... добрался!

Добрался! Надо же! На холм к замку подъем крут, и молодому одолеть тяжеловато. А Евгению Михайловичу через две недели — 80! Удивительный человек! Кто-то о нем сказал: «Последний из могокан». Неужели в самом деле такие, как он, в числе последних?

Несмотря на годы, отправился в далекий и нелегкий морской рейс, все испытал — и штормы лихие, и грубоватую морскую пищу, и неудобства старого корабля. Счастлив, что довелось пойти в этот рейс, снова увидеть мир.

Много лет назад в своем первом рейсе он уходил в океан, чтобы выполнить ответственнойнейшее задание: выяснить степень радиоактивного заражения морской фауны в результате испытаний американцами и англичанами ядерных бомб на атоллах. Была доказана недопустимость захоронения радиоактивных отходов даже в самых глубоководных впадинах — из-за глубинных циркуляций воды. Этот рейс помог добиться международного запрета на сброс подобных опасных отходов в океан. В газетах писали, что академик Крепс оказал большую услугу человечеству. Приятно такое услышать о себе: оказал услугу человечеству! А весь он в своем облике, словах и мыслях — сама непритязательность, скромность, естественность.

— Евгений Михайлович! Вы знали Амундсена. Вот говорят, норвежец вроде бы обманул Скотта, в тайне от него подготовил экспедицию на полюс, лишил англичан первенства, подорвал у них дух к сопротивлению на обратном пути с полюса и способствовал тем самым их гибели.

Крепс горячо сверкнул голубыми, молодо яркими глазами:

— Чепуха! Об этом уже десятилетия болтают ничтожные люди. Чепуха! Амундсен был благороднейшим человеком, но он родился борцом и искателем. И боролся. И это сделало его великим. А великие не мелочатся.

Закинув руки за спину, Крепс прошелся по щербатым доскам палубы:

— Видите ли, друзья мои, такие, как Амундсен и Скотт, не нуждаются в наших оправданиях. Они уже оправдали себя перед историей. Мы сами перед ними в долгу. Нам хотя бы чуточку быть похожими на них!

— И человечество было бы лучше?

— Человечество было бы лучше и мудрее. И мы не знали бы многих проблем, которые нас сейчас тревожат.

Пора было идти в кают-компанию. На ужин подавали флотский борщ.

— А где ваша милая гостья? — вдруг поинтересовался Крепс за столом. — Почему вы ее не пригласили? Вот бы угостить нашим борщом! Она типичная англичанка. Не так ли?

— Нет! — сказал Сорохтин. — Хотелось бы верить, что это не так.

Однажды к Новому году я получил письмо от Элис. В конверт была вложена целая страница из английской газеты «Обсервер», а в ней на полторы полосы статья с фотографиями под названием «Трагедия капитана Скотта». Автор на основе новых данных размышлял о том, почему Скотт не сумел первым водрузить британский флаг над Южным полюсом, а уступил лидерство Амундсену. И снова об ошибках капитана: вот если бы сделал то, а не это — на полюсе развеялся бы флаг английский! «Славу себе Скотт создал смертью своею», — делал вывод автор.

Элис писала: «Я все-таки была права. Вот видите, и в газетах говорят о том же. Тщета людская! Какое это имеет значение, чей флаг был первым на полюсе? Смертью своей утвердил бессмертие!... Мы своей гибелью бессмертия не утвердим. Не для кого оно будет. А если кто и останется, то окажется среди руин наших городов с их небо-скребами, старинными рыцарскими замками, монументами великим исследователям и великим писателям минувших эпох. Человечество, ввергнувшее себя в пучину, не будет заслуживать собственного прошлого, даже самого лучшего в нем. Так что зачем оно нам ныне, когда настоящего осталось так мало? Извините, что посылаю вам совсем не рождественское письмо. Такое у меня сейчас настроение. Как и у многих. И все-таки по привычке я говорю вам: «Счастливого рождества! Счастливого нового года!» Внизу после подписи была сделана приписка: «Передайте вашему другу, что в тот день, когда мы расстались в Дувре и я возвратилась к себе в Лондон, то раздобыла у друзей карту Антарктиды. Я ее рассматривала весь вечер, отыскала Полюс недоступности, представила высокую, крепкую фигуру мистера Сорохтина на полюсе в ярком полярном комбинезоне, в темных очках и бесконечную белую пустыню вокруг него. Ночью мне снились белые сны».

Я показал письмо Сорохтину.

— Грустное письмо. Жаль ее, — сказал он после долгого молчания. — А может, она все-таки права? Может быть, жалеть надо и себя самих? Может быть, настоящего-то осталось в самом деле крошечный кусочек, который вдруг оборвется не сегодня, так завтра. Может ведь?

— Может. К сожалению, судьбу будущего решаем не мы с тобой.

Сорохтин снял очки, задумчиво скосырнул ногтем пылинку со стекла.

— Помнишь, у Айтматова в романе «И дольше века длится день» приведена старинная легенда: чтобы сделать из человека беспрекословного раба, его лишали памяти, даже памяти о матери. Для этого насаживали человеку на голову давящий кожаный обруч и после этого делали с ним что хотели. А не происходит ли сейчас что-то подобное? Почему Элис так беспрекословно принимает возможность скорой всеобщей гибели? Ведь она молода, ей, напротив, должно быть свойственно стойкое жизнелюбие. Элис пишет, что она не одна такая — целые поколения сейчас растут без надежды и веры.

— Это можно понять: с утра до вечера радио, телевидение, газеты только о войне. И никакого луча надежды!

— Значит, из Элис и ее сверстников сознательно делают таких. Безвольных.

Сорохтин прав. Конечно, сознательно: вместо воли — протез воли, вместо знаний — суррогат знаний, вместо подлинной культуры — штампованный духовный ширпотреб.

Цель одна: примитивизировать, оболванить, превратить великую культуру прошлого с ее зверстами человеческого духа и человеческой мысли в ходовой товар общества потребления. Видите ли, Скотт наделал ошибок! Зачем такому обществу Скотт, его последние письма, которые, по словам Стефана Цвейга, удивительно свободны от всего мелочного, которые «обращены к отдельным людям, а говорят всему человечеству. Они обращены к эпохе, но являються достоянием вечности».

Так некоторые на Западе поступают с собственным достоянием. А с нашим расправляются куда бесцеремоннее. Здесь политика — выставить нас за пределы «западной цивилизации», оторвать от всеобщей культуры, представить наш мир второсортным, с которым можно обходиться, не стесняясь в методах.

Мало на Западе найдется изданий, в которых признают открытие Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым, выходят энциклопедии, в которых даже не упоминаются имена Павлова или Менделеева. А с именами современными обходятся еще беспардоннее. И в этом тоже заложена определенная политика. Скорее давняя практика, ставшая сегодняшней политикой. В ней кое-кто нуждается, особенно сейчас. Таким, как Элис, внушают, что мир социализма заслуживает только плетки, поэтому нужны новые ракеты, ядерные бомбы. Внушают не случайно. Никогда еще антивоенное движение на планете не переживало такой подъем, как в наши дни. Внушают всеми способами: и полицейскими дубинками, и отвлекающей суррогат-культурой, и насаждением ненависти к нашему миру, и прививкой молодым страха, безнадежности, уныния.

— Вот Элис и попалась...

Так случилось, что в тот же день мы с Олегом Георгиевичем оказались в доме семьи Капицы. С Андреем Петровичем, тем самым, что был добровольным радистом на «Аннушке», из среднего поколения этой известной научной семьи, дружим много лет, еще со времен экспедиций в Антарктиду.

В гостиной шла неторопливая беседа о том, что нас всех волновало. Я вспомнил о полученном от Элис письме.

— Примечательное письмо! — прокомментировала Анна Алексеевна. — Знамение времени — безнадежность. Вообще-то англичане по натуре не пессимисты.

Уж кто-кто, а они, супруги Капицы, англичан знают превосходно — много лет среди них прожили.

— В мире все больше растет страх, — сказал я.

— Да, но одновременно растет и антивоенное движение, — заметила Анна Алексеевна. — В Англии довольно активное.

Ей возразил Сорохтин:

— Но сумеет ли оно одолеть фатальную лавину нарастающей угрозы термоядерной войны, которую могут начать в любое мгновение?

И тут произнес всего несколько слов Петр Леонидович, до того лишь слушавший других:

— Должно одолеть! Если они начнут, то это — конец.

Эту фразу произнес крупнейший ядерный физик нашего времени, нобелевский лауреат, академик Капица. Он-то знает подлинную реальность опасности: «Это — конец!» Значит, никакой ограниченной ядерной войны, никакой предупреждающей, никакой надежды на победу одной стороны. «Это — конец!» Конец существования на планете.

Когда мы уезжали из этого дома, Сорохтин, долго молчавший в машине, вдруг сказал таким тоном, будто мы только что прервали взбудораживший нас разговор:

— Ну и что в таком случае делать нам с тобой? Ожидать вселенского хаоса? Или пировать?

— Что делать? Но мы же люди, черт возьми! Не можем же вот так, как скот на бойне...

— Не должны! Значит, бороться и искать...— Сорохтин улыбнулся.

— Найти и не сдаваться.

Это случилось около двух лет назад. Ранним утром «Витязь», уже четвертый по счету в истории отечественного научного флота, преодолел бурное Карибское море, подходил к неизвестной нам земле. Всю ночь бушевал шторм, но на заре даже во сне я почувствовал, как послабела мучительная качка. Поднялся на палубу, вышел на крыло мостика. В лицо ударил теплый ветер, влажный и терпкий, как вино, и мне показалось, что я захмелел от него, этого ветра, от радостного сознания предстоящей встречи с неведомым, от счастливого ощущения в этом мире. Ветер с юга... Может быть, это и есть соранг, который «приносит воздух незнакомых стран, печальный и легкий, как запах магнолий»? Может быть, мне невероятно повезло и я его все-таки встретил, этот счастливый ветер, встретил — ведь он дует всего раз за многие сотни лет. В терпком йодистом запахе моря, которым он был насыщен, проступало влажное и слабое дыхание цветущих садов.

Я прошел на мостик. В утреннем непогодном тумане впереди по курсу ничего невозможно было разглядеть. Я подумал, что вот так пятьсот лет назад стоял на мостике рядом с рулевым суровый неулыбчивый Христофор Колумб и в подзорную трубу всматривался вдаль. По запаху лесов он догадывался, что впереди скоро будет земля, но в отличие от нас не знал, что это за земля. В отличие от нас он эту землю открыл и дал ей название. И может быть, в эту минуту улыбнулся. В порту в Барселоне я видел памятник Колумбу — на высоченной мраморной колонне, а недалеко от него у причала точную модель «Санта-Мари». Долго стоял на причале возле легкой деревянной скорлупки и чувствовал гордость, что принадлежу к роду человеческому, который пятьсот лет назад этот крохотный кораблик отправил на первый поиск в необъятность прекрасного и еще неведомого мира.

На мостике, на вахте было всего двое — старший помощник капитана, человек немолодой, седовласый и, наверное, такой же неулыбчивый, как Колумб, он много лет в море и теперь мало чему в нем удивлялся, и рулевой. Рулевым стоял двадцатилетний юноша, его глаза были широко раскрыты не только по обязанности рулевого, но и от постоянной готовности к счастливой неожиданности.

— Вот он, прорисовывается! — воскликнул рулевой, глядя в лобовое стекло рубки. — Вот он!

Действительно, впереди по курсу за грядой низких грозовых облаков на белесом небосклоне проступили легким карандашным наброском очертания горных склонов.

Пришел капитан. Он был уже в форме, строгий, собранный, немногословный, прильнул к резиновой щели локатора, откинул сосредоточенное лицо, потянулся к биноклю, коротко подержал его у глаз. Не оборачиваясь, отдал приказ вахтенному:

— Поднять флаг Гренады!

— Есть поднять флаг Гренады!

И через несколько минут к вершине мачты взлетел желто-зеленый флаг государства, к берегам которого подходил «Витязь». На борту нашего судна была первая советская научная экспедиция, которой предстояло ступить на этот небольшой остров в бассейне Карибского моря, провозгласившего недавно свою независимость от иностранного владычества.

— Гренада, Гренада, Гренада моя! — продекламировал рулевой, нарушая извечный железный порядок на ходовом мостике, не позволявший никаких проявлений эмоций. Капитан бросил на рулевого косою взгляд.

Не об этой, о другой Гренаде светловские стихи. Но какая разница, все равно — мечта! Вспомнился один из ранних, тех же времен, что и «Соранг», рассказ Паустовского «Этикетки для колониальных товаров». Его герой, пожилой бедолага — одесский литограф, грезя путешествиями, мечтал о Гренаде. Может быть, именно об этой?

Какое это счастье — подплывать к неведомой земле! Сент-Джорджес — и столица и единственный порт в этом крошечном тропическом мирке, где немногим больше ста тысяч жителей. После долгого плавания, после бурь и штормов остров манил к себе покоем и прохладой садов. Вокруг бухты лепился небольшой городок. Своими желтыми черепичными крышами, белыми, четко вырисованными рамами окон, обязательными перед

ними палисадниками с цветами он был похож и на Дувр, и на Крайстчерч, и на Данидин — еще недавно Гренада находилась под властью англичан. Только в палисадниках пестрели не гортензии, не нарциссы, а полыхали лиловым пламенем пышные тропические бугенвиллеи, на которых цветов больше, чем листьев. Кривые улочки от кромки бухты с трудом забирались на вершины холмов, где среди торжественных куп деревьев торчали шпили потемневших от дождей церковных колоколен. В голубой, как детский глаз, бухточке у причалов стояли рыбацкие шаланды, и темноликие курчавые грузчики сбегали по трапам с корзинами, полными рыбы и ракушек, в которых так вкусна мякоть. В тавернах на набережных губастые мореходы с непроницаемыми лицами лениво потягивали местное густое, как вино, пиво и поглядывали на взъерошенную волнами морскую даль.

Когда я впервые сошел с судового трапа и зашагал по булыжным мостовым городка к его манящим открытиям вершинам, то с первых же шагов городок показался мне удивительно знакомым. Вроде бы все это я уже давно, еще в детстве видел — эти замшелые черепичные крыши, эту пеструю, разноликую, голосистую толпу на набережной, неторопливую, лениво выхаживающую маленькое пространство приморской кромки города, видел этого единственного в городе постового-полицейского в пробковом шлеме, который длинными руками с тонкими, как у скрипача, пальцами дирижировал маленьким оркестром местной уличной жизни, и руки его никого не звали к торопливости и суете. Ведь жизнь одна — зачем суетиться? Но где же я видел этот город раньше? Конечно, конечно же, это гриновский Зурбаган или Лисс, города счастливых людей. Но существуют ли в мире в самом деле города счастливых людей? Их нет. Мы о них только мечтаем. Хочется верить, что они будут когда-нибудь. Если...

К черту всякие «если»! Мы шагаем по тихому тропическому городку, по горбатым его улицам, под сенью могучих хлебных деревьев и королевских пальм. Вот добрались до окраины городка, до противоположного склона горы. Внизу долина в кипении тропической зелени. А что дальше, вон у тех синих холмов, которые окаймляют эту долину? Вот у дороги дерево с мелкими густо-зелеными листьями. Дерево редкое — дарит мускатный орех. Вот по пути маленькое озерцо. Вроде бы недалеко море чистым оком своим решило и здесь напомнить о себе. А заросли светлой, тающей радостью солнечного света бамбуковой рощи на берегу похожи на ресницы у озерного ока.

За синими холмами остров кончался. Там был берег океана. На желтые пляжи накачивалась гривастая, норовистая океанская волна.

Вдоль берега тянулось свинцового отлива шоссе — оно опоясывает весь остров. У обочины застыл тупоносый грузовичок. Капот его мотора был откинут, под капотом пряталась курчавая голова. Вот голова, заметив нас, извлекла себя из мотора. В расщелине толстых африканских губ торчала неприкуренная сигарета.

— Мистер, спичек не найдется? Целый час не курил!

Прикурив, постоял рядом, наслаждаясь сладостной затяжкой дыма, глубокой, до самого пупа. Надо и поговорить. Люди ведь!

— Любуется океаном?

— Любуемся...

Кивнул, понимающе блеснув белками глаз:

— Вот какая у нас великая держава: один берег омывает море, другой — океан...

Хохотнул дружески. Снова затянулся, сплюнул попавшую на губу табачную крошку. Простер руку с явным желанием услужить нам объяснениями:

— Вот в той стороне у нас самые лучшие пляжи. Иностранцы на песочке нежатся.

А слева плантации гвоздичного дерева. А вот прямо...

Выкинул вперед другую руку и вольно, глубоко дыхнул всей грудью:

— Вот он, океан! Налево, за горизонтом — Африка. Направо — Южная Америка.

А если глядеть прямо на юго-восток, то там... Антарктида. Не верите? Взгляните на карту. — Он снова басовито хохотнул. — Там Антарктида! Она хотя и далеко, но вроде бы тоже наша соседка, потому что других земель между нами нет. С той стороны временами дует хороший, свежий, как сейчас, ветер. С его приходом сразу всем легче дышится.

— Этот ветер называется соранг, — сказал я.

— Соранг? — Он наморщил лоб. — Не слышал. Может быть, так по-вашему. Да и какая разница! Важно, что ветер добрый.

Для приличия постоял минуту с нами, попыхивая сигаретой, потом кивнул в сторону машины.

— Пойду! Дурит моя техника, чтоб ее!

Уходя, весело блеснул лоснящимися от пота и масла крепкими щеками:

— Это только кажется, что мир так уж велик. А на самом деле на всей планете, как на нашем острове, все мы друг с другом соседи.

Махнул рукой:

— Спасибо за огонек. Салют!

— Салют!

Мог ли я тогда предположить, что через год с небольшим на этом самом месте, с той стороны, откуда дул добрый прохладный ветер, высадутся американские морские пехотинцы, чтобы раздавить своими каблуками маленькую независимую Гренаду. Взяв штурмом прибрежные холмы, они снимали каски и подставляли разгоряченные боем лбы свежим воздушным струям с океана.

Нет в мире тишины. Даже на затерянных в морских просторах островках происходят события, которые врываются в наш день, как налетчики. И вот к повествованию о галетах капитана Скотта мне пришлось дописать эти абзацы.

«...все мы друг с другом соседи». Где он теперь, тот молодой шофер-гренадец? Жив ли? Это верно, все мы соседи. Но разные бывают соседи. И относителен миропорядок на нашей планете. Даже один и тот же ветер, с одним и тем же названием кому-то несет радость, кому-то беду. Не для всех существует на свете соранг.

Я прочитал, что в этом году в США запускают космический корабль, предназначенный исключительно для военных целей. Ему присвоили имя «Дискавери» — открытие.

Так же назывался и корабль капитана Роберта Фолкона Скотта — «Дискавери».

...Стоит в Антарктиде на горе Обсервейшн-Хилл деревянный крест, и на нем надпись: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».





# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Б. ЯКОВЛЕВ

☆

## СЛОВО, ПРИРАВНЕННОЕ К ДЕЛУ

Советское общество на подъеме. Полнокровнее и ритмичнее бьется пульс экономической жизни страны. Происходят многообещающие изменения в сфере социальных отношений. Укрепляются демократические основы государственности. Растут деловитость и организованность, нравственная требовательность людей друг к другу.

Свежие, бодрящие ветры социально-экономических перемен дуют и в паруса нашей, социалистической идеологии: растет общественное самосознание, крепнут реалистические представления о масштабности и сложности стоящих перед народом задач, о роли «эффекта сознательности» в решении назревших проблем; повышается ответственность всех и каждого за успешную реализацию наших идей и планов.

Да, сегодня можно уже предметно говорить о тех ощутимых импульсах, которые рождены июньским (1983) Пленумом ЦК КПСС и содействуют подъему всей идеологической работы партии на качественно новый уровень. Иначе и не может быть: ведь речь идет о высокоэффективном идейном обеспечении социалистического строительства в нашей стране, об учете многих, в том числе и духовных, факторов, способных обеспечить всесторонний прогресс советского общества. В своей содержательной речи на этом Пленуме товарищ Ю. В. Андропов говорил: «...даже самая яркая и интересная пропаганда, самое смелое и умное преподавание, самое талантливое искусство не достигнут цели, если они не наполнены глубокими идеями, тесно связанными с реальностями сегодняшней жизни и указывающими пути дальнейшего движения вперед». Именно поэтому необходимо утверждать такой стиль идеологической работы, где главными составляющими были бы реализм, правдивость и деловитость, умелый показ наших достижений и вдумчивый анализ волнующих людей вопросов, свежесть мысли и ясность ее изложения.

Программная суть этих требований целиком распространяется и на художественную публицистику. Значение и роль этой мощной, обильно плодоносящей ветви живого древа нашей советской словесности трудно переоценить. Постоянное ее дело — осваивать всеми доступными жанру средствами текущую действительность, соединившую в сложном единстве наши вчера, сегодня и завтра, быстро меняющуюся, полную неповторимого своеобразия. Действительность, вобравшую в себя все краски времени — от суровых и тревожных до самых светлых, мажорных.

Просто ли охватить мысленно это живое вещество будней, накаленных множеством общественных страстей? Как пропустить их через свое сердце, суметь увидеть за частностями закономерности исторического развития, за человеческими отношениями — индивидуальное своеобразие и социальную слитность людских судеб?

Для современного писателя-публициста задача осложняется еще и тем, что в отличие от романиста или драматурга, поэта или критика для него даже минимальной дистанции времени не существует; в прямых контактах с живой, меняющейся реальностью заключена одна из главных особенностей публицистического творчества, диктующая приемы и способы освоения материала, стиль, манеру письма.

Упор на дела, а не на громкие слова — таково требование времени, генерально ориентирующее всю деятельность публицистов. Возведенная, и вполне справедливо, в ранг общегосударственного призыва, формула эта дает мастерам «разведочного» жанра четкие ориентиры, становится их рабочим методологическим инструментом.

Далеко не каждому очеркисту, не говоря уж о начинающих, удастся овладеть спецификой жанра. Отсюда нередки профессиональные неудачи: иные авторы не могут подняться выше элементарного коллекциониро-

вания фактов, другим оказывается не под силу отделить главное от второстепенного; бывает, что автор подводит неточный или субъективный подход к общественно важной проблеме.

Скажем, очень уважаемый, опытный мастер делится на страницах газеты своими размышлениями о современном рабочем, опираясь на суждения самих людей труда, и делает это как будто неплохо. И вдруг — досадное по своей неточности высказывание, вернее — приведенное автором рассуждение. «Совершенствоваться человек может и должен не в одиночку, сам для себя, сам по себе, а на людях, с людьми, по ним, по лучшим себя выстраивать, чтобы им опять же как можно более нужным быть». Автор не находит почему-то нужным прокомментировать эту мысль, хотя можно было бы заметить, уж если она процитирована: разве человеку нельзя совершенствоваться в одиночку, самому по себе и не на людях? По этому поводу гораздо точнее высказался в свое время на страницах журнала «Коммунист» известный в стране зуборезчик Герой Социалистического Труда А. Храмцов: «Что такое самовоспитание и самодисциплина, если не борьба с косностью и устаревшими привычками в самом себе?» Вот это мысль рабочего, смотрящего вперед, пытающегося подойти к путям и способам разрешения внутренних конфликтов с позиций того самосовершенствования, о котором мечтали основоположники марксизма: «...при человеческих отношениях наказание действительно будет не более как приговором, который провинившийся произносит над самим собой. В других людях он... будет встречать естественных спасителей от того наказания, которое он сам наложил на себя»<sup>1</sup>.

Выходят в свет, и, к сожалению, не так уж редко, публицистические произведения, авторы которых пытаются за пышной фразеологией укрыть инертность мысли, нежелание или неспособность думать, анализировать. Но можно ли, прибегнув к дежурному красноречию, решить творческую задачу, откликнуться на действительно выдающееся событие общественной жизни? По-моему, нет.

Помню, лет восемь назад один из видных наших очеркистов говорил на творческой встрече с коллегами: «...мы сделали публицистику парадным жанром, обращаясь к ней в торжественных случаях, она для нас — словно яркий букет цветов к праздничному столу. Но, заметьте, букет бумажный. И не только потому, что печатается она на бумаге, к стати говоря, тоже по праздникам толь-

ко хорошей, а и потому, что слова в ней тоже яркие, не по смыслу, а по внешней смазливости. Она нравится, такая публицистика, потому, что без сучка и задоринки. И спокойнее спится при ней редактору».

Возможно, в этом нелицеприятном суждении был момент заострения ситуации. Кстати, по поводу высокопарных выражений давно было замечено, что они порой облагораживают речь, но ослабляют ее силу. Тем не менее кое-кому до сих пор по-прежнему мила и желанна такая, в парадных одежках, публицистика, хотя на дворе другое время и другие общественные требования.

Суть дела... Пожалуй, в ее выявлении и состоит сверхзадача публицистики. И тут мы опираемся на стойкую традицию смелого, по-партийному принципиального подхода к сложностям и противоречиям нашей жизни. Эта традиция развивалась и крепла усилиями таких выдающихся мастеров жанра, как Валентин Овечкин и Ефим Дорош, Георгий Радов и Мариэтта Шагинян, Юхан Смуул и Николай Атаров. Среди тех, кто ее достойно продолжил, мы недосчитываемся сегодня безвременно ушедшего из жизни Федора Абрамова; мудрый талант этого выдающегося русского художника зародился именно в лоне публицистики, постоянно опирался на нее, питался ею.

Суть дела... Она дается людям пытливого ума, острого взгляда, боевого гражданского темперамента. Чем именно привлекают внимание читателя произведения известных писателей-публицистов наших дней, таких, как Иван Васильев, Ярослав Голованов, Анатолий Иващенко, Борис Можаяев, Василий Селюнин? Конечно же, прежде всего доскональным знанием жизни в ее движении, умением постоять за передовую идею и — главное! — позитивной программой, конструктивной позицией. Суть дела побуждает Анатолия Аграновского вникать в тончайшие секреты профессионального мастерства людей труда, Анатолия Злобина — в сложную механику работы с кадрами на гигантском современном предприятии, Юрия Калешука — изучать жизнь и производственные проблемы нефтяников Севера, Юрия Черниченко — разбираться на уровне первоклассного специалиста в делах, связанных с картошкой, ярым клином, зерновым комбайном... Все это и называется прорывом к сути. Говоря ленинскими словами, «не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне...»<sup>2</sup>.

Почитателен в этом смысле эпизод из очерка Б. Антова «Академия Осадчего» (журнал «ЭКО», 1981, № 1). Знаменитый директор

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 197.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 221.

Челябинского трубопрокатного завода расказывал очеркисту:

«Я с вашим братом-журналистом уже обжигался! Приехал тогда в Челябинск, чтобы принять этот завод. Грязюка и отсталость. Между цехами во дворе не то что грузовики—трактора вязли! С чего, думаешь, начал? Ни за что не отгадаешь!.. С оранжереи! И тут приезжает из Москвы корреспондент, а показывать ему нечего... Хлам тридцатых годов, а не предприятие! Веду его, понимаешь ли, в оранжерею, толкую: это, мол, заявка на завтрашний день предприятия. Цикламены, орхидеи, розы и всякое такое. Корреспонденту понравилось: охал и ахал — красота! Уехал, и бац — вышел фельетон... Не понял тот корреспондент, зачем нужна оранжерея, а за ней — сплошные клумбы. Может рядом с ними грязь быть? А настроение у людей? У именинников утром прямо на станке — букет роз. Восьмого марта наши женщины получают вместе с подарками гвоздики или каллы. Хорошо? Нет, вы найдите в городе вторую такую оранжерею!..»

С именем Осадчего мы встречаемся на страницах еще одного очерка («Настройщики» Рафаила Дорогова—«Волга», 1983, № 3). Главный его герой директор Волжского трубного завода Владимир Григорьевич Зимовец, делясь мыслями о принципах руководства предприятием, замечает: «Повезло, считаю, что я семь лет работал в Челябинске с Осадчим. И всегда думаю: а как бы тут поступил он? Ищу ответ... Какой был директор! Ходили разговоры: уйдет Осадчий — завод потеряет свое лицо. На одном собрании он сказал: «Вы хотите мне подольстить, а на самом деле глубоко обижаете. Я считаю, что воспитал учеников, которые поведут завод дальше и свое внесут».

Да, нашу публицистику издавна занимает мир человеческой души, те черты характера, которые помогают человеку не только идти вперед и выше, но и вести за собой других.

В этом смысле заметно выделяется документальное повествование Ивана Филоненко «Хлебопашец» («Октябрь», 1983, № 1), посвященное интереснейшей личности — Терентию Семеновичу Мальцеву. При определенной скромности выразительных средств, которыми пользуется автор, конспективности некоторых эпизодов, беглости характеристик людей, с которыми Мальцев встречался, в окружении которых жил и работал,—при всем этом повесть читается буквально на одном дыхании, вызывает глубокий душевный отклик! Автору удалось главное — через судьбу крестьянина, ставшего человеком высочайшей культуры, почетным акаде-

миком ВАСХНИЛ, показать неодолимость нового, прогрессивного, какие бы трудности объективного или субъективного свойства ни встречались на его пути. Думаю, поэтому сумел автор удачно справиться с другой творческой задачей — раскрыть высокие личные, душевные качества героя книги.

Вот и персонажам книги Александра Левикова «Калужский вариант» понадобились именно эти качества — деловая напористость, умение оценить новаторскую идею, — чтобы противопоставить стихии индивидуальной сделщины прогрессивную бригадную систему, внедрить ее в практику современного промышленного производства. Автор убедительно показывает, что значат в нашей сегодняшней жизни люди с глубоким экономическим мышлением, знающие цену настоящей предприимчивости, «человеческому фактору» на производстве. Инициаторы внедрения бригадной системы труда сумели найти еще одно неопровержимое доказательство экономической эффективности социалистической демократии. И, разумеется, пришли они к своей цели отнюдь не парадным шагом; им пришлось преодолевать старые и необычайно живучие болезни — рутину и боязнь творческого риска, прячущуюся, как правило, за показной деловитостью.

Публицистика — боевой жанр литературы. Она показала не однажды свою способность прицельно бить по негативным явлениям нашей жизни, опираясь на капитальное знание сути поднимаемых проблем и, конечно же, на поддержку здоровых общественных сил, социалистической законности.

« Сошлюсь, в частности, на очерк Юрия Щекочикина «После шторма», в котором рассказано о трудной борьбе с круговой порукой, бюрократизмом, завершившейся победой комсорга Одесского мореходного училища. Настоящий человек, он доказал, «что белое — это белое, а черное — черное... Он оказался сильнее обстоятельств, потому что не отступил перед обстоятельствами. Вот поэтому так ценна нам сегодня проявленная Николаем Розовайкиным настойчивость» («Литературная газета», 19 января 1983 года).

Другой автор, Анатолий Козлович, в очерке «Позиция» («Дружба народов», 1982, № 5) подробно рассказывает, как в долголетнем споре о принципах и методах мелиорации, который вел белорусский ученый Г. Лашкевич со своими оппонентами, столкнулись не только научные направления, но и различные жизненные позиции. Творческая победа Г. Лашкевича — это, кстати, и победа публициста, сражавшегося за истину, что называется, бок о бок со своим героем.

Замечу попутно, что и Александр Левиков,

воссоздавая живую историю «Калужского варианта», не забыл о коллегах очеркистах, которые в одном ряду с производственниками помогали победе нового, — о А. Смирнове-Черкезове, В. Канторовиче, Владлене Травинском.

О гражданской активности, деловой хватке публициста интересно размышлял на страницах «Нашего современника» Анатолий Стреляный. Обращаясь к работе Юрия Черниченко, он тонко уловил стиль творческого поведения своего коллеги, который на собственном опыте прекрасно знает, что вопрос о противоречиях как движущей силе общественного развития отнюдь не чисто теоретический, а самая живая человеческая, социальная практика! «Посрамляя своего реального или воображаемого, обобщенного противника, Юрий Черниченко удовлетворяет нашу потребность в справедливости, его выступления воспринимаются как одна из форм общественного контроля, гласности. А такие формы бездейственными не бывают, даже если их пользу не удастся измерить гектарами выделенной земли и центнерами урожаяв с озимого и ярового клина».

Но когда речь идет о подлинных героях, подвижниках, которые в остром конфликте отстаивают общественно важную идею, знают, как ее доказать и отстаять, тут автору не откажешь в щедрости чувств, продолжает Анатолий Стреляный свои размышления: «Конечно, Юрий Черниченко ищет таких людей специально, с нескрываемым удовольствием показывает черточки нестандартности, но, в общем, дело обстоит проще. Чем крупнее, острее, интереснее проблема, тем больше вероятность, что человек, болеющий ею, окажется незаурядным...»

Иногда можно слышать, что интерес к человеку в современной публицистике якобы снижается, что будто бы преобладает в ней увлеченность чисто хозяйственной проблематикой. Не могу с этим согласиться, ибо факты говорят об обратном.

В самом деле, внимательно вглядываясь в то, что происходит в нашем «очерковом хозяйстве», нельзя не отметить: углубление в экономическую проблематику для многих публицистов стало и моментом вдумчивого осмысления тех духовных состояний, нравственных усилий и творческих порывов, которые во многом определяют творческую, созидательную атмосферу советских будней. Не столь важно, какой метод предпочитает тот или иной автор — идет ли от проблемы к человеку или от человека к проблеме. Существенно другое: писательской публицистикой движет обостренный интерес к настоящим героям современности, к людям, чьи об-

разы, говоря словами партийного документа, воспринимаются как художественное открытие, влияют на поступки читателей, отчетливо отражают судьбы народные.

К авторам, идущим именно в этом направлении, я бы отнес многих из уже названных выше писателей-публицистов, не забыв при этом имена Е. Богата и В. Выжувовича, Е. Будинаса и А. Нежного, В. Пескова и Н. Синицына, В. Ситникова и В. Шапошникову...

Приводя здесь теоретические суждения Анатолия Стреляного о современном очерке, я хотел бы заметить, что публицистическое творчество его самого заслуживает, в свою очередь, доброго и благодарного слова. Не так давно в журнале «Дружба народов» был опубликован цикл его очерков «В селе, у матери». Сквозной герой повествования — человек современной деревни; его мы знали слесарем, трактористом, шофером и агрономом, теперь он секретарь парткома, заместитель председателя колхоза. Гражданская позиция этого героя, всеми корнями связанного со своими односельчанами, отмечена печатью подлинной зрелости.

Очеркист и раньше внимательнейшим образом приглядывался к изменениям в стиле руководства сельским хозяйством, к практическим делам работников райкомов партии. В своих героях, секретаре парткома и председателе колхоза, очеркист особо ценит ответственное отношение к делу, острую рабочую сметку, умение хозяйствовать по науке. «Москалев — тот редкий случай, когда выгоды его высшего образования (экономического) бросаются в глаза. Он мельком взглянет на простыню годового отчета, и несуразная цифра для него сразу как бы загорается красным светом...»

По-моему, положительный герой занимает сегодня наиболее прочные позиции в очерковой литературе, где на передний край выдвигаются люди с органично присущими им свойствами: целеустремленностью, смелостью, мужеством в борьбе за утверждение политических, духовных, нравственных ценностей социалистического общества.

Особо хотелось бы сказать о писательской работе Геннадия Бочарова, у которого героическая тема всегда на первом месте. Одна из его последних книг — «Лучшее, что человеку выпадает» — явилась своеобразным итогом его многолетней работы в «Комсомольской правде». Герои книги, люди самых разных профессий, часто оказываются в ситуациях, требующих исключительного напряжения всех духовных и физических сил, — когда покоряют вершины Пагипра, или участ-

вуют в освоении Крайнего Севера, или спасают затерявшихся в пустыне людей... Об одном из них, трагически погибшем в горах ректоре Московского университета Рэме Викторовиче Хохлове, рассказывает в очерке «Жизнь». Опираясь на воспоминания друзей ученого, штрихи биографии, очеркист рисует самобытный портрет человека, гражданина.

«...он не боялся талантливой фоны». «Он считал, что люди сомнительных достоинств, прибитые к настоящему делу некоей приливной волной, той же волной будут унесены назад, когда наступит отлив...» «Он был сторонником нравственно сбалансированных отношений между учителем и учеником... Он не любил, когда одна из сторон завывала свою роль». И вот главное в наблюдениях публициста, который прекрасно понимает, что его будет читать прежде всего молодежная аудитория: «И если многих из нас переполняют сегодня великие силы неясных устремлений, и мы вслед за кем-то стараемся подняться на самые высокие горные вершины земли, пусть в нас останутся силы и на то, чтобы подняться на высоту отдельных людей, которых порождает наше время».

Слова эти можно назвать своеобразным нравственным камертоном всей книги — они отзываются и в беседе с космонавтом Г. Т. Береговым, и в рассказе о слесаре Ижорского завода А. П. Михалеве. Думаешь: а ведь и в самом деле, героическое начало — это полная и сознательная самоотдача. И наша публицистика настойчиво утверждает эту мысль, будучи при этом помимо всего прочего конструктивной силой, работающей на главном направлении поиска, опирающейся на положительный пример. Здесь в рамках героической темы, человековедческая, идейно-эстетическая природа жанра заявляет о себе наиболее предметно, утверждая репутацию публицистики как полнокровной литературы, которой дано многое, но от которой и многого ожидают.

Нам памятные мысли, высказанные на высоком партийном форуме, и об открывшихся для искусства новых возможностях все более активного вмешательства в жизнь, и о том, что она, эта жизнь, постоянно выдвигает вперед все новые и новые проблемы, с которыми связано движение всего нашего общества. Здесь главные точки приложения писательской публицистики, плодотворное поле для ее дальнейших творческих поисков. К примеру, сейчас уже ясно, что борьба за разумное использование производственного и научно-технического потенциала страны вступила в качественно новую фазу. Борьба напряженная и повседневная, связанная с преодолением косности и инертности мышления, как пра-

вило, хитро упрятанных за частоколами правильных слов, не подкрепляемых реальными делами. Именно на этом плацдарме, где в борьбе со старым, отжившим утверждается новое, прогрессивное, как раз и испытываются на дееспособность положительные силы жизни, проверяются на прочность характеры настоящих героев.

Еще одно направление, столь важное для публицистического поиска: сфера быта, досуга современника, трудящегося человека, сфера семейных отношений. Вспомним, с какой глубокой заинтересованностью писали и пишут об этом в своих статьях и очерках на моральные темы Ю. Азаров, Т. Афанасьева, Е. Богат, В. Переведенцев, И. Руденко, Т. Тэсс, авторы так называемых судебных очерков, выполняющие свою работу компетентно, на высоком профессиональном уровне, — А. Ваксберг, А. Борин, О. Чайковская. Особо здесь следует сказать о «чистых» прозаиках, обратившихся к жанру публицистики, — В. Астафьеве и В. Белове, Д. Гранине и В. Коротиче, А. Лиханове и О. Попцове... Их тоже глубоко интересуют насущные проблемы времени, связанные с совершенствованием человека и человеческих отношений.

На актуальность этих проблем обратил внимание июньский пленум ЦК КПСС. В выступлении товарища Ю. В. Андропова, в частности, говорилось: «У нас часто используется формула «повышение уровня жизни». Но ее порой трактуют упрощенно, имея в виду лишь рост доходов населения и производство предметов потребления. В действительности понятие уровня жизни гораздо шире и богаче. Тут и постоянный рост сознательности и культуры людей, включая культуру быта, поведения, и то, что я бы назвал культурой разумного потребления. Тут и образцовый общественный порядок, и здоровое, рациональное питание, тут и высокое качество обслуживания населения (с чем у нас, как известно, еще далеко не все благополучно). Тут и полноценное с нравственно-эстетической точки зрения использование свободного времени. Словом, все то, что в совокупности достойно именоваться социалистической цивилизованностью».

В этих положениях, можно сказать, намечено одно из стратегических направлений литературно-публицистической деятельности.

Боевая и вместе с тем строго аналитичная в своей основе публицистика обостряет сознание современного советского общества. Публицистика, создающая, по Ленину, историю современности, примечательна еще и тем, что помогает общественным наукам открывать драгоценный материал, зачастую содержащий питательную почву для новых научных поисков, обнаруже-

ния новых важных тенденций общественного развития. Тем более наша писательская публицистика, являющая собой «огонь в одежде слова», обязана до конца реализовать свою «выжигающую» способность, когда сталкивается с теми или иными уродливыми явлениями. Партия ставит вопрос резко и прямо: нельзя уходить от открытого разговора с людьми. «Журналистам надо быть, как говорится, позлее, сильнее отстаивать государственные интересы». Практический вывод отсюда ясен: там, где речь идет о поиске и утверждении истины, наша ответственность должна быть максимальной! Академик Е. Велихов в одной из бесед с публицистом Геннадием Бочаровым прозорливо подчеркнул: «Способность человека ощущать свою ответственность приобретает сегодня первостепенное значение. Безответственная личность принадлежит сегодняшнему дню лишь формально».

В отношениях между общественными науками и публицистикой весьма существен и такой момент: последняя способна гораздо активнее заниматься пропагандой огромного теоретического наследия, накопленного партией в процессе развития марксизма-ленинизма и изучения опыта реального социализма, который непрерывно обогащается и совершенствуется. Здесь определены признанные мастера публицистики — Г. Волков, Р. Косолапов, Ю. Островитянов, В. Чикин, Е. Яковлев... И все же надо признать, что круг таких литераторов еще узок.

В заключение вернусь к тому, с чего начал.

Слово приравнивается к делу и становится им, если оно обеспечено прочным запасом глубокого знания жизни, четкостью идейных ориентиров, искусством объективного анализа фактов и явлений, тенденций и закономерностей, высокой принципиальностью и гражданской страстностью. Оно наиболее действенно, когда продиктовано заботой о человеческом благе, употреблено во имя человека, того нового человека, который «не только отдаленный идеал, но и реальность наших дней», и процесс формирования которого «так же непрерывен и сложен, как непрерывна и сложна сама жизнь».

Писательская публицистика, можно не сомневаться, еще более укрепит свои боевые позиции в нашей жизни, если станет зорче, приметливее и дальновиднее, будет мыслить масштабнее и смелее, говорить правду напрямик, по-ленински называть вещи своими именами, не впадать ни в ложную застенчивость, ни в самодовольное упоение.

Но и это еще не все: мысль публициста

особенно впечатляет, когда она не только глубока, но и свежа, энергична, облечена в яркие, художественно выразительные одежды. Как не вспомнить тут П. Я. Чаадаева, заметившего в свое время, что чем индивидуальнее слово, тем оно могущественнее.

Содержательная, эмоциональная, эстетическая наполненность слова рождается в безостановочном процессе, который зовется литературным мастерством. Есть замечательные образцы, свидетельствующие о том, что высший уровень такого мастерства — это не прекращающаяся всю жизнь, самая взыскательная работа над словом. Ею занимались И. Эренбург и М. Шагинян, Ф. Абрамов и В. Овечкин. В наши дни эту прекрасную традицию продолжают М. Шолохов и Л. Леонов, В. Астафьев и С. Залыгин, Д. Гранин, В. Коротич и другие признанные мастера. Кто читал последние очерки В. Распутина (особенно «Сибирь без романтики», опубликованный в №5 альманаха «Сибирь» за прошлый год), тот наверняка испытал подлинную радость от достигнутой в них гармонии содержания и формы.

Встречаются, и, к сожалению, не так уж редко, случаи противоположного порядка: когда автор очерка довольствуется первым, наскоро схваченным словом или наспех сформулированной мыслью, не утруждает себя лишними заботами по части сюжетного совершенства и композиционной стройности. Вот почему всегда актуален вопрос о высоком профессионализме как необходимом условии плодотворности публицистики, особенно молодой.

Многое тут зависит от соответствующих творческих объединений и, конечно же, от журнальной и газетной периодики, ибо где как не здесь должны самым активным образом пробовать перо, проходить творческую проверку молодые дарования. Не последнюю роль мог бы сыграть и ежегодник «Шаги»: по-моему, сам факт публикации в нем должен становиться событием в жизни публициста, тем более начинающего. И уж скороспелым, рассчитанным на сомнительный эффект выступлениям (а такие случаются и в «Шагах») должен быть поставлен прочный барьер. Кстати, редакция ежегодника могла бы интенсивнее заняться селекционной работой, вести энергичную работу по выявлению талантливых очеркистов в областях, краях и республиках.

Судя по всему, все основные дела у нашей публицистики впереди.

Пусть же продолжится поиск!

---

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ

☆

## ГОРИЗОНТ БЕЗ КОНЦА

К 175-летию со дня рождения Н. В. Гоголя

Эх, ты, Русь моя! Моя забубенная, разгульная, расчудесная, расцелуй, люби тебя бог, святая земля... Дрожу и чую с слезами в очах, слышу широкую силу и замашку, когда гляжу на эти потерявшие конец степи.

Гоголь.

1

**В**глядываясь в материк русской прозы, скрытый от нас уже туманом столетия, мы видим мощное родоначальное образование, откуда, как реки с возвышенностей, истекают полные воды.

Это «Мертвые души» Гоголя. О них и пойдет у нас речь.

Белинский, по его собственным словам, «отчитывался» «Мертвыми душами» в Зальцбрунне — то есть снимал тяжесть западных впечатлений, Достоевский знал поэму Гоголя чуть ли не наизусть, да и кто из русских людей не кончал своего университета по Гоголю? Герцен в ссылке, Чаадаев в Москве, молодая Россия в столицах и провинциях, западники и славянофилы, семинаристы и дворянские интеллигенты и даже «свет», окаменевший свет, ничего не читающий, кроме французских романов, — все прошли школу «Мертвых душ».

По этой поэме, как по поэмам и сказкам Пушкина, по героическим былинам и одам учились любить Россию.

Он проповедует любовь  
Враждебным словом отрицанья,—

писал о Гоголе Некрасов.

Гамлет наш! Смесь слез и смеха,  
Внешний смех и тайный плач,—

соглашался с ним князь П. Вяземский.

Поколение, воспитанное Гоголем, принимало участие в разработке реформы по освобождению крестьян.

Надо ли говорить, что без «Мертвых душ» не было бы «Войны и мира», где лучшие свойства русской природы, которые хотел изо-

бразить в последующих томах своей поэмы Гоголь, встали во весь рост и где явились и «муж, одаренный божескими доблестями», и «чудная русская девица... со всей дивной красотой женской души»? Надо ли говорить о том, что романы страстей и романы идей Достоевского были бы невозможны без Чичикова, без его капитальной идеи о «копейке», которой все прошибешь и которая не продаст и не выдаст, в то время как близкий приятель и друг продадут и выдадут?

Влияние Гоголя на нашу литературу было прежде всего влияние «Мертвых душ». Тут был задан масштаб, дан панорама, в которой жизнь России хоть и отразилась как бы в перевернутом зеркале — как отражаются в стекле вод стоящие по сторонам этих вод горы и леса (любимый образ отраженного мира у Гоголя) — но отразилась во всей широте русской замашки.

Впрочем, были попытки сузить значение смеха Гоголя. В. Розанов писал, что Гоголь, будучи односторонне одаренным природой, мстил ей за это свое несовершенство, и мстил гениально. Не видя в человеке человека, а только карикатуру, он смехом умерщвлял жизнь, и это и было его искусство. В. Розанов назвал Гоголя «гением формы».

И сегодня на Западе высказываются суждения, что негативный пафос Гоголя есть единственный его пафос, на котором замерзают русская мысль и русское воображение до Достоевского и до Толстого. Слезы Гоголя превращают в лед, а самого автора «Мертвых душ» — в гениального артиста режиссера театра теней.

Да и название поэмы — «Мертвые ду

ши» — оказывается кстати. Мертвые — значит, написано о мертвых, значит, муза Гоголя — смерть.

Можем ли мы согласиться с этим? Можем ли мы согласиться с той точкой зрения, что Гоголь после «Ревизора» мертв и смех его несет только отрицание? Гоголь был прав, когда писал в «Мертвых душах»: «Какие искривленные, глухие, узкие... дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины...»

Это относится, в частности, и к литературоведческой мысли о Гоголе.

Путь к вечной истине — вот путь, который прочерчивает в своей поэме Гоголь и на который выносятся в конце концов «птица-тройка». Мелькают по сторонам верстовые столбы, бабы в платках, мужики на завалинках, кресты церквей, шлагбаумы, фельдъегеря, избенки, города, косясь, смотрят на пролетающий экипаж народы и государства, а простор, русский необъятный простор, над которым Гоголь не раз посмеивался в своей поэме и который Чичиков сравнивал с территорией древних римских монархий, намекая на то, что земли, мол, много, а порядку мало, превращается вдруг в «горизонт без конца», за которым пропадает «далече колокольный звон».

Из глубины этого простора вызывает Гоголь свою идею — идею воскресения и оживления мертвых душ, которые, мертвые они или живые, все же души, и именно от их сердец несется тот колокольный звон.

Он сливается с песней «Не белы снеги», с грохотом колес тройки, наводящей своей скачкой «ужас» на пешеходов, но то счастливый ужас, то ужас неостановимого движения, в котором молодо и сильно обращается русская кровь.

На фоне этих пространств мелочи, до сих пор не бросавшиеся в глаза, увеличиваются, а крупные предметы отступают на задний план. «Веселое», как пишет Гоголь, обращается в «печальное», великое съезживается, а мелкое распрямляется, растет и обнаруживает свою заметность.

## 2

Гоголевская птица-тройка выросла из тройки Чичикова, и, не приглядевшись к последней, мы не сможем понять первой.

Чичиков отправился в путь жизни на лошадке, «известной у лошадиных барышников под именем сороки». Сорока тоже птица, но птица, из которой не вылепишь птицу-тройку. Как, впрочем, не слепишь ничего из гой полтины, которую оставил Чичикову «на расход» его отец.

Но этой полтине суждено превратиться в полмиллиона, а сорока исчезнет навсегда, уступив место гнедому, кауруму и чубарому, которые запряжены в бричку Чичикова.

Бричка эта вовсе не похожа на ту колесницу, которая несется в конце поэмы Гоголя, разрывая на куски воздух. Это скромный дорожный снаряд, в котором ездят холостяки.

И общество, восседающее в бричке, довольно скромное: Чичиков, кучер Селифан и лакей Петрушка. Однако эта троица ловко рифмуется с тройкой коней, и характеры лошадей отчасти похожи на характеры людей. Чубарый (пристяжной) — лентяй и философ, его, как и Селифана, хлебом (овсом) не корми, а дай поговорить. Гнедой целеустремлен, как и Чичиков, а каурый, как говорит Селифан, ничего конь, хороший конь.

Селифан у Гоголя часто гостит в кабаке (иногда и с Петрушкой), но лошади у него вовремя накормлены и почищены, а хомут, из которого вчера выглядывала пакля, «искусно зашит».

Чичиков в этой троице самый энергичный, но его энергия подвергается осмеянию со стороны мужика: со стороны Селифана иносказательно и в словах, со стороны Петрушки (вечного молчуна) — в молчании.

Петрушка хоть и носит «сертук» с плеча барина, вовсе не поддакивает барину, а в свободные часы (их у него много) предается чтению книг. Читает он все, без разбора — «похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник» (список сам по себе красноречивый) и в чтении более занят процессом чтения, тем, как из букв составляются слова, нежели смыслом прочитанного. Но молчание Петрушки в «Мертвых душах», может быть, весомей, чем словоохотливость Селифана.

В Селифане есть что-то от Санчо Пансы Сервантеса. Он так же готов подпеть барину и так же способен заговорить его. Словопрения Чичикова и Селифана напоминают споры Дон Кихота и его оруженосца. Селифан берет Чичикова искусством разговора, умением молоть попусту, хотя, кажется, и мелет он по делу. Когда Чичиков, которого Селифан вывалил в грязь, грозит его посесть, тот не возражает: «Почему ж не посесть, коли за дело? на то воля господская. Оно нужно посесть, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки: почему ж не посесть?»

«На такое рассуждение, — пишет Гоголь, — барин совершенно не нашелся, что отвечать».

И в самом деле, Селифан говорит то, что сказал бы сам Чичиков. Он пользуется логи-



кой и фразеологией барина и тем ставит того в тупик.

Селифан прекрасно усвоил язык и манеры Чичикова, которыми тот пользуется в «хорошем» обществе. С ними, со слугами и вообще с мужиками Чичиков не церемонится, с чиновниками и помещиками он всегда изображает кого-то. То «незначащего червя», то «барку, носимую волнами», то благородного человека. Манилову он жалуется, что потерпел по службе и виной всему было то, что «соблюдал правду», был чист на своей совести. Селифан, как будто подслушав эти жалобы, дает совет чубарому: «...живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение... Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает, потому что он, слышь ты, сполнял службу государственную, он сколеской советник».

Селифан произносит эти речи для ушей Чичикова и для ушей читателя. Он и льстит барину и смеется над барином, он и нам дает заодно понять, что все знает про Чичикова.

У Селифана свой, особый язык. Когда он гневается, то начинает крестить своих лошадей иностранными именами. Когда он пьян или в настроении, речь у него увещательная, ласковая, он просто Диоген, а не Селифан. Ему дано и искусство пародии и искусство душевного излияния.

Слуг Чичикова обычно не замечают при Чичикове. Но он без них, как без рук, как, впрочем, и они без него ни мужики, ни дворовые. Эта тройца седоков брички — единая плоть, и именно так и стоит рассматривать население тройки.

Чичиков с чиновниками галантен и обходителен, сыплет цитатами и книжными оборотами, с мужиками он прост и в простоте своей простодушен. «Щекотливый» нос Чичикова морщится от особенного запаха Петрушки, или, как называет его деликатно Гоголь, «воздуха», но тем не менее представить себе Чичикова без Петрушки (и без Селифана) невозможно.

Селифан не только кучер Чичикова, он вожатый его брички, опора ее, он отец родной кауруму, гнедому и чубарому, с которыми он беседует, как с детьми. И если уж только очень его рассердить, то на коней посыплются удары вожжей и прозвища. Чубарого (как самого ленивого) он окрестит «Бонапартом», «панталонником немецким», а каурого Заседателем. А всех троих вместе — «секретарями».

Это смешно, потому что самого Чичикова и примут в городе N за Наполеона, а Коробочка, когда он начнет торговать у нее

«мертвые души», спросит Чичикова, не служил ли он заседателем.

Тройка Чичикова не может тронуться в путь без мужика, не может скакать по Руси без реплик мужика, без его поддакивания или неодобрения. Да и бричку Чичикова, как пишет Гоголь, собрал и снарядил в дорогу ярославский расторопный мужик.

Мужик в «Мертвых душах» подправляет путь брички Чичикова, указывает ей направление, а то и просто вытаскивает ее из грязи. Девчонка Пелагея, которая не знает, где лево, а где право, помогает тройке выбраться на шоссе. «Без девчонки было бы трудно сделать... это, потому что дороги расплзались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпят из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине».

Мужики показывают Чичикову дорогу к Манилову, они же пытаются разнять коней Чичикова с конями губернаторской дочки.

Помощи из этого не получается, беспрепятственные пересаживания дяди Митяя и дяди Миняя с одной лошади на другую и обоих вместе на третью отдают бестолковщиной, «бездна» мужиков, собравшаяся поглазеть на это событие («подобное зрелище для мужика суцая благодать»), дает пустые советы, и автор, кажется, смеется в этой сцене над русским «миром», над сельскою сходкой, которая не может решить такого пустякового вопроса. Но этот смех сменяется уважением к мужику, когда Чичиков, спустя некоторое время, встречает мужика-муравья, который тащит на плече претолстое бревно. Как проехать к Плюшкину? — спрашивает его Чичиков. «Мужик, казалось, затруднился таким вопросом. «Что ж, не знаешь?» «Нет, барин, не знаю». «Эх ты! А и седым волосом еще подернуло! скругу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей?» «А! заплатанной, заплатанной!» — вскрикнул мужик. Было им прибавлено и существенное к слову заплатанной, очень удачное, но не употребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмеялся, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ!»

Гоголь не льстит народу, но знает цену ему. Поэма открывается разговором двух мужиков, которые рассуждают о крепости чичиковского колеса. Не успело это колесо въехать в повествование, а уже является необходимость оценки его, оценки предстоящего ему пути. «Что ты думаешь, — говорит один мужик, — доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» — «До

едет»,—отвечает его собеседник. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» «В Казань не доедет»,— соглашается другой мужик».

Что это за разговор? Зачем он? Не праздное ли это препровождение времени, тем более стоят мужики: «у дверей кабака», а стало быть, говорят они о своем, вовсе не имея в виду Чичикова.

И все же вопрос, заданный ими, повисает в воздухе. Он сообщает поэме вопросительный характер. Чичиковское колесо, по мысли Гоголя, и должно сломаться, и должно не доехать. Только куда, вот загвоздка. Казань и Москва названия условные. Видимо, имеются в виду какие-то ближние и дальние цели героя поэмы. А какие у него цели? Первая — сколотить капитал. Вторая: его потратить. В перспективе этой второй цели видны «дом», «бабенка», «потомки», отличные лошади, «хороший повар» и «жизнь во всех довольствах».

И этот «дорожный снаряд», в котором восседает Чичиков, Гоголь превращает в птицу-тройку? Да, этот. Потому что цели Чичикова в дороге меняются. Потому что меняется сам Чичиков. Потому что везет Чичикова колесо, и подчиняется оно не Чичикову, а автору и, кроме того, колесо — это круг, и Чичикову в поэме придется возвратиться на круги своя.

### 3

Когда Чичиков выехал от Коробочки, земля на дороге была «глиниста и цепка», и оттого «колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею как войлоком», что значительно отяжелило экипаж. Именно это обстоятельство и задержало Чичикова, и он выехал на шоссе позднее, чем того хотел. А явись он в трактир, стоящий на шоссе, раньше, он не встретил бы там Ноздрева и не дал бы промашки с открытием тому тайны о «мертвых душах», что и расстроило в конечном счете его предприятие. Роковая ошибка Чичикова (визит к Ноздреву) произошла из-за отяжеления колеса.

Колесо и далее будет фигурировать в поэме как некий знак, подающий намек на «ренделя и загогулины, которые делает, отклонясь от прямого пути, Чичиков. «...все пошло, как кривое колесо», — скажет Гоголь, посвящая читателя в чувства Чичикова, сбитого с толку разоблачениями Ноздрева. Всегда аккуратный и точный, все взвешивающий и держащий в голове, Чичиков вдруг потеряет власть над собой, станет ходить не с той карты, а однажды, сильно размахнувшись рукою, «хватит сдуру свою же».

Колесо в «Мертвых душах» то подпрыгивает

ет Чичикову, то мешает ему. Чичиков хочет ехать, а колесо не хочет. Он настаивает на скорейшем отбытии, а колесо как бы говорит: погоди. Так поступает оно в день отъезда Чичикова из города. Отъезд назначен на шесть утра. Все собрано, все готово, готов и сам хозяин брички, но в последнюю минуту к Чичикову является с виноватым видом Селифан и говорит: «...вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабила, шибень такой везде пошел».

То, что колесо обтягивают новой шиной (а эта обтяжка затягивается на три часа), дает Чичикову еще некоторое время на размышления — на размышления, которыми он не собирался заниматься. Ибо размышления для героя Гоголя, паузы в деятельности, остановки в пути, пусть то будет даже путь добывания «копейки», смерти подобны. Он никак не выносит этих пустот, этих тягостных минут наедине с собой, когда надо думать, думать и думать. И, может быть, задумываться о смысле своей жизни.

В «Мертвых душах» есть лицо, которое мелькает невзначай, на одну минутку, но явление его трудно изгнать из памяти, потому что трудно забыть ночь в губернском городе, полную тишину, погашенные окна в домах и единственное горящее в гостинице окно, за которым ходит сосед Чичикова — рязанский поручик, примеривающий уже пятую пару сапог. «Несколько раз подходил к постели,— пишет Гоголь,— с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво ставанный каблук».

Вот апогей праздности и одиночества! Человек, оставшись наедине с собой, не находит себе места. Он готов примеривать сапоги с вечера до утра, лишь бы хоть как-то убить время, заполнить пустоту, заполнить эту долго текущую ночь.

Чичиков, когда он один, перебирает бумажки, лежащие в шкатулке, листает том герцогини Лавальер (единственная книга, которую он возит с собой) или смотрится в зеркало. Это любимое его занятие, как, впрочем, и столь же любимое занятие других героев Гоголя — Собачкина из «Отрывка» и Хлестакова.

Все они от одиночества нервничают, потому что даже ничтожная деятельность — для них деятельность, потому что она дает возможность отвлекаться от мыслей о жизни и смерти. Они, как и Чичиков, живут настоящей минутой, а что там, по ту сторону ее, бог весть.

Оттого Чичиков все время и спешит. погоняет то Селифана, то Петрушку, а Селифан,

в свою очередь, погоняет лошадей. Спешка — темп жизни гоголевского героя, он должен все успеть, он «вдруг» хочет схватить то, что накапливается годами.

«...да не так, как немец, — говорит в поэме мертвый Максим Телятников, — что из копейки тянется, а вдруг разбогатею».

Это «вдруг» сродни и Чичикову. Ему ведомы и азарт, и перебарщивания, и хлестаковщина.

Колесо, задержав Чичикова в городе, вывозит его на встречу со смертью. Дорогу бричке пересекают похороны прокурора. Скорбная процессия, однако, вызывает ободрительные мысли у героя Гоголя. «Это, однако ж, хорошо, — думает он, — что встретились похороны; говорят, значит счастье, если встретишь покойника».

Такова примета, но таково и предупреждение Гоголя. Первое такое предупреждение делает в поэме Плюшкин. Тут смерть является в образе своего предвестника — старости, и Чичиков, глядя на Плюшкина, на его прореку на спине, думает: не дай бог! Не дай бог дожить до таких лет и превратиться в такую пародию на человека. И все из-за чего? Из-за страха потерять накопленное, из-за дрожания за каждую ветوشку, каждый кусочек, будь это даже кусочек черствого пирога, из-за цепляния за смертное, за то, что самой природой обречено уничтожению!

Всякий раз, когда Чичиков встречается с каким-либо помещиком, он отвлекается на рассуждения. От Манилова слишком отдает сахаром, от Ноздрева разгулом и растратой, от Собакевича кулачеством. Чичиков как бы осматривает в этой поездке русские характеры и черты русской жизни. После встречи с Коробочкой в нем пробуждается жалость к ее бедной участи, а глядя на кучу вещей Плюшкина, Чичиков думает о тщете соревнования со смертью.

Именно в этой главе он вспоминает о дороге, которая есть его дом, ибо другого дома у Чичикова нет, и о том, что, пока не поздно, надо забирать с собой в путь все «человеческие движения», иначе не соберешь потом.

Смерть прокурора и похороны прокурора напоминают ему об этом. Не встретить он их, может быть, и не было бы его возвращения к картинам детства, не было бы этих, проникнутых жалостью к себе и к своей участи, вздохов памяти, после которых тройка Чичикова и вырывается на истинный простор.

Нет, колесо Гоголя знает свою дорогу. Оно и плурует и петляет. Оно съезжает в грязь, облепливается землей, как войлоком, но оно

и находит ту цель, которая мила душе автора поэмы.

Ведь известное восклицание «...какой же русский не любит быстрой езды?» относится к душе Чичикова. И у Чичикова есть душа, как есть она и у Собакевича, самого закрытого героя Гоголя, хотя находится она, как пишет Гоголь, «где-то за горами и закрыта... толстою скорлупою», «как у бессмертного кощера».

Вопрос мужиков возле гостиницы — доедет ли чичиковское колесо до Казани или не доедет — имеет отношение и к другой тайной мысли Гоголя: а доедет ли Чичиков (и душа Чичикова) до бессмертия или нет.

Если в первых главах поэмы, когда речь заходила о мертвых и о смертях, о них говорилось как-то в шутку, невсерьез (Коробочка спрашивала даже, не собирается ли Чичиков откапывать мертвых из земли), то затем насмешливая интонация при упоминании о смерти снимается. Гоголь хочет сказать, что со смертью не шутят.

«А между тем, — пишет он о смерти прокурора, — появление смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер, или зачем жил, об этом один бог ведает».

Как ни слышны в этих словах остатки иронии по отношению к прокурору, здесь есть и горькая мысль о равенстве всех перед смертью, перед этим судом в последней инстанции, перед которым предстает человек.

Потому что тема суда и правосудия есть одна из заветных тем Гоголя. Всюду у него является или ревизор, или суд — страшный суд в «Страшной мести», суд отца над сыном в «Тарасе Бульбе», суд Акакия Акакиевича, превратившегося после смерти в привидение, над «значительным лицом», ревизию в «Ревизоре». Эта идея ревизии или проверки, за которой неминуемо должна последовать расплата, есть и в «Портрете», и в «Вечере накануне Ивана Купала», и в «Вице». Человек должен предстать перед судом — перед судом своей совести хотя бы, — ибо без этого как считает Гоголь, для него нет спасения.

И не важно, является ли эта идея в виде жандарма, как в «Ревизоре», или привидения как в «Шинели», в виде всадника на Карпатских горах, как в «Страшной мести», или просто человека, как в «Тарасе Бульбе», е

приход неизбежен. Без удара грома и коренного перелома в повествовании Гоголь не может.

При этом он, как всегда, начинает за упорной, а кончает за здравие. Таково его правило. Герой хитрит, плурует, стремится избежать суда и наказания за свои проступки, но суд, ревизия, ревизор настаивают его. Следует немая сцена, и после очищающих слез настает возрождение. Оно грянет где-то за занавесом, за краем повествования, но оно так же неминуемо, как и сам суд.

Слухи о покупках Чичикова соединяются в сознании чиновников города с известием о назначении нового генерал-губернатора. Это усиливает страх перед грядущим судом. Надвигается угроза тотальной ревизии, где ревизор—генерал-губернатор и ревизор-смерть сливаются на мгновение в одно лицо. Проверке этих инстанций подлежат не только финансы, полицейская часть, состояние богоугодных заведений, палат и так далее, а сама жизнь.

Не зря в глазах чиновников маячат «апокалипсические цифры», а в их разговорах упоминается имя антихриста. Это и преувеличения страха и намек на грядущий «страшный суд».

Плюшкин пугает свою кухарку Мавру «страшным судом». Это смешно, потому что Мавре страшный суд не грозит, она если подворовывает у своего барина, то совсем немного. Страшный суд грозит самому Плюшкину, который и стал Плюшкиным, как сообщает Гоголь, после смерти своей доброй хозяйки.

Именно смерть повергла Плюшкина на тот путь, на который он встал. Именно она напугала его настолько, что он запер на ключ все свои богатства, создав из них надгробия и могильные памятники. Сама куча хлама Плюшкина есть гигантский монумент смерти, собранный из вещей, которым отпущен ничтожный срок. Сам сад Плюшкина, который, как пишет Гоголь, один освежал вид этого «вымершего места», есть цветение жизни у гробового камня.

Сад этот написан Гоголем как живой сад, и вместе с тем если приглядеться к нему, то можно увидеть, что это уже окаменевшая в своем совершенстве красота. Недаром Гоголь сравнивает стволы его деревьев с мраморными колоннами и пишет о тяжелой массе листьев, нависшей над ним. Лишь лапылисты молодого клена чудно сияют в темноте сада, которая напоминает склеп.

Природа отзывается на смерть жизни в человеке. Она засыпает, остекленевает. Сад Плюшкина — это и сон красоты и смерть жизни в красоте.

Чичиков гоняется за своей копеечкой, он носится по свету, уходя от смерти, а та настаивает его, становится ему поперек дороги и говорит: помни!

Не зря в шкатулке Чичикова хранится похоронный билет. Это приглашение на похороны лежит там по соседству со свадебным билетом, любовным письмом анонима и сорванной с городского столба афишкой. Весь круг жизни очерчен в этих бумагах Чичикова, не хватает только выписки из церковной книги о рождении и аттестата об окончании училища.

Шкатулка не просто «ларчик красного дерева, с штучными выкладками из карельской березы», но и тайник души Чичикова, которая, как и у Собакевича, скрыта за толстой скорлупой.

## 4

В шкатулке тайные намерения героя Гоголя обращены в явные, документально подтверждены и обоснованы, скреплены печатями и подписями. Начиная от банковских билетов (ассигнаций), которые упрятаны в особую потайную ящичку («...наверно нельзя сказать, сколько было там денег», — замечает Гоголь), и кончая бумагами для заключения купчих крепостей. Мыльница и другие приспособления для туалета говорят о том, что Чичиков — опрятный человек; сургучи и перья — что он деловой человек; сорванная со столба афишка — что он друг Мельпомены. Впрочем, афишка эта, как поясняет Гоголь, нужна была Чичикову более для определения цены партера в городском театре.

Свадебный билет — это мечты Чичикова о семье, письмо анонима с признанием в любви — свидетельство слабости сердца, а приглашение на похороны знак того, что Чичиков, как и всякий смертный, помнит о смерти.

Ибо он не только смертный, но и живой человек.

«Кровь Чичикова играла сильно», — пишет Гоголь. Кажется, он имеет в виду одну страсть своего героя — страсть к приобретательству. Он так и называет Чичикова «хозяин», «приобретатель». С легкой руки автора это имя закрепилось за главным героем «Мертвых душ».

Но зачисление Чичикова в отрицательные персонажи происходит в том месте поэмы, где Гоголь спорит со своим читателем, предполагая, что ему, читателю, не понравится его герой. Он даже называет Чичикова «подлецом». «...припряжем подлеца!» — восклицает Гоголь.

Но слово «подлец» возникает в контексте спора, где на другом полюсе стоит некий «добродетельный человек», которого требует читатель и которого уже давно, по мнению Гоголя, заездили писатели. Этот добродетельный человек (читай, положительный герой) уже стал лошадкой, он выдохся, он уже мертвый человек, «как мертва книга пред живым словом».

Итак, «подлец» возникает на другом полюсе «добродетельного человека» как его антитеза и отрицание. «Подлец» не «добродетельный человек», а, значит, не мертвый, а живой герой.

Припряжем живого человека! — вот мысль Гоголя.

Недаром Достоевский считал Чичикова одним из немногих героев русской литературы. В его списке Чичиков стоит рядом с Онегиным и Печориным, которых никто, надеясь, еще не считал добродетельными людьми. Поступая так, мастер изображения человеческого подполья, а также борьбы бога и черта в душе человека имел в виду, что у героя Гоголя есть свой «верх» и «низ», что ему, как и любимым героям Достоевского, даны свои «падения» и «восстания».

Если заглянуть в детство Чичикова и вспомнить, что он рос без матери, то это о многом скажет. Бедное детство, бедное не только по отсутствию благ, но и материнской ласки, оно должно было перерасти и в черствую юность, в холодное мужество, которое, в конце концов, привело к «охлажденности» всей души Чичикова.

Душа его спрятана в шкатулке; открывая этот ларец, Чичиков как бы беседует с самим собою, но и здесь лежат только мертвые бумаги, которые ему дано лишь на мгновения оживить своим чувством. Так оживляет он своим восклицанием «сердечные мои» списки умерших крестьян, проданных ему Коробочкой и Собакевичем. Здесь шкатулка-душа приоткрывается, и хозяин-приобретатель предстает перед нами не как хозяин и приобретатель.

«Мертвые» в «Мертвых душах» присоединяются к живым, встают с ними в один ряд, образуя то живое народонаселение России, без которого эта поэма была бы недонаселена; Гоголь говорит, что Селифан и Петрушка даже не второстепенные и не третьестепенные ее герои, что тут есть лица поважней и так далее. Но он лукавит. Именно эти мужики, а с ними заодно и четыреста душ «мертвых», которые скупил Чичиков в энской губернии, и есть те самые первостепенные герои, которые составляют ее живую плоть.

На небольшом пространстве «Мертвых

душ» уместилась вся Русь. Кого тут только нет! Кажется, всех званий и всех сословий коснулся в них Гоголь, никого не обошел. Дворянство, крестьянство, офицерство, губерния, Петербург, трактир и кабаки, катакомбы канцелярий (которые Гоголь сравнивает с кругами ада) и русский необъятный простор. Захочешь ли увидеть русского приказчика — увидишь и его, купца — является и купец, полицейского — есть и полицейский, дам — налицо и дамы. Курьеры, зеваки, работники, полковые, хозяева трактиров, моты и скряги, беглые и каторжники, разбойники и дети — все тут есть. Есть даже пророк, потому что не может обойтись русская земля без пророка, хотя, как любил повторять Гоголь, нет пророка в отечестве своем.

А вот новелла о дворовом человеке Попове, которую Гоголь включил в главу о купленных Чичиковым крестьянах: «Попов, дворовый человек, должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя, беспашпортного, поймал капитан-исправник... ввернувши тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. «Такого-то и такого-то помещика», отвечаешь ты бойко. «Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. «Отпущен на оброк», отвечаешь ты без запинки. «Где твой паспорт?» — «У хозяина, мещанина Пименова». — «Позвать Пименова! Ты Пименов?» — «Я Пименов». — «Давал он тебе паспорт свой?» — «Нет, не давал он мне никакого паспорта». — «Что ж ты врешь?» — говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. «Так точно», — отвечаешь ты бойко: «я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову, звонарю». — «Позвать звонаря! Давал он тебе паспорт?» — «Нет, не получал я от него паспорта». — «Что ж ты опять врешь!» — говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом. «Где ж твой паспорт?» — «Он у меня был», говоришь ты проворно: «да, статья может, видно, как-нибудь дорогой пообронил его». — «А солдатскую шинель», — говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо: «зачем стащил? и у священника тоже сундук с медными деньгами?» — «Никак нет», говоришь ты, не сдвинувшись: «в воровском деле никогда еще не оказывался». — «А почему же шинель нашли у тебя?» — «Не могу знать: верно, кто-нибудь другой принес ее». — «Ах, ты, бестия, бестия!» — говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока. «А набейте ему на ноги колодки да сведите в тюрьму». — «Извольте! я с удовольствием», отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана

табакерку, ты потчевашь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашивашь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, покамест в суде производится твое дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царевкококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весеьгонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нет, вот весеьгонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабьи, так есть место, да и общества больше!»

Не найдем ли мы в этом мужике черты мужика Марья Достоевского и Платона Каратаева Толстого? Не для них ли выхватил Гоголь из массы русского народа этого Попова?

Мужик простодушен и мужик хитер. Он умён и насмешлив: вспомните, как он дурачит капитан-исправника. Тот кипитится, грозится, а выигрывает — психологически — этот диалог мужик. Он «проворно» и «бойко» отвечает исправнику. И делится табачком с теми, кто заковывает его в колодки.

Можно быть уверенным, что Попов этот и из Весеьгонска убежит. Поживет до срока в тюрьме, дождется тепла, и только его в том Весеьгонске и видели. Потому что он хоть с виду и терпелив и покорен, но горит в нем искра вольнолюбия — не покинул бы он иначе теплое местечко вблизи барина.

А Абакум Фыров, а Пробка Степан, а Колесо Иван, а Максим Телятников? Один из них плотник, другой сапожник, третий, должно быть, колесных дел мастер. В поэму о колесе должен был обязательно затесаться мужик с таким именем. И не он ли пустил в свет чичиковское колесо? Не от него ли оно поехало?

«И умер такой все славный народ, все работники», — говорит Чичикову об умерших крестьянах Коробочка. «Я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика», — божится, торгуя тех же «мертвых», Собакевич. Собакевич готов и соврать, но избы у его мужиков крепкие и определены, как пишет Гоголь, «на вековое стояние».

А каретника Михеева, которого Собакевич продал Чичикову, помнит и председатель палаты. «Я знаю каретника Михеева, — подтверждает он слова Собакевича, — славный мастер; он мне дрожки переделал».

Странная история, живые мужики у Гоголя почти все резонеры, а «мертвые» — работники. Так и кажется, что работники и «богатыри», как он их называет иногда, — прошлое Руси.

Но постоитте, а капитан Копейкин...

## 5

Капитан Копейкин — отклик Гоголя на чичиковскую идею о копейке, о той самой копейке, которую велел ему беречь и приумножать отец.

Следуя этому завету отца, Чичиков начал с полтины, которую он вскоре превратил в значительно более весомую сумму, доросшую затем до четырехсот тысяч.

Идея капитала — главная идея героя Гоголя, и она неизбежно сталкивается в поэме с идеей народа, который, как и миллион Чичикова (а его в городе N называют «миллионщиком»), состоит из душ-«копеек». Копейка в «Мертвых душах» приравнивается к душе, она и есть в переносном смысле душа, так как в некоторых говорах русского языка (тверском, например) «копейка» не только единица денежного измерения, но и «душа», «работник».

Из копеек составляются тысячи, из «копеек»-душ — тьмы русского народа. Капитан Копейкин — одна из этих «копеек», и хотя он дворянин и по сословному своему положению принадлежит к тому же классу, что и «министр» или «вельможа», которые выгоняют его из своего кабинета, он защитник копейки и мститель за копейку.

Гоголь не случайно дал ему эту фамилию, хотя вор Копейкин — герой русской песни о разбойнике. Копейкин в «Мертвых душах» тоже разбойник, предводитель шайки разбойников, в которой, между прочим, обретаются и беглые души.

В черновой редакции поэмы Гоголь объясняет цель грабежей Копейкина. Тот не грабит частных лиц, а лишь потрошит казну, выдавая даже иногда расписки тем, кто сопровождает казенное имущество, что вот, мол, получил сполна под расписку такой-то капитан Копейкин. Деньги казны нужны гоголевскому Копейкину, чтоб сколотить свой «капиталец», а на основании того капиталца он получит право разговаривать с царем на равных. И опять-таки тут не одно самолюбие, истинная цель Копейкина — создание инвалидного капитала из государственных средств, капитала, который бы мог помочь существованию раненых, тех, кто, как и он, «проливал кровь» в 1812 году.

Чичиковский идеал копейки (как основы богатства) и понятие капитана Копейкина о капитале в поэме пересекаются, и недаром чиновники принимают героя Гоголя на какую-то минуту за капитана Копейкина.

В «Мертвых душах» рука об руку идет накопление двух капиталов — капитала денег и капитала ревизских душ, которые, поселяясь в шкапулке Чичикова, начинают теснить идею

миллиона. Чем менее оказывается в шкатулке ассигнаций, тем более там оказывается «мертвых душ». Идет спор за место в душе Чичикова, и он-то и создает психологическое напряжение в поэме.

Кажется, тяжба идет из-за херсонских поместий, из-за того, кто кого обманет и надует — Чичиков ли помещиков и чиновников или чиновники и помещики Чичикова, а подлинная баталия разгорается здесь, где душа-копейка тягается с мертвой монетой.

Чичиков покупает только мужики, он дает за душу 30 копеек (Плюшкину), рубль, два с полтиной (Собакевичу), он берет душу бесплатно (у Манилова), а получает за каждую из них не менее трехсот рублей. Такова цена живой или мертвой крестьянской души. За женскую же ревизскую душу платит в два раза меньше.

Есть что-то горькое в этой мене-обмене, над самим процессом которой Гоголь смеется в главе о Ноздре. Ноздрев готов все менять на все, но как ни смешны и условны сделки, совершенные Чичиковым, покупают и продают-то людей.

Вот отчего конец поэмы Гоголя заполнен смутами. Бунтуют мертвые души, обращаясь на глазах Чичикова в живых людей, бунтуют крестьяне селца Вшивая-спесь и Задирайлова-тож, страх, что купленные Чичиковым крестьяне взбунтуются на самом деле — при проведении их в Херсонскую губернию, — охватывает город. Чичикову даже советуют взять с собой «конвой», чтоб тот охранял его от «буйного» народа.

Все это завершается слухами о капитане Копейкине, который орудует не где-нибудь, а в рязанских лесах. Если вспомнить утверждение Гоголя о том, что описанный им город находился недалеко от обеих столиц, то можно понять, что шайка Копейкина находится где-то поблизости. Тем более, в поэме не раз упоминается Волга, а в списке городов, где побывал Чичиков, есть и Пенза, и Симбирск, и Нижний. «...нижегородская ворона!» — кричит на кучера Чичикова кучер губернской дочери.

Нет, бричка Чичикова путешествует не в безвоздушном пространстве. По сторонам ее пути то и дело попадают попутчики и пешеходы, один из них — пешеход в протертых лаптях — направился куда-то, как пишет Гоголь, за 800 верст.

На огромном русском пространстве, как и в шкатулке Чичикова, тесно. Мужика-муравья, тащащего на себе бревно, сменяют бабы в деревне Манилова, которые ловят бредней рыбу и своим живописным видом оживляют пейзаж, баб сменяют дядя Митяй и дядя Миняй, их — мужики из списков Собаке-

вича и Коробочки, тех — кузнецы-молодцы, обтягивающие колесо Чичикова новой шиной. Мужики у кабака, мужики, грузящие суда на одной из волжских пристаней, мужики, строящие храмы и находящиеся в бегах, купцы, гуляющие на энской ярмарке, гуляющие до убийства друга, мужики в лодках, поющие песню, во втором тоне «Мертвых душ», — все это души-копейки, составляющие бесценный капитал поэмы Гоголя.

Чичиков настолько свыкается с тем, что купленные им крестьяне, купленные, как тогда говорили, «на вывод», то есть для переселения на другие земли, живые, что в конце седьмой главы, несколько подвыпив, отдает Селифану «приказания собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку».

Из таких, как они, мужиков и хотел бы он в мечтах создать некую Чичикову слободку, деревеньку, где бы он, Чичиков, был и хозяином, и главою семьи, и обладателем дома.

Тоска по дому — вот что мучает героя Гоголя. Дом, который он в детстве покинул и откуда вывезла его лошадь по имени Сорока, он после смерти отца продал, чтоб с этих денег начать свое путешествие к миллиону. Он начал с «копейки» — с продажи дома, и теперь этот акт торга возвращается к нему в виде отмщения-разорения.

Потому что чичиковский капитал не накапливается, Чичикова слободка не выстраивается. Чичиков бежит, но от своих грехов не сбежишь: души-копейки трясутся вместе с ним в его экипаже.

## 6

Но пора вновь бросить взгляд на этот экипаж.

Кто едет в нем? Чичиков, Селифан и Петрушка. Селифан покрикивает на коней: «Не бойся!.. Эх! эх! эх!» Чичиков, увлеченный быстротой скачки, уже успокоился, а голова Петрушки, уснувшего под пенью колес, лежит почти на коленях у Чичикова. Как ни велика пропасть, отделяющая барина от мужика, в этой картине видно согласие. Пусть оно временно, случайно, мимолетно — в отношениях этих людей нет враждебности.

Тут еще почти что идиллия, хотя, повторяем, никакой идиллии нет, единение временно и непрочно. Но, тем не менее, именно этой тройце суждено у Гоголя дать жизнь птице-тройке, которая в поэме олицетворяет Русь. Как и все преобразования у Гоголя, это преобразование произойдет внезапно, в одно мгновение, и читатель не успеет даже заметить, как тройка Чичикова обратится в «божье чудо», в «молнию, сброшенную с неба», и по

летит уже не по дороге, а по воздуху, пересекая границы России.

«Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху...» В этих конях не узнать ни чубарого, ни Заседателя, ни гнедого. Это не те знакомые нам коняги, на которых покрикивает Селифан и которым, осерчав на Чичикова за то, что он отказался играть с ним в карты, отказался дать овса Ноздрев. Это окаменевший в медном литье ветер, это само движение, получившие права бессмертия.

Медные груди коней Гоголя навевают сравнение с Медным всадником Пушкина. Тут есть наследование и спор. Ибо на медном коне Пушкина скачет самодержец, «горделивый истукан», здесь — до момента превращения частной тройки в птицу-тройку — простые смертные. Там царь, здесь Чичиков, Селифан и Петрушка. Там самолюбие, и честолюбие, и государственная воля, здесь — поиски путей к вечной истине через отрицательные цели, через миллион.

Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта? —

спрашивает Пушкин. Вопросом, обращенным к Руси-тройке, завершается и первый том поэмы Гоголя.

Ответ должны были дать второй и третий тома, потому что поэма Гоголя, как и «Божественная комедия» Данте, имела в планах три части.

Чичиков должен был подняться из ада в чистилище, а затем заглянуть и в заповедные области «рая», хотя слово «рай» употребляется в тексте поэмы исключительно в ироническом смысле. «О! это была бы райская жизнь!» — восклицает Чичиков в ответ на мечтания Манилова о том, как они вместе будут жить «под одною кровлею». Ну, как губерния? — спрашивают его после поездки по помещикам. И он отвечает: рай, просто рай!

Однако в конце поэмы Гоголь вдруг заводит речь о «бесконечном рае... души», и, как многие высокие понятия, над которыми Гоголь ранее подтрунивал, а позже принимал как высокие, это упоминание о «рае» не кажется нам смешным. Смех сменяют слезы, а ирония перерастает в апофеоз.

## 7

Поэму Гоголя не раз сравнивали с «Божественной комедией» Данте. Гоголь и сам дал

к этому повод, вспомнив великого итальянца в том месте «Мертвых душ», где рассказывается, как Чичиков путешествует по губернской преисподней. Его и идущего с ним Манилова ведет «один из священнодействующих... приносивших... жертвы Фемиде», который прислужился нашим друзьям, «как некогда Виргилий прислужился Данту».

Конечно, Чичиков не Данте, но сходство есть. Сходство есть в самом направлении движения и в оживлении «мертвых душ», которые и у Данте из бесплотных теней превращаются в его современников. Беседы Данте с мертвыми в аду и чистилище отдаются отзвуком в беседах Чичикова с купленными им крестьянами.

Но Данте оставляет своих собеседников и идет дальше, а Чичиков буквально увозит их с собой и тем самым как бы «выводит» на свет. Толпа мужиков, купленных им, заслоняет в поэме толпу живых, которые кажутся мертвее мертвых. Данте всецело погружается в отошедший мир, Чичиков лишь отчасти — Гоголь чередует сцены «загробные» со сценами в мире сем, и эта смена планов позволяет ему свободно переходить из одного мира в другой. Собственно, у Гоголя это один мир — полнокровный мир русской жизни, в котором оснований для утверждения и апофеоза столько же, сколько и для отрицания.

В этом смысле творение Гоголя взвешено и уравновешено в своих частях. В нем нет провалов, а есть волновые колебания, отражающиеся в колебании самого стиля, переходящего от «жанра», от комических сцен к «лирической вьюге» и чеканным строкам оды.

Какое бы великое произведение литературы мы ни взяли, его герой обязательно передвигается в пространстве, пересекает моря и земли и, если даже и путешествует по собственной земле, все равно бродяга и путник.

Чичиков из тех же героев. Сам автор его тоже путешественник. Архив Гоголя забит дорожными. «По указу Его Величества государя императора... самодержца всероссийского... От города Одессы до Москвы коллежскому ассессору Николаю Гоголю едущим под собственным экипажем из почтовых давать по четыре лошади с провозником за указанные прогоны без содержания». А вверху бумаги двуглавый орел и по бокам ее внизу печати с теми же орлами (только поменьше) и надписями внутри печатей «по казенной надобности».

Чичиков — в отличие от Гоголя — едет по «противуказенной» надобности. Но если рассудить здраво, то тут его путь смыкается с



путем капитана Копейкина, тоже привыкшего обижать казну.

Итак, автор едет по казенной надобности, то есть с государственными целями, а Чичиков нет. Но добавим: пока едет. Может быть, и России, как и ему, предстоит сначала, по идее Гоголя, изведать соблазны кривых путей, чтоб потом вывернуть на прямой путь?

«Мертвые души» — центральное и основополагающее творение Гоголя, к которому он подошел с опытом русской литературы, нажитым до него, и, выйдя из которого, русская литература, набрав силу дыхания, стала всемирной. И хотя Гоголь в каждом своем сочи-

нении ставит перед собой максимальную цель, в этой странной поэме, чье имя «поэма» не объяснено до сих пор, он создает русский «негативный» эпос, перерастающий по ходу дела в апофеоз, равный по масштабам, может быть, апофеозу древних греков.

Были и до Гоголя поэмы, хотя бы в самом названии своем охватывающие предмет крупно и исторически звучно: «Россиада» Хераскова, например. Был пушкинский роман в стихах, но в прозе никто — до Гоголя — не дерзнул охватить Русь «со всех сторон», делая национальное всеевропейским, а всеевропейское национальным.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Т. Иванова. От первого лица.— Маргарита Алигер. Душа поэта.— Вл. Новиков. Труд слова.— Наталья Старосельская. Сорок лет спустя.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Ал. Горюхский. Постигание времени.— Карен Свасьян. «Побуждаю философствовать».

## Литература и искусство

### ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глеб Горышин. Чистая вода. Рассказы. М. «Советская Россия». 1982. 366 стр.

Глеб Горышин. Родословная. Водопад. Запоть. Излука. Тридцать лет спустя. Л. Лениздат. 1983. 398 стр.

Глеб Горышин. По тропинкам поля своего. Странствия. Размышления. Л. «Советский писатель». 1983. 336 стр.

Побывала я в Африке. Земля здесь такого цвета, как прямо из печи еще не остывший кирпич, даже страшно ступить ногою на эту землю, того гляди обожжешься. Мы привыкли к тому, что зелень у нас там сочнее и гуще идет из земли, где чернее земля. А тут, на оранжевой, накаленной до алости почве растут банановые деревья с мясистыми, как слоновьи уши, сочно-зелеными листьями. И нет акварельных, пастельных полутонов, растушевок и подмалевок. Все писано маслом и крыто лаком: на оранжевой земле зелень пальм и бананов. А жара здесь анафемская...

Далеко в Атлантическом океане — невидимые с берега Острова Зеленого Мыса. Страна Кабо-Верде. Последние семь лет здесь не выпадало дождей. Восходы на островах мхурые, затяжные, солнце встает в тумане, расцветное небо затянуто пеленою песчаной пыли, поднятой смерчами с барханов Сахары. А звезды на африканском небе зажигаются не так, как у нас: ковшик Большой Медведицы повернут ручкой в другую сторону, и месяц, как дынная корка, рожками вверх на тверди небес...

Однажды в Тимонихе, в Вологодской области, вышли мы за околицу с Василием Ивановичем Беловым. Дул ровный, широкий, упругий ветер, нес капли дождя и предвестие близкой осенней стужи. Он пропах мокрой

травой и листьями, березой, ольхой и елью, багульником, грибами, должно быть, рыжиками. Ветер был осязаем, плотен и вкусен... Ночью он не давал спать, этот ветер. Ладно бы только позвякивало в окошке стекло. Но появился еще какой-то скребущий, царапающий звук, высоко, на уровне крыши. «Это скворешня,— сказал Белов.— Я ее делал... Надо поправить». В мокрых, ветреных потемках он полез на тополь, будто ему четырнадцать лет. Поправил. Скрип прекратился...

Совсем поздней осенью — в лес за грибами. Грибы не попадались, зато вдруг откуда-то из лесных глубин, будто кверху, к зениту летя, появился гусиный широкоугольник. И так он был широк, что гуси, летящие по краям, должно быть, не слышали вожака, потеряли с ним связь. Строй начал ломаться; в перестройке был порядок: гуси сдвигались ряды, как солдаты на плацу. Вскоре из одного широкоугольника получились два, вершина в вершину, клин в клин, с параллельными сторонами в две шеренги. Гуси переговаривались во все небо о чем-то очень важном для них. Может быть, старые учили молодых, впервые летящих в ряды большой стаи, за тысячи километров, как надо лететь, кому какое положено место в строю...

Масса событий, происшествий, приключений, то смешных, то печальных... Собираясь в странствие, их не предвидишь, но что они

обязательно буди, это знаешь, ради них и пускаешься в путь. Душа обогатилась забываемыми встречами: людей было много, но ни единого неинтересного человека, жизнь талантлива сплошь...

«Жизнь талантлива сплошь» — это фраза из одной ранней повести Глеба Горышина. Книга же прошлого года составлена из произведений самых последних, зрелых лет. «По тропинкам поля своего» — так она называется. Подзаголовок: «Странствия. Размышления».

Странствия Горышина стали и моими странствиями (добрые люди простят мне мистификацию в начале статьи). Таково свойство этой прозы.

Книга содержит повести, рассказы, путевые очерки, воспоминания. Произведения очень разные и по содержанию, и по мысли, и по настроению. Но есть и нечто решительно объединяющее их: все они — от первого лица. Причем лицо это и не думает выдавать себя за лирического героя. Писатель живет и творит открыто, у всех на виду. И об этом надо поговорить отдельно.

Интерес к документальной литературе, литературе факта в последние годы так неуко-снительно возрастает, что, похоже, многие словно бы согласились с Федором Достоевским: «реальная жизнь, факт поэтичнее всего; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы нагнать и напредставить себе повадливый ум человеческий...» Между прозой, которую когда-то мы называли исповедальной, и нынешней прозой документа не только годы, бурно меняющиеся времена, но и само естественное развитие прозы.

Это остро ощущаешь в книгах Горышина. Он вошел в литературу как раз с прозой исповедальной. Как-то отдельно вошел, сам, не в строю. Через запятую, в обойме его никогда не перечисляли. Было у его дарования одно весьма мучительное для самого писателя свойство: «Хотел писать повесть, но получался дневник». В рецензиях его то журили в связи с этим, то похлопывали по плечу: ничего, мол, парень, научись. Правда, Юрий Казаков, великодушный собрат по перу, про первую книгу «Хлеб и соль» написал, что автор представляется ему человеком, щедрым «на красоту и добро», таким, что поманит вас куда-то — «так, что сожмется от глухого волнения сердце». (Вот, может, в ряду с Казаковым Горышина и перечислять? Невелик будет ряд... И то Казакову Горышин все-таки двоюродный. Землепроходство, лиричность прозы роднят их, но очевидная гражданственность, злорадия у Горышина — отличают.)

Есть произведения у Горышина, построен-

ные на чистом вымысле, фантазией его дар не обойден, но есть и такие, где «я» обращено в лирического героя с очевидным усилием.

Все то же стремление к факту и документу диктует, видимо, и особенное отношение к «я». Когда на какой-то странице понимаешь, что «я» вовсе не автор, а лирический герой, это порой, согласитесь, воспринимается как подделка, раздражает. Мужчине же писать от лица женщины «я», а тем более женщине от лица мужчины нынче можно только в юморесках. И тем не менее сколько же бесстрашия должно быть в человеке, чтобы писать свои книги от первого лица! Сколько должно с ним всего происходить и случаться в реальной жизни, в повседневности, чтобы было о чем писать со всеми жизненными реалиями, не отступая от правды факта. Чтобы решиться сказать о тобою пережитом, сокровенном, о чем, может быть, плакал, зубами скрипел, — от первого лица.

Таков писатель Глеб Горышин. Положите перед собою три недавно вышедшие его книги — и он весь перед вами.

...На центральную площадь села Карамышева, под окна гостиницы по ночам зачем-то являлись кони, гулко били копытами об асфальт. Ближе к утру по панели совершали свой променад гуси, махая крыльями и гогоча что есть мочи... А однажды в полнозвездную ночь в степи под Карамышевом столб синеватого света вдруг вырос откуда-то из потемок земных, восстал до самого неба как указующий перст. Свечение в нем было подвижным, живым, и сам он словно перемещался. Утром писателю объяснили, что был запущен космический корабль. От Байконура до Карамышева, центральной усадьбы колхоза «Восход» Змеиногорского района Алтайского края, двести километров по прямой.

От Ленинграда до «Восхода» — намного больше. Но Горышин ездит сюда много лет, из года в год, да в год не по одному разу к своему другу, председателю Антону Григорьевичу Афанасьеву. (Если там дружба — можно ли это назвать литературным постом? А впрочем, можно ли говорить про литературный пост, если нет дружбы?) Писателя волнуют свойства почв, сроки вспашки, ветры, которые приносят сушь или ненастье, проблемы кормов. В колхозе он свой. И колхоз ему свой. Из этой дружбы, многолетней связи родилась повесть, давшая название книге, — «По тропинкам поля своего». Не только «я», но все герои, естественно, живые, все ситуации подлинные.

Повествование неспешное о делах обыденных: работают, отдыхают, снова заработают. Растят хлеб. А читаешь единым духом, пото-

му что «талантлива жизнь сплошь», и любопытен, остроумен рассказчик; и сдержанность сибирская потому и знаменита, что есть что сдерживать людям, страсти кипят; и хлеб не сам идет в руки, а вот все говорят про него: «битва за хлеб», «борьба». В повести нам поведают об этой борьбе и битве, покажут так наглядно, что уже не усомниться в правомерности словосочетания. Хотя, в общем, какая же битва — обыкновенная жизнь идет, обычная наша действительность, будни.

Вот они едут с Афанасьевым в машине по полям, везут кинохронику. «Мир вокруг был пшеничного цвета, ржаного цвета, соломенного цвета, ярко-зеленого цвета озими. Синело небо. На заднем сиденье кинохроника спорила о том, рожь или ячмень вон там у дороги...

«— Пятый, пятый, пятый.— Вдруг что-то обеспокоило председателя. Пятый не отвечал.

— Центральная! Я первый.

— Слушаю, Антон Григорьевич.

Голос у центральной девический, молодой, но есть в нем примесь какого-то металла, необходимого радиоголосу в ранге центральной.

— Зоя, свяжись с пятым, передай ему — воронежские телята на озимых. Пастуха потеряли. Как поняла?

— Вас поняла, Антон Григорьевич. Передать пятому, что воронежские телята на озимых».

Кусочек невелик, да и взят из повести почти наугад, а в нем вместились и красота неба синющего, и шутка (кинохроника спорила), и штрихи к председательскому портрету (хозяйин едет), и это «пастуха потеряли» (не пастух потерял!)... А кусочек-то самый, может быть, даже невинный и невидный.

По той же рации вел Антон Григорьевич переговоры, когда увидел зарево над степью, когда узнал, что комбайн наехал на двух мальчишек... «Темпы, темпы, темпы уборки — он раздувал темпы, подгонял, ответственный за каждый пуд хлеба и за каждое человеческое существо, вовлеченное в конвейер машинной уборки. И чем больше машин становилось на полях, чем сложнее становились машины, чем скорее бежал конвейер, тем тревожнее становилось за мальчишек, им же, председателем, благословляемых на первую самостоятельную жатву, таких же шустрых, любопытных, непослушных, не выполняющих правил техники безопасности, каким был и сам Антон в свои отроческие годы...»

Обыденность, будни, но ведь мгновения будней и есть мгновения истории. Надо уметь видеть их, остановить, осмыслить. Жизнь без искусства, как сказал однажды Александр Твардовский, без «правдивого отражения ее и закрепления ее преходящести, была бы по-

просту бессмысленна. Более того, жизнь, действительность не полностью и действительна до того, как она отразится в зеркале искусства, только с ним она, так сказать, получает полную свою действительность и приобретает устойчивость, стабильность, значимость на длительные сроки».

Горышин входит тесными воротами. Он делает предметом искусства ситуации, никогда не просившиеся на полотно или в песню, — поэтизирует обыкновенные понедельники, вторники, в зеркало искусства глядится обыденность — и приобретает значимость.

Ко времени, когда прозвучали слова Продовольственная программа, дружба писателя с Афанасьевым была уже старой и крепкой, повесть «выходилась» по тропинкам колхозных полей, алтайское солнце грело ее много лет: она вся рождена любовью к этому дивному краю, давней любовью — Горышин приехал когда-то на Алтай целинником, здесь и реальное начало его писательства.

С сожалением, на полуслове обрывая себя, расстаюсь с алтайской повестью. Потому что надо мне сказать еще о многом.

Рассказ «Грибы поздней осени», помещенный в начале книги, с удовольствием увидела бы я в школьной хрестоматии.

Нынче в большом ходу афоризм: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает». Остро сказанное словцо смущает, завораживает, кажется истиной. Но полно, так ли? И можно ли в художественной литературе одно противопоставлять другому, думанье предпочитать писанию? Русская школа предполагает глубину мысли и высокое мастерство, искусство слова... И как же хорошо пишет тот, кто хорошо пишет!

В рассказе про грибы у Горышина: «Солнце садилось, лес наполнялся идущим сбоку и снизу рябиновым светом. Как в гулке, хорошо резонирующем концертном зале, красиво, торжественно пели дрозды, не перебивая друг друга, подражая то горлинкам, то соловьям. Высоко в небе проблеял козодой, мало кем виденная лесная вечерняя птица».

Однажды в октябре писатель отправился за грибами. Проходил человек по лесу осеннему, кое-что повидал, кое о чем повспоминал, поразмыслил.

Вспомнил он одну давнюю свою глухариную охоту. И старого своего товарища, и один их разговор в ту ночь. И как заблудился в болоте, как леший водил его, как пришлось одной спичкой разжечь костер и как спокойно и счастливо стало, когда загорелся огонь.

Ясно, что все кончилось хорошо, потому что вот же он, автор, невредимый и по грибы ходит. Но страшновато. Потому что ночь, и болото, и лес... И даже леший.

Потому я и говорю о хрестоматии, что произведение это, написанное языком образным, чистым, богатым, учит любви к природе, к братьям меньшим, пониманию природы и братьев, умению смотреть, видеть и слышать. Оно гармонично и гуманно, это короткое произведение, и оно емко, как лучшие наши рассказы.

А путешествие по Африке хорошо прежде всего тем, что это истинное путешествие. Писатель смотрит на все такими полными любопытства глазами: ему это все подлинно интересно! Много за свою жизнь повидавший, он чужд всезнайства, высокомерия, самодовольства.

Ему важно знать, как шла в Бисау освободительная война, как свергали пятисотлетнее португальское иго. Про воюющих гвинейцев читаешь, будто и правда братья родные воюют — так им желаешь победы. Про гвинейцев, строящих новую жизнь истово, искренне, чисто — как пишет об этом Горышин. Вся земля — «свое поле» для мыслящего, деятельно желающего людям добра человека...

Особая сфера творчества Горышина — воспоминания о литературных учителях, товарищах по цеху... Особенно о Шукшине: история дружбы двух писателей, письма Шукшина к Горышину, Мария Сергеевна Шукшина, старая, осиротевшая мать...

Книга Горышина — «странствия и размышления», «повести», «рассказы». Но герой их — все один, единый для разных жанров. С обостренным нравственным чувством, с жесткой, неподатливой совестью, очень добрый, деликатный...

Мы не избалованы в нашей литературе образами таких интеллигентов, таких горожан. У нас если нравственность, так уж непременно деревенский старичок или старушка, ее оплот и носитель. А тут — интеллигент. Настоящий. Можно было бы даже сказать рафинированный...

Этот-то интеллигент и возник уже в самых первых книгах Горышина: начитанный, ироничный, иронию свою — как положено интеллигенту — обращающий прежде всего на себя самого. Высшее проявление мужества он видит в преданности и самоотверженном служении делу, идее. Боится быть неискренним, без конца проигрывает в житейском смысле, решительно не умеет пользоваться локтями... Он-то и живет во всех книгах Горышина, ни в чем не давая себе пощады, себя преодолевающий, собою всегда недовольный, все достоинства выдающий в других людях, в каждом встречном, ищущий добродетель, праведность, смысл.

Секрет обаяния этой прозы — в характере ее центрального, сквозного героя. Жизнь ставит его порой в достаточно драматические, а то и трагические ситуации — тот, кто живет открыто, глаз ни перед чем не опуская, в таких ситуациях оказывается неизбежно. Но нравственное чувство, еще в первых, давних рассказах заявленное, и развязывает «любые узлы», из любых тупиков выводит. В книгах писателя встречаешь плотогонов, лесников, художников, метеорологов, охотников, врачей, рыбаков, кинорежиссеров, буровиков, лесорубов, людей, живущих в одно с нами время. Хочется произнести не самое модное сейчас слово — «благородство». Герои Горышина ведут себя в жизни благородно. Они умеют дорожить честью — своей и тех, с кем сводит судьба.

Если прочитать подряд все три книжки, о которых речь, нельзя не увидеть, как неутомимо писатель день за днем делает свою судьбу, не давая себе ни пощады, ни спуска. Слова «в гущу жизни» поистерлись от частого употребления, но смыслу-то не убавилось в них: честному прозаику нельзя не жить общей со всеми жизнью. И чтобы говорить от первого лица, надо иметь на это силу. И право.

Т. МЕАНОВА.



## ДУША ПОЭТА

Антал Гидаш. Утро весеннее, тополь седой... Перевод с венгерского. Составление и редакция поэтических переводов Агнессы Кун. Предисловие С. Наровчатова. М. «Радуга». 1983. 301 стр.

Венгерский юноша Антал Гидаш, наверно, уже думал стихами, может быть, даже записывал свои стихи, но поэтом-профессионалом он не был. Он был профессиональным революционером, сражался на баррикадах в своем родном Будапеште и видел смысл жизни в революционной борьбе. Поэтом, писателем-профессионалом он стал позднее, в Мо-

скве, которая после разгрома венгерской революции дала приют ее солдатам. Венгерский поэт стал советским писателем, советским гражданином, и пережил всем сердцем своим горячим и незащищенным, всей судьбой своей, будни и праздники, торжества и трагедии нашей жизни. А если уточнить, что прожил он с нами с середины 20-х годов до конца

50-х, то ясно станет, как много выпало пережить вместе с нами Анталу Гидашу.

В годы молодости нашего государства молодой Антал Гидаш искренне и увлеченно трудился со всей страной, со всем народом, органически ощущая себя частицей нового общества, во всем стараясь помочь ему, служить ему. Он написал «Марш ударников», который много лет во все революционные праздники многогласно и дружно скандировала Красная площадь. Он сдружился и сблизился с советскими писателями, убежденно и горячо воевавшими за создание новой литературы. Его стихи стали переводить прекрасные русские поэты — достаточно назвать Николая Тихонова, Николая Заболоцкого, Леонида Мартынова, а позднее Давида Самойлова, Бориса Слуцкого. Его голос часто звучал по радио, стихи публиковались в газетах и журналах, выходили сборниками. В зрелые годы он, разумеется, пришел и к прозе — выпустил роман-трилогию, писал статьи и эссе. Но при этом всегда оставался поэтом, прежде всего поэтом, всегда жил необычной и неповторимой судьбой советской поэзии.

Судьба советской поэзии. О ней еще будет написано много книг, которые рассмотрят со всех сторон этот феномен. Ибо, по моему глубокому убеждению, никогда и нигде за все существование человечества и его культуры не обнаруживалось одновременно столько разнообразных и ярких поэтических талантов и не вызвала поэзия такого пристального интереса — не была так очевидно необходима людям. Советская поэзия — явление поистине уникальное, только не надо от нее требовать таких решений, которые проще и естественней было бы искать в других жанрах. Надо ли говорить о том, сколь она хрупка и ранима, эта драгоценная субстанция, поэзия... Категория особая — потребность души. Потребность души того, кто ее творит, и потребность души того, кто ее воспринимает, кому она доставляет ни с чем не сравнимую радость. И, пожалуй, что и сила поэзии определяется только одним измерением — богатством и глубиной творящей ее души.

Всем своим сердцем участвовал Антал Гидаш в жизни нашего народа, нашего государства, но вокруг нас и рядом с нами существовал еще и огромный мир, населенный разными людьми, мир, в котором не прекращались борьба и страдания людей. Шла гражданская война в Испании, и вели на расстрел Федерико Гарсия Лорку. И всегда пылала в сердце поэта любовь, любовь к человечеству, любовь к единственной женщине, любовь к отторгнутой родине, тоска по ней, неуспокоенная дума о ней, тревога за нее. То всплывает в памяти улица Жасмина, то дом

матери, то Дунай, то баррикады девятнадцатого года, погибшие товарищи:

Сорвало с меня повязку,  
и опять болит  
та огромнейшая рана —  
малая страна...  
Я ль ее не отпускаю?  
Иль меня она?

Она непрестанно пылает, «та огромнейшая рана» и занимает в сердце поэта столь большое место, что он порой словно извиняется за это:

Если ж в песне спетой  
много боли этой —  
тридцать лет я не был дома!  
На меня не сетуй!

А в марте 1944 года фашистские войска вторгаются в Венгрию, и скоро приходит весть о том, что родители Гидаша убиты. Сын горячо и гневно оплакивает в стихах горькую потерю, и боль переполняет его душу.

Через тридцать четыре года разлуки Антал Гидаш вернулся на родину, в социалистическую Венгрию, и там, на родной земле, полноценно прожил и проработал последние два с лишним десятилетия своей жизни. Он умер в начале 1980 года, до последнего вздоха работая, до последнего часа оставаясь поэтом. Он был строг к себе при жизни, может быть, чересчур строг, может быть, даже застенчив, и далеко не все, что писалось, включал в свои книги. Очевидно, не разрешал себе уверенности в том, что все, что волнует его, так же взволнует и других людей. Напрасное сомнение: ибо все, что глубоко волнует истинного поэта, неизменно волнует и тех, для кого он творит, тех, к кому обращено его сердце, его волнение!

Через три года после смерти вышла на русском языке новая книга стихотворений Антала Гидаша, и такая она животрепещущая и горячая, словно раскрывшаяся людям живая человеческая душа. В книге любовно собрано, без оглядки и без сомнений, неизбежных для живого автора, все, чем день ото дня жил поэт, отчего жизнь его души так многозначна, так всеобща и так неповторимо индивидуальна. Остро и напряженно вглядывается эта душа в прошлое, снова и снова проверяя для себя, верны ли были единственные решения, верно ли была прожитая жизнь:

Спрашивал закаты,  
спрашивал рассветы —  
нужно было, надо  
затевать все это?

Такая правда и столько боли в этом: в вопросе, что не приходится сомневаться в ответе:

Сорок лет, как вихри,  
мчат меня по свету.

Если б можно было —  
снова б начал это.

И непрестанные горькие сомнения:

Сказал ли все я, что должен был сказать?  
Нет, не сказал.  
Должник я...

И лихорадочная убежденность настойчивого утверждения:

Не я отстал, а вы, когда смирились  
с тем, что земля скулит в душевной  
муке...

Не я отстал, нет, я указывал дорогу,  
указывал с возвышенным упрямством  
тех первых христиан.

Я не отстал, поймите, я остался,  
когда вы суетливо вылезли  
из огненных, пылающих рубах.

И незаживающая боль памяти об ушедших — строки, как удар ножом по живому:

Не все мертвы,  
кого убили.  
Не всякий жив,  
кто убивал.

И рядом с душевной болью, глубокой и непреходящей, с болью живого человека, ко всему в жизни причастного, за все несущего прямую ответственность, ни от какого удара не прячущего голову, становится стократ убедительнее, стократ драгоценнее огромная любовь настоящего мужчины к одной, единственной женщине на свете, любовь, переполняющая душу, переполняющая жизнь.

И трепетное восприятие природы — земли, неба, дерева, цветка. И солдатская верность двум святыням: Революции и Поэзии. И высочайшее проявление любви к жизни — открытая горечь прощания с ней.

Порой она звучит иронично:

Похоже, что лучше умереть молодым,  
но все же  
как можно позже.

Порой трагично:

Когда надежды нет — и страха нет.

Иные стихи кажутся яркой вспышкой мысли, иные поражают точностью, отчетливостью выражения глубокого чувства, иные звучат как заклинание, иные словно крик, другие произнесены словно шепотом — и все это вместе завораживает силой истинного чувства, истинной поэзии. В своей новой поэмной книге поэт, давно и хорошо известный, поражает и увлекает нас новыми оттенками своей индивидуальности, новыми гранями своего таланта.

И одно из последних стихотворений книги — «Приветствие грядущему» — воспринимается так, словно бы человек перевел дыхание, набрал полную грудь свежего воздуха, чтобы дышать дальше и шагать дальше.

Так оно, пожалуй, и есть, ибо книга Антала Гидаша «Утро весеннее, тополь седой...» — это широко распахнутая людям горячая, живая душа поэта, горячее и многозвучное продолжение его существования, открытое утверждение увлеченно и честно прожитой жизни.

Маргарита АЛИГЕР.



## ТРУД СЛОВА

Виктор Соснора. Песнь лунная. Стихи. Л. «Советский писатель». 1982. 175 стр.  
Виктор Соснора. Стихи. День поэзии. 1983. Л. «Советский писатель». 1983.

Отрывистая, резкая речь. Непривычные принципы сочетания мыслей и слов. Образы-парадоксы, соединяющие большое и малое, древнейшее и сегодняшнее. Гулко-тревожное ритмическое движение, не допускающее мелодической плавности.

Стихи Виктора Сосноры не сулят легкого чтения. Но кто сказал, что священная обязанность трудиться не распространяется на читателя поэзии? Вообще стихи могут быть более или менее открытыми и доходчивыми, но если бы не было «трудных» поэтов, то, боюсь, поэзия в целом могла бы утратить силу воз-

действия на читателей. Воздействия, если угодно, воспитательного. Ведь чувства добрые лирой пробуждать — не значит просто говорить об этих чувствах, облекая их в общедоступные формулировки. Не называть, а вызывать формирующие душу эмоции — задача поэзии. А это невозможно сделать, не заставляя душу читателя трудиться.

Не стану утверждать, что «трудные» поэты выше или лучше мастеров, стремящихся к доходчивости и ясности. Поэзия — единая держава, нерушимый союз простоты и сложности. И чтобы успешно нести читателю

свет, ей нужны разные работники, в том числе и те, кто в недрах слова ищет для поддержания вечного огня новые источники энергии. Как было сказано однажды, «кому-то надо за истопника». Работа трудных поэтов, «истопников», оценивается не так скоро и не так единодушно, но ее внутренняя цель — не высокие оценки, а высокая степень понимания явлений.

О чем пишет Соснора? Его главная тема — поиски твердых, незыблемых основ мироустройства и человеческой природы. Тема вечная, но не отвлеченная: в наше тревожное время весомое слово жизнеутверждения становится важным и полезным делом. Самоотверженное и мужественное созидание для лирического героя стихов Сосноры — единственно приемлемая норма поведения. Потому и открывается книга стихотворением-лозунгом, написанным еще в начале 60-х годов: «...гребни, товарищ, — в мире молний необходимо быть гребцом!»

Однако к открытым декларациям автор «Песни лунной» прибегает крайне редко, предпочитая более затрудненные пути отставания заветных ценностей, двигаясь к большому от малого и внешне незначительного. Вот, к примеру, стихотворение «Хутор у озера», казалось бы, не более чем зарисовка прибалтийской природы и быта. Но если не просто промчаться взглядом по этим жестко-прерывистым строкам, а пропустить через себя идущий по ним ритмический ток, то можно ощутить укрупнение смыслового масштаба:

В доме у нас чудеса:  
чокаются на часах  
гири.  
Что чудеса и часы,  
что человеческий сын  
в мире!

Можно, конечно, и прямой проповедью призывать читателя подняться над обыденностью, задуматься о вопросах, стоящих перед человечеством. А можно на конкретных примерах долго показывать, что вопросы эти звучат в каждой мелочи:

Дремлет в бутылках вино.  
Завтра взовьются войной  
осы.  
Капают в землю зерно  
и прорастает земной  
осью.

Здесь не стоит искать аллегорий. Пожалуй, у нас нет права заключить, что вино, дремлющее в бутылках, — это некое подобие смертельного горячего, что агрессивность ос — глобальный символ. Но то, что за этими деталями стоит мироощущение современного человека, живущего в «мире молний», — не-

сомненно. Так же, как и то, что трагически-тревожный тон первого трехстишия преодолевается мужественной уверенностью последующих строк. Земная ось для поэта — не абстракция, а достоверность, эмоционально осязаемый предмет, вещественное доказательство неистребимости мира.

И вынести такой просветляющий смысл из стихотворения можно только в результате эмоционального, а не рассудочного читательского труда. Обратите внимание, как затрудняют дыхание эти укороченные строки: «осы», «осью». Ритм у Сосноры не аккомпанирует теме, а выражает ее. Сама произносительная трудность процитированных строк — следствие серьезности, тяжести смысла.

Творчество Сосноры в научной и критической литературе неизменно сопровождается пометкой «эксперимент». К экспериментам же относятся по-разному, в основном — настороженно. Не вдаваясь в споры о вкусах, заметим, что «езда в незнаемое» — необходимое условие развития поэзии, одна из постоянных ее черт, только вот между отдельными поэтами экспериментаторские нагрузки распределяются неравномерно, и так, в общем, было во все времена. Соснора — из тех поэтов, которые штурмуют космос слова, работают на крайних пределах обновления поэтического языка. И труд этот, кстати говоря, отнюдь не всегда связан с громогласными эффектами и успехами. В начале 60-х годов имя Сосноры связывали с «эстрадной» поэзией, однако довольно скоро стало понятно, что путь у поэта иной, что характер его работы требует повышенной сосредоточенности: «Не удален и не удержан, сам удалился и стою». Отказ от скорых успехов всегда не лишен драматизма, и автор «Песни лунной» с мужественным сарказмом признается:

Да будет так. Писатель пишет стих.  
Читатель чтит писателя. А нам  
в отместку ли за двуединство сих  
ночь у окаменелого окна?

Но именно такой способ творческого поведения оказался для Сосноры наиболее органичен, так вел его собственный стиль и стих. «Писание стихов — это естественная форма существования. Как садовник, сажающий деревья, женщина, пестующая ребенка, так и пишущий писатель!» — говорил недавно Соснора в беседе с корреспондентом «Литературной газеты». И такой «формой существования» для него стал резко индивидуализированный язык, далекий и от прозаически-обыденной речи, и от условно-традиционного словаря, а значит, и непростой для читательского восприятия. Так что это ведь откуда



посмотреть: со стороны — «эксперимент», а если изнутри, то:

Одна судьба. Одна судьба.

Все-таки читатель вправе спросить: а какая ему, читателю, польза от сокровенных поэтических поисков? Что ж, на этот вопрос есть ответ. В глубинах слова обнаруживается сила переживания, таится энергия эмоционального взрыва. Поиски новых созвучий, свежих связей слов идут от желания не цитировать чувства, а жить ими в стихе:

Играл орган в необитаемых церквах,  
Его озвучивали Гендель или Бах.

Фонарик в небе трепетал, как пульс  
виска.

И в небе с ним — необъяснимая тоска.

Здесь, собственно, истолковывать ничего не надо. Этот аккорд «в небе с ним — необъяснимая», если его пережить, исполнить на читательском душевном инструменте, передаст нечто более сложное, чем логическая информация.

Трудность стихов Сосноры именно эмоционального, а не рассудочного свойства. Нередко у него слышится грустная ирония по поводу распространенной склонности видеть в поэзии систему знаков, подлежащих рациональной расшифровке:

Ты потрогай — рвется струна,  
Аполлон требует стрел.  
Этот знак «сердце-стрела»  
устарел, брат, устарел.

Рискованно в наше время говорить о сердце, пронзенном стрелой. Этот знак «сердце-стрела» действительно встречается теперь только в юмористических рисунках. Но здесь речь не об этом, а об опасности утраты тех ценностей, которые ни от каких знаковых условностей не зависят.

Есть два вида чувствительности. Одна склонна к многословию, другая не выносит лишних слов. Все согласятся, что краткость ближе к правде, но порой эту правду уловить в ней не так просто. Вчитаемся в финал стихотворения «Гамлет и Офелия»:

Ничего нет у меня —  
ни иллюзий и ни корон,  
ни кола и ни коня,  
лишь одна родина — кровь.

Многие поэты говорили о своей кровной любви к родине. Слова «родина» и «кровь» тянулись друг к другу, ощущая неслучайность своего корневого созвучия. И вот Соснора вызывающе соединяет эти слова, отбрасывая все логические и синтаксические мотивировки. Приведенные строки поначалу могут вызвать непонимание и даже раздражение, но в конечном счете они способны помочь читателю обнаженно пережить то высокое чувство, о котором идет речь.

Понять поиски поэта помогает и знание тех традиций, к которым он причастен. В числе воспреемников поэтических заветов Маяковского называли недавно Соснору Г. Горбовский, Ал. Михайлов, М. Пьяных. Это верно, и Соснору связывает с традицией Маяковского не только словесно-стиховое экспериментаторство, но и неожиданное сочетание в характере лирического героя мужества с нежностью. (Отсюда и сравнение себя с мальчиком. Вспомним у Маяковского: «Мальчик шел, в закат глаза уставя...», отозвавшееся у Сосноры: «шел мальчик с крыльями и лирой...»)

Но еще вернее считать учителем Сосноры того, кого Маяковский назвал «честнейшим рыцарем» поэзии. Хлебниковская свобода от быта, непредсказуемость мысли, наивность, славянская архаичность и современная разговорность — вот ориентир, в свете которого «нестандартность» стихов Сосноры получает историко-литературное объяснение. Тут можно говорить о двух традициях внутри той поэтической школы, которая пока чаще воспринимается как нерасчлененное единство. Для Маяковского характерно постоянное строительство новых сравнений из новых контрастных материалов: сегодня наиболее последовательно по этому пути идет Вознесенский. У Хлебникова же каждое метафорическое сближение становилось как бы законом природы, переходило из произведения в произведение. Потому так трудно понимаются его стихи порознь и потому же они, в общем, просты для тех читателей, которые чувствуют целостный хлебниковский контекст, владеют хлебниковским языком как системой.

Та же закономерность в книгах Сосноры. Лучшим комментарием к «непонятому» стихотворению здесь будет... другое стихотворение. Резкие сближения вроде «родина — кровь» станут эмоционально доступными, если чувствовать те смысловые грани, которые слово-кристалл приобрело в индивидуальном мире поэта.

С Хлебниковым роднит Соснору и внутренняя потребность в свободном стихе. Верлибр для него не дань изысканности, а предельное выражение раскованности, наизной непредвзятости взгляда на мир:

...Камни лежат на тропинках, как яйца  
живые  
в своей скорлупе!

Размер и рифма в данном случае были бы ненужными украшениями для этого щемяще-пронзительного образа.

Опыт Сосноры демонстрирует русские корни свободного стиха; недаром одним из первых произведений поэта было вольное переложение «Слова о полку Игореве». Именно





кам, завтрашним врагам рейха, совершил поступок, который он сам именует донкихотством.

Обусловленность его решения осталась за границами повествования. Почему, находясь в самой цитадели фашизма, осознав реальную силу его, Гохман покидает Германию и предупреждает поляков о нападении? Ведь усилия Гохмана предотвратить неизбежное, по сути, так же обречены, как и попытка Адама Коссовича уйти в вымышленный мир...

Вацлав Билинский размышляет о судьбе своего поколения, о тех, кого сентябрьская катастрофа застала врасплох, но не оттого, что они слепо доверяли словам министра Бека и санационной верхушки, а оттого, что не хотели верить своим собственным глазам, отмахивались от реальности. Однако если бы проблематика «Конца каникул» исчерпывалась только этим, вряд ли роман был бы настолько значителен и актуален.

Поколение Колумбов у Билинского сопоставляется с поколением немецкой интеллигенции, представленной в романе не одним лишь вымышленным героем Эрнстом Гохманом, но и реальным лицом — Клаусом Манном, писателем-антифашистом, автором известного романа «Мефисто», по которому недавно был снят фильм, обошедший все экраны мира.

Имя Клауса Манна возникает в «Конце каникул» лишь однажды, когда Гохман просит Коссовича переслать Манну письмо о том, что он хочет войти в контакт с группой немецких эмигрантов. Но и само письмо Гохмана и упоминание адресата содержат косвенную мотивировку гражданского выбора, сделанного героем, и ключевые слова диспута центральных персонажей — родина, долг, честь, справедливость — становятся по-настоящему весомы.

Напомню: отличие от многих произведений, повествующих о Колумбах, хронологическое время у Вацлава Билинского сжато до нескольких дней перед гибелью героев в первом же сражении начавшейся войны.

В трилогии Романа Братного, в «Узлах жизни» Зофьи Налковской, в «Поколении» Збигнева Залуского, в «Сентябре» Ежи Путранента мы наблюдали и н а з р е в а н и е и развертывание трагических событий, проделывали экскурсии в прошлое Польши, познавали характеры в их собственной эволюции. Билинскому же важно показать, насколько неожиданным — при всей предсказуемости событий — потрясением основ явилось для Колумбов 1 сентября 1939 года. Мир распался при первых же орудийных залпах. Рушился

не только привычный мир, образ жизни, но и строй мыслей, чувств таких «посторонних свидетелей», как Адам Коссович. А томик сказок Гофмана, с которым Коссович не расставался даже в напряженные августовские дни перед самой войной, немецкий офицер бросит в костер. Этот штрих под пером Вацлава Билинского многозначен.

Польскому интеллигенту Адаму Коссовичу необходимо понять связь культурных, эстетических традиций, а через нее — связь наций, народов, человечества. Он задумывает написать монографию о варшавском периоде жизни великого немецкого сказочника. Германofil Коссович не хочет и не может принять реальность фашизма в стране, окрашенной для него сентиментальными, ностальгическими воспоминаниями и переживаниями, связанными с бабушкой Севериной, детством, первыми книжками и игрушками. Ему близка мысль Достоевского о том, что красота спасет мир.

Немецкий интеллигент Эрнст Гохман некогда считал вместе со многими другими, что приход Гитлера к власти — «это только реакция на успехи коммунистов». Но когда близость войны стала очевидна, Гохман понял, что «сегодня все является политикой» и что у человека в подобной ситуации «уже нет личных дел». Каждый поступок, каждое движение человеческой души социально обусловлены и значимы — мир может быть спасен лишь усилиями людей, объединившихся против фашизма.

И конечно же, реальную ситуацию не могут изменить ни прекраснодушные верования Коссовича, ни даже самоотверженный поступок Гохмана. Сообщив польскому военному командованию, что 26 августа в 4 часа 45 минут Германия нападет на Польшу, Гохман даже не мог предположить, как его встретят на польской стороне. Менее всего ожидал он, что поляки примут его за шпиона; что не отправленное Коссовичем письмо Клаусу Манну будут пытаться расшифровать; что в немецкой газете будет опубликовано извещение о его смерти, подписанное «погруженной в траур его первичной организацией НСДАП»... И что всему этому польские власти поверят больше, чем его словам о долге немца и гражданина, и решат во избежание открытого конфликта вернуть Гохмана в Германию...

Важное место в романе занимает и польский офицер Вильчинский. Это один из немногих, кто ощущает необходимость предотвратить надвигающуюся катастрофу. Вильчинский не надеется ни на какие чудеса, и совершенный им поступок, пожалуй, единствен-

но возможен перед лицом начавшейся войны. Наслушавшись речей полковника Клена-Савицкого о морально сложенной Германии, о блефующем игроке Гитлере и так далее, Вильчинский «посадил группу лучших саперов в здании таможи. Приказал им: ни на секунду не отлучаться от моста, от заложенной взрывчатки. С таким расчетом, чтобы мы успели взорвать мост, если немцы нападут. Это все, что мы можем сделать».

Так и было сделано, но силы оказались слишком неравными.

Первое же осознанное, самостоятельное решение Коссовича — во что бы то ни стало спасти Гохмана, «самого себя, свое достоинство, уважение к собственным принципам» — привело его к гибели. Слишком поздно пришло к герою Вацлава Билинского прозрение. «Брашка догорала. Был первый день, почти

что первый час второй мировой войны» — эти слова и заканчивается роман.

В романе «Конец каникулам» обозначился новый аспект темы Колумбов. История Адама Коссовича существенно обогащает и дополняет образ воина, который встает со страниц романов и повестей других художников народной Польши, помогая осмыслению тех величественных и трагических лет.

Роман Вацлава Билинского появился в 1979 году. В нем уроки прошлого, осмысленные с высоты современного опыта. Четыре десятилетия — это по праву время подведения итогов, время ответственности за это прошлое перед будущим. Вацлав Билинский именно так понял свой долг ровесника Колумбов, свою ответственность писателя и гражданина.

Наталья СТАРСЕЛЬСКАЯ.

### Политика и наука

## ПОСТИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Писатель и время. Сборник документальной прозы. Составитель Александр Гангнус. М. «Советский писатель». 1983. 488 стр.

**Ж**анрово-тематическая аннотация этой книги наверняка вызвала бы удивление: публицистическое письмо литератора своим землякам рядом с историческим исследованием эпохи Ивана Грозного, размышления о нравственном мире человека и рассказ о захватнической политике английского империализма в Афганистане в XIX веке, «производственный очерк» о бригадном подрае соседствует с заметками об эстетическом воспитании малышей... Проблемы психологии и прогнозирование землетрясений, вопросы врачебной этики и организация быта на Атоммаше, мещанство, экология... Мыслимо ли такое разнотемье под одной обложкой?

Однако поставленные рядом, эти очерки, письма, заметки, размышления не только не отторгают, но словно бы и высвечивают друг друга. Попади работа Елены Макаровой в чисто педагогический сборник, а очерк Андрея Никитина в какой-либо исторический вестник, боюсь, читательское впечатление от них было бы слабее.

Единство книги в немалой степени создается именно переключками между тематически несхожими материалами. Ю. Нагибин рассказывает об охотниках, расстрелявших человеческое в самих себе, а Е. Богат — о парадоксе эгоизма, убивающего личность. Е. Макарова предупреждает об опасности «деятели», для которого «действие — само по себе оправдание», а в очерке А. Злобина «Наводка на резкость» такой деятель изо-

бражен («Я строю... Мне думать некогда»). Виктор Розов размышляет о важности памяти, о необходимости семейных архивов, и словно бы откликается ему героиня Евгения Богата: «...как я могу не беречь письма и документы, которые передаются в нашей семье вот уже более 150 лет. В них образы ушедших людей». В. Тендряков говорит, что для него интеллигентность определяется «наличием в человеке той струны, которая чутко отзывается на твои колебания», и это речь о том же самом понимании (в данном случае о понимании взрослым ребенка), о воспитании которого заботится Е. Макарова, преподаватель лепки в экспериментальной детской студии.

Составитель обозначил жанр публикуемых очерков как «документальная проза». Может быть, точнее было бы — «писательская публицистика». И хотя в теории литературы такого термина нет, но писательская публицистика существует, отличаясь, на мой взгляд, от журналистской тем, что больше интересуется не производственной, научной или экономической проблемой как таковой, а ее влиянием на человека.

Этот интерес рожден одним и тем же временем, сегодняшним — временем углубленного постижения прошлого и тревоги за будущее.

Внешне, к примеру, очерк Елены Макаровой — дневниковые зарисовки воспитателя, привлекающие свежестью материала, точ-

ностью наблюдений и несомненной любовью автора к детям. Но занимают ее не те конфликты между педагогами и начальством, педагогами и воспитанниками, на которых обычно строятся произведения о школе, Е. Макарову волнует будущее ее питомцев, точнее, вообще наше будущее.

Вот сценка: учительница стремится, чтобы дети услышали «стон» замурованного в пластине слоненка и высвободили его из плена. Что это — остроумный педагогический прием «оживления» скучного урока? Нет, само существо урока — научить прислушиваться к страданиям других, научить сочувствию и действию! Поэтому так драматично — и не только для преподавателя или ее маленького ученика, но и для читателя — продолжение этой сцены, когда пришедшая в студию мама ребенка небрежно сминает на глазах потрясенного сына уже живой для него кусочек пластилина:

«— Что ты сделала! — кричит мальчик. — Зачем ты смяла?»

— Он лег спать, — утешаю я мальчика. — Придешь домой, откроешь коробку и поможешь слону проснуться.

— Слоны сплюсциваются, когда спят? — с надеждой спрашивает мальчик.

На глазах совершилось убийство. На глазах возникла надежда на воскрешение. Ожила смятая детская душа.

Разве это только педагогический очерк? Разве он не о самом главном, что волнует нас всех сегодня: что станет с человеком? каким вырастет поколение наших детей? будет ли прочна его нравственная и духовная связь с поколением нынешним и предшествующими ему?

Ощущение единства времен, сосуществующих в человеке, пронизывает почти все очерки сборника. Главным его героем становится именно Время: и прошлое, и настоящее, и будущее. Эти три категории не только одновременно в человеке — они неразрывны, и бывшее прошлое волнует не менее сильно, чем не бывшее еще будущее. Вот почему органично вписывается в книгу и очерк А. Никитина «Человек без лица».

Посвященный XVI столетию, он касается темы, вроде бы весьма далекой от злобы дня: был ли у Ивана IV соперник — претендент на престол, и не его ли существование явилось причиной кровавых безумств первого русского самодержца? И все же работа эта — прежде всего писательская публицистика, проникнутая пафосом современности. Для автора, историка и археолога по профессии, прошлое не минуло и предстает в его работе не интригующим детективом, а частью нашей общей биографии.

«Минувший день не стал чужим», — так определил Твардовский мироощущение современного человека. Даже день, минувший очень давно. Очерк А. Никитина привлекает обостренным восприятием прошлого, когда оно — словно бы частица личной жизни. Раздвигая границы дня нынешнего, писатель не нас уводит из современности, а прошлое вводит в наше сегодня, потому что, говоря словами автора, новые исторические знания «не только меняют точку зрения на то или иное событие, но незаметно меняют наш взгляд на мир и меняют нас самих».

Думаю, сегодняшний поэт не воскликнет: «Время — вещь необычайно длинная!» Оно предельно уплотнилось, время, спрессовалось, словно в гигантском праатоме. Видимо, в этом причина и того далекого от былинной неторопливости поведения писателя, который нередко врывается в пространство своего повествования, чтобы действовать как один из его героев, влияя сейчас же, теперь же на это стремительно мчащееся время.

Так возникает в сборнике лирический образ автора — человека прежде всего активного.

Все чаще он сам — участник описываемых событий. Не популяризатор кем-то выдвинутой и аргументированной гипотезы, а ее создатель и исследователь, как А. Никитин. Не мимоходом заглянувший на объект корреспондент, а постоянный пропагандист и агитатор нового дела, «свой человек» на заводе, как А. Левиков на КТЗ. Не «человек со стороны», но педагог, как Е. Макарова, геофизик, как Л. Вермишева, врач, как И. Шапов, земляк своих героев, как Ф. Абрамов. Поэтому авторский поиск втягивает в свое силовое поле и читателя, делая его соучастником авторских открытий, как и положено в лирике, сочувствующим. И это тоже примета нашего времени, о котором так хорошо сказал поэт, во всем стремившийся «дойти до самой сути»:

Все время схватывая нить  
Судеб, событий,  
Жить, думать, чувствовать, любить,  
Свершать открытья.

Людей искусства издавна мучило отсутствие очевидных результатов своего труда, некая зависть к людям действия, выраженная, скажем, словами М. Цветаевой: «За исключением дармоедов, во всех их разновидностях, все важнее нас». И все-таки надуманным представляется вопрос авторов очерка «Зеркало разрыва»: «Имеет ли право писатель, исправляющий жизнь пером, исправлять ее руками — если второе явно вредит первому?..»

Жизнь — не постановка для натюрморта, а искусство — не академическое чистописание. История литературы знает немало примеров, когда литераторы уходили «делать жизнь», чтобы уже потом о ней рассказывать.

Современная литература не только постигает свое время и запечатлевает его. Расширяя

внутренний мир человека, перестраивая его, она тем самым влияет через него на это время. И книга, изданная «Советским писателем», активно участвует в этой работе, свивая «обаполы сего времени», если прибегнуть к торжественному, древнему стилю.

Ал. ГОРЛОВСКИЙ.

Загорск.



### «ПОБУЖДАЮ ФИЛОСОФСТВОВАТЬ»

Арсений Гулыга. Шеллинг. М. «Молодая гвардия». («Жизнь замечательных людей») 317 стр.

Книга о Шеллинге давно уже стала не-обходимостью. Шеллингу не повезло, говорим мы, имея в виду не только отечественную, но и зарубежную о нем литературу. О Шеллинге либо вообще не пишут, либо пишут так, что лучше бы, пожалуй, и вовсе не писать. К примеру, в почти тысячестраничной «Истории западной философии» Б. Рассела Шеллингу отведено всего пять невозмутимо аккуратных строк. Вдохновенный художник понятий, потрясший некогда царство мысли тем же чудом неиссякаемости, каким поразила мир звуков его старший современник — Моцарт, Шеллинг нынче оказался в ряду забытых или полужабытых философов. На сотни публикаций, посвященных взглядам Сартра, Ортеги-и-Гасета или какого-нибудь другого философа модного направления, едва ли придется хоть одна монография о Шеллинге.

В книге А. Гулыги скудному и, в общем, негативному комментарию, которым наше время откликнулось на философию Шеллинга, противопоставлена иная трактовка. «Чтобы вести застольную беседу с мудрейшими, — замечает автор, — надо знать их язык. Для Шеллинга язык мировой мудрости — родная речь. А нам, вознамерившимся постичь философа, придется учиться и учиться...». Правда, по мнению того же Рассела, учиться у Шеллинга вряд ли стоит, поскольку его философия «не представляет важности с философской точки зрения». Однако вопрос в том, что считать такой точкой зрения. В этом отношении подчеркивание А. Гулыгой реально-го, а не метафорического смысла «мировой мудрости» в корне меняет ситуацию: Шеллинг не просто «представляет важность», обойтись без него в философии невозможно.

Центральная проблема книги — поздний Шеллинг. Если Шеллинг «Системы трансцендентального идеализма» и «Философии искусства» более или менее прочитан и осмыслен, то, к сожалению, этого никак нельзя сказать о Шеллинге «Философии мифологии» и «Философии откровения». Тут он и ныне в глазах

большинства философов сам выглядит едва ли не мифической фигурой, лишенной даже намека на какое-либо откровение. С ним как бы повторилась история Гомера и Данте, помеченная, однако, отрицательным индексом: тех подчас не читают и превозносят, его не читают и поносят. Шеллинг не нуждается в излишних восторгах: слабости его противоречивого мировоззрения сегодня особенно очевидны, но он не заслуживает и того, что Гёте называл «деятельным невежеством». Поздний Шеллинг должен быть прочитан.

Третий по времени (после Канта и Фихте) в плееде немецких классических идеалистов, Шеллинг развивал объективный идеализм собственной системы, перейдя в последние годы жизни к крайним формам мистической философии, ищущей истину в основном по ту сторону границ разума. Вот как писал о Шеллинге его младший современник, Энгельс, резко и справедливо критиковавший в своих памфлетах многие положения «Философии откровения»: «Когда он еще был молод, он был другим. Его ум, находившийся в состоянии брожения, рождал тогда светлые, как образы Паллады, мысли, и некоторые из них сослужили свою службу в позднейшей борьбе... Огонь юности переходил в нем в пламя восторга; богом упоенный пророк, он возвещал наступление нового времени... Но огонь угас, мужество исчезло, находившееся в процессе брожения виноградное сусло, не успев стать чистым вином, превратилось в кислый уксус».

Характеристика, данная Энгельсом Шеллингу, определена. Однако оценка последних его трудов, в сущности, неоднозначна. Так, в частности, идеи позднего шеллингианства несомненно сыграли немалую роль в развитии философии мифологии — факт, признанный еще Энгельсом. Можно, по-моему, даже утверждать, что учение Шеллинга о мифе стало одной из основ современной науки о мифе.

Очень интересны также рассуждения Шел-

линга о бессмысленности безграничного прогресса, о приведении кантовского «беспредельного, ничем не регулируемого человеческого произвола» в соответствие с природой (чем не нынешнее экологическое мировоззрение?), о безнравственном знании и знании, содержащем мудрость (то есть в сегодняшних терминах — об этическом самоконтроле науки, о науке и нравственности). А ведь писал все это философ в середине прошлого столетия!

«Мысли Шеллинга несвоевременны, — вот как резюмирует А. Гулыга итог своего прочтения позднего Шеллинга. — XIX век жил идеей буржуазного прогресса — накопления богатств, роста производства, расширения знания, захвата территорий. А тут приходит мудрец и говорит: пора остановиться. Иные смотрели на него как на кликушу, его сетования казались лишними почвы. Они обрели реальный смысл в наши дни...». Разумеется, без свойственной Шеллингу мистической окраски.

Подробно рассматривает А. Гулыга и «русского Шеллинга» — тему, пронизывающую всю книгу: от прекрасно подобранных тютчевских эпиграфов к каждой главе вплоть до последней главы «Русская звезда». Связь Шеллинга с русской культурой, с русским духом настолько органична и глубока, что обойти ее было бы существенным изъяном в любой книге о Шеллинге. «А когда Шеллинг заговорил о «великом назначении» России, о том, что он ожидает от нее «великих услуг для человечества», что ему «было бы весьма по сердцу войти с Россией в умственный союз», любовь к Шеллингу переросла в почитание, в культ», — констатирует А. Гулыга. Эту любовь пронесли в русской культуре Одоевский и Чаадаев, Киреевский и Тютчев, Аполлон Григорьев и Владимир Соловьев... Страницы, посвященные этой теме у А. Гулыги, касаются не только истории и специфики русского отношения к Шеллингу, есть здесь и попытка возрождения этого отношения, естественно, с учетом нынешних наших знаний.

Новая книга о Шеллинге достойно продолжает ряд прежних работ А. Гулыги — о Гердере, Канте, Гегеле. Она увлекательна, артистична, импульсивна, популярна в лучшем смысле этого слова. Она не только информирует, но и побуждает к активности, заражает пониманием и — что гораздо важнее — волей к пониманию. Шеллинг явлен не в перечне параграфов, претендующих на образцово отчужденное изложение этапов и положений его философского мировоззрения; само это мировоззрение изображено на конкретном фоне жизненного мира философа,

расцветенного интереснейшими биографическими штрихами. А. Гулыге удалось ввести читателя в философию Шеллинга не через последовательный анализ текстов его собрания сочинений (что было бы «занаучиванием» неспешательной работы), а через жизнь. Она и оказывается философией Шеллинга, ибо он умел не только писать философские книги, но жить в соответствии со своими взглядами, так что подлинным введением в их систему смогла стать в первую очередь личность и судьба самого философа. Шеллинг А. Гулыги — не кабинетный отшельник, слагающий серию шифрограмм, а площадной (в греческом смысле) ритор, предпочитающий готовым понятиям стихийную пульсацию мысли, рождающейся в непосредственной радости словотворчества.

Конечно, наряду с лектором, срывающим аплодисменты и чествуемым факельными шествиями, есть и другой Шеллинг: затворник, темный и недоступный эзотерик, смущающий своих коллег по факультету гнозисом самофракийских мистерий и углубленным толкованием загадочных страниц Якова Беме. Этот Шеллинг почти отсутствует в работе А. Гулыги, но иначе, по-видимому, и не могло быть в популярной книге, впервые знакомящей с Шеллингом широкие читательские круги.

Читая А. Гулыгу, удивляешься той завидной легкости, с которой он осиливает труднейшие темы, словно бы речь шла не об извечных головоломках, а о шашках, переставляемых гераклитическим младенцем. «Jeu perlé» (жемчужная игра) — говорят в подобных случаях пианисты. Таково ощущение от книги «Шеллинг»: раскованная незажатая мысль, рассыпающаяся бисером нюансов, аналогий, умозрительных догадок и биографических подробностей.

Но легкость — не облегченность. А. Гулыгой поднят тяжелейший материал, груды томов лежат в основании его книги, ворох выписок, цитат, сведений. Читателю знать о них, пожалуй, не обязательно: он приглашен на «пир» (греческий вариант научной конференции) и ему ни к чему подробности «кухни»; тем не менее он невольно многое узнает о ней по пиршественному столу, который накрыт автором для всех, как если бы все и были «избранными». Книга о Шеллинге стала той хорошей прозой, что пишется с мыслью о поэзии. Именно такой прозой, думается, и нужно рассказывать о Шеллинге, ибо собственные его труды полны мыслей о поэзии и рассматривается она философом не как вид искусства, подведомственный поэтам *ex professo*, а как тип мировоззрения, некая тайная дверь, за которой открывается картина мира.



Что касается сугубо философского содержания книги, то достоинства авторского стиля ощущаются и здесь. Пусть читатель для примера обратит внимание на главу «Жизнь в искусстве», где А. Гулыга обращается к выяснению одного «прискорбного эпизода», связанного, как считает автор, с надуманной полемикой вокруг авторства книги «Ночные бдения». Аргументы А. Гулыги в пользу версии, приписывающей роман Шеллингу, приведены с чисто философским умением и публицистической убедительностью. Впрочем, описание «прискорбного эпизода» само по себе эпизодично, — А. Гулыга освещает его, не прерывая основной нити повествования о жизни и творчестве Шеллинга.

Конечно, придирчивый критик новой работы А. Гулыги отметит также неполноту и ряд пробелов в изложении взглядов Шеллинга. Сложнейшая проблематика, требующая годов

напряженных штудий, сжимается подчас до размеров абзаца, авторские обобщения не всегда соответствуют уровню глубины предмета: так, шеллинговская теория мифа представлена в книге в столь общих чертах, что у читателя может возникнуть превратное представление о масштабах и серьезности теории. Правда, уместить в главе тему, рассчитанную на солидное исследование, задача невозможная, но (в данном и некоторых других случаях) автор мог бы дать понять читателю, что проблема отнюдь не исчерпывается коротким упоминанием о ней.

Все эти замечания, впрочем, становятся второстепенными, если вспомнить слова самого Шеллинга, цитируемые автором: «Я не учу философии... я только побуждаю философствовать».

**Карен СВАСЬЯН,**

*доктор философских наук.*

Ереван.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**МИХ. СОКОЛОВ.** Грозное лето. Роман. М. «Советский писатель». 1982. 688 стр.

**МИХАИЛ СОКОЛОВ.** Грозное лето. Ростовское книжное издательство. 1984. кн. 1 — 454 стр. кн. 2 — 364 стр.

Писателем одной темы — историко-революционной — можно назвать Михаила Дмитриевича Соколова, автора известного романа «Искры». В этом четырехтомном, эпическом по размаху произведении действие завершается январем 1912 года, VI (Пражской) конференцией РСДРП, на которой, по словам В. И. Ленина, «удалось — вопреки ликвидаторской сволочи — возродить партию».

Новый роман М. Соколова «Грозное лето» является своеобразным логическим продолжением романа «Искры». Писатель описывает здесь начальный период первой мировой войны. Семь десятилетий отделяют нас сегодня от тех дней, открывающих качественно новый этап революционной борьбы российского пролетариата. Анализ событий предреволюционной эпохи закономерно влечет за собой обращение в ряде глав к образу В. И. Ленина. Арест Владимира Ильича 26 июля 1914 года и его выступление 28 сентября того же года в Лозанне против социал-шовинистического реферата Плеханова «Об отношении социалистов к войне» органически вписываются в сюжетную канву романа. Оба эпизода написаны эмоционально ярко, мастерской рукой опытного художника и историка.

Хочется отметить большой историко-архивный труд писателя. В январе текущего года Михаилу Дмитриевичу Соколову исполнилось восемьдесят лет, из них три десятилетия (1938—1968) были отданы роману «Искры». Более восьми лет напряженного научно-исследовательского, творческого труда потребовалось для создания нового произведения.

Роман «Грозное лето» посвящен черному в русской военной истории августу 1914 года, когда, несмотря на геройские усилия солдат и младших офицеров, из-за преступного бездействия русского командования потерпела поражение в Восточной Пруссии Вторая армия генерала Самсонова. Некоторые историки и псевдописатели долго спекулировали на событиях августа 1914 года,

поносили всех русских полководцев того времени, в том числе Александра Васильевича Самсонова. М. Соколов в своем романе вывел фигуру этого талантливого генерала, человека безусловно честного, любившего простого солдата и верившего в победу русского оружия. В поражении Второй армии видна скорее не вина, а беда Самсонова и подобных ему одаренных военачальников, скованных в своих действиях бездарным верховным командованием и прямым предательством.

Среди выведенных в романе исторических личностей — царствующие особы, русские и немецкие генералы, дипломаты и министры, политические деятели. Свою историческую и психологическую характеристику получают великий князь Николай Николаевич, военный министр Сухомлинов, командующий Северо-Западным фронтом Жилинский...

Основной сюжетный стержень романа образуется переплетением военно-исторических и бытовых коллизий, а все сюжетные линии тянутся к центральному образу Александра Орлова — офицера Генерального штаба, сына героя японской кампании. Среди других персонажей романа выделяются товарищи Александра Орлова по оружию офицеры Андрей Листов и Николай Бугров, образы Марии и Надежды.

К литературным недостаткам добротного в целом написанного произведения следует отнести массу смысловых и стилистических повторов, перегружающих содержание однообразной информацией, ослабляющих и притормаживающих читательский интерес к сюжетному действию.

Новый роман Михаила Соколова, как мне кажется, можно поставить в один ряд с такими произведениями советской литературы о первой мировой войне, как романы С. Сергеева-Ценского из многотомной эпопеи «Преображение России», как «Города и годы» К. Федина, «Тяжелый дивизион» А. Лебеденко, «Крушение империи» М. Козакова. События далеких лет истории нашего государства, возникая из прошлого, помогают современному читателю лучше понять, вернее оценить настоящее, политически зрело смотреть в будущее.

Вл. Котовсков.

Ростов-на-Дону



**ВЛАДИМИР КАРПЕКО.** Избранное. Стихотворения. Поэмы. М. «Художественная литература». 1983. 302 стр.

Прошлой осенью побывал я в тех подмосковных местах, где сорок два года назад шли кровопролитные бои за Москву,— под Наро-Фоминском, Дмитровом, Химками. Поставил с непокрытой головой у памятников и обелисков, возведенных в честь солдат, погибших в битве за столицу. Здесь-то мне и вспомнились стихи:

Под ясным небом за Наро-Фоминском  
Стоят в октябрьском зареве леса.  
И кажется, что из-под обелиска,  
Как шорох листьев, павших голоса:

«Не надо Фраз про доблесть и отвагу.  
Слова — всего лишь навсего слова.  
Мы здесь стояли. И назад — ни шагу.  
Мы здесь лежим. Зато стоит Москва».

Эти строки, принадлежащие поэту и солдату Владимиру Карпеко, можно было бы выбить на любом обелиске в честь защитников Москвы.

Недавно вышла из печати книга стихов В. Карпеко «Избранное», которая подводит итог его почти сорокалетней творческой деятельности.

На войне В. Карпеко довелось испытать и горечь поражений и радость побед — от переправы через Ладогу на Большую землю, куда был доставлен он, тяжело раненный полковой разведчик, до похода по Прибалтике, до форсирования Одера и взятия Берлина. В стихах «2 мая 1945 года в Берлине» поэт запечатлел последние шаги к победе и первые дни мира:

Еще невнятна тишина,  
Еще в патронниках патроны,  
И по привычке старшина,  
Пригнувшись, мчится к батальону.

И, тишиною потрясен,  
Солдат, открывший миру двери.  
Не верит в день, в который он  
Четыре долгих года верил.

А лучше всего этот путь длинной в четыре года отражен и осмыслен, я думаю, в стихотворении «Дорога под небом», включавшемся во многие антологии и ставшем хрестоматийным.

Мне самому помнится это низкое небо, которое во время бесконечных марш-бросков «качалось на наших штыхах», которое продолжало качаться и на кратковременных привалах, когда казалось, что мы «по небу идем на войне». Это ощущение бесконечности солдатской дороги прекрасно передано в заключительных строках стихотворения — умирающему в пути солдату кажется:

«Дороге — конец...» — замирая,  
Мелькнет в голову у бойца.  
Он так и затихнет, не зная,  
Что нет у дороги конца.

Затихнет, не зная, что следом  
Торопятся маршевики,  
Шагают, упавшее небо  
Успев подхватить на штыхы.

Поэт Владимир Карпеко всегда солдат. И даже за стихами, вроде бы совершенно далекими от темы войны,— за стихами о природе, о человеческой отзывчивости и чуткости я нередко вижу солдатскую их суть,

я слышу удары солдатского сердца, как, скажем, в стихотворении «Костер», огонь которого должен служить людям, давать им тепло на привалах, чтобы им легче было в дороге.

В «Избранном» немало точных и выразительных пейзажных стихов, отличающихся философской глубиной, которая присуща добрым образцам русской пейзажной лирики...

И все-таки главные удачи поэта — стихи, написанные солдатом, стоявшим «лицом к огню». Его не оставляет в покое и дума о смене поколений, о молодых, идущих вслед, о нашем единстве. Это, обращаясь к ним, он говорит об «одних стремленьях и желаньях», о том, что мы находимся «в одном строю, одном ряду». И это — навсегда, потому что:

Но и тогда,  
Когда ступаем  
За тот,  
Последний, окоем,  
Мы вам  
Не место уступаем—  
Мы  
Знамя  
Вам передаем!

Николай Старшинов.



**ДЖАБИР НОВРУЗ.** У земли-планеты. Стихи. Перевод с азербайджанского Анатолия Передереева. М. «Советский писатель». 1982. 87 стр.

**ДЖАБИР НОВРУЗ.** Стихи. «Москва», 1983, № 1.

Мысль Джабира Новруза стремится охватить широкие масштабы бытия. Он пишет о Вселенной, Земле, человечности, свете, добре. Не случайно и сборник назван им глобально — «У земли-планеты». Если говорить фигурально, в капле росы Джабир Новруз стремится увидеть солнце. Вот открывающее сборник стихотворение «Пою тебя, гнездо моих отцов». Для лирического героя гнездо отцов — лишь отправной пункт для совершения «кругосветного» путешествия протяженностью в целую судьбу. Он восклицает, обращаясь к этому первоисточнику вдохновения:

Шумят, шумят могучими ветвями  
Деревья детства моего — дубы.  
И горы стали  
Памяти горами,  
И склоны стали  
Склонами судьбы.

География и этнография отчего края в своем двуединстве выступают как бы фундаментом поэтической биографии автора. Укрупненность художественных обобщений, исповедуемая Дж. Новрузом, наглядней всего иллюстрируется стихотворением «Я так пишу...» Правда, утверждая, что «одна лишь совесть в мире этом и поведырь мой, и судья», поэт затем пишет: «Ее (совесть то есть.— Т. А.) не смыть «теченьям» модным, претит ей балаганный шум». Но модные теченья и балаганный шум вовсе не обязательно отвергаются совестью. Тут поэт, что называется, переусложнил художественную задачу, наградив совесть несвойственными ей отличиями — вкусовыми.



павшей пропасти». И все завершилось благополучно. Фокусник «вынес пропавшего альпиниста, живого и невредимого, только — как и положено пропавшему альпинисту — самую малость заплаканного».

Да, конечно, Любомир Фельдек играет со своим читателем, весело и озорно рассказывая ему фантастические «перепуганные» сказки. Но сквозь непростые сюжетные переплетения проступают светлые, добрые мысли, благородные чувства. И еще: сказочник словно бы тренирует способности ребенка видеть мир неоднозначно, сохранять в нелегкие времена чувство юмора, щедрую способность отзываться сердцем на горести и радости тех, кто тебя окружает.

Г. Петроза.



**ЕВГЕНИЙ РАТНЕР. А главное — верность...**  
Повесть о Мартыне Лацисе. М. Политиздат.  
1983. 351 стр.

В 1910 году В. И. Ленин написал статью «Юбилейному номеру «Zihra», опубликованную в № 100 этой газеты латышских социал-демократов. Анализируя основные черты и особенности революции 1905 года в Латвии, исторический путь латышского пролетариата и его партийного авангарда, Владимир Ильич подчеркнул, что «латышский пролетариат и латышская социал-демократия занимали одно из первых, наиболее видных мест в борьбе против самодержавия и всех сил старого строя... Будучи одним из передовых отрядов российской социал-демократии во время революции, латышская рабочая партия оказалась впереди и в тяжелый период контрреволюции».

Ленин всегда высоко оценивал вклад революционеров Латвии во всероссийское и международное революционное движение. Широко известны имена П. Стучки, Я. Берзиня, Карла Юлия Данишевского, С. Нэхизсона, Я. Рудзутака, Я. Фабрициуса и десятков других борцов за свободу, чья жизнь, освещенная в трудах историков, в произведениях писателей и поэтов, служит примером преданности идеалам коммунизма.

И вот перед нами новое произведение — повесть Е. Ратнера о Мартыне Лацисе (Я. Судрабсе), революционере, чекисте, видном партийном и советском работнике. Автор не стремился описать всю богатую событиями жизнь своего героя. В повести в основном лишь год этой жизни. Но то был первый год советской власти, «начало начал», период особенно ожесточенной борьбы с внутренней контрреволюцией. Именно тогда проходило становление Лациса как одного из выдающихся деятелей ВЧК.

В книге показаны современники Лациса, люди, вместе с которыми он сражался за новый мир и у которых учился: Ленин, Свердлов, Дзержинский и Подвойский, соотечественники Лациса коммунисты Петерс и Петерсон, главнокомандующий Красной Армии Вацетис, гвардия революции — латышские стрелки...

Взаимоотношения героев повести развертываются на фоне драматических событий: борьба с пьяными погромами в Петрограде, раскрытие заговора «Союза защиты родины

и свободы» в Москве и Казани, разоружение анархистов, левозероковский мятеж в Москве. Исторически верно воссоздать панораму тех дней, образы товарищей Лациса по партии и его самого автор книги смог благодаря тщательному изучению исторических работ, интересных воспоминаний (в том числе самого Лациса), документов. И хотя отдельные фактические неточности в повести «А главное — верность...» все же встречаются, в целом в ней безусловно есть то, что мы часто называем духом эпохи. Это достоинство мне как историку хочется отметить особо. Потому что оно — один из главных признаков удавшегося художественно-документального произведения на историческую тему и, в частности, книг из серии «Пламенные революционеры».

Бруно Томан,

доктор исторических наук,



**АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС. Жизнь доказала нашу правоту. Избранная публицистика. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1983. 392 стр.**

«В массах, в самих русских массах заключается судьба русской революции — в их дисциплинированности и преданности общему делу. И нужно сказать, что им улыбнулось счастье. Мудрым кормчим и выразителем их дум был человек с исполинским умом и железной волей, человек с обширными познаниями и решительный в действиях, человек с высочайшими идеалами и самым трезвым, самым практическим рассудком. Этим человеком был Ленин». Такими словами заканчивает Альберт Рис Вильямс, американский журналист, первое свое произведение, посвященное Ильичу, — биографический очерк «Десять месяцев с Лениным».

Вильямс умер в 1962 году. Начиная с 1918 года и до самой кончины, то есть большую часть жизни, он писал об одном — о Ленине, об Октябрьской революции, о нашей стране...

Вернувшись из первой поездки в Россию, где он пробыл корреспондентом почти год — с лета 1917-го, — Вильямс вместе с Джоном Ридом отправляется в турне по Соединенным Штатам рассказывать о большевистской революции. Резонанс этих выступлений был велик. Их была вынуждена заметить даже далекая от левой ориентации пресса. Сотрудник «Нью-Йорк таймс» растерянно острит в передовице: «Величайшим достижением большевиков является не их армия... а Альберт Рис Вильямс, которому рукоплещут огромные аудитории». Буржуазный журналист изумляется метаморфозе своего вполне respectable коллеги, в прошлом священника (правда с социалистическими идеями), и вот — надо же! — «сворачивающего» большевиками. К слову, и позже многие авторы, писавшие о Вильямсе, не удержались от соблазна поудивляться его обращению в «красную веру». Думается, однако, сам Вильямс мог бы, объясняя этот свой шаг, повторить известную формулу: «Ищите ответ в моих книгах».

Раскроем и мы сборник, выпущенный к столетию Альберта Риса Вильямса издательством «Прогресс». Вот как сам писатель объясняет свой сознательный переход на сторону большевиков: «...три месяца в России прибавили мне зрелости, которую в других условиях я не приобрел бы и за три года. Я понял, что революция не игра... Она захватывает тебя целиком, трясет, ломает, крутит, но не отпускает ни на минуту. Если... встать на формальную точку зрения, то я отвечаю: нет, я не большевик... Но я все равно буду помогать им... потому что, как я понимаю, большевики хотят такой же социальной справедливости, какой хочу я».

Вильямса обратила русская революция. И мы понимаем — автор заметки в «Нью-Йорк таймс» был не столько удивлен отступничеством соплеменника, сколько напуган (хотя и не спешил в этом признаваться) убеждающей силой эксперимента, разворачивавшегося по другую сторону планеты. Классовое чутье подсказывало ему: успех Вильямса и опасность его как раз в той жадности, с какой трудовая Америка впитывала рассказы о России, в массовости рукоплещущих аудиторий.

Вильямс — талантливый рассказчик. Мы знаем, несмотря на дистанцию в две трети века, об Октябре в тысячи раз больше, нежели американские слушатели Вильямса, и все же читаем написанное им с неослабным интересом. Дело тут не только в бесспорных профессиональных способностях автора и ценности его свидетельств как очевидца и участника революции. Вильямс-пропагандист решал задачу, продиктованную моментом, злобой дня, но ему удалось создать картину панорамную, яркую и убедительную, сложенную из череды общих и крупных планов, щедрую на детали, лирическую и в то же

время с явными чертами эпоса. Удалось, потому что высокое литературное мастерство у Вильямса соединяется с даром аналитика. Хотя писатель идет по горячим следам событий, строгость его выводов сделала бы честь любому ученому, рассматривающему те дни в исторической перспективе и располагающему необходимыми сравнительными материалами. Вильямс-публицист, Вильямс-исследователь несомненно учится у Ленина. Познакомившись с вождем большевиков лично, прочитав его труды, поняв методологию его мышления, писатель стремится взять на вооружение ленинский подход к фактам. И в этом одна из главных причин того, что интерес к книгам Вильямса сохраняется и сегодня.

В юбилейный его сборник вошел и ряд материалов, переведенных на русский впервые. Но, к сожалению, еще не все наследие писателя-интернационалиста доступно советскому читателю. Остался пока невыполненным совет, данный Горьким Госиздату, — перевести «Русскую землю», книгу Вильямса, вобравшую впечатления почти пятилетних странствий «русского американца» по Советской стране. Сохраняют интерес и более поздние его произведения — о строительстве социализма в СССР, о борьбе советского народа с фашизмом. А очерки, написанные Вильямсом в годы первой мировой войны и изданные под общим названием «В когтях у немецкого орла», видимо, могли бы добавить выразительные штрихи к портрету империализма в целом.

Как верно отмечает профессор Б. Гиленсон, составитель рецензируемого сборника, книги Вильямса — живое, сражающееся наследие. Их место — в арсенале единомышленников писателя.

**Б. Багряцкий.**



---

---

## ПАМЯТИ МИХАИЛА ШОЛОХОВА

Смерть Шолохова — это горе целого человечества. В Шолохове наиболее полно и выразительно воплотился сам образ XX века. Безмерна печаль, невозполнима потеря, касающаяся всех и каждого.

Вместе со всей советской литературой склоняет голову над свежей могилой «Новый мир» — сотрудники журнала, его авторы, многомиллионный читатель. Для несомирцев особенно тяжела эта утрата. В качестве члена редколлегии Шолохов участвовал в послевоенном становлении журнала, не однажды помогал нам добрыми советами, рукописями открытых им молодых дарований. «Новому миру» и его читателям особенно дорого то, что с новомирских страниц шагнула в большой свет героическая «Поднятая целина». В канун войны публикацией в журнале четвертой книги романа завершилась величественная эпопея нашего времени — «Тихий Дон»...

С той поры всякое слово, сказанное в адрес замечательных книг, воспринимается в «Новом мире» повышено чутко, ибо они неотделимы от всей истории развития журнала. Пожалуй, нет такого года, когда критики и литературоведы — авторы журнала не обращались бы снова и снова к шолоховским творениям, рассматривая их в контексте современной действительности, открывая в дорогих строках все новые идейно-эстетические богатства, находя в них ответы на жизненно насущные вопросы времени.

Михаил Александрович был горячим поборником народности и партийности искусства, отстаивал подлинную художественность, каждой своей строкой содействовал реальному формированию и становлению основополагающих принципов творческого метода нашей литературы — социалистического реализма. Созданные им шедевры — от «Донских рассказов» и до «Судьбы человека» — всегда будут веским аргументом в любых дискуссиях об особенностях социалистического искусства, о путях развития мировой литературы. Чье сердце на земле не откликнется благодарно на слова, сказанные Шолоховым в момент вручения ему Нобелевской премии: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждать любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы гуманизма и прогресса человечества».

На всем, что им создано, — отчетливый отпечаток его человеческой личности, высокого шолоховского характера. По нему люди представляют себе живой облик советского литератора — во всем обаянии человечности и мужества, глубокой нравственности и неколебимой принципиальности коммуниста — первопроходца жизни.

Он был гением, а гении бессмертны. Его участие в нашей литературе — это навсегда, на века. Сколько земле стоять, столько и ощущать тепло его души, свет его мудрой мысли.

***РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»***

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Последние письма и статьи. 23 декабря 1922 г.—2 марта 1923 г. 62 стр. Цена 6 к.

**История Коммунистической партии Советского Союза.** Издание 7-е. 784 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Коммунист.** 1984. Календарь-справочник. 303 стр. Цена 50 к.

**Нацистских преступников — и ответу.** Сборник. 223 стр. Цена 55 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Воспоминания о Литинституте.** К 50-летию Литературного института им. А. М. Горького Союза писателей СССР. 1933—1983. Составители К. Ваншенкин, Е. Сидоров, А. Турков. 479 стр. Цена 1 р. 50 к.

**А. Генатуллин.** Сто шагов на войне. Повести и рассказы. 287 стр. Цена 1 р. 20 к.

**М. Петровых.** Предназначение. Стихи. 207 стр. Цена 70 к.

**О. Чухонцев.** Слуховое окно. Стихи. 136 стр. Цена 40 к.

**В. Шкловский.** О теории прозы. 383 стр. Цена 1 р. 70 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Е. Буков.** Собрание сочинений. В 3-х тт. Перевод с молдавского. Т. I. Стихотворения. поэмы. 1924—1954. 464 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Т. Дери.** Избранное. Рассказы, повести. Перевод с венгерского. 349 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Е. Исаев.** Поэмы. Даль памяти. Суд памяти. 199 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Л. Лайцен.** Портфель и петля. Роман и рассказы. Перевод с латвийского. 383 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Р. П. Уоррен.** Вся королевская рать. Приди в зеленый дол. Романы. Перевод с английского. 784 стр. Цена 5 р.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**А. Безыменский.** Стихи о комсомоле и молодежи. 174 стр. Цена 80 к.

**В. Козьмо.** Колесом дорога. Роман. 350 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Лесков.** Спартак. («Жизнь замечательных людей») 383 стр. Цена 1 р. 70 к.

**А. Твардовский.** Запас огня, залог тепла... Публицистика. 271 стр. Цена 1 р.

### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Дружба.** Литературно-художественный сборник. Составитель В. А. Воскобойников. 126 стр. Цена 85 к.

**Круглый год.** Альманах. Составитель В. А. Близенкова. 288 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Маяковский.** Поэмы. 206 стр. Цена 50 к.

**В. Меньшиков.** Гвардия синембузых. Очерки. 127 стр. Цена 50 к.

**Л. Репин.** Сквозь ярость бурь. Книга о мореплавателях. 319 стр. Цена 2 р.

### ВОЕНИЗДАТ

**Граница.** Повести и рассказы. 284 стр. Цена 1 р. 80 к.

**С. Исаченно.** Пламя на броне. Документальная повесть. 158 стр. Цена 25 к.

**Г. Марков.** Рассказы, береза... Документальные повести. 255 стр. Цена 65 к.

**Е. Сергиенко.** Мои мосты. Роман. 272 стр. Цена 1 р. 50 к.

**И. Черных.** Правый пеленг. Роман. 336 стр. Цена 1 р. 70 к.

### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**М. Булгаков.** Избранная проза. 334 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Гомер.** Одиссея. Перевод В. А. Жуковского. 319 стр. Цена 5 р. 40 к.

**М. Юхма.** Дорога на Москву. Роман-легенда. Перевод с чувашского. 176 стр. Цена 95 к.

### «РАДУГА»

**М. Бсису.** С Палестиной в сердце. Стихи. Перевод с арабского. 294 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Встреча.** Повести и эссе писателей ГДР об эпохе «Бури и натиска» и романтизма. Перевод с немецкого. 622 стр. Цена 3 р. 80 к.

**А. Махмуд.** Соседи. Роман. Перевод с персидского. 427 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Г. Паркер.** Омут. Роман. Перевод с английского. 269 стр. Цена 2 р.

**М. Саболович.** Шрамы. Роман. Перевод с хорватско-сербского. 358 стр. Цена 2 р. 40 к.

### «ПРОГРЕСС»

**И. Нерлунд.** Компартия Дании в мировом коммунистическом движении. Перевод с датского. 136 стр. Цена 25 к.

**Свен Линдерут — патриот и интернационалист.** Перевод с шведского. 278 стр. Цена 1 р. 30 к.

### «ИСКУССТВО»

**К. Маркс, Ф. Энгельс.** Об искусстве. В 2-х тт. 4-е издание, дополненное. Т. 2. 701 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Белинский.** О драме и театре. В 2-х тт. Т. 2. 1840—1848. (Библиотека русской театральной критики) 488 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Борис Георгиевич Добронравов.** Статьи Воспоминания. Документы. Составитель В. С. Давыдов. 208 стр. Цена 2 р.

**С. Розанова.** Елена Люком. 192 стр. Цена 1 р. 40 к.



## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Воспоминания о Рубцове.** Составители В. Оботуров, А. Грязев. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 320 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Д. Гусаров.** За чертой милосердия. Роман-хроника; Партизанская музыка. Повесть. Петрозаводск. «Карелия». 440 стр. Цена 2 р. 40 к.

**С. Кузнецова.** Соболиная тропа. Стихи. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. Предисловие А. Преловского. 208 стр. Цена 50 к.

**Слово о Давиде Кугультинове.** Составители Д. Дорджиева З. Бадмаев. Элиста. Калмыцкое книжное издательство. 109 стр. Цена 65 к.

**О. Сулейменов.** Трансформация огня. Стихи. Алма-Ата. «Жаңалық». 239 стр. Цена 1 р. 60 к.



Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Сиворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

---

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 02.02.84 г. Подписано к печати 09.04.84 г. А 02458.  
 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)  
 26,72 уч.-изд. л. Тираж 377.000 экз. (2-й завод 197.001—377.000 экз.) Зак. 01490.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5 в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1984, № 4, 1--272